

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й  
М И Р

7

---

1991

7

Н О В Ы Й  
М И Р

1991



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 7 (11-791)

Июль, 1991 г. (ноябрь, 1990 г.)

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

ГОД ПАМЯТИ: 1910—1990

- Л. Н. ТОЛСТОЙ — Из неопубликованного: «Война и мир». Новая глава. Публикация и комментарий Н. П. Великановой; /Искания истинной веры/. Публикация и комментарий Т. Г. Никифоровой; Письма Л. Н. Толстого в копировальных книгах. Публикация и комментарий Л. В. Гладковой; Вопросы Л. Н. Толстого духобору. Публикация и комментарий О. А. Голиненко; А. Л. Толстая — Письмо к А. И. Толстой-Поповой и П. С. Попову. Публикация и комментарий Н. А. Калининой 3
- 
- ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА — Шаликово, стихотворение 27  
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Новости экономики, рассказ 29  
ВЛАДИМИР КОСТРОВ — Мы ведь друг друга пока не любили, стихи 61  
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. Продолжение 65  
ВАЛЕНТИН ЛУКЬЯНОВ — Где нить судьбы моей искрется, стихи 159  
НИКОЛАЙ ГОДИНА — Шесть соток свободы, стихи 161

### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- МАРИНА ЦВЕТАЕВА — Кедр. Апология. Публикация и послесловие Л. М. Турчинского 162

### ПУБЛИЦИСТИКА

- Ф. А. ХАЙЕК — Дорога к рабству. Перевела с английского Н. Ставиская 177

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

- ИЗ АРХИВА ЗИНАИДЫ ШАХОВСКОЙ 231

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НАУМ ЛЕЙДЕРМАН, МАРК ЛИПОВЕЦКИЙ — Между хассом и космосом.  
Рассказ в контексте времени 240

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

*Литература и искусство* 258

Игорь Дедков. Осенней порой 41-го года.  
Александр Агеев. Приручение абсурда.  
В. Потапов. Обочинные люди.  
Мирон Петровский. Художественное народоведенье Софьи Федорченко.

#### КОРОТКО О КНИГАХ:

Ю. С м е л к о в.— Марк Сергеев. Жизнь и злоключения Абрама Петрова — арапа Петра Великого. Зачем я его очарован... ✦

В и т а л и й К а м ы ш е в.— Инна Ростовцева. Между словом и молчанием. О современной поэзии. ✦

В. О с к о д к и й.— Николай Сафонов. Записки адвоката. Крымские татары 270

### УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ

По не зависящим от редакции журнала «Новый мир» и издательства «Известия» обстоятельствам не выпущены последние четыре номера журнала за прошлый год. Поэтому мы печатаем № 9, 10, 11 и 12 «Нового мира» за 1990 г. в качестве № 5, 6, 7 и 8 за 1991 г.

Редакционная коллегия.

### В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни. Окончание.

Л. ПАНТЕЛЕЕВ. Я верую. Главы из книги. Публикация Владимира Глоцера.

Ф. А. ХАЙЕК. Дорога к рабству. Перевод с английского Н. Ставиской. Окончание.

БОРИС ТАРАСОВ. Вечное предостережение («Бесы» и современность).

ОТВЕТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ. Павел Чеботарев — О поэте и политизированном сознании. Эдуард Стеценко — В чем же противоречие. Валерий Большаков — Еще о «массовой культуре». Ольга Николаева — Антикатарсис.

Год памяти: 1910 – 1990

Л. Н. ТОЛСТОЙ

\*

## ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

«Война и мир»

НОВАЯ ГЛАВА \*

...**К**н<язь> Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину, и он не испытывал [ни малейшего] страха смерти. Он испытывал спокойное и холодное сознание отчужденности от всего земного и приближение не к концу, а к вступлению в грозное, вечное неведомое — но существующее, уже [ощущаемое] открытое перед ним и как будто ощущаемое.

.....

.....

.....

---

[Он] Это не был страх смерти. Он знал это страшное мучительное чувство и уже пережил его. Он два раза испытал этот ужас смерти и теперь уже не понимал его.

Первый раз он испытал это чувство в ту минуту, когда граната волчком вертелась перед ним и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо и знал, что перед ним была смерть его.

Когда он очнулся после раны и в душе его мгновенно и свободно распустился этот цветок любви, вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал<sup>1</sup> о ней.

Чем больше он в те минуты<sup>2</sup> страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной жизни<sup>3</sup>, тем более он сам, не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Всё<sup>4</sup> любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этой земной жизнью. И вполне проникнувшись этим началом любви, он этим самым отрекался от жизни и уничтожал ту<sup>5</sup> преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. Когда он это первое время вспоминал о том, что ему надо было умереть, он [не [видел] чувствовал ни ма<лейшего>] оставался к этому равнодушен.

---

\* Первоначальный текст гл. XVI, ч. 1, т. 4. В квадратных скобках — зачеркнутое Толстым в процессе писания. В ломаных — восстановление сокращенных слов.

<sup>1</sup> Здесь и далее даны последующие изменения в тексте, вариант начинается с неизмененного слова: а) и не жил, и не думал б) и не думал <sup>2</sup> в те часы <sup>3</sup> жизни, любви <sup>4</sup> Всё, всех <sup>5</sup> ту страшную

Но после тех блаженных минут в Мытищах, когда [пер<ед>] в полубреду перед ним явилась та, кого он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к [жен<щине>] одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни.

Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Н<аташа> называла это *сделалось с ним*, случилось с ним два дня перед приездом к <няжны> Марьи. Это [был тот] была та последняя<sup>9</sup> борьба между жизнью и смертью, в к<оторой> смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшеюся ему в любви к Наташе, и последний покоренный припадок ужаса перед неведомым.

Это было вечером. Он был, как обыкновенно [слаб, но] после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны [и чувство покоя] [и ему] [Наташа]. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его. «А, это она вошла», — подумал он. Действительно, на месте Сони сидела только что вошедшая Наташа.

С тех пор как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле [в] боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок. (Она выучилась вязать чулки с тех пор как стала ходить за ним, и любила эту работу.) Тонкие пальцы ее быстро перебирали спицы, и задумчивый профиль ее опущенного лица был ясно виден ему. Она сделала движение, клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, быстрым движением оглянувшись на него и, заслоняя свечу рукой, осторожно, гибким и точным движением изогнулась и села в прежнее положение. Еще раз она оглянулась, вглядываясь в темноте в его лицо, и опять стала перекидывать петли и шевелить спицами. Он смотрел на нее не шевелясь и видел, что ей нужно было вздохнуть во всю грудь, но она осторожно переводила дыханье.

В Тр<оицкой> лавре [один только раз] они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что ежели бы он был жив, он бы благодарил вечно Бога за свою рану, которая свела его опять с нею, но с тех пор они никогда не говорили о будущем. «Могло или не могло это быть, — думал он теперь, глядя на нее. — Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть. Но и неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи. Я люблю ее больше всего в мире. Но что ж делать мне, ежели я люблю ее?» — сказал он, и он слегка невольно застонал по привычке, кот<о>рую он [взял] приобрел во время своих страданий.

Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.

— Вы не спите?

— Нет, я давно смотрю на вас. [— Наташа, — сказал он] Я почувствовал, когда вы вошли. Никто как вы не дает мне этой мягкой тишины — этого света. И чулок. Мне так и хочется ласкаться, плакать, как бывало у нянюшки. — Наташа [я сл<ишком>] ближе придвинулась к нему и сияла на него восторженной радостью.

— Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете.

— А я?

— Но как вы думаете, как вы чувствуете, будем мы счастливы? Как вам кажется?

— Я уверена, я уверена, — почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.

<sup>9</sup> последняя нравственная.

Он помолчал.

— Как бы хорошо, — [и] взяв ее руку, он поцеловал ее.

— Однако вы не спали, — сказала Наташа, несмотря на<sup>7</sup> радость. — [Отдох<ните>]. Постарайтесь заснуть, пожалуйста.

Он выпустил, пожав ее, ее руку, и она перешла к свече, опять [в св<ое>] сев в прежнее положение. [Несколько] Два раза она оглянулась на него. Глаза его светились ей навстречу. Она задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не оглянется.

Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго, и вдруг в холодном поту он испуганно и радостно проснулся. Он видел сон, простой, несложный, в кот<ором> не было ничего из того, что занимало его.

Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в кот<орой> он лежал в действительности, но он не ранен, а здоров.

Он лежал<sup>8</sup> в темноте ночи, и вдруг он слышит, что кто-то подходит к двери. И страх чего<-то> охватывает его. Он сам встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку, запереть ее. Но в то же время, как он подходит к двери, и то<sup>9</sup> что-то страшное [по] с другой стороны подходит к двери и надавливает, ломится в него. Он знает, что там, за дверью, что-то ужасное, не человек, но зверь, чудовище — смерть ломится в дверь, и надо удержать ее. Он валится на дверь, [употребляет] напрягает последние усилия: [удержать] запереть уже нельзя — хоть удержать ее. Но силы его слабы, неловки, и надавливаемая ужасным дверь ломится, отворяется и [пот<ом>] опять затворяется. Но вдруг — последние усилия и дверь с треском отворяется, и [оно врывается и оно есть смер<ть>] ужас охватывает кн<язя> Андрея, и оно врывается, и оно есть смерть.

Но в то же мгновение, как оно победило и ворвалось [кн. Андрей] и ужас стал невыносим, кн<язя> Андрей вспомнил, что он спит, [и] проснулся и с восторгом [встретил] сознал спасительное пробуждение. «Да, это была смерть, она навестила меня, и<sup>10</sup> я проснулся. Да, смерть есть пробуждение», — вдруг просветлело в его душе. И [не отвечая] он почувствовал последнюю победу над страхом смерти и начало вступления в пробуждение смерти. Он не ответил Наташе на ее вопросы: что с ним — и холодно, спокойно, издали посмотрел на нее.

Это-то было то, что случилось с ним за два дня до приезда кн<яжны> Марьи.

С этого же дня, как говорил доктор, изнурительная лихорадка приняла дурной характер, но Наташа не интересовалась тем, что говорил докт<ор>. Она видела страшные, более для нее несомненные, нравственные признаки.

С этого дня началось для кн<язя> Андрея<sup>11</sup> пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения.

Ничего не было страшного и резкого в этом<sup>12</sup> медленном пробуждении. Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И кн<яжна> Марья и Нат<аша>, не отходявшие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались и последнее время [ходили за ним], сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем — за его телом. Чувства обеих были так сильны, что [они не мо<гли>] на них не действовала внешняя страшная сторона смерти и что они не находили нужным растравлять свое горе. Они не плакали ни при нем, ни без него, но и никогда не говорили про него между собой. Они

<sup>7</sup> Наташа, подавляя свою <sup>8</sup> лежит <sup>9</sup> и тот кто-то или <sup>10</sup> она схватила меня, и от этого <sup>11</sup> Андрея вместе с пробуждением от сна <sup>12</sup> в этом относительно

чувствовали, что не могли выразить словами того, что они понимали. Перед ними совершалось простое и торжественное таинство смерти: они обе видели, как он глубже и глубже<sup>13</sup> уходит от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо.

Его исповедовали, причастили; все приходили к нему проститься. Когда ему привели сына, он [поцеловал его, думая, что] приложил к нему свои губы и отвернулся не потому, чтобы ему тяжело или жалко [но] (к<няжна> М<арья> и Н<аташа> понимали это), но только потому, что он [думал] полагал, что это все, что от него требовали, но когда ему сказали, чтобы он благословил его, он исполнил требуемое и оглянулся, как будто спрашивая, не нужно ли еще что-нибудь сделать.

Когда происходили последние содрогания тела, оставляемого жизненной силой, кн<яжна> М<арья> и Н<аташа> были тут, и [молча, почти споко<йно>] [и не рыдали] все это представлялось им не страшным, но простым и торжественным таинством. «Когда он ушел, где он был? Где он теперь?»

---

Когда тело в мундире уже лежало на столе, все подходили к нему проститься и все плакали.

Николушка плакал от страдальческого недоумения, разрывавшего его сердце. Графиня плакала<sup>14</sup> от жалости к нему и к Наташе, жалея о том, что его нет больше. Старый граф плакал о том, что скоро, он чувствовал, и ему предстояло сделать этот страшный шаг в жизни. [Со<ня>] Наташа и кн<яжна> Марья плакали тоже теперь, но еще не чувствовали своего личного горя, они плакали еще от благоговейного умиления, охватившего их души при виде<sup>15</sup> простого и торжественного таинства смерти, совершившегося перед ними.

---

Неопубликованный автограф «Войны и мира» может показаться знакомым, близким к печатному тексту. Между тем с автографа Софьей Андреевной была сделана копия, которая подверглась серьезной правке Толстого, работа над текстом продолжалась в корректуре — гранках и верстке. В результате замен и уточнений почти треть текста подверглась переработке, а пять вставок увеличили его объем почти на четверть. Таким образом, печатный текст обновился более чем наполовину.

Какая мысль писателя напряженно искала исхода, заставляя «с мучительным и радостным упорством и волнением» снова и снова возвращаться к уже написанным страницам?

Обратимся к автографу. Он дает нам представление о самом процессе писания, поисках нужного слова, сокращениях. Сразу делаются заметны сомнения писателя, глубинное течение текста, направление толстовской мысли. Например: ...«не боялся смерти и не думал о ней ♦ не боялся смерти и не жил, и не думал о ней ♦ не боялся смерти и не думал о ней»; «открытое ему начало вечной жизни ♦ открытое ему начало вечной жизни, любви ♦ открытое ему начало вечной любви»; «Смерть, она навестила меня ♦ она схватила меня ♦ я умер». Сопоставление слов и словосочетаний, подвергшихся изменениям и заменам, позволяет нам выделить то, что, видимо, наиболее существенно для Толстого, что требует ответа для него и для его героя: не боялся смерти, поэтому и не жил? Вечная жизнь или вечная любовь открылась князю Андрею? Или вечная любовь — это вечная жизнь?

В копии на канву автографа наносится более сложный рисунок — в корректуре он обогащается множеством оттенков. Сопоставление автографа, сохранившихся копий, гранок (верстка не сохранилась) и печатного текста позволяет слово за словом следовать течению мысли писателя: идея «нравственной борьбы между жизнью и смертью» постепенно заслоняется идеей пробуждения, облегчения, освобождения от «гнета жизни», сознанием «радостной и странной легкости бытия». Земное ощущение страха

---

<sup>13</sup> и глубже, медленно и спокойно <sup>14</sup> Графиня и Сося плакали <sup>15</sup> души перед сознанием

смерти и условия, освобождающие от него, первоначально очень важны были Толстому. Например, во вступлении к главе, где объясняется, что «случилось» с князем Андреем, автору необходимо было отметить, что герой «не испытывал страха смерти» (слова «ни малейшего» были зачеркнуты в автографе, затем восстановлены в копии, а в корректуре была вычеркнута вся фраза). В автографе вступление построено на антитезах, в которых заложена идея борьбы: «не испытывал страха смерти ♦ испытывал сознание отчужденности»; «приближение не к концу, а к вступлению»; «неведомое — но существующее».

Постепенно антитезы размываются. Ощущение примирения и «легкости бытия» завладевает текстом, и он освобождается от антитез — исключена фраза «не испытывал страха смерти»; появилось новое: «сознание <...> странной и радостной не свободы, но легкости. Он ждал не торопясь и не тревожась не конца, но вступления ♦ сознание... радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему». Словосочетание «страшное мучительное чувство ♦ страх смерти» было исключено из текста, возможно, потому, что далее следовал повтор, надо было что-то менять, возникла контаминация: «ужас смерти ♦ страшное мучительное чувство страха смерти».

Движение замысла изменило и описание сна: сначала князь Андрей «видел сон, простой, несложный, в котором не было ничего из того, что занимало его»; потом эта фраза снимается, и сон уже связан с ощущением смерти: «Он чувствовал себя ближе к ней». Метафора «зверь», «чудовище» заменяется иррациональным «оно», которое «ломилось в дверь», его победа во сне — наяву освобождение от страха и начало пробуждения от жизни — «вступление в грозное вечное». В копии возникает: «Любовь есть жизнь. ...Любовь есть Бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику».

Меняется звучание ключевого для князя Андрея вопроса: «будем мы счастливы? ♦ буду я жив?»

Земная любовь героя, его надежда на выздоровление лежат преградой между жизнью и смертью, его мучит неразрешимый вопрос: «Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи?» И в этом вопросе скрыт ответ: чтобы не жил. Но князь Андрей еще жив, и автор усиливает у читателя это ощущение только одной заменой слова: «слегка» застал ♦ «вдруг» застал, точно застал вопреки мыслям и неразрешимым вопросам, и этот стон услышала Наташа.

Читатель видит Наташу через призму восприятия «уходящего» князя Андрея — он видит ее сидящей с вязанием, слышит едва различимый шорох спиц и ее почти бесшумные движения. Земная легкость Наташи созвучна возникающей неземной легкости князя Андрея. Это ощущение постепенного отчуждения героя проясняется еще и оттого, что писатель исключает из текста все, что хранит память о земной жизни. Например, воспоминание о детстве — и соотнесение его с теплом и «мягкой тишиной» Наташи: «Мне так и хочется ласкаться, плакать, как бывало у нянюшки». Воспоминание о нянюшке появляется в другом месте, но не как ощущение, а как объяснение, почему Наташа «выучилась вязать чулки».

В этой обоюдной «легкости» Наташи и князя Андрея сопряжены земная и вечная любовь. Смерть важна не столько для умирающего, сколько для остающихся жить. Герои Толстого должны переступить этот рубеж. Первым его переступил князь Андрей — после смерти жены он сказал Пьеру: «я заглянул...»

Прежде уход князя Андрея, а потом и его смерть каждый из персонажей воспринимал по-своему. О том, что это чрезвычайно важно для Толстого, свидетельствует и запись на полях предшествующего листа рукописи: «Н<иколашка> плак<ал> от стра<дания>. Граф<иня>, что потеряли. [К<няжна> М<арья>], И<лья>, что он ум<рет>. К<няжна> М<арья> и Н<аташа> от ужаса и уми<ления> тайнства. Все просто».

Образ двери — метафора преграды между жизнью и смертью («я емь дверь»), смерть — пробуждение, тело — «ближайшее воспоминание о нем», «дух» (сначала было: «жизненная сила»), прощение Наташи в Троицкой лавре, исповедь и причастие — все это язык того духовного мира, который постепенно завладевает текстом. Это один из основных внутренних стимулов движения замысла и его итог: торжество, победа вечной жизни и любви над силами смерти и тления.

Оно воплощено и в одной из сюжетных линий книги. Известно, что первоначально она была задумана иначе: в плане-конспекте второй половины романа князь Андрей



«прощал» Наташу, выздоравливал, но «уступал» ее Пьеру. Согласно романтической традиции действие завершалось женитьбой, согласием и миром в исторической и частной жизни.

Этот финал не был разработан Толстым. На последней странице копии плана он написал «Смерть кв<язя> Андрея». Меняется вся концепция характера: исключаются бытовые подробности его жизни → круг чтения, привычки, подробные описания внешнего облика, мимолетные чувства и настроения, вызванные повседневым течением жизни. Все поступки и помыслы героя подчинены высшим целям, не всегда ведомым ему, но всегда ощущаемым.

Романтическая устремленность героя постоянно наталкивается на непредсказуемые обстоятельства жизни, обесценивающие систему высоких духовных запросов. Ощущение полноты жизни сменяется чувством разочарования и безнадежности. Это создает динамику образа: развенчание романтического кумира — Наполеона и открытие торжественной тишины неба; смерть жены и вера в целесообразность жизни; крушение романтической любви к женщине и открытие простого и ясного чувства — любви к родной земле; прощение врага и заблудшей.

Напоминая читателю об этих вершинах духовной жизни героя, автор расширял пространство повествования. Система причинных связей с предшествующим текстом возникала постепенно: в автографе упоминается о вертящейся гранате, ставшей метафорой преодоленного ужаса смерти. В памяти читателя эта метафора соотнесена с образом неба, возникшим в душе князя Андрея.

Под Аустерлицем его тяжело ранило, он испытал весь ужас смерти, и ему, первому из героев книги, открылась истинная мера всего земного — сознание величия и простоты мира, согласия, жизни без вражды: «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал,— подумал князь Андрей,— не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист,— совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу». Однажды открывшееся всегда будет жить в герое, определять ход мыслей и движения его души. Толстой не давал читателю забыть об этом.

На последнем этапе работы появляется новый текст — теперь ассоциации вызваны не только вертящейся гранатой, но и объяснением самого автора: «То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и — по той странной легкости бытия, которую он испытывал,— почти понятное и ощущаемое».

Появляется и земная антитеза образу высокого неба: тень-воспоминание об Анатоле Курагине.

Изменения текста связаны с духовным пробуждением героя, которое не имело ничего общего с его физическим состоянием.

В многомерном пространстве книги слово и образы главы соотнесены с текстом, в котором нет упоминания о князе Андрее. Между тем Толстой, видимо, рассчитывал на то, что вдумчивый читатель сумеет обнаружить эти тонкие связующие нити, повторы, которые создают картину цельного, гармоничного и неделимого мира. Скажем, дверь как метафора преграды, запомнившаяся в описании сна князя Андрея, появится как напоминание в последующих главах, в которых рассказывается о встрече Наташи с Пьером: «И лицо с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворится заржавевшая дверь,— улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастьем, о котором, в особенности теперь, он не думал».

Чувство отчуждения от земной жизни, испытанное князем Андреем, передалось Наташе, «ей казалось, она проникает тайну»... Но мешала та же дверь, уже не во сне, а наяву, в облаке ассоциаций теряющая свою «предметность»: «Но в ту минуту, как уж ей открывалось, казалось, непонятное, громкий стук ручки замка двери болезненно поразил ее слух». Это была весть о смерти брата...

В октябре 1909 года Толстой отправил из Ясной Поляны одно из своих последних писем сестре Марии Николаевне, монахине:

«Писать мне тебе, милая сестра, или слишком много, если излить все то, чем живу, приближаясь к смерти, которую надеюсь встретить с благодарностью Богу за данную мне жизнь и с полной уверенностью в то, что Бог есть любовь и что потому и смерть — такое же благо, как и жизнь».

## *Искания истинной веры*

Я вырос, состарелся и оглянулся на свою жизнь. Радости преходящи, их мало, скорби много, и впереди страдания, смерть. Пока я рос телом и умом, я не замечал этого. Откинув без усилия и борьбы, как ненужную шелуху, веру, в которой я воспитан, я делал то, что делали все вокруг меня, потворствовал своим похотям и говорил, что все это хорошо, что все в мире развивается и я развиваюсь вместе с миром, и что это хорошо. Но когда я увидел, что я больше не развиваюсь и ссыхаюсь, то я понял, что это вовсе не хорошо и стал думать и понял, что Сакия-Муни<sup>1</sup> и Соломон<sup>2</sup> и Шопенгауэр<sup>3</sup> думали о том же, и думали хорошо и поняли, что жизнь — злоглупая шутка. Не видеть этого можно только тогда, когда молод или нарочно заслоняешь от себя эту жестокую истину, или очень малодушен. Есть старые люди, для которых истина эта заслонена похотями, а есть такие, которые не видят этого от малоумия. Есть такие люди. Они говорят: «Я — часть маленькая бесконечного мира, я — явление этого мира. Все растет и развивается, и я в этом росте и развитии участвую, и задача моей жизни есть участие в этом росте и развитии». И по скудоумию своему не видят, что спрашивается не то, что такое моя плоть, она участница в развитии, а спрашивается, что такое мои мысли и желания. Каково бы ни было развитие мира, моим мыслям и желаниям нужно не развитие мира, а удовлетворение их требований истины, блага для меня. Они не видят этого и не видят того, что развития и совершенствования в бесконечном мире быть не может. В бесконечном нет ни передела, ни зада, ни лучшего, ни худшего, ни большего, ни меньшего, и потому видимый обман развития не может никого удовлетворять.

Я сказал это потому, что в том отчаянном положении, в котором мы все находимся, очень много ищущих людей, и не глупых, пристали к этому скудоумию. Деваться больше некуда, поневоле затыкают себе мозг. Для того, кто не затыкает себе мозг и не боится думать до конца то, что сказали Сакия Муни, Соломон, Шопенгауэр и тысячи других — неизбежно. Жизнь — зло, и какая-то насмешка. И те, которые прекращают по своей воле петлей, пульей, водой эту глупую шутку, и их много теперь стало, — те молодцы, сильные люди духом. Я пришел к этому и хотел убить себя и чуть было не сделал этого<sup>4</sup>. Но не сделал — от слабости ли духа, или от других причин. Но я не мог поверить, чтобы надо мной была сыграна шутка. Я сказал себе: «Если есть какая-нибудь сила выше меня, сила, произведшая меня, такая, какую в старину я называл Богом, то эта сила, так как она выше меня, сильнее и произвела меня, то она должна быть выше меня и сильнее и по разуму и по благости, и потому не может забавляться мысли, чтобы играть со мной шутки. Если бы я бы мог сотворить человека, то я бы почел гадостью и глупостью поставить его в такое положение, в какое я поставлен; стало быть, высшая эта сила, производящая меня, не могла этим забавляться. Если нет никакой высшей меня силы, произведшей меня, то я выше всего с моим разумом, и потому разум мой должен найти и смысл всего<sup>5</sup>. Разумом своим я искал смысла и пришел вот к тому, что блаженны те, кто умер, а еще блаженны неродившиеся. Так что же мне было делать? Волей-неволей, не имея духа застрелиться и смутно надеясь найти, я обратился к первому предположению. Я не мог признавать Бога, ничто мне не подтверждало этого предположения, но я сказал себе: посмотрим, что выйдет, если допустить, что есть сила, высшая, производшая меня. Может быть, это и правда.

Предположить это мне было легко еще и потому, что я смолоду был воспитан так, что есть Бог и сколько я слышал, у всех людей, по крайней мере тех, каких мы знали, есть Бог. И я стал оглядываться

на тех людей, которые верят в Бога, и стал разбирать, кто верит, кто не верит.

На словах все миллионы Европейцев верят, и мы, и все мы христиане, и со всех сторон церкви, богатые храмы всех сортов. Огулом мы все христиане, но порознь взяться — совсем другое. Я несколько лет занимался этим и всех людей, мне знакомых, допрашивал: веруют они или не веруют. И оказалось, что из людей моего разбора, ученых, умных, никто не верит в Бога. Если и находились из моих сверстных людей такие, что верили, то один на 500 (я думаю, не больше. Про женщин я не говорю.), то это были или чудаки, из упрямства, с злобой, не столько для своих нужд, сколько для спора, уверяли, что они верят в Бога, или такие, что для каких-нибудь политических или корыстных неосознанных целей говорили, что верят, или уж очень глупые люди, или еще явившиеся в новое время женщины и мужчины из ученых, верующих как-то особенно<sup>6</sup>. Если бы я был помоложе или жил бы более в одном только кружке сверстных мне людей, я так бы решил, что почти никто теперь из умных людей не верит в Бога, и потому вера — это суеверие. Но я уж стар, и живу с разными людьми, и потому я стал вглядываться дальше и нашел верующих из других кругов (я не наблюдал попов, епископов, и т. п., потому что вопрос о том, верующие ли они или не верующие, ничего не мог решить для меня. Как вопрос о том, много ли в России любителей юриспруденции, не мог быть решен количеством живущих своей должностью адвокатов).

Я нашел и очень много верующих между неученым сословием. Все неученые, верующие в Бога — весь народ.

Найдя этих верующих, я стал добираться, как они веруют Богу, и сразу был оттолкнут от их веры. Это было с маленькими изменениями то самое, из чего я вырос, когда бросил всю эту комедию чтения молитвы, по утрам и вечерам, причащения и тому подобного.

Сущность веры и тех некоторых ученых нашего круга и других — то, что есть Бог, который вдруг вздумал сотворить мир. Погубил людей и послал своего сына поправлять испорченных людей, и одни говорят, что надо верить, что он своей смертью спас нас, и тогда все будет хорошо, а другие говорят, еще есть угодники, за нас молятся, им надо ставить свечки и ходить пешком. И то и другое не могло войти в мою голову, как и не может войти ни в какую голову, не лишенную рассудка.

А люди эти верили так, и мало того, что верили, в особенности миллионы из народа, те самые, которые самые глупые, все говорили о Боге, смешивая его с доской, примешивая Пятницу к Троице и т. п., эти люди, миллионы, жили спокойно, не испытывая ни сомнений, ни отчаянья Силомана, Сакья Муни, Шопенгауэра и меня грешного. И жили, принимая всякую скорбь как благо, и умирали радостно, и на смерть смотрели как на величайшее благо. Если бы были одни люди нашего круга, верившие в Бога, то я бы не остановился на них, отыскивая смысл тех бессмыслиц, которые они говорили. Во-первых, их мало, во-вторых, все они очень жирны, и весь тот вздор, который они говорили, можно было объяснить как всякую дурь людей, живущих в избытке и бесящихся с жира. Выдумывали же они магнетизм, животный месмеризм, спиритизм. Но те миллионы, которые и прежде и теперь живут большей частью в нужде, стало быть в самых невыгодных для счастья условиях, и счастливы и спокойны и так твердо уверены в своем знании, что никогда поколениями не колеблются в своей вере, из-за этой веры лишаются всех благ жизни в монастырях и умирают за нее, эти заставляют меня задуматься и не откидывать сразу их верования как бессмыслицу, а разобрав их хорошенько. Кроме того, я всегда любил и люблю этих людей. По тем понятиям, которые оставались у меня, несчастного и заблудшего мудреца, о

том, что в них, терпящих, благословляющих, смиренных, трудящихся,— что в них добро. Я любил и люблю их и стал вникать в их веру. Что ж, мы с Шопенгауэром и Соломоном от большого ума дошли до того, что мы ничего не знали, что жизнь — зло, и жить не нужно, а они знают как то, что жизнь и смерть — добро, и что жить нужно, да еще как-то особенно жить.

И я сказал себе: не буду сразу откидывать эту веру, потому только, что она мне не лезет в голову, может быть, они и те ученые из нашего-то круга и эти неученые не умеют как сказать, во что они верят. Надо расспросить у тех, кто знает. У попов, архиереев, у учителей церкви, у тех, которые сами себя называют хранителями вероучения. Я обратился к ним<sup>7</sup> и спросил, хорошо ли веруют наши ученые? Правда ли, что Бог прислал сына на распятие, и что распятие этого сына спасло всех людей, и что кто верит в это, тот спасен? Они сказали мне, что это неправда, что тут есть и правда, но не так: что это ересь.

Когда я спросил, так ли веруют мои любимые миллионы, ставя свечи, ходя пешком к мощам и почитая Святую Пятницу, мне сказали, что и это так да не так, что они изуверы и идолопоклонники. Я спросил, как надо верить. Мне сказали, на это есть исповедание православной веры.

И как ни странны были мне и верования умных и верования глупых и толкования учителей церкви, я обратился к изучению этого исповедания веры, того самого, которое я когда-то с величайшим презрением учил к экзамену в университет. Тогда я мог презирать и откладывать это. Тогда этот катехизис казался мне рядом ненужных бессмыслиц, тогда со всех сторон меня окружали явления жизни, казавшиеся мне ясными и исполненными смысла. Теперь же я бы и рад откинуть то, что не лезет в здоровую голову, но деваться некуда. Противно тому, что было тогда. Все для меня в мире теперь бессмыслица. Мы с Соломоном и Шопенгауэром доказали это несомненно. Мы пришли к тому, что лучше умереть и единственная брезжина света в этом мраке — это то, что я здесь на свете по воле высшего кого-то, и что это высшее знают люди, что этих людей миллионы жили и умирали радостно в этом знании. И вот передо мной то учение, которое одно дает мне надежду понять смысл жизни. Как ни кажется оно мне дико на мой старый твердый ум, оно — одна надежда спасения. Надо осторожно и внимательно рассмотреть его. Или я найду спасенье, смысл жизни, или петлю на шею, а не петлю, так то же самое — доживать без смысла, до того как лопнет какой-нибудь сосуд в сердце.

И вот я приступил к этому, взял катехизис и стал читать его.

В 1879 году Толстой работал над большим сочинением религиозно-философского содержания. Оно не имеет заглавия и начинается словами: «Я вырос, состарелся и оглянулся на свою жизнь».

Впервые эта работа Толстого упоминается в письме С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 21 октября 1879 года. С. А. Толстая сообщает, что Лев Николаевич пишет «об Евангелии и божественном вообще» (ГМТ). В ноябре — декабре 1879 года работа продолжалась.

7 ноября 1879 года С. А. Толстая писала сестре: «Левочка все работает, как он выражается, но увы, он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтобы доказать, что церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего. Я одного желаю, чтобы уж он поскорее это кончил, и чтоб прошло это, как болезнь. Им владеть, или предписывать ему умственную работу, такую или другую, никто в мире не может, даже он сам в этом не владеет» (ГМТ).

О работе над этим сочинением Толстой писал брату С. Н. Толстому 21 декабря 1879 года: «Я все так же предавался своему сумасшедствию, за которое ты так на меня сердисься... Постараюсь только впредь, чтобы мое сумасшедствие меньше было противно другим и чтоб не производить на тебя неприятного впечатления» (62, 507)\*.

По-видимому, к концу декабря сочинение было завершено. Оно не предназначалось для печати, в нем Толстой для самого себя пытался изложить ход своих мыслей в разрешении религиозных сомнений, утвердиться в правильности своих «исканий истинной веры».

Сочинение это под условным заглавием «Искания истинной веры» хранится в рукописном отделе Государственного музея Л. Н. Толстого. Рукопись сочинения представляет собой тетрадь в твердом переплете. В тетради 106 листов. Текст сочинения разделен на 5 глав.

В I главе Толстой рассказывает о своем душевном состоянии, о своем отчаянии, о поисках спасения в церковной вере.

Во II и III главах Толстой критически разбирает основы церковной догматики и отвергает их как противоречащие требованиям разума.

В IV главе Толстой возвращается к началу и еще раз излагает ход своих мыслей, приведших его к теперешнему состоянию, в более сжатом виде.

V глава занимает три четверти тетради и посвящается изложению всех четырех Евангелий, причем тех мест из них, которые представляются Толстому понятными, поучительными. Завершает сочинение Толстой определением своего понимания смысла евангельского учения и критикой с точки зрения христианского учения существующего общественного строя и учения церкви.

В конце декабря 1879 года в Ясную Поляну приехал Н. Н. Страхов, и в те несколько дней, которые Страхов гостил у Толстых, Лев Николаевич познакомил его со своим религиозно-философским сочинением, начерно законченным, и с планами будущих своих работ. 8 января 1880 года Страхов писал Толстому из Петербурга:

«Меня, разумеется, многие расспрашивают об Вас, и я в большом затруднении. Я горю обыкновенно, что Вы теперь в сильном религиозном настроении, что Вы дошли до него самым правильным путем — через изучение народа и сближение с ним, что Вы пишете историю Ваших отношений к религии — историю, которая не может явиться печатно».

«История отношения к религии» — это будущая «Исповедь» Толстого. В ее основу Толстой положил несколько страниц биографического характера из незаглавленного сочинения, о котором идет речь.

Некоторые страницы, посвященные изложению четырех Евангелий из этого же сочинения, вошла в работу «Соединение и перевод четырех Евангелий».

Работа под условным названием «Искания истинной веры» известна исследователям. На нее ссылаются комментаторы Юбилейного издания, упоминание о ней есть в двадцатидвухтомном собрании сочинений Л. Н. Толстого (1978—1985 гг.). Краткое изложение этой работы Л. Н. Толстого помещено Н. Н. Гусевым в главе VII третьего тома «Материалов к биографии».

Целиком работа никогда не печаталась. Между тем она представляет интерес и как первая завершенная попытка изложения религиозных взглядов Толстого, и как отправная точка последующих четырех религиозно-философских трактатов: «Исповедь», «Исследование догматического богословия», «Соединение и перевод четырех Евангелий», «В чем моя вера?».

Безусловно, публикации полного текста работы должна предшествовать большая подготовительная работа, так как рукопись сочинения очень трудна для прочтения.

Публикуемый фрагмент текста — это первая глава религиозно-философского сочинения Толстого. Едва закончив его, Толстой вернулся к началу и принялся перерабатывать весь текст. После переработки из первой главы выросла «Исповедь» Толстого.

\* Все тексты Толстого даются по изданию: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90-та томах (юбилейное). М. 1928—1964. В скобках указаны том и страница.

<sup>1</sup> С а к я М у н и — индийский царевич, прозванный Буддой. Художественно обработанную легенду о царевиче Сакья Муни, прозванном Буддой, Толстой поместил в VI главе окончательного текста «Исповеди»,

<sup>2</sup> Соломон (XI—X вв. до н.э.) — царь израильский. Церковная традиция приписывает ему «Книгу Екклесиаста, или Проповедника», одну из канонических книг, входящих в состав Священного Писания Ветхого завета. Толстой усиленно читал Библию в августе 1879 года и находил, что «Притчи» Соломона, «Екклесиаст» имеют «много общего с Шопенгауэром» (62, 497).

<sup>3</sup> В конце 1860-х годов Толстой пережил сильное увлечение философией А. Шопенгауэра. 30 августа 1869 года в письме к А. А. Фету он писал:

«...Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? Неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю... Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр гениальнейший из людей...» (62, 497). Отношение Толстого к Шопенгауэру менялось, однако он перечитывал труды философа на протяжении почти всей своей жизни. Изречения Шопенгауэра включены в сборники «Круг чтения», «На каждый день», «Путь жизни». Последняя запись о чтении Шопенгауэра сделана Толстым в Дневнике совсем незадолго до кончины — 7—8 октября 1910 года. На страницах имеющихся в Яснополянской библиотеке книг Шопенгауэра («Мир как воля и представление», «О религии») имеются пометы Толстого.

<sup>4</sup> В «Исповеди» Толстой дает развернутое описание душевного кризиса, пережитого им в конце 70-х годов:

«Жизнь мне опостылеала... И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным: это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде, был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность, без особенного самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной, и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми—десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был उपотреблять хитрости против себя, чтобы не лишиться себя жизни...» (23, 12—13).

<sup>5</sup> Забегая вперед скажем, что Толстой нашел «смысл всего»: «...я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей. Простой трудовой народ вокруг меня был русский народ, и я обратился к нему и к тому смыслу, который он придает жизни. Смысл этот, если можно его выразить, был следующий. Всякий человек произошел на этот свет по воле Бога. И Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни — спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отречься от всех утех жизни, трудиться, смиряться, и быть милостивым» (23, 47).

<sup>6</sup> Имеются в виду последователи религиозного учения В. А. Пашкова, так называемые «пашковцы». В. А. Пашков в свою очередь был последователем лорда Редстока, учившего, что спасение заключается в одной вере в «искупление кровью Христа». Толстой был знаком и состоял в 1876 году в переписке с одним из «пашковцев» — графом А. П. Бобринским, министром путей сообщения в 1871—1874 годы.

<sup>7</sup> В сентябре 1879 года Толстой в Москве беседовал о вере с митрополитом Московским Макарием (М. П. Булгаковым) и иконином Алексеем (А. Ф. Лавровым-Платонобым). Тогда же в Троице-Сергиевой лавре он беседовал с наместником Леонидом (Л. А. Кавелиным).

## Письма Л. Н. Толстого в копировальных книгах

Почти каждый день Л. Н. Толстой отвечал на письма. Иногда ему приходилось писать до двадцати писем в день. В тридцати двух томах Полного (юбилейного) собрания сочинений Толстого опубликовано восемь с половиной тысяч писем. Но этим эпистолярное наследие писателя отнюдь не исчерпывается. Известно, что многие письма Л. Н. Толстого вообще не дошли до нас: 13 писем к Н. С. Лескову, 14 писем к Н. А. Некрасову, 3 письма к М. Е. Салтыкову-Щедрину, 8 писем к Н. Н. Страхову, 31 письмо к И. С. Тургеневу, 17 писем к С. С. Урусову, 10 писем к А. А. Фету и многие другие. Сгорели все письма Толстого к Н. В. Успенскому, а также к другу и единомышленнице писателя М. А. Шмидт.

Отдел рукописей ГМТ ведет поиск, собирает сведения о лицах, имеющих автографы Толстого, и делает все возможное для их приобретения. Такие находки редки и потому особенно драгоценны. С 1978 по 1989 год музеем получено 50 автографов писателя. Сложнее с письмами иностранных корреспондентов. Их и сейчас много за границей, сведения о них просачиваются к нам из каталогов аукционов. Однако случаи получения автографов из-за рубежа единичны. Так, в 1960-е годы первый секретарь Л. Н. Толстого В. Лебрен подарил музею письма писателя к нему. В октябре 1986 года АН СССР передала в дар музею 18 подлинных писем Толстого английскому пастору А. Кенворти. В последние годы благодаря деятельности Советского фонда культуры появились новые возможности приобретения документов: в 1988 году СФК передал на хранение в музей черновой автограф статьи Толстого «Согласие против пьянства», полученный из-за границы.

Из восьми с половиной тысяч писем, включенных в Полное собрание сочинений писателя, только четыре с половиной тысячи опубликованы по автографам — остальные печатались по машинописным копиям, первым публикациям в печатных источниках и, главным образом, по копировальным книгам.

Многие письма Толстого остаются известными нам только по копировальным книгам. Таких писем около 1300. Не будь этих книг, мы не знали бы писем Л. Н. Толстого к Л. А. Авиловой (2), Л. Андрееву (3), П. Веригину (11), Э. Мооду (28).

Мысль снимать копии со всех писем Толстого прежде, чем они будут отправлены корреспондентам, первому пришла В. Г. Черткову. В 1895 году он привез из Англии копировальный пресс. Способ копирования документов с помощью прессы был широко распространен в деловом мире — он оказался удобным и точным. Как же копировались письма Л. Н. Толстого?

Толстой писал свои письма специальными чернилами, стойкими к воде. Готовое письмо накладывалось на чистый лист папиросной бумаги, осторожно с обратной стороны кисточкой смачивалось водой и затем помещалось под пресс. В результате на копировальном листе получался точный отпечаток письма.

В Ясной Поляне письма Л. Н. Толстого копировались прямо в специально подготовленные копировальные книги. Таких книг за пятнадцать лет — с 1895 по 1910 год — образовалось девять. Кроме того, В. Г. Чертков делал для себя копии писем на отдельных копировальных листах. Они сохранились в его личном фонде и наряду с письмами из копировальных книг послужили основой для публикации отдельных томов писем в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого.

В течение 1883—1986 годов копировальные книги были изучены заново. Считалось, что в копировальных книгах содержится по одним источникам три тысячи писем, по другим — более четырех тысяч. Выяснилось, что писем меньше — 2079, и написаны они в 1895—1910 годы.

Поначалу такой способ копирования, видимо, казался сложным, поэтому в книгах есть всего лишь два письма за 1895 год, одно письмо за 1896, два — за 1897, но начиная с 1898 года число копировальных копий резко увеличивается. Помимо писем самого Л. Н. Толстого, в книги включены также пятнадцать писем, написанных по поручению Толстого его секретарями. Иногда в копировальных книгах копировались черновики, первые редакции писем Толстого, не вошедшие в Полное собрание сочинений. Они, конечно, должны быть учтены при подготовке Академического издания произведений Л. Н. Толстого.

Однако самое главное, что обнаружило исследование копировальных книг, — это письма Л. Н. Толстого, которые не были учтены в отделе рукописей и, следовательно, не вошли в Полное собрание сочинений писателя. Этих писем семь.

В данную публикацию включены выявленные нами и ранее не опубликованные письма Л. Н. Толстого.

### 1. Л. Н. Толстой — В. В. Корнилову

16 декабря 1908. Ясная Поляна.

Получил ваше письмо, милый брат Василий, и читая его, испытывал одну из лучших радостей моей жизни. Я так много получаю писем всякого рода, из которых особенно тяжелы для меня хвалительные и вместе с тем неискренние от людей, имеющих личные цели. Ваше же письмо, чем дальше я его читал, тем больше чувствовал в нем не скажу искренность, потому что для человека понимающего, как вы понимаете учение Христа, неискренность не нужна да и невозможна.

Как вы хорошо сделали, что перешли на земельный труд. Сообщите мне, когда это было, свыклись ли вы с этим трудом и каково ваше семейное положение, холост ли вы и живы ли ваши родители и с ними ли выживаете?

Что могу сказать вам в исполнение вашего желания, чтобы я высказал вам поддержку в предстоящем вам призыве к исполнению воинской повинности? Мне не нужно говорить вам о том, какое может быть отношение христианина к такому требованию. Одно могу советовать: принимая то или иное решение, не думать о славе людской, о суждении людей, не говорю всех людей, но людей наиболее уважаемых вами, а поступать так, как требует того от вас внутренний голос живущего в вас Бога, представляя себе, что тотчас же по избрании вами того или иного решения вы умрете, или что никто никогда не узнает о том, как вы поступили в этом случае. Во всяком случае, призыв к отбыванию воинской повинности есть трудный экзамен, представляющийся христианину. Хорошо выдержать экзамен — это большая, ни с чем не сравнимая радость. Но это не значит то, что человек, не выдержавший этот экзамен, хуже того, который его выдержал. Условия жизни бесконечно разнообразны, и также разнообразны способы и возможность служения Богу, т. е. добру и истине.

По письму вашему вижу, что вы знакомы с некоторыми из моих книг. Если вы не имеете каких из них, сообщите, я буду очень рад прислать их вам.

Письмо Л. Н. Толстого является ответом Василию Васильевичу Корнилову, молодому крестьянину из Екатеринославской губернии, приславшему Толстому письмо, датированное 10 декабря 1908 г.:

«...Я понял, что счастье и все благо жизни человеческой заключается не в богатстве и личном наслаждении, а в том, чтобы каждый человек жил честно, своими трудами отыскивал бы себе пропитание и никого не обижал, что при истинном непонимании для каждого человека так же обеспечено, как существование птицы или цветка, и после этого я решил бросить свое вредное писарское занятие и приступил к занятию хлебопашеством, присущем по природе всякому человеку, и поэтому на действительном опыте убедился, что отвращение от физического труда (чему нас учит мирская наука) есть величайшее заблуждение, не дающее людям ничего, кроме страдания, а напротив, счастье человека добывается лишь физическим трудом, дающим всему миру средства к существованию и общению с животными и растениями. То беспрерывное беспокойство, которое я чувствовал прежде при моем непонимании жизни человеческой, вполне почти уничтожилось, и я во всяком даже мелком случае могу различить добро от злого, содействуя по мере своих слабых сил уничтожению вражды между людьми».

В следующем своем письме, отвечая на вопросы Льва Николаевича, В. В. Корнилов писал, что в 1900 году отец (старообрядец) отправил его, двенадцатилетнего мальчика, в волостное правление для писарского занятия, где он пробыл до осени 1906 года, после чего бросил городскую жизнь, вернулся в деревню, чтобы заняться крестьянским трудом. «Мне в настоящее время только 21 год, — пишет В. Корнилов, — имею жену и сына, которому от роду 1 год, живу при отце и матери в селе Троицком, братьев у меня 4, т. е. два старших от меня, находящихся в отделе от отца, и два младших. Из них самый старший, плотник по профессии, несмотря на свою малограмотность, по своему жизненному опыту убедился в справедливости моих понятий и в настоящее время вполне разделяет мои убеждения».

На конверте Толстой пометил: «Прекрасное письмо». Всего В. В. Корнилов прислал Льву Николаевичу 4 письма. В одном из них он просит книги, и Толстой пометает на конверте: «Послать какие есть».



## 2. Л. Н. Толстой — Терентию Николаевичу Г.

18 января 1903. Ясная Поляна.

Т. Г.

Получил ваше письмо и прочел образцы ваших сочинений. Все это еще очень плохо. Но несмотря на то, что я вижу в вас не только склонность, но и способность к литературной работе и кроме того, что важнее всего, я вижу в вас искреннее религиозное христианское настроение, все-таки я не советую вам писать и вообще заниматься литературой. Важно не писать романы и драмы, а только одно — жить хорошо соответственно по тому христианскому взгляду, который вы высказываете в вашем письме.

Вот на это употребите все свои силы — постарайтесь, не осуждая других, жить как можно лучше, т. е. как можно ближе к требованиям христианского учения. Заботиться о дальнейшем образовании я тоже не советую вам, то образование, которым вы обладаете, совершенно достаточно, и дай Бог, чтобы хотя половина русских людей были также как вы в состоянии читать и понимать написанное книжным языком. Есть прекрасное изречение китайского мудреца: «Мудрые не бывают учены, ученые не бывают мудры». Старайтесь утвердиться в доброй жизни, этому поможет вам чтение хороших книг, посылаю вам некоторые.

Если же, положив все свои силы на то, чтобы исполнять в жизни учение Христа, вы найдете по своей совести нужным писать не для славы людской, а для исполнения воли Бога, то тогда пишите.

Вот все, что имею вам сказать.

Желаю вам всего истинно хорошего.

---

Печатается по копировальной книге 5, л. 96 (210).

## 3. Л. Н. Толстой — М. М. Молчанову

20 марта 1903. Ясная Поляна.

Вы говорите, что вам кажется недостаточно того, чтобы самому жить хорошо, соответственно с требованиями своей совести, но требуете того, чтобы иметь возможность воздействовать на других, заставить других жить так, как вы считаете хорошим.

Можно только радоваться тому, что такого средства заставить других жить так, как я считаю хорошим, не существует. Каково бы было положение людей, если бы всякий мог так воздействовать на других.

К счастью, этого нет, и воздействовать на других можно только тем, чтобы своею жизнью исповедывать свои убеждения.

Так что для достижения второй цели достаточно первого, т. е. жизни, соответствующей требованиям своей совести.

На остальные все вопросы и все те, кот<орые> только можно поставить о том, как жить, отвечает все то же одно средство: ясно поставить для себя цель и смысл жизни и вытекающие из этого требования и по мере сил приближаться к осуществлению этих требований в своей жизни. Пишу вам несколько слов, п<отому> ч<то> все ваши вопросы разобраны мною, как я умел, в моих писаниях: «О жизни», «Христианское учение», «В ч<ем> моя вера?» и др. Писать подробно значило бы повторять кое-как то, что высказа<но> там. Лев Толстой. 1903. 20 марта.

(Далее следует неопубликованная часть письма.)

То же, что вам представляется много зла в мире, никак не должно огорчать вас. Зло, кот<орое> вы видите, есть тот матерьял, над которым вы призваны работать. Огорчаться на то, что зла слишком много, все равно что плотнику огорчаться, что лес, из кот<орого>

он будет рубить, слишком велик. Прием же работы над этим матерьялом только один: самосовершенствование.

Совершенствоваться нельзя одному, совершенствование себя всегда видится на других и только оно одно воздействует на них. Очень хорошо бы было, если бы было другое средство воздействия на других. Но что же делать, как его нет, а есть только это одно. А. Т.

Молчанов Михаил Михайлович (р. 1883) — сын члена Ковенского окружного суда, студент юридического факультета Московского университета, который он закончил в 1907 году. С А. Н. Толстым познакомился в 1903 году, был в переписке с ним в течение нескольких лет. В Полном собрании сочинений опубликовано 9 писем А. Н. Толстого к М. М. Молчанову. Письмо от 20 марта 1903 года напечатано в томе 74 (стр. 82—83) без окончания. Выше приведен полный текст письма, восстановленный по копировальной книге 5, л. 189 (317).

#### 4. А. Н. Толстой — Д. Уайту

27 декабря 1908. Ясная Поляна.

Чувствую себя очень виноватым, что так долго не отвечал, мог бы оправдаться нездоровьем и старостью, большими занятиями; но мне гораздо легче просто признать мою вину и просить вас простить меня.

Пишу это с полной искренностью, особенно теперь, когда внимательно прочел вашу прекрасную статью, с которой глубоко согласен и чтение которой доставило мне большую радость.

Если я и позволю себе сделать какое-либо замечание, то только то, что сравнение духовной жизни с матерьяльной и единения людей с стремлением к единению материи неточно и потому неубедительно.

Вообще же, понятие бесконечности как времени, так и пространства, само в себе не имеет никакого реального объективного значения, вследствие неизбежно присоединяемого к этим понятиям признака или свойства бесконечности.

Для меня метафизическая основа всего есть сознание отделенности каждого из нас. Мы сознаем себя отдельными проявлениями Бога. Для того же, чтобы сознать себя и Богом, и отделенным от Него, т. е. ограниченным, необходимы понятия пространства, наполненного веществом, и времени с неперестающим движением.

Кант и немецкие философы выражают это тем, что пространство и время суть неизбежные формы нашего мышления.

Может быть, эта метафизика для вас лишняя; но мне хотелось вам ее высказать. Главное же то, что с большою радостью повторяю вам, — что судя по статье, вижу в вас самого близкого по духу человека, общение с которым мне было и всегда будет радостно.

Уайт Д. — английский офицер, теософ, последователь А. Н. Толстого. Прислал А. Н. Толстому свою книгу с царственной надписью. Упоминается в «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого в записях от 24 октября 1908 года: «Дима<sup>1</sup> рассказал про капитана Уайта, приехавшего в Токтонхауз. Хочет бросить военную службу, начитавшись Л. Н-ча, застенчивый человек...»<sup>2</sup>; и от 10 января 1909 года: «А. Н. про теософа Уайта, английского полковника, по убеждению отказавшегося от военной службы, от которого получил сегодня письмо серьезное, и вдруг в нем про «эфирность тел» и «что будет после смерти?» — Что будет, — сказал А. Н., — никто не может это знать и никому это не нужно. А как в жизни прилагать религиозно-нравственное учение, об этом мало стараемся»<sup>3</sup>.

Письмо А. Н. Толстого к Д. Уайту продиктовано им В. Г. Черткову 27 декабря 1908 года, английский перевод письма подписан Толстым 12 января 1909 года. Отрывок из этого письма цитируется в томе дневников А. Н. Толстого (56, 523—524); Полный текст письма опубликован не был. Нами публикуется по машинописной копии на русском языке, сохранившейся в фонде В. Г. Черткова, сверенной с английским переводом письма в копировальной книге 8, л. 449—450 (390—391).

<sup>1</sup> Чертков В. В. (1889—1964) — сын В. Г. и А. К. Чертковых, вернувшийся из Англии.

<sup>2</sup> Маковицкий Д. П. У Толстого. Яснополянские записки («Литературное наследство». М. 1979, т. 90, кн. 3, стр. 234).

<sup>3</sup> Там же, стр. 301.

## 5. Л. Н. Толстой — польской женщине

14 марта 1909. Ясная Поляна.

Разделение и угнетение Польши всегда возбуждало во мне величайшее негодование. Спасение от него, думаю, одно: то, чтобы поляки перестали быть поляками, а стали бы только людьми, т. е. братьями не только поляков, французов, но и немцев, австрийцев, русских. Разумею я под этим то, что избавить Польский народ от его порабощения и дать ему свойственное всем людям благо может только одно: вступление поляков на тот путь истинно христианской жизни, при которой люди не борются насилем с насилем и сами не участвуют в совершаемых над самими собой насилиях: не участвуют ни в податях, ни в солдатстве. Только эта недеятельность, а воздержание от нехристианской деятельности дает истинную свободу людям. Свободу дает только любовь, религиозная любовь. Любовь же только тогда любовь, когда непременным условием ее есть неупотребление насилия, т. е. непротивление. Знаю я, что при теперешнем устройстве мира, основанном на одном насилии, мысль о непротивлении, о том, что только одно непротивление спасает людей от тех все увеличивающихся бедствий, которые они несут теперь, знаю, что мысль эта кажется даже не большинству людей, а всем людям до такой степени нелепой, неприложимой, что люди даже не дают себе труда подумать о ней, а только презрительно улыбаются и пожимают плечами. Я знаю это, но знаю и то, что освобождение людей от тех страданий, вообще того зла, среди которого они живут, возможно только признанием этой истины.

Не думаю, чтобы Галилей, несмотря на всеобщее отрицание ее, был более убежден в несомненности открытой им истины, чем убежден я в несомненности открытой не мною, и не одним Христом, но всеми величайшими мудрецами мира истины о том, что зло побеждается не злом, а только добром.

Ясная Поляна. 14 марта 1909.

Печатается по машинописной копии, вклеенной в копировальную книгу 8, л. 548. Переработанный Толстым текст этого письма под названием «Ответ польской женщине» впервые был напечатан в журнале «Жизнь для всех», в декабрьском номере за 1909 год. Статья вошла в том 38 Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого (стр. 150—155). Текст письма, послужившего первоосновой статьи, публикуется впервые.

## 6. Л. Н. Толстой — неустановленному лицу

11 октября 1909. Ясная Поляна.

Смерть — это разрушение органов, которые воспроизводят в нас идею времени. Так что неверно связывать идею будущей жизни с идеей смерти.

Лев Толстой

11 октября 1909.

## 7. Л. Н. Толстой — неустановленному лицу

11 октября 1909. Ясная Поляна.

Смерть — это условие жизни.

Если жизнь — это благо, смерть должна быть тоже им.

Лев Толстой

11 октября 1909.

Письма 6 и 7 печатаются по копировальной книге 8, л. 601 (181).

Перевод с французского языка. Вероятно, это два варианта письма к одному и тому же лицу.

Публикация, подготовка текста и комментарий Л. В. ГЛАДКОВОЙ.

## Вопросы Л. Н. Толстого духобору

В середине 90-х годов Л. Н. Толстой познакомился с духоборами. Сначала это знакомство было заочным — по переписке, а потом и личное. Толстой неоднократно встречался с руководителем общины П. В. Веригиным и другими духоборами. Он с волнением следил за трагическими событиями, происходившими в это время на Кавказе, — за отказ от несения воинской службы духоборы жестоко преследовались правительством. В феврале 1897 года они наконец получили разрешение переселиться из России за границу и обратились к Толстому за помощью. «Переселение духоборов поглощает теперь все мое внимание», — сообщал он И. М. Трегубову (71, 338). Толстой обратился с письмами к частным лицам и в русские и иностранные газеты, призывая оказать духоборам помощь выбором места для их переселения и «собранием денежных средств для осуществления самого переселения» (71, 316). Сам же Толстой, уже отказавшись к этому времени от гонораров за публикацию своих сочинений, решает отступить от этого правила. Гонорар за роман «Воскресение», изданный в России и за границей, он передает в помощь духоборам. С неизменным восхищением он отзывался о духоборах, называя их людьми «25 столетия» (71, 497).

В отделе рукописей ГМТ хранится небольшое число разрозненных и неатрибутированных записей Л. Н. Толстого. Они не были включены в девяностотомное собрание сочинений и неизвестны исследователям. Работа с ними ведется много лет. Э. Е. Зайденшур и И. А. Покровской было подготовлено несколько публикаций. Мною для атрибуции был выбран план, составленный Толстым для неизвестного автора (духобора), который должен был описать жизнь духоборческой общины, придерживаясь намеченных Толстым пунктов:

«1) Состав семейства, место жительства. Имена.

2) Детство. О том, как жили прежде.

3) Процесс за дом. Как начинался.

4) Смерть Калмыковой. Как ее место заступил Веригин.

5) Прежняя жизнь Веригина.

6) Обновление. Как перестали пить, курить...

7) Как делили деньги. Все ли или одни Горийские? Как можно подробнее об этом.

8) Как делили скот.

9) Ссылка стариков и Веригина. Когда?

10) Как решили отказаться от военной службы.

11) Сожжение оружия (менее подробно, известно). Екзекуция, сечение, изнасилование (подробно).

12) Высылка, раззорение.

13) Отказ рекрутов.

14) Отказ билетных.

15) Дисциплинарный батальон.

16) Тюрьма Горийская и Тифлисская.

17) Пересылка в Сибирь.

Все более (биограф.) о том, что сам видел; в чем сам участвовал».

Запись эта была сделана на свободной странице письма дворника Е. И. Чертовой П. М. Виноградова к Толстому от 8—12 октября 1898 года. Дата на письме позволила предположить, что план был составлен Толстым осенью 1898 года, возможно, во второй половине октября, и вести дальнейший поиск более целенаправленно (определив хронологические рамки так: октябрь 1898—1899 год). Предстояло установить, для кого из духоборов был составлен план и воспользовался ли им автор.

Просматривая публикации документов и статей о духоборах, я обратила внимание на небольшую книгу: «Рассказ духоборца Васи Позднякова. С приложением документов об избиении и изнасиловании духоборческих женщин казаками». Она напечатана в 1901 году в Лондоне под редакцией и с предисловием В. Д. Бонч-Бруевича, в издании В. Г. Черткова «Свободное слово», серия «Материалы к истории и изучению русского сектантства». В конце рассказа Позднякова стояла авторская дата — 1898 год. Кроме того, Поздняков оказался автором еще нескольких очерков: «Правда о духоборах. Жизнь духоборов в Закавказье и в Сибири», «Жизнь духоборов в Канаде», опубликованных в «Ежемесячном журнале литературы, науки и обществен-

ной жизни» (1914, № 6, 7, 8—9, 10). Публикация в № 7 открывается воспоминаниями В. Позднякова о поездке в октябре 1898 года к Толстому. «Я тогда,— писал он,— на лошадях доехал до города Тобольска и дальше на лошадях до города Тюмени, где сел на поезд и приехал в Ясную Поляну. Побыл 4 сутки у Л. Н. Толстого». К этому тексту А. К. Черткова дает следующее примечание: «За это-то время им был написан «Рассказ Васи Позднякова» (об экзекуциях над духоборами в 1895 г.), изданный нами в Англии в 1901 году».

Василий Николаевич Поздняков, духобор, за отказ от воинской службы был сослан в 1895 году в Якутскую область. Осенью 1898 года он самовольно уехал в Обдорск, Тобольской губернии, к сосланному П. В. Веригину. Повидавшись с ним и получив от него письма к Толстому и кавказским духоборам, отправился на Кавказ, с заездом в Ясную Поляну. На обратном пути он второй раз посетил Толстого. После встречи с Поздняковым Толстой писал 1 ноября 1898 года В. Г. Черткову: «Очень меня радостно поразила тот человек, про которого вам расскажет Арчер. Боюсь и здесь написать его фамилию, как бы не попало каким-нибудь необычайным случаем врагам и не повредило ему. Какая удивительная ясность сознания мысли и чувства, и при этом и выдержка, и энергия, и, сверх всего, внешняя привлекательность... Страшно боюсь за него, хотя он один из тех людей, которые сами ничего не боятся. Вот такое нужно общество, где вырабатываются такие люди. И общество это есть» (88, 140).

Но ни в дневниках, ни в письмах Толстого не удалось найти даже косвенных упоминаний о работе над рассказом. Просмотрела я и письма к Толстому от В. Д. Бонч-Бруевича и В. Г. и А. К. Чертковых, редактора и издателей книги Позднякова. Но и в этих письмах соблюдалась строгая конспирация, имен почти не называлось, письма старались посылать с оказией, через надежных людей. И все же письмо В. Д. Бонч-Бруевича от 18 октября (по новому стилю) 1898 года представляет интерес для нашего сюжета.

Дело в том, что в начале сентября 1898 года В. Д. Бонч-Бруевич по приглашению Чертковых переехал из Швейцарии в Англию. Они просили его помочь наладить издание «Свободного слова» и «Листков Свободного слова». Сам В. Д. Бонч-Бруевич к этому времени серьезно занимается изучением сектантского движения, его историей. Религиозно-общественное движение в России его особенно интересует. В большом письме к Толстому 18 октября 1898 года он рассказывает о предстоящей работе у Чертковых, сообщает, что настаивает на скорейшей публикации материалов по сектантскому движению, собранных Чертковыми, и просит Толстого помочь в сборе сведений о правительственных гонениях на сектантов в России. «Пишу все это Вам потому, что думаю, что Вы сочувственно отнесетесь ко всему этому, и я уверен, что если Вы только захотите, то можете очень много сделать для этого дела» (ГМГ). Надо сказать, что и в плане, составленном Толстым, отводится значительное место рассказу о тех преследованиях, гонениях, истязаниях, которые терпели духоборы от правительства. Это обстоятельство навело меня на мысль провести сверху двух текстов, точнее — сопоставить тексты и попытаться таким путем установить, является ли текст рассказа или его фрагменты ответом на пункты, намеченные Толстым. Сверка показала, что автор явно не укладывался в план, ему предложенный, часто его повествование ведется не в той последовательности, которая была намечена Толстым, но по существу содержание рассказа — это ответы на пункты толстовского плана. Отдельные места можно считать прямым ответом на намеченные вопросы. Приведу несколько примеров.

Толстой предлагает автору начать рассказ с краткого описания своей семьи. Известно, что сам он неоднократно именно так начинал свои сочинения автобиографического характера («Моя жизнь» — 23, 469; «Исповедь» — 23, 488 и др.), считая, что эти сведения неслучайны и сообщают важное об авторе. У Толстого: «1) Состав семейства, место жительства. Имена». Рассказ начинается так: «Я родом из деревни Богдановки, Тифлисской губ., Ахалкалакского уезда, из духоборческой семьи, которая живет в Закавказьи с тех пор, как духоборцы были выселены туда Николаем первым за их веру. В нашем семействе двадцать душ: отец, мать, незамужняя сестра, три женатых брата, с детьми,— в том числе и я — и один брат холостой». Далее Толстой предлагает описать: «Детство. О том, как жили прежде». Автор продолжает свой рассказ: «Учение духоборцев издавна было таково, каково мы теперь исповедуем. В прежнее время оно исполнялось строго: тогда у духоборцев все было общее, они жили по-братски, на военную службу не ходили, вина не пили, не курили, мяса

не ели. Но на моей памяти было время, когда многие братья, разбогатевши стали отступать от исполнения прежнего исконного учения нашего». У Толстого: «4) Смерть Калмыковой. Как ее место заступил Веригин». В рассказе В. Позднякова: «Лукерье Калмыковой в то время было уже около 50-ти лет. Так как ей одной трудно было распорядиться общественным имуществом и вести все это сложное дело, то еще при ее жизни, по ее и общему согласию, на помощь ей избрали молодого духоборца Петра Веригина с тем, чтобы он подробно узнал дело и по смерти Калмыковой остался бы заведовать общественным добром. Веригину было в то время лет 22 или 23. Он при жизни Калмыковой лет пять усердно и добросовестно помогал ей во всем и за это его очень любили. После этих пяти лет Калмыкова умерла и, согласно обычаю духоборцев, не оставила после своей смерти ни духовного завещания, ни каких бы то ни было бумаг, кроме векселей на банк. ...Вскоре после смерти Калмыковой был съезд хозяев, на котором решили на место Калмыковой выбрать Петра Веригина». И последний пример. У Толстого: «9) Ссылка стариков и Веригина. Когда?» В. Поздняков, рассказывая о борьбе внутри общины за лидерство, о ссылке Веригина пишет так: «Но так как общество его Веригина не отпустило, то Зубков вместе с Губановым и Ахалкалакским начальством начали стараться сослать его в Сибирь, обвинивши его в подстрекательстве к бунту. Дело Веригина началось в 1887 году. По окончании его он был сослан в Колу Архангельской губернии».

Результаты сверки и свидетельство А. К. Чертковой дают основание утверждать, что план был составлен Толстым для духобора В. Позднякова. Возможно, это было связано с тем, что В. Позднякову предстояло в короткое время (за четыре дня) описать жизнь духоборческой общины в один из очень сложных и трагических периодов ее существования: внутреннего раскола, борьбы за лидерство и соблюдение первоначальных принципов, преследования со стороны правительства, сопровождавшегося жестокостью, ссылкой части духоборов в Сибирь. Искренний, достоверный рассказ В. Позднякова о событиях, реально происходивших в 80—90-е годы, является важным историческим документом, что было отмечено еще В. Д. Бонч-Бруевичем в его предисловии к публикации 1901 года. Но там же он обратил внимание на то, что В. Поздняков «совершенно умалчивает о несомненном влиянии руководителя П. В. Веригина на все поступки и решения духоборческого общества». Вместе с тем В. Поздняков оставил без ответа и предложенный Толстым вопрос: «5) Прежняя жизнь Веригина». Это не случайное недоразумение. Об этом свидетельствуют очерки В. Позднякова, в которых описывается жизнь духоборов в 90—900-е годы в России и в Канаде. Дело в том, что о противоречиях, несогласии, сложностях жизни духоборческой общины, о которых рассказывает В. Поздняков, в 900-е годы стало известно и Толстому. Об этом писали духоборы, и он неоднократно высказывал свое отношение к происходящему. Под впечатлением одного из таких известий он не без горечи заметил: «Духоборцы, тысяча человек, до сорока лет, отлучаются от семейств и идут на заработки. Каждому приходит вопрос: для чего? Чтобы были паровые плуги, престиж... Веригину выстроил комфортабельный дом, имеет слуг. Деспотическое правление... Все это распадается» (30 августа 1905 года.— Маковичкий Д. П., «Яснополяские записки».— «Литературное наследство», т. 90, кн. 1, стр. 390).

В настоящую публикацию включен фрагмент из очерков В. Позднякова: «Правда о духоборах в Закавказье и в Сибири», написанных в 900-е годы и опубликованных (как уже говорилось) В. Г. и А. К. Чертковыми в 1914 году.

«Мы в этом своем описании,— пишет Василий Поздняков,— имеем целью разъяснить внутреннюю сторону жизни духоборов, которую еще никто из посторонних людей не мог описать, а потому мы наружную сторону, которая уже описана, не пишем подробно, а берем только некоторые пункты, которые необходимы для разъяснения.

О жизни духоборов в Сибири нам еще не приходилось читать описания, а потому мы опишем здесь хотя вкратце».

*...Сибирскими духоборами мы называем тех духоборов, в которых еще в 1893 и 1894 годах возродилось сознание от слова и примера Христова, в том, что все люди одного Отца деги, а между собою братья, следовательно, должны и жить по-братски, любить и уважать друг друга; а вредить или насиловать друг друга это есть преступление против Бога и совести, а тем более лишать жизни человека. Всякий, убивающий человека, уподобляется Каину, первому братоубийце. Этот вопрос особенно глубоко затронул людей, входящих в состав военной службы. Всем было понятно слово*

«Взявший меч от меча и погибнет». Всякую войну они считали делом греховным, но от военной службы в то время они еще не отказывались.

Петр Васильевич Веригин, в то время в ссылке в Архангельской губернии, познакомился с учением Льва Николаевича Толстого об отрицании военной службы, с чем согласился сам и передал всем духоборам, чтобы отказывались от военной службы, а потому число желающих отказаться от службы сразу умножилось: почти все духоборы, состоявшие на действительной службе и в запасе армии и в ополчении, единогласно дали обещания более не служить. По наружности казалось, что все они единомысленные, но внутренними стремлениями они разделялись на две партии: одни из них хотели отказаться от убийства потому, что они сами сознали, что убийство противно закону любви и совести. Они укрепляли свои убеждения учением Христа и заповедью: «не убий». Они решили лучше помереть за отказ от убийства, чем идти убивать других и самому быть убитому на поле битвы. А вторые хотели отказаться от службы для того, чтобы исполнить приказание Веригина и надеялись, что Веригин сохранит их во время страданий, ожидаемых со стороны правительства.

В 1895 году сознание настолько выросло, что многие начали действовать самостоятельно; заявили правительству, что более не будут убивать никого из людей, потому что считают всех братьями. Находящиеся на действительной службе сдали имеющееся у них оружие, а состоящие в запасе и в ополчении сдали военные билеты. Правительству такое неожиданное явление показалось слишком преступным, а потому оно приняло самые строгие меры, чтобы подавить движение. Сдавших оружие сначала заключили в военную тюрьму и назначили военный суд. Сдавших военные билеты начали карать вместе с семьями: наслали на них самовольных казаков, которые производили самые бесчеловеческие издевательства, о чем подробно сказано в моем рассказе в 1898 году. Я был в числе запасных и вместе с другими был наказан тремястами ударов казацких плетей, после чего пролежал 20 дней под строгим арестом без медицинской помощи; никого не допускали и ничего не давали кроме хлеба и воды. По выздоровлении снова был призван для повторения военной службы и за непринятие оружия был заключен в тюрьму, где был три года, а потом был выслан в Сибирь, в Якутскую область, на 13 лет. Сдавших оружие военный суд приговорил в дисциплинарный батальон, где с первого дня началась кровавая расправа. Хотя многие приготовились помереть, но сразу умереть им не пришлось. Их наказывали розгами. Розги были приговорены из колючих ветвей акации, так что при ударах колючки оставались в теле. На второй и третий день приходилось вытаскивать колючки друг другу из смешанного с кровью тела. Наказанных розгами бросали в холодный темный карцер; через сутки опять требовали исполнения военных обязанностей и за отказ снова били по избитому телу. Так продолжалось долго и конца не было видно этим мукам. Кроме того пришлось голодать. С общего котла не пользовались, потому что не ели мяса. Кроме мяса ничего не давали. Хлеба давали очень мало. Все крайне истощали физически, многие заболели, но доктор в больницу не принимал, принуждая есть мясо. Священник требовал исполнения церковных обрядов, и потому в церковь гнали взводные прикладами и кулаками. Положение было невыносимо, так что те, которые делали это бессознательно, по научению Веригина, не могли переносить такого мучения. При первом испытании многие отреклись от начатого дела. А те, которые сознали сами и оценили, те остаются непоколебимыми и до сего времени. Положение их изменилось тем, что их выслали в Сибирь в Якутскую область на 18 лет. Их отправили в путь еще зимою. В то время в Сибири железная дорога только еще строилась, а потому им пришлось идти более пешком до Александровской тюрьмы Иркутской губернии, откуда их отправили на лошадях до реки Лены. Там посадили их на паузки и отправили в Якутск. На всем пути их задерживали в каждой пересылочной тюрьме, а потому они прибыли в город Якутск осенью 12-го сентября. И в Якутске правительство встретило их не лучше дисциплинарного батальона. Назначили им местожительство в расстоянии 600 верст от города Якутска, в лесной пустыне, где живут только дикари якуты и тунгусы, в разброску один от другого верст на 20 и на 30. Хлеба они совсем не едят,— питаются мясом и рыбой.

У сосланных духоборов денег было около 10 рублей на человека, и за эти деньги им надо было завести зимнюю одежду и кормиться. Они распределили деньги двояко: купили для нескольких человек зимнюю одежду, а остальные деньги оставили на покупку хлеба. Якутский губернатор назначил чиновника для сопровождения духоборов на место. Они местами шли пешком, а кое-где ехали на обывательских лоша-

дах. Так прошли 200 верст до села Амга, где находилась ближайшая к назначенному духоборам месту почтовая станция, а далее Амги ехать на подводах было невозможно. Дороги не было, а потому им там пришлось ехать верхом на быках, а большую часть идти пешими 200 верст до реки Алдана, на берегу которой есть небольшое скопческое село — «Чаран» по-якутски, там они на остальные деньги купили себе несколько мешков муки, крупы и картошки и на лодках спустились вниз по Алдану 200 верст, остановились в устье реки Ноторы, сошли на берег, где не было ничего кроме их. Только 4 версты от Алдана, вверх по реке Ноторе стояла брошенная якутами юрта. За юрту духоборы должны были заплатить 10 рублей и заплатили. Чиновник, указывая духоборам юрту, говорит: «В этой юрте вы должны жить. Да чтобы никто не имел право самовольно отлучаться». За отлучку угрожал строгое наказание. Чиновник собрал живших в том округе якутов и строго приказал им следить за духоборами. Сам чиновник уехал назад. Он приказал уряднику, чтобы тот каждый месяц приезжал для проверки духоборов.

Наступила холодная якутская зима. Реки замерзли. Духоборы уже по снегу кое-как сделали в юрте русскую печь для печения хлеба. Муку и другие продукты они распределили так, чтобы всюлю не наедаться, а есть по столько, лишь бы не помереть с голоду. В юрте было настолько холодно, что все стены и крыша были обмерзшие льдом. Зимней же одежды у них для всех не хватило, а потому им приходилось попеременно одевать теплую одежду, чтобы согреться и приготовить дрова для отопления. В Якутске зимой почти что бесконечная ночь, освещения у них не было, а спать им не давал холод. То они делали так: так половина людей, которые одевались в теплую одежду, ложились спать, а которым не хватало одежды, те бегали впопыхах по юрте и таким путем согревались попеременно.

Как они ни старались беречь хлеб, а все-таки еще не прошло половины зимы, а хлеба у них осталось совсем мало. Им грозила холодная и голодная смерть. Приезжал для проверки их урядник. Они заявили ему, что хлеб у них кончается и что они будут искать себе пропитание. А урядник говорит: «Это не мое дело. Пишите просьбу губернатору, чтобы разрешил вам на заработки, а я только должен проверить вас». Они написали и послали с урядником, но ответ не мог прийти ближе двух месяцев. Якуты тоже следят, чтобы не ушли духоборы. Положение было безвыходное. Они решили, несмотря на угрозы чиновника и надзор якутов, достать себе пропитание. Они выбрали из среды своей каких-то поздоровей людей столько, на сколько хватало теплой одежды. Те пустились в путь по направлению к скопческому селу, 200 верст, где они раньше купили муку и другие продукты. Погода была в то время очень холодная и туманная и был очень глубокий снег. Дороги они не знали, а к тому же они были крайне истощены физически и потому этот путь им был настолько затруднительный, что они уже не надеялись живыми добраться до села. К счастью, им попадались кое-где на пути якуты и гунгусы, где они понежнго обогревались. Прийдя в село, они просили работы от жителей, скопцов, но работы было не в достачу, а потому цены ими назначались ниже обыкновенных цен. Они нанимались в лесу пилить дрова и молотить хлеб на ледяных токах. Выработывали они по 30 и 40 коп. в день и тем кормились сами и поддерживали жизнь своих товарищей, отправив им необходимые продукты и одежду.

Я был во второй партии ссылаемых духоборов. Нас отправили из Тифлисской тюрьмы на Пасху, и мы шли все лето. По дороге нас застала зима, так что нам пришлось зимовать в Александровской тюрьме, Иркутской губернии. Там нас держали 9 месяцев. С общего котла мы не пользовались, потому что не ели мяса, а хлеба нам не хватало. В коморах было холодно, так что за зиму все мы сильно истощали. Большая половина людей ослепла ночной слепотой. Когда весной тронулись в путь пешими до реки Лены, то почти все на дороге простыли, а когда застанет ночь, то совсем ничего не видят; берутся несколько человек слепых за одного, который видит. Так что уж в конце июня мы приплыли к устью Ноторы, где нас встретили наши братья из первой партии. Все они были очень истощавшие, но духом они были очень богды. Никто из них не жаловался на пережитые ими страдания. Радостная встреча с братьями закрыла все прожитое горе. После нас прошли еще две партии наших братьев. Мы с собой тоже привезли из города Якутска несколько мешков муки и все вместе начали строить большой дом, подготавливаясь снова к зиме. Завели несколько коров и лошадей, начали корчевать лес и пахать землю для посева хлеба к будущему году.



## А. Л. ТОЛСТАЯ

## ПИСЬМО К А. И. ТОЛСТОЙ-ПОПОВОЙ И П. С. ПОПОВУ

«Больше всего на свете хочу свободы. Пусть нищенства, котомки, но только свободы» — так выразила свое жизненное кредо младшая дочь Льва Толстого Александра Львовна Толстая (1884—1979) в одном из писем накануне отъезда в Японию в 1929 году, куда она была приглашена для чтения лекций об отце.

Из Японии она часто писала родным в Россию, в частности племяннице и другу Анне Ильиничне Толстой-Поповой и ее мужу Павлу Сергеевичу Попову. В этих письмах подробные описания почти двадцатимесячного пребывания Александры Львовны в Японии, которые гораздо позднее нашли свое отражение в книге «Дочь» в части, озаглавленной «Волшебная страна — Япония». После переезда в 1931 году из Японии в США и отказа вернуться в СССР связь Александры Львовны с Родиной прервалась на многие-многие годы. С появлением в свет ее воспоминаний в журнале «Новый мир» (1988, № 11, 12), изданием в 1989 году в Москве ее книги «Отец» и ожидаемым изданием книги «Дочь» имя той, которую «исключительно любил» ее отец Лев Николаевич Толстой, возвращается к нам из полузабвения.

11 мая 30 г.

Милые друзья мои Анночка и Пашенька!

Иль я рассердила Вас чем-нибудь, или вы меня разлюбили, или вы чем-нибудь очень очень заняты, но я ничего не получаю и зато сковала...

Вот сегодня — воскресенье, жара смертная, все гуляют, наслаждаются, Туся<sup>1</sup> и наша жиличка даже купались в море — а мне грустно. Может быть, мне грустно потому, что я пишу о своем отце и вспоминаю, как мы с ним любили друг друга в последний год его жизни, пишу, пишу и плачу так, что глаза все застилает и я уже не в силах больше писать<sup>2</sup>. А Леля<sup>3</sup> сверху слышит, как я сморкаюсь, и кричит:

— Ну, ну, довольно уже.

Она привыкла, что я почти каждый день все плачу, когда пишу. Если бы ты, Анночка, писала со мной вместе, ты бы тоже вместе со мной плакала бы.

Анночка, душка, у меня есть и веселенькое. У меня уже поспела красненькая маленькая редиска на грядочке, а огурцы дают по четвертому листу, а баклажаны по пятому, а помидоры совсем высокие, и шпинат через неделю будем есть. Я купила себе за полтинник леечку и поливаю утром и вечером. А еще расскажу: в саду оказалась одна роза. Мне сказали, что ее надо поливать добром, чтобы было хорошо, я пробовала лезть в «америку», но ничего не вышло, тогда я утром рано, когда все спали, выкопала ямку кругом кустика ..... а потом опять закопала (Пашке не давай читать) и стала каждый день поливать ее водой, и вчера распустились две громадные, тяжелые розы, темно-красные, пахнущие водяными лилиями! Знаешь? Еще веселенькое: иногда, когда жилицы нет, Туська в школе, мы с Лелей, как две школьницы, садимся на велосипед (иногда даже в мое рабочее время) и дуем. Здесь есть дорога, которая идет от Кобэ до Осака 40 верст по асфальту. Мы летим, обгоняем боев, автомобили обгоняют нас. И на днях мы свернули влево по сосновой аллее. Ехали, ехали и почему-то, по наитию, круто повернули вправо и так и ахнули. Мы увидели большой, большой пруд. Шли круги от играющей рыбы и квакали лягушки. Мы сели отдыхать потные, но радостные, но, к сожалению, мы представляли из себя такое архиевропейское зрелище, что из разных маленьких домиков, с раздвижными бумажными стенками, крытых черепицей, стали выползть кумушки, с младенцами на спинах, которых они, попясывая, качали. Мы пробовали закрыть глаза, чтобы представить себе, что мы не в Японии...

На днях было следующее:

В парадную дверь постучали, в то время как я писала. Я бываю в такие минуты зла. Я нехотя пошла открывать двери. Раздвинула их и увидела троих. Один слепой, которого вел молодой мальчик — студент, и высокий человек в рыжей толстовке, рыжей шляпе и с драной коленкой. Я пригласила их войти. Слепой оказался знакомым профессором, которого я видела еще в Токио. А человек с драной коленкой оказался членом одного религиозного общества. Я пригласила их войти. Они разулись, я принесла имеющиеся в доме табуретки, усадила их. Они, оказывается, пришли приглашать меня на лекцию в один из самых старинных городов Японии — Киото. Я согласилась, хотя мне тяжело было отрываться от книги и составлять лекцию на новую тему: «Уход и смерть отца»<sup>4</sup>.

6-го состоялась лекция. Когда мы на автомобиле подъехали, у меня сразу сердце захолонуло, толпа стояла у парадного входа. Оказалось более 2000 человек. Мест не было, сидели на полу, стояли в проходах. Киото — это один из самых культурных городов, здесь много высших учебных заведений, один из лучших государственных университетов. Слушали прекрасно, внимательно, хорошо. Члены религиозного общества метались, рассаживая публику, подставляя стулья, угощая нас чаем. Все плохо одеты, бедно, но все радостно, счастливо улыбаются...

Председатель этого общества — высокий, красивый старик сказал мне, что просит нас поехать к нему в общину — посмотреть, как они там живут:

— Община эта организована в память вашего отца, — сказал он мне, — когда я впервые прочел «В чем моя вера?»<sup>5</sup>, я задумал жить так, как велел ваш отец. Пожалуйста, когда вы приедете к нам, не говорите, я приехала, а скажите: я вернулась!

Ну про лекцию писать особенно нечего. С переводчиком читать тяжело, но и встретили и провожали хорошо. Материально это дало мне 250 рублей. Самое интересное следующее:

Поздно вечером на автомобиле мы покатали за город. Ехали долго по темным улицам, по закоулкам. Приехали к большой горе, которая едва очерчивалась в темноте, где-то журчала вода. Разулись, вошли в дом. Хозяин пригласил нас к столу, накрытому по-европейски (для нас). Я очень устала, но мой переводчик корреспондент Осака—Маиничи Курода интересовался обществом и все расспрашивал про него. Мы долго говорили. Общество возникло 25 лет тому назад. Всех членов больше 1000, но здесь живут 150 человек — работают на земле, кормятся с 3 с половиной десятин! Все вегетарианцы, не пьют, не курят, едят черный рис (самый дешевый). Кто-то из сидящих спросил, какие права имеют члены общества. Председатель ответил: у нас нет прав, у нас есть только обязанности.

— Во что вы верите? Вы буддисты? Христиане, шинтоисты?

— Мы не называем себя ни христианами, ни буддистами, ни шинтоистами. Мы берем из религий то, что близко нам по духу, что имеет смысл, что помогает нам жить.

— Чем вы живете?

— Мы часто, часто читаем сказку «Об Иване дураке»<sup>6</sup>. Мы трем листья, и сыплется золото. Оно нам не нужно. Мы всегда сыты, мы счастливы. Нам подарили эту землю, построили дома.

— Вы работаете на стороне?

— Да. Но мы не берем платы с тех, кто не понимает нашей веры, для этих мы работаем бесплатно. Нам дают деньги те, которые нас понимают, сочувствуют нам.

— Ну вот мне завтра нужен работник...

— Мы вам завтра пришлем его.

— Кому угодно?

— Да, кому угодно, кто нас попросит, чаще всего мы чистим

уборные, потому что никто не любит этого делать, мы чистим их бесплатно тем, кто просит нас.

Наутро мы встали рано, нас торопили на утреннюю молитву. Мы вымылись на дворе чистой, холодной водой с гор и пошли.

В японском доме молилось человек сто на коленях. Один впереди бил в какой-то предмет, который гулко раздавался по зданию. И в такт гудели, как пчелы в ульях, люди. Потом начальник сказал проповедь, а затем говорила я с переводчиком.

А затем мы ходили смотреть, как работают люди.

— Вон работают аристократы, скрывающие свои имена,— сказал нам начальник, указывая на людей, которые в кимоно пололи на бугре — женщины и мужчины.— Они пришли сюда узнать, как люди живут в бедности и труде. А вон человек, окончивший два факультета, а вон тот — один из богатейших людей Японии, который все роздал и пришел к нам.

Зашли в дома. Один дом устроен так, что наверху есть красиво отделанная комната, в вазе стоит, по-японски, один цветок — мак. Открыли нечто, что похоже на алтарь, в глубине портрет моего отца. Эта комната для всякого, кто желает сосредоточиться на самом себе, думать о «Свете» (так они называют Бога), любить доброту. Над портретом отца: герб — круг—ноль, ничто или все, сказал председатель.

Мы шли изумленные, потрясенные всем, что мы видели, по дороге встречались толстые, веселые ребята с матерями, журчала вода, темнели над нами поросшие соснами горы. «Эх, кабы отец мог это видеть»,— думала я.

Мимо дома струился канал. Канал, который провели из большого озера, пробив для этого громадные пространства в горах. Канал ведет до Киото 9 верст, оттуда в Осака. Мы попросили, чтобы нас отправили в Киото на лодке по каналу. Так и сделали, мы сели на тюки с рисом. Двое лодочников управляли, и мы по течению поплыли мимо красивых зеленых берегов, цветущих садов, зеленых гор, деревушек. Плыли беззвучно, потому что лодочник только управлял веслом, но не греб. И вдруг въехали в тоннель, выскочили, попали в другой. Лодочник зажег свет, и мы плыли в жуткой темноте, где вода капала сверху, гулко раздавались голоса и таинственно плыли мимо нас встречные лодки, которые тянули против течения по канату около стены.

Вот и все. Пишите. Я целую вас, скажите всем, что нехорошо так забывать, я же люблю и думаю, и вспоминаю!

Любящая вас Саша.

Анночка, жалко, что ты этого не видишь! Я люблю тебя, душка.

Поздравь от меня Ольгу<sup>7</sup>, я очень, очень за нее рада.

<sup>1</sup> Туся — Христианович Мария, дочь О. П. Христианович.

<sup>2</sup> «Воспоминания о Толстом» А. Л. Толстой были изданы в 1930 году в Токио большим почитателем Толстого издателем Иванами, перевел их на японский язык профессор Ясуги.

<sup>3</sup> Христианович Ольга Петровна, близкая подруга А. Л. Толстой. Была преподавательницей русской литературы в яснополянской школе. С ней и ее дочерью Александры Львовны уехала осенью 1929 года в Японию.

<sup>4</sup> В 1923 году в Москве в сборнике «Толстой. Памятники творчества и жизни» (вып. 4, под редакцией В. И. Срезневского) была впервые опубликована статья А. Л. Толстой «Об уходе и смерти Толстого» (стр. 131—184). Позднее она была перепечатана целым рядом зарубежных издательств.

<sup>5</sup> Толстой А. Н. «В чем моя вера?», 23, 304—512.

<sup>6</sup> Толстой А. Н. «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Меланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах». 25. 115—138.

<sup>7</sup> Ольга Константиновна Толстая, первая жена Андрея Львовича Толстого, брата Александры Львовны.

---

---

ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА

\*

## ШАЛИКОВО

Утром жаркое солнце пред темной стеною еловой,  
И просвечен у дуба весь купол салатных, тончайших листков.  
И опять в нашем небе сияющем сине-лиловом  
Воздвигаются пышные горы искристых, как снег, облаков.

Сильно парит к полудню; слышней, глянцевитее гряды;  
И блистающий дождь неожиданно сыплет сквозь солнце на сад,  
На сараи, на вербу, на прелый штакетник ограды;  
И так остро-алмазно травинки, и щепки, и ветки горят.

Эти дни за работой в саду, во дворе, в огороде, по дому,  
Чаепитья за круглым столом на веранде и прелесть прогулок лесных.  
Наблюданье заката из сетки гамачной — и пестрое по золотому,  
И зеленое с палевым небо в просветах чащоб смоляных...

А в шатрах черных елей ночуют какие-то птицы.  
Мне всегда представлялись такие шатры превосходней всего:  
На согретой и скользкой настилке из игл приютиться  
И не знать ничего, кроме леса и тонкого сна своего...

Прошлый год мы ходили в Денисьево лесом, полями.  
Все казалось, блестящая крыша усадьбы как призрак встает  
В бузине металлической, над пустырем с лопухами,  
За живой, нерушимо-волшебной кирпичною кладкой ворот.

Вереница же изб вся окрашена краской, подобной оливкам;  
Потемневшего сена ряды, дряхлость ветел над ряской пруда;  
И знакомая лошадь, которую баба с обветренным ликом  
Ставит прямо к крыльцу магазина на станции нашей всегда...

...А на станции чад тополей и черны после ливня платформы.  
Пролетел скорый поезд, напомнив мне зимний Берлин:  
Гиацинтовый тонкий мороз, запах камня в тумане упорном —  
Все собою тогда забивал дым от бурого угля один!..

Но к душистым гераням в заплаканных окнах можайских,  
Где грачиные стаи на светлой заутрене близ куполков, —  
Все-то жидкая грязь по дорогам и виды поистине райских  
Светлых рощ, косогоров, ручьев, дальних розовых гор облаков...

Тут особенно, по-стариковски, по-детски, уютно и грустно,  
Если в комнатах низких темнеет от туч, находящих с полей,  
Иль закат посылает на стену небрежно-искусный  
Золотисто-дрожащий рисунок маячащих в окнах ветвей.

К Иоакиму с Анной в Можайске мой путь постоянный.  
Он не лучше ничуть обретенных другими путей.

Для меня открывалось магическим именем Анна  
Прежде много на свете заветных и тайных дверей...

С грязной площади, в летние будни всегда многолюдной,  
Мимо детских колясок с рассадою, не удержавшись, пройдя,  
Я ступаю во дворик, что выложен плиткою пестро и чудно,  
И на бежевой плитке стремительно сохнут слезинки дождя.

Этот воздух хранит отражения всех, в нем бывавших...  
Я не буду оглядывать росписи сводов и в купол глаза подымать,  
Я из тех, молчаливых, стесненных и не целовавших  
Ни икон и ни рук... Да и вряд ли смогу целовать.

Но откликнется сердце всей музыке хора согласной,  
И расправится дух мой смятенный, послужит во имя Твое.  
Эту милую, тихую, с русой косою прекрасной  
Сероглазую девочку будут крестить... Уж не Анна ли имя ее?

И не Анна ли та, что все руки себе исколола  
На телеге в лесу от ударов тяжелых ветвей?  
Помоги же им всем, милосердный Можайский Никола,  
Ты ведь держишь игрушечный сей городок в кипарисной ладони  
своей!

И в Твоем городке на ладони, во храме, во скупости красок,  
Я стою позади очень многих, и полная сумка в руках  
Бархатистых, чернильно-лимонных анютиных глазок  
С липкой черной земелькой, в бумажных подмокших кулечках.



---

---

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

\*

## НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Рассказ

**У** Крутикова Владимира Владимировича никаких сомнений не оставалось: развод!

Вопрос был ведь решен очень-очень давно — когда настало время жениться (двадцать шесть лет тому назад), Вова встретил очень неплохую девушку, Верочку Соломатину. С голубыми глазками и славной фигуркой. С приятным голоском. И чтобы как-нибудь нечаянно не жениться на плохой, он и женился на хорошей и уж во всяком случае — на неплохой. Они оба при этом не обманывались, понимали, что это всерьез, это надолго, но не навсегда. Вот они поженятся, вот они народят деток, мальчика и девочку, вот они их вырастят, а дальше видно будет — вдруг к этому времени Володя Крутиков встретит не то что хорошую, а прекрасную женщину?!

У Верочки был покладистый характер, и когда она выходила за Вову, она и эту перспективу привяла во внимание спокойно, без трагизма.

Но вот бывает же: настало время, и перспектива сбылась — Вова встретил прекрасную женщину, а Верочка приобрела широкую известность как экономист-теоретик — перестройка помогла, перестройка захватила ее, — она ездила с лекциями по областным городам, преимущественно в Воронеж, и так была лекциями поглощена, что сообщение мужа о его увлечении пропустила мимо ушей. Не до того ей было, она жила общественной жизнью. И даже подумывала о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в народные депутаты эрэсэфэсэр. Кроме того, пристрастие к Воронежу могло ведь иметь значение не только лекционное. Крутикову хотелось думать: имеет! Ну, как ему хотелось, так он и думал.

Совсем-совсем в другом положении оказалась Сонечка, Софья Николаевна Кудрявцева из планового отдела.

Когда выяснилось, что она влюблена в Крутикова, когда они объяснились, когда стали встречаться, отчаянию ее не было конца.

— Господи, — говорила она Крутикову, — вот уж чего я всегда боялась как огня! Влюбившаяся женщина, мать и примерная жена, — да это же несчастное существо! Чего мне надо-то? На работе чего-нибудь делала, по магазинам бегала — где чего выбросили, — платьями и молодостью госпожи Тэтчер восхищалась, к мужу хорошо относилась, сына Димку воспитывала... Не столько, конечно, воспитывала, сколько растила. Они теперь сами расти не умеют, но и воспитания не признают. И представляешь, милый мой Володенька, я эту жизнь еще и ругательски ругала! Я бы на три государственных перестройки согласилась, только бы не влюбляться лично и без ума! Откуда ты взялся-то, откуда свалился на мою бедную-бедную голову? Господи, Господи!

— Не знаю... — глупо и счастливо улыбаясь, отвечал Володенька, Владимир Владимирович Крутиков, Сонечке — прекрасной и смеш-

ной.— Ниоткуда я не свалился, мы с тобой на одном уровне, на одном этаже сколько лет проработали, ничего же не было. И вдруг — все!

— Вот именно. Этаж виноват! Пока наше министерство было в старом здании, мы с тобой не встречались. А переехали в новую высотку — и пожалуйста! Я как чувствовала, когда мы из старого в новое переезжали, — сто раз папки с бумагами на себе перетаскивала и как притащу, так кошки заскребнут-заскребнут! Теперь понятно — почему. Скажи — а ты мой?

— А ты — моя?

— Бессовестный! И тебе не стыдно спрашивать?

Удивительная и сама собою бесконечно удивленная любовь. Но вот еще в чем дело: жизнь, нынешние ее проблемы врываются и сюда, к ним, не было для распроклятых проблем преград, и время ставило свою печать на все окружающие предметы, в космосе — и там роились его печати и печатки, что же и говорить о тех предметах, которые — предметы разговоров? На них печати стояли даже больших размеров, чем они сами. Начитавшись газет, наслушавшись радио, насмотревшись в голубой экран, а после всего этого встретившись на пятнадцать минут, Сонечка и Крутиков по инерции продолжали и продолжали обсуждение проблем.

— А ведь хорошо капитализму, — объяснял Крутиков Сонечке, — его никто не выдумывал, никто не брал на себя обязательств через пять, через десять лет сделать его справедливым и счастливым. Он живет, как ему живется, он знает, как ему живется, а я вот не знаю!

Сонечка же отвечала:

— Если все дело в экономике, если только в ней, тогда всем нам, милый мой, конец и крышка! Если, кроме экономики и политики, есть еще что-нибудь, тогда и мы проживем. Проживем, милый мой?

Крутиков снова говорил:

— Жить на этом свете надо так, как будто бы этого света вовсе нет, а есть какой-то другой. Другой, неизвестно какой. Вот в нем-то и надо жить... Но ведь без экономики и в самом деле ничего нет, народа нет, только племена... Дикие...

Но Сонечка уже не отвечала, она уже страдала и от этого разговора.

— Кажется, мы с тобой по телевизору перед советским народом выступаем... Или — на сессии Верховного Совета? Психический СПИД, ей-богу! У нас считанные минуты на двоих, мы на что их тратим-то? Ты — мой? Нет у нас иммунитета к дискуссиям. Ты — мой? Нет иммунитета против разлуки и против грусти тоже нет. Ты — мой?

— Ну как это я могу быть не твоим? Если ты красивая. И умная.

— Красивая — еще куда ни шло, безвредный самообман. Но если поверить, будто я умная, — это самообман вредный. И не делай, пожалуйста, из меня мужика, не делай!

— Как понять?

— Очень просто: мужик любую чушь несет, если трибуна поблизости есть — на трибуну лезет обязательно, думает — так и надо, думает — он герой! И знаешь, это его не портит в глазах других. А представь себе женщину, которая на собрании каждый час берет слово?! Это же ужасно! Мне одна моя знакомая сказала, что она умная милостью Божьей, и в тот же миг я ее возненавидела. Вот будем жить с тобой вместе, семьей, скоро уже, — и ты убедись, какая я глупая! Скорее бы, скорее! Минуты считаю, а недели тяну... Не решаюсь сказать мужу о своем решении, не глупость ли? Ну, теперь недолго ждать — не сегодня завтра созрею!

Жизнь Сонечки с Васей Кудрявцевым и с непослушным в переходном возрасте сыном Димкой была гораздо труднее крутиковской, но разбиралась она в этой жизни лучше. Крутикову казалось — лучше!

Она еще девочкой постановила: буду хорошей женой хорошего человека — и вся тут жизни! Подружки мечтали кто о дипломате, кто о дирижере, кто о завунивермагом, для нее проблем не было: хорошей — хорошему! И нашла Васю Кудрявцева, а то, что он оказался не очень хорошим, ее не смутило: значит, она сама должна быть лучше и лучше, вот и все! Собою компенсировать Васины недостатки — вот и все!

И так бы оно и шло, и смущение, наверное, никогда не настигло бы Сонечку, если бы два года назад Вася Кудрявцев не привел в дом своего нового друга — Васю Пустынника. Такая фамилия: Пустынник.

Гость Вася гостил долго, целый вечер, чем было угощался, выпивал и хвалил хозяйку: «Ну, Вася, тебе с супругой повезло так повезло! Я в этом деле смыслу. Я вижу с первого взгляда!» — и целовал Сонечке ручки, и обещал бывать в доме Кудрявцевых не реже одного раза в неделю. И даже — чаще.

А когда он все-таки ушел, далеко за полночь, Сонечка сказала мужу:

— Вася! Если этот человек с черной бородой и с синим носом будет бывать в нашем доме, у нас с тобой не будет семьи. Ты понял? Очень прошу — пойми!

— Влюбилась, что ли? С первого взгляда? — спросил пьяньский муж Вася. — Ничего особенного, он такой, за ним бабы хороводом ходят. И поют, поют. На все голоса. Разные песни.

— Бабы — поддела. А мужики? Тоже хороводом?

— А для мужиков он — лидер. Еще какой лидер-то, какой авторитет!

— Для тебя тоже лидер? Тоже — авторитет?

— Безусловно! И бывать он у нас будет каждую неделю, поглядится — и чаще. Это я тебе твердо говорю, для меня в этом честь и достоинство, а если для тебя это испытание — ничего, перетерпишь. Ты у меня умница, ты у меня терпеливая и преданная, вот и потерпи.

Сонечка постелила себе на ночь в столовой на диване, ей противно было, потому что на нем только что сидел лидер и авторитет Пустынник, зато она еще сильнее переживала чувство ненависти и брезгливости к нему и свою судьбу переживала: кончилась судьба, только что кончилась, а дальше что будет? Она никогда не думала, не догадывалась, что может быть какое-то «дальше» за пределами вот этой трехкомнатной квартиры с разумной планировкой: ни одной проходной — спальня, столовая и комнатка сына Димки. Сын Димка легонько похрапывал в своей комнатенке, муж Вася довольно громко в спальне, оба дрыхла как ни в чем не бывало.

Через несколько дней у Васи был случай одуматься: он, конечно вместе с Пустынником, оказался на митинге на Пушкинской площади, несанкционированный митинг разгоняла милиция, и Пустынник съездил милиционеру в ухо. Съездил и убежал, Вася Кудрявцев помог ему убежать. Тут бы мужу Васе и одуматься, но все было наоборот — прямо с Пушкинской он привел Пустынника к себе домой, они выпивали, гордились друг другом, Пустынник обнимал Сонечку за талию, дышал ей в подбородок и в рот:

— Сонюшка, твой муж — герой! Он на мно-о-гое способен! Я уверен — он войдет в историю нашего движения!

— А вы — уже вошли? — поинтересовалась Сонечка.

— Ну что ты, Сонька, неграмотная, что ли? — отвечал за Васю Пустынника муж Вася. — О Василии Евдокимовиче читай в газетах! В «Московских новостях» читай, в «Книжном обозрении», в «Огоньке». А в «Правде», в «Известиях» читай его собственные статьи... и заметки. Собственные! Я на днях слышал мнение: «Василий Пустынник — это публицист номер один!»

Сонечка почему-то заплакала и ушла, закрылась в Димкиной комнате.



Пустынник через дверь объяснялся ей в платонической любви. — Ну что вы, ну что вы, Сонечка, так расстроились-то? Почему? — спрашивал через закрытую дверь Пустынник с придыханием и со слезой в голосе. — Можно подумать, что вы с одиннадцатиметрового не попали в ворота! А ведь ничего подобного не произошло, маленькое недоразумение, и только!

Сонечка сидела на Димкиной кровати и ревела. Старалась реветь потише, не в голос; Вася-муж возмущался и грозил выломать дверь. Потом оба Васи ушли на кухню, о чем-то говорили, Вася-муж перед Васей-лидером каялся, извинялся за жену. Потом они ушли. Вася-муж вернулся под утро, сказал жене:

— Ты глупая баба! Ты ничего не понимаешь, что происходит нынче в мире, и понять не хочешь! Дикая ограниченность, больше ничего! И вот еще: ты как хочешь, а я — мужчина, и мне осточертело изображать из себя примерного чиновника нашего милого министерства, стоять на стойке «смирно» перед начальством, жить молчком, с замком на губах. Хватит! Сколько лет прошло зря — страшно подумать! Это для тебя ничего не изменилось, а для меня изменилось все, и прежде всего — благодаря таким людям, как Василий Пустынник. Он — мой освободитель. Он в меня верит. Это ты не веришь в меня ни капли, а он — верит!

— Вася, — спросила у мужа Сонечка, — если бы десять лет тому назад у тебя не было замка на губах — что бы ты сказал? Какую прознес бы истину? Скажи мне — какую?

— Я... я... я... — стал отвечать Вася, но так и не ответил. Вместо этого он сказал: — Ну да, в то время мне нечего было сказать. Ну и что? Я был тогда духовно нищим, тогда, но не теперь! Теперь я чувствую себя беспредельно богатым!

— Ну а что ты можешь сказать теперь, беспредельно богатый? Скажи мне, пожалуйста, что-нибудь такое. Такое, что я не могу прочесть в газетах. О чем не слышу в разговорах на работе. Скажи мне что-нибудь свое, о чем тебе не говорил твой друг Пустынник.

— Его — не трогай! Не смей! А читай все то, что он пишет. Я уже требовал этого: читай его и тогда поймешь, с кем ты имеешь дело, кому наносишь оскорбление за оскорблением!

Сонечка несколько дней читала Пустынника в библиотеке, в газетном зале. Библиотекарша, милая женщина, в годах уже, заметив ее интерес, смущаясь, сказала:

— Может быть, вы хотите почитать что-нибудь из работ этого автора прошлых лет? Не нынешних, а прошлых? — И принесла пожелтевшие подшивки газет, журналы с поблекшими иллюстрациями, и Сонечка стала читать...

Боже мой — чего только не написал Пустынник во времена оны! О Брежнев он писал, что его художественные произведения можно сравнить только с «Войной и миром». О поэте, который превозносил прозу Леонида Ильича, — что это великий поэт. О генсеке Черненко, который в телепередаче поздравлял с присвоением звания Героев соцтруда писателей Анатолия Иванова, Анатолия Ананьева и Сергея Сартакова, — что это великий генсек. Ни один генсек до этого — так!!! — не делал, а товарищ Черненко Константин Устинович — сделал! Перед телевизором для всех писателей, для всего великого советского народа сделал! Он, Пустынник, уже в то время знал и понимал все, он больше, чем все, знал и понимал теперь, что нужно и чего не нужно делать с рынком, с Гдяном — Ивановым, с Литвой, с Азербайджаном и с Арменией, он знал, что делать с гласностью и демократией, какими они должны быть; он знал, что будет с федерацией, он знал: федерация должна состоять из пятидесяти трех суверенных республик, каждая со своим языком, социальным строем и государственным устройством. Правда, для этого нужно было сначала размежевать территорию всех пятидесяти трех суверенных... При

этом Пустынник скромно отмечал, что это не его идея, она возникла в заседаниях Верховного Совета СССР, он только ее разделяет и поддерживает, поскольку без его поддержки Верховный Совет как бы уже и не совсем Верховный и не совсем Совет.

Нынешние свои статьи и чужие, но с упоминанием его имени, Пустынник в нескольких экземплярах тщательно собирал и хранил. Не только у себя дома, но и у друзей тоже.

— На случай обыска! — объяснял он.

Были такие «материалы» и в квартире Кудрявцевых. Сонечка точно знала — были, хотя муж Вася и хранил их секретно, он теперь не доверял жене.

И вот Сонечка после библиотеки прибежала домой с выписками из статей Пустынника недавних лет. Прибежала, Вася-муж и Вася-лидер сидят на кухне, рассуждают. Предмет рассуждений — политика Буша и литовский вопрос. По литовскому вопросу Пустынник имел свое мнение: национальная интеллигенция хочет захватить власть. Вот и все. Вещи надо называть своими именами. А он, Пустынник, тоже утверждает: вся власть — интеллигенции! Значит — все правильно.

Сонечка бросила на стол выписки.

— Вот! Читайте, интеллигенты! Прочтете — приобщите к секретным папкам, которые вы храните в желтом чемодане на гардеробе! Обязательно приобщите!

Вася-лидер произнес:

— Понимаю твое, Сонечка, волнение!

И стал читать выписки. Читая, передавал листочки Васе-мужу.

— Познакомься, полезно... Полезно знать, как мы готовились... — И Сонечке он объяснил, как они готовились: — Мы, дорогая Сонечка, чутьем чуяли — вот-вот и наступят новые времена. А чтобы скорее наступили новые — старые надо было как можно больше компрометировать. И мы их компрометировали, перехваливая как могли, перед лицом интеллигенции и всего общества. Кроме того, мы берегли себя для будущего, которое своими руками создавали! Вот так-то, милая женщина, это надо понимать! Так-то дело было в позднейшей истории!

— Я не пойму, — ответила Сонечка, — вы, Василий Пустынник, лидер — вы кто? Вы левый или правый? Вы правый или виноватый? Я хотела бы знать — кто у меня в доме? Хотела бы уточнить: неужели вы интеллигент?

Вася-муж схватился за голову и застонал, Вася-лидер погладил черную бороду.

— Не понять, дорогая Сонечка, кто я, очень трудно. Можно, конечно, при большом желании, но — трудно. Страна своего Пустынника знает, а вы понятия о нем не имеете? Так?! Откровенно говоря, это стыдно, Сонечка. И даже — непорядочны эти ваши вопросы. Ну, а на случай, если они все-таки требуют объяснений, вот вам объяснения. Значит, так... Времена революционных энтузиастов — фью-ю! — свистнул Пустынник. — Это когда-то дворяночки и дворянчики шли в революцию и не проклинали при этом дворянство, шли, чтобы стрелять в сановников, учителями в деревенские школы, милосердными сестрами. Я понимаю, милая Сонечка, — они вам милы, те милые девушки, но — фью-ють! — те времена прошли. Навсегда. Во всем мире. Нынче времена гонорарные и гонорары за что платятся? Исключительно за болтовню. За партийную болтовню — гонорар. За антипартийную — он же. За вступление в партию — гонорар. За выход из партии — он же. И не наше дело менять времена, наше — в них вписываться, влиять на времена изнутри. Человечество влияло-влияло на времена извне, видит — дело дрянь, надо — изнутри. Понятно — фью-ю! — говорю, милая Сонечка? Вы, милая женщина, наверняка сейчас думаете: «Какой циник!» Ведь думаете?

— Отстаньте, ради Бога! Отстаньте от меня!

— А я скажу: да, циник! Но ровно настолько, насколько это требуется, чтобы быть реалистом! Ибо без цинизма не бывает реализма! Ибо болтовня — это реальная профессия миллионов и миллиардов людей, и по мере повышения производительности труда и повышения уровня технологий болтовней люди будут заниматься все больше и больше. Во всем мире. А мы — на вершине мира, и никто нас не переплюнет, думать нечего. Впрочем — фью-ють! — по мере развала экономики — будем и еще выше. И вот задача: в любой болтовне найти быка. А найдя быка — фью-ють! — взять его за рога! Иначе уже при жизни человек становится прошлым. Вы меня не поняли, прекрасная женщина? Нет, не поняли. А ты, Василий, понял?

— Я — перевариваю! — сказал муж Вася. — Я все перевариваю, что говорит Пустынник! От слова до слова.

— Тогда и еще слушай: самая почетная профессия у нас нынче это — рассказчики. Которые у себя дома, а того охотнее по всему миру ездят и рассказывают, как мы плохо живем, а того интереснее — как мы плохо работаем. Мне лично от этого плакать хочется. Иногда. Но гораздо чаще мне хочется жить, не упустить момент и тоже быть рассказчиком номер один. А ведь любое желание легко превратить в идею. Запросто! Ну, все это — так себе, к слову...

Результат: разрыв Сонечки с мужем Васей. Он давно назревал, этот разрыв, медленно, у Сонечки сил не хватало становиться все лучше и лучше, по мере того как муж все меньше и меньше становился мужем, но тут, в этот момент, все и определилось. Окончательно и навсегда. И в этом-то отчаянном положении Сонечка и влюбилась в Крутикова и говорила ему:

— Я думала — все, конец! Я думала, моя женская судьба исполнилась в одном-единственном акте, и все! Сначала это даже не переживания были, а медленное-медленное самоубийство. Я свое духовное самоубийство до конца не довела: Димка помешал. Вообще это противно и мерзко — думать о самоубийстве, заранее зная, что его не будет. А Димку я очень люблю! Только мне ни в коем случае нельзя было желать еще чего-нибудь, кроме Димки. Это будет несчастье, думала я, если я еще чего-нибудь пожелаю. И тут же встречаю тебя... И желаю и желаю твоей любви! И от Васи еще не ушла, не успела, и тебя уже встретила — нет, это свыше моих сил! Себе не верю: неужели люблю? Может, это кто-то другой, другая женщина? Себе не верю: разве я могла бы жить, если бы не встретила тебя? На своем этапе, в своем министерстве?!

Преодолевая стыд, страх, мерзостное состояние, Сонечка ехала в Битцево, на квартиру Крутикова, а там они уже вместе, все на свете позабыв, говорили о любви и никак не могли наговориться, друг на друга насмотреться, поверить, что они любят, что они — любовники, что они все еще «не настоящие» любовники, но и это «ненастоящее» они обсуждали с тем же горячим чувством любви, и Сонечка говорила:

— Я за всю свою жизнь если и читала о честных женщинах, так только у классиков, в дореволюционной и классово чуждой литературе. В советской — изредка, а уж в нашей в нынешней — об этом и думать нечего. Для нашей нынешней это фантазия, причем глупая, глупая... Вот и я мужа не люблю, но изменить ему до сих пор не могу. Тебя люблю, к тебе рвусь, а изменить нелюбимому — нет и нет! И ты не думай, Володя, никогда не думай, что я одна такая дура! Нас тысячи таких! Миллионы! Мы вот в бабьем нашем кругу, в больницах, в санаториях, болтаем всякое, но признаться, что мы вот такие — глупые, — никогда не признаемся, это нынче стыдно... Но все равно нас все еще миллионы таких подпольщиц. И зачем нам стыд в этом бесстыдном обществе, мы и сами не знаем. И не узнаем никогда, умрем, а не узнаем! Как это у Лярошфуко, кажется, сказано: «Женщине легче не изменить ни разу, чем только один раз!» Ну вот — ни разу

и не изменяешь. Хочется подстраховаться на будущее. Ты не помнишь, Лярошфуко — француз, кажется?

— Кажется, француз.

— Умный все-таки. И, конечно, нахал.

— Нахал-то почему?

— Не знаю. Но точно — нахал.

— Бережешь себя? Для... Васеньки?

— Пошел он к черту, больно-то нужен.

— Для кого же?

— А для себя! Для собственной души.

— Дурочка!

— Так и есть! Ты вокруг меня покрутишься-покрутишься и несолоно хлебавши бросишь: пойду поищу другую, поумнее! И послаще. Бог поможет — найдешь. А?

— Но ты в Бога не веришь?

— Верила, сказала бы: «Мне Бог не велит!» — и все, и все дела! Но я и на Бога свою глупость списать не могу, не имею права! Сама и сама, Бог только удивляется: и для чего я эту дуру сделал женщиной? Но — убей меня — не могу! Не могу домой вернуться, Димку погладить, с мужем слова сказать. Если скажу — впаду в истерику: «Не верь, не верь мне, мне с сегодняшнего дня верить нельзя!» И не такая я уж честная, если надо — вру напропалую, и на работе вру, и Василию по мелочам, и Димку учу: «Скажи в школе, что был болен, скажи то-то и то-то...» Одно утешение еще глупее меня есть. Есть, слава Богу, есть...

— И много таких, еще глупее?

— Одну знаю. Тридцать восемь лет, замужем не была, с мужчинами не была, веселая, анекдотами так и сыплет, а сама боится. Мужики вокруг нее вьются, некоторые по полгода, ну а потом, конечно, отваливают. Смешно?

— Тебе-то какое до нее дело? До смешной?

— Мне большое утешение: есть еще глупее меня!

— Это болезнь. Лечить надо бедняжку.

— Веришь не веришь, а я и вылечу! Помогу!

— Ты?!

— Я! Я ее со знакомой медицинской сестрой познакомила. Сестра говорит: «Я не я буду, если не вылечу! Если не создам необходимых условий для лечения!»

Помолчав и повздыхав, Сонечка покрепче прижалась к Крутикову.

— Ну? Или ты все еще не убедился, какая я глупая? Бзик во мне какой-то. От стеснительности, что ли, сама не знаю. Разлюбишь? За глупость?

— Такая ты мне и нужна. Какая ты есть.

— Вот и хорошо. Вот я своей глупости и не боюсь... Кроме одного случая. Сказать?

— Еще бы! Конечно!

— Боюсь, чтобы мой неизвестный бзик не натворил бы чего-нибудь в нашей любви! Успокой меня, пожалуйста, а? Ну пожалуйста!

— Как?

— Ты мужчина, сам должен знать «как».

— Тогда вот тебе ценное указание: не думай об этом. Не выдумывай ничего лишнего — и ничего лишнего не будет...

— Не будет, не будет! — тут же подхватила и успокоилась Сонечка, радостно засмеялась. — Не будет!

А Крутиков не успокоился. Не совсем.

Конечно, он за Сонечку побаивался, но боялся и тревожился и за себя. Крутикову тоже настал предел, настало время узнавать себя нынешнего, а себя предшествующего списывать по акту так же, как списываются проекты заводов, признанные бесперспективными. Про-

екты при этом могут быть и неплохими, с передовой технологией, с высокими экономическими показателями, но вдруг меняются обстоятельства: Минвнешторг в закупках на валюту отказал, Совмин и Госплан в средствах отказали — и все! — и проекты стоимостью в десятки, в сотни миллионов становятся бесперспективными и протоколом заседания коллегии министерства списываются навсегда. Напрасно старались проектировщики разных НИИ, разных ГИПРО, можно быть уверенным — так стараться они уже никогда больше не будут.

До тонкостей знал Крутиков, что такое списание, не раз оформлял акты-протоколы на миллионы рублей, но никогда не относил эту процедуру к самому себе. В голову не приходило. Акты Крутиков только готовил, подписывал же собственноручно министр, реже — кто-то из замов, и вопрос был исчерпан: кто лучше министра знает обстоятельства? Кто лучше умеет их учитывать? Настоящий министр должен это уметь лучше самого Предсовмина, тот вообще, а министр — это конкретная отрасль, а отрасль — это бизнес, советский бизнес, а министр — бизнесмен, во всем мире ценится марка. Крутиков не раз слышал на приемах и встречах, как его министр говаривал иностранцам: «А я стою восемь миллиардов!» Это значило, что его министерство получало из госбюджета восемь миллиардов и в течение года все до копейки должно, хоть убейся, их куда-нибудь истратить, на что-нибудь списать, иначе — головы не сносить!

Иностранцы удивлялись: «О'кэй! О'кэй!»

Министр уточнял: «Восемь с половиной!»  
«О'кэй! О'кэй!»

Так по части списания обстояли дела в государстве, но как обстояли они лично у Крутикова, когда вопрос встал, чтобы из собственной жизни списать одно-другое десятилетие? Кто подпишет протокол? Акт о списании — кто? Чем списывать-то — авторучкой или перьевой? Незнакомая оказалась процедура — ни формы, ни типового документа, тяжесть на душе, тяжесть, жалость: свои все-таки надо списывать годы, не чужие, своей проектировки...

Еще недавно Крутикову только и было забот, только и было желаний — как-нибудь встретиться с Сонечкой, чтобы обстоятельства позволили. Но вот и тревога: вот завтра, вот завтра Сонечка скажет мужу о своем окончательном решении, — но она все откладывала отчаянный день, боялась, хотя встречались-то они с Крутиковым (а встречаясь, все подробнее обсуждали предстоящий Сонечкин развод) несколько раз на неделе — обстоятельства как никогда способствовали. Еще бы нет, если жена Крутикова в Воронеже, если сын женился на девочке из престижной семьи, и пришлось ему переселиться на Бронную, дочка Крутиковых, доучиваясь на биологическом, уже больше двух месяцев пребывала на архангельском Севере на преддипломной практике, опять-таки похоже было, что она там, в голодной, холодной и такой продолжительной экспедиции, не одной лишь биологией была занята.

Приходила по утрам — со своим ключом — в квартиру Крутиковых старенькая, неизвестно сколько лет, тетя Маня, она убирала в комнатах, кое-что готовила на ужин почти что одинокому Крутикову, Крутиков тетю Маню и не видал никогда, встретил бы лицом к лицу — вряд ли узнал. За труды он рассчитывался с ней заочно, оставлял деньги в кухонном шкапчике, в жестяной банке с надписью «Крупа гречневая», но без гречневой крупы, а с разными бумажками-квитанциями. Такой порядок установлен был давно, с тех пор как Крутиковы получили квартиру в Битцеве.

А случилось бы, что Вера Константиновна, вернувшись из Воронежа, застала хозяйкой своей квартиры Софью Николаевну Кудрявцеву, и тогда не пришлось бы удивляться: не можешь обойтись без

собственных лекций, без активной общественной жизни — потеснись в жизни личной.

И в безмятежной обстановке уютной квартиры Крутиковых влюбленные Володя и Сонечка расслаблялись, а начав разговор очень серьезный, практичный, Сонечка вдруг переходила на легкомысленный тон.

— А что такое — так? — вдруг спрашивала Сонечка. — Вот бы узнать — что такое так? — И еще крепче обнимала Крутикова (за плечи). — Скажи?

Крутиков и за это любил Сонечку — за ее неожиданность, за вопросы, на которые он не умел ответить и никогда не будет уметь, но узнавать от нее такой вопрос уже было для него откровением.

— Это, наверно, что-нибудь такое, в чем нет не так! — размышлял он. Сонечке нравилось.

— А вот я возьму и скажу... — она повернула голову и сама повернула вправо, влево, назад, посмотрела в окно, вверх, под самый карниз, — возьму и скажу: луна! Луна — это же бесспорное так!

— Куда же денешься от луны? — подтвердил Крутиков.

— Хорошо бы стать не нами! — спустя минуту вздохнула Сонечка, но спохватилась: — Нет-нет, не надо! Не хочю! Если я буду не я, у меня не будет тебя!

— А вот еще слово, очень страшное: «поздно»... — сказал Крутиков.

Они сидели рядом на диване, ее рука — на его плечах, его рука — на ее плечах, на лица падал неуверенный свет с тенями — свет торшера. Лицо Крутикова с короткой бородкой, бородку придумала ему Сонечка, лицо Сонечки смуглое и еще потемневшее и вдруг исказившееся страхом.

— Поздно?! — спросила она. — А это может быть?!

— Может... Может быть... Бывает...

— Неужели?

— Неу...

— Не...

Движениями краткими их близкие лица искали одно другое, еще ближе...

Ну а потом Сонечка, закрывшись одной рукой, другой гладила Крутикова и говорила:

— Нет, нет, нет... Вот теперь-то я ничего не боюсь... Ничего я теперь не боюсь, я знаю, кто ты, какой ты. Теперь осталось — сказать Василию. Прийти и сказать: «Вася!.. Все кончено. Навсегда... Между нами... Все теперь только между мной и другим человеком!»

— Соня, — спросил Крутиков, — смешные мы с тобой? Очень? Странные? Очень?

— Мы счастливые!

— Так я об этом и говорю! А луна все видела...

— Глазастая! — согласилась Сонечка. — Она таких, как мы, сколько перевидала на своем веку? И слава Богу! Кто-то должен видеть. Мы-то с тобой ничего ведь не знаем, не видели, мы были с закрытыми глазами...

Уходя Сонечка сказала:

— Не провожай меня. Я поеду в метро, поеду одна, обдумаю, что я должна сказать Василию. Как сказать. Наконец-то мне есть о чем сказать ему. Как ты думаешь, по моему лицу кто-нибудь в метро догадается, что со мной случилось? Впрочем, черт с ними!

— «С ними»? — спросил Крутиков.

— Ну да — со всеми! Со всеми на свете!

Сонечка ушла. Крутиков сел у окна, отодвинул занавеску и стал искать луну в темно-полосатом небе. И только-только нашел ее, потускневшую, как она завернула за угол многоэтажного жилого блока. Крутиков успел погрозить ей пальцем: смотри у меня... Крутиков

продолжительно и громко, на всю пустую квартиру, вздохнул: он не успел сказать луне нечто очень-очень существенное... Что он — очень-очень счастлив, но боится этого. Что он не привык быть счастливым, не было у него на этот счет ни малейших навыков, и счастье оказалось для него чувством незнакомым, почти совсем чужим и странным. Потом он отошел от окна, лег на диван и почему-то тут же заснул сном праведника. Как провалился. Только и успел подумать: засыпаю, как новорожденный.

Поздней ночью к нему, новорожденному, раздался звонок — Крутиков, не поднимая трубки, понял: от нее. Спросил:

— Говорила? Дома? С Василием?

На октаву ниже, чем обычно, Сонечка ответила:

— Он хочет встретиться с тобой. Один на один. Завтра у нас дома в девятнадцать ноль-ноль. Меня завтра на работе не будет, не ищи, не смотри. Спокойной ночи. Не могу говорить, целую, целую...

Утром в девять пятнадцать Крутиков ехал на работу. Подпрыгивая и качаясь туда-сюда, поезд метро катился по своему радиусу.

Крутикову всегда нравилось на переднем, правом по ходу поезда сиденье, в углу. Преимущество конечной станции любого радиуса: можно занять место, которое нравится. Соседом у него был нынче человек с «Правдой» на коленях, он на «Правду» смотрел сосредоточенно, но не разворачивал. О чем-то думал. О том, чего в «Правде» не было.

На станции «Теплый Стан» Крутиков подумал: а вдруг вчера поздно вечером, возвращаясь домой, Сонечка сидела в этом же углу этого же вагона, на этом же месте? Очень красивая: чуть припухлый рот, и темные волосы слегка растрепаны, а профиль греческий. Пассажиры смотрят, она взглядов не замечает, а заметив — мысленно посылает к черту всех! Уж это точно — всех!

На станции «Беляево» мысли были другими: что там, в предыдущей-то жизни, у него, у Крутикова, было? Много начинал, вот что. Мальчишкой он сталинским планом преобразования природы увлекался, и в кукурузу верил, и в суровую социалистическую дисциплину. Футбол начинал гонять, а ему говорили: «Гоняй-гоняй! Бросай ты экономфак, с мячом у тебя лучше получается!» Шахматами увлекался, Михаилом Булгаковым, клубами КВН... Начала у Крутикова всегда получались, а потом исчезал энтузиазм, исчезала удача.

На «Ленинском проспекте» он подумал о том, что Гдян—Иванов давно бы сидели, если бы не ругали начальство.

На «Октябрьской» политика отстала от него, вчерашний вечер с Сонечкой вспомнился в подробностях, и ему стало жарко-жарко. Горячий пот выступил на лбу, по всему лицу, по всему телу... Нечестно быть счастливым в этом несчастливом мире, а что поделаешь?

На станции «Площадь Ноги́на», переходя через платформу из поезда в поезд, Крутиков уже ликовал: слава Богу, Сонечка-то Кудрявцева-то не какая-нибудь звезда, не певица и не актриса, она обыкновенная женщина! Ведь знаменитость его бы и не заметила, и Крутиков тоже не заметил бы ее — на кой черт! Зато нынче все в порядке.

Выйдя из метро, Крутиков очень серьезно подумал о предстоящей в девятнадцать ноль-ноль встрече с Василием Викторовичем Кудрявцевым. Подумал, но снова забыл.

Еще недавно бывали дни, когда высотная коробка министерства навредила на Крутикова очень большую тоску. Он поднимался на лифте, смотрел через крыши домов на облака, за горизонт, но и за горизонтом нередко чудилась ему тоска зеленая. Думалось ему о Карабахе, Чернобыле, Арале, а истина не угадывалась даже в первом приближении, как будто ее не было никогда. Но ведь если мир истинно существовал, значит, истина тоже существует? Обязательно?

Какая? Нынче-то у него была Сонечка, вот какая! — а вот когда он ее еще не знал, тогда все предметы, этажи и горизонты, а затем и люди представлялись ему как бы в безрадостно-голом виде, поскольку были лишены хоть какого-нибудь отношения к ним с его, Крутикова, стороны.

Ко всему безотносительный Крутиков расслабленным шагом проходил в кабинет (кабинет был на двоих, вместе с начальником смежного отдела), брал свой телефон и звонил. Телефонов в кабинете было два, поэтому звонить сосед соседу не мешал, вот он и вспоминал — кому и куда он не дозвонился или забыл позвонить вчера? Новый рабочий день хотелось начать с чужого и по возможности далекого-далекого голоса. И только после чужого и далекого возникали близкие голоса, к Крутикову входили его подчиненные и что-нибудь говорили ему, как правило, что-нибудь несущественное, потом он к кому-то входил и говорил что-нибудь более существенное, писал бумаги, носил их в машбюро.

В кабинетах и холлах министерскими служащими обсуждались политика перестройки, вчерашние передачи программы «Время», «Взгляд» и «Пятое колесо», а в машбюро и около разговоры велись на темы житейские, семейные, в смысле «что она, моя жена, — разве она женщина?», «что он, мой муж, — разве он мужчина?», и жалобы на детей — чем больше на детей жалоб, тем больше о детях приходится хлопотать, устраивать их жизнь. Ну а жизнь внуков и внучек была еще требовательней.

От времени до времени возникали здесь замечания и о том, кто с кем. Замечалось, что А подозрительно часто звонит Б, что В несколько раз в день вызывает в коридор Г, что Д после работы едет в метро вместе с Е и т. д. Правда, все эти коридорные и метрополитеновские контакты ничем не кончались, новые спутники и спутницы жизни обнаруживались не в стенах министерства, а на стороне: женщины выходили за врачей, работников культуры и гражданской авиации, мужчины женились вторым браком на редакторшах, завмагах, иногда их охмуряли бухгалтерши, приезжавшие в министерство из республик и областей с годовыми и прочими отчетами, но в этих случаях оказывался очень сложным квартирный вопрос. Таким образом, разводы Крутикова и Кудрявцевой, их предстоящее бракосочетание должны были явиться для всего министерского аппарата редкостным исключением, своего рода чепе.

Тем более чепе, что двумя этажами выше трудился и Василий Викторович Кудрявцев, нынче третий лишний, он заведовал там издательским отделом. Что отдел издавал — неизвестно. Это никого никогда не интересовало. Так обстояли дела нынче, давняя проблема: двое и весь остальной окружающий мир. Вечный треугольник: двое стали другими, а от мира, тем более от министерства, разве дождешься? Правительство ждет не дождется, приказывает и постановляет: все министерства во что бы то ни стало должны стать другими! — ну и что? И ничего. События следуют за событиями, а встретятся два сослуживца с разных этажей, один другого спросит: что там происходит у вас в главке-то? — ответ краткий: «Ничего... А у вас?» «У нас — ничего».

По причине этого «ничего», по причине той зеленой тоски без признаков истины хотя бы в первом приближении, которая охватывала Крутикова, когда он вглядывался с этажей министерской высотки в разномастные и разных уровней крыши Москвы и в подмосковное, преимущественно серое небо тоже вглядывался, — по этим причинам в его психологии вот уже порядочное время как сформировалось состояние, которое он обозначил для себя как УПес или ПесУ, что значило «утренний пессимизм» или соответственно «пессимизм утренний».

Вот так: утром только проснешься — и тут же почувствуешь, что



обе ноги у тебя — левые, только с левой и можно встать, больше никак. Уныние, растерянность, тяжкое предчувствие: развал вот-вот кругом настанет полный, голодуха — полная, национальный вопрос — вплоть до резни, ну и еще что-нибудь в этом же разрезе. «Действительно, — думал он, — что-то обязательно и срочно надо перестраивать. Но что именно? Как именно?»

Нынче с очевидностью обнаружилось, что все предшествующие годы советские люди (Крутиков в их числе) строили временки, ну а какой же смысл еще и еще перестраивать временки?

В состоянии УПес Крутиков размышлял и о министерстве, о том, что оно окончательно потеряло свои мало-мальские, а все-таки деловые качества, свою способность к адаптации в этом государстве, послушность ЦК КПСС и Совмину, пробойность в Госплане, Госснабе и в Госкомтруде, надежные связи с Госкомстатом, зато сохранило и даже умножило свою бюрократию, и Крутиков думал, что служащие министерства только тогда смогли бы и дальше оставаться служащими, если бы они ни днем, ни ночью не выходили из высотки, не общались с прочим населением. На худой конец, работали бы вахтенным методом, посменно, две-три недели каждая смена. Так или иначе, а министерство Крутикову хотелось перевести на казарменное положение, но так, чтобы он и Сонечка оставались при этом вольняшками.

Что его отвлекало от УПеса: у Сонечки были тонкие, привлекательные черты лица, как бы даже и портретные и картинные. Мужчины к таким лицам равнодушны, а Крутиков еще не так давно думал: «И напрасно! Картинкам верить нельзя». «Ой хитрая баба, ой хитрая!» — догадывался он. Но время шло, и Крутиков замечал, как естественно и как просто Сонечка не замечает устремленных на нее мужских взглядов, да и женских завистливых тоже, и вот Сонечка все больше и больше ему нравилась. Кончилось — любовью! И вчерашним вечером с Сонечкой.

Впрочем, не кончилось. Нет и нет!

Тревоги и заботы — а наступит ли все-таки совместная жизнь с Сонечкой или так и не наступит? — были тревогами и заботами смертельными.

Вдруг эта жизнь так и не наступит? Значит, обязательно тут же наступит смерть. От тоски, от разрыва сердца, неизвестно от чего — но обязательно. Смерть — это всегда неизвестность, потому что из нее никто и никогда не возвращался, никто никому не рассказал, что там и как, и вот вполне может быть, что ты останешься с руками-ногами и даже с живой головой, а все равно — мертвый.

Такие-то мысли, никогда прежде не свойственные Крутикову, нынче приходили, и все потому, что Сонечка так долго боялась сказать мужу о своем решении. Теперь наконец-то сказала, но освобождения от страха смерти у Крутикова все равно не последовало. Почему? Он никак не мог объяснить... Глуп, наверное, был — вот почему. Или — уж очень труслив?

И Крутиков вошел к себе в кабинет и, входя, подумал: «В конце-то концов за любую жизнь, а за любовь тем более, надо расплачиваться!» Ну а что с него, с Крутикова, возьмешь, какой такой конвертируемой валютой? Вот он и расплачивается заботами-тревогами, которые на него, а может быть, и на весь остальной мир, сваливаются.

Только он вошел, сосед по кабинету сказал:

— Тебя Николай Николаевич ищет. Два раза звонил.

— Чего это? — удивился Крутиков. Посмотрел на часы. — Шесть минут одиннадцатого.

— А Николай Николаевич звонил в десять ноль-ноль и еще в четыре минуты. Велел — как придет, сразу же ко мне на полусогнутых!

Крутиков снял кепку и положил ее на полку, повесил на плечики плащ, слегка причесался и не на полусогнутых, а все-таки быстрым шагом направился к начальнику.

Николай Николаевич Басков, начальник главка, заслуживал быть начальником не только главка, он мог быть и повыше. Никто бы не удивился, если бы он завтра же вырос до зама, а то и до министра. Такие, как он — спокойные, еще не старые, все еще со связями, с телефонами-вертушками, — продолжали и продолжали расти, несмотря на события в государстве и в мире, а может быть, благодаря им. Это когда-то, при Хрущеве — Брежнев, эпохи министров были геологическими эпохами, лет десять, бывало, ходили слухи: вот министра снимут, вот повысят, вот на пенсию, — и только после этого свершалось; нынче не так, нынче Басков станет завтра министром — как будто так и надо, никто не удивится.

Теперь, само собой разумеется, Басков должен дать Крутикову срочное задание. Какое-нибудь, но обязательно срочное.

Задание было:

а) срочно обосновать необходимость ускоренного строительства Черемуховского завода огнеупоров;

б) срочно обосновать необходимость закрытия строительства Лебяжинского завода огнеупоров;

в) материалы обоснований должны быть срочно на столе Баскова сегодня в пятнадцать часов, в шестнадцать Крутикову доложить вопрос на малой коллегии, там будут министр, замы и несколько начальников главков.

— Ясно? — спросил Басков. — Считаю, что это — пепе! (То есть правительственное поручение.)

— Какая тут ясность? — удивился Крутиков. — Какая? На строительстве Лебяжинского нулевой цикл вот-вот будет закончен, а по проекту Черемуховского экологическая экспертиза вынесла отрицательное заключение! Побойтесь Бога, Николай Николаевич! Какая тут может быть ясность? Когда все — наоборот.

Басков Бога не боялся:

— Иди. Делай. Разговоры потом будем разговаривать.

— Пойду. Сделаю. А все-таки! Непонятно, Николай Николаевич, непонятно — что у нас делается?

— Подумаешь! — сказал Басков, погладив себя по едва-едва начинающей сесть голове и головой покачав. — Подумаешь — ему непонятно! Какой нашелся! А вот скажи, пожалуйста, Крутиков, кому нынче что-нибудь понятно?

И Крутикову крыть было нечем, и он с безнадежностью спросил:

— А что делать с заключением экологов по Черемуховке? Отрицательным.

— Вот что делать! — Басков приподнял руку и на уровне своего лица, молодежавого и энергичного, начертил в воздухе крест. — Договоренность с областью по Черемуховке только что состоялась, и хватит с нас.

— И времени-то уж очень мало... К трем часам... Не успею.

— Ну ты чудак, Крутиков: «Не успею!» А кто нынче что-нибудь успевает? Никто ничего! Коротенько в шестнадцать ноль-ноль доложишь суть, остальное после допишешь. Твой вопрос будет первым, нам сегодня еще надо в Госплан о решении сообщить!

— Николай Николаевич, тут вроде воровства получается: что действительно необходимо, то мы прячем, а что не нужно, то...

— А как же! — опять кивнул Басков. — Воровство, оно же кругом! Кто чего может спереть, тот и прет. Я на минуту личного «Москвича» на улице оставил, прихожу — дворников нет. И на почту хожу сам, расписываюсь за своевременную доставку. Потому что из почтового ящика крадут. Деньги прислали мне из Америки за статейку, какие там деньги, пятьдесят пять долларов, — сперли. Не говоря уж

о госфондах — Госнаб только нам документ выпишет — фью! — наш фонд уже у кооператоров. Так что, Крутиков, ты напрасно удивляешься. Иди. Делай.

— Да-а... разруха так разруха! — вздохнул Крутиков, уже встав со стула. — Только что не стреляют.

— Ну как это не стреляют! — пожал плечами Басков. — Постреливают... В Карабахе вот. В Киргизии. Еще кое-где.

— Не в Москве. Вот будут всех нас разгонять, все министерства, может быть, и здесь постреляют. История себя покажет везде.

— Все может быть, — согласился Басков. — А почему бы нет? Но истории историями, а разгонят нас окончательно и пожалеют! Сейчас есть куда людям бумаги с мест писать, адрес есть. А не будет адреса? Что тогда? Не знаешь? — Крутиков молчал. Басков закончил мысль: — Конец государству — вот что! Диктатуре, демократии — значения не имеет. Конец, и все тут!

— А дальше что? — спросил Крутиков.

— Куда дальше-то? Дальше некуда, разве что военная диктатура. Но я и ее не боюсь, а значит, я ничего не боюсь. Как-нибудь, худобедно, и на случай гражданской войны подстрахуемся. — Басков помолчал, потом, как бы уже в «разном», выдал мысль: — Я, знаешь ли, Крутиков, генерал. Генерал от бюрократии. Дайте мне, генералу и бюрократу, устав моей службы, и я буду служить исправно, добросовестно, инициативно. По двенадцать часов в сутки служить, без перерыва на обед. Это мое кровное дело — служить. Кому: левым, правым, частному капиталу или социализму, — вопрос не мой. Не я его решаю — решает государство. Но если в государстве бардак, да такой, что оно не может дать мне никакого устава, с меня и спроса нет, и я уже человек не государственный, а так себе, приспособленец высокого и того меньше — среднего ранга. Конечно, жаль потерянной государственности не столько вообще, сколько в самом себе, а что поделаешь? Что, если такие складываются дурацкие обстоятельства? Ладно, хватит разговоров, иди делай.

Но Крутиков-то знал, что «идти делать» рано, потому что Басков все еще не применил свой любимый прием, после которого разговор уже мог считаться окончательно законченным.

Прием этот состоял в следующем: разговаривая спокойно и начальственно-толково, Басков вдруг резко наклонялся к собеседнику и задавал ему какой-нибудь не к месту, странный вопрос. Служащие относили это к проницательности Баскова: вот, мол, тут-то он, в этот момент, и пронизывает тебя насквозь, — но Крутиков понимал по-другому: на кой черт Баскову кого-то там пронизывать, он ведь вполне безразличен к людям, он делает так для того, чтобы себя показать, что вот он какой человек, кроме того что девяносто шестой пробы бюрократ. Вот они и сидели, глядели друг на друга — Крутиков ждал, когда Басков свой прием пустит в ход, Басков все еще тянул, не пускал. Время истекало, Крутиков подумал: «Может, в самом деле идти делать?» — но тут Басков наклонился, стал молча и очень сосредоточенно смотреть на Крутикова.

— Смотрю я на тебя, Крутиков, смотрю и думаю: ты умный или нет? Ты, конечно, понимаешь, что спрашивает тебя об этом человек, полностью тебе доверяющий...

— Человек, полностью мне доверяющий, такого вопроса не задавал бы, — пожал плечами Крутиков, приняв вызов. — Почему бы и не трепнуться интеллигентно? Треп — тоже ведь перестройка!

— Ишь ты... Ну а все-таки? В порядке углубления доверия?

— В порядке... Кажется, не очень умный. Не глупее других, но этого мало.

— Но тебя же устраивает это положение? Так я думаю? Или не так?

— Я с ним мирюсь. С этим положением.

— Вот напрасно! Напрасно миришься. Я что тебе по этому поводу скажу: ума, знаешь ли, никому не хватает, никому на свете, а все дело в том, кто, чем и как этот дефицит компенсирует, какой хитростью: болтовней, самомнением, подлостью, жеребьячим или кобыльим ржанием: и-го-го! — и слышно далеко!

— Вполне может быть, — согласился Крутиков, — но я над этим не задумывался. Не приходилось.

— Не приходилось? Ага, ты компенсируешь свой дефицит усердием? И — скромностью? А это, знаешь ли, нынче пустой номер. Это заметно снижает даже наличный умственный уровень. Еще смотрю, смотрю на тебя, Крутиков, а сам думаю: и что же это он в партию в свое время не вступил? Ухитрился? Как так? Чистеньким, должно быть, захотел остаться?!

Крутиков пожал плечами.

— Уж так получилось.

— Ну и как? Нынче-то чувствуешь себя чистеньким — или нет? Чище других — чувствуешь?

— Я над этим опять-таки не задумывался.

— Правильно! И не задумывайся, бесполезно! Бесполезно, потому что те, кто в свое время по уши в... в грязи вывалялся, нынче чувствуют, а главное, действуют, действуют как герои! Как чистейшие из чистых! Понял? — И не дождавшись ответа, Басков спросил: — А женщины тебя любят ли, Крутиков? Имей в виду — они любят умных. Правда, слабо различают, кто умен умом, а кто — болтливостью. Или чем-нибудь еще.

Крутиков смутился: «Знает?! Вот пройдоха-то! — И решил: — Не буду я пройдохе отвечать! Хамский вопрос! И весь разговор тоже хамский. Сейчас же надо на Баскова обидеться! Надо!» Но обижаться на Баскова было все равно что на пепельницу, которая рядом с ним, хрустальная, стояла. И без обиды Крутиков сказал:

— Н-не знаю... Может быть, и любят. Изредка. Впрочем, вам-то, Николай Николаевич, какое дело? Не в свое дело лезете.

— Изредка — это скучно. Изредка — это не то... Редко, да метко — вот это, знаешь ли, очень тяжелое дело, Крутиков. Гораздо лучше часто и мимо... Пальнул, получилось мимо, а ты доволен, на душе легче, в кармане тяжелее.

— Так мне идти? Делать? — спросил Крутиков.

— Подожди. Надо еще насчет вообще. Нынче без вообще никак не обойдешься, и вот я скажу тебе — в нашей стране стоит невиданный бардак. Что там Древний Рим! Цветочки! А ягодки-то — вот они когда созрели в умах человеческих! Ни раньше и ни позже... Повезло нашему поколению! И в этой обстановке мне очень удивительно, как это мы с тобой — ни ты, ни даже я — все еще не втянулись в какую-нибудь спасительную аферу. Это, скажу я тебе, очень и очень плохо. Не знаю, что мешает тебе, может быть, святая какая-нибудь женщина, может быть, ты и сам не знаешь что, а вот я знаю: вгучка! Ну до того славная девочка, Алenuшка, три с половиной годика, и вот отбивает охоту действовать рисково, раскопать какой-нибудь питательный родничок на случай окончательной засухи и жажды. Маленькая, не понимает, что родничок-то ей, маленькой, прежде всего и понадобится. Так что на сентиментальности ставим точку, и я сегодня же берусь за дело... За раскопки. Для начала — кооперативчик какой-нибудь, акционерность какая-нибудь, но я себя знаю, мне важно начать.

— И с чего же вы начнете, Николай Николаевич?

— Как и всякий революционер, с экспроприации государственно-го имущества. Пора, мой друг, пора! Чувствую: каждая минута дорога!

— Экспроприация? Я не усек: как понять?

— А вот начнем какой-нибудь кооперативчик, поставлю я тула

компьютер. Без компьютеров нынче нет ни одного перестроенного мероприятия. Чей поставлю? Государственный, разумеется. В чьем помещении? В государственном, разумеется. Я же не Юлиан Семенов, у меня личного начального капитала нет, откуда мне взять? От государства и возьму. Поскольку я до сих пор все отдавал в государство, значит, возьму свое. Мы строительство ведем? А я сделаю из него, опять же из государственного, свое, акционерное. И техника-механика, и помещения, и профсоюзы — вчера в управлении Совмина, а завтра будут в моем, моего акционерного общества — чем худо? Сегодня я коммунист, завтра — капиталист, не от меня зависит, от обстоятельств. Какие для меня созданы обстоятельства, теми я и руководствуюсь. Возьми хотя бы водохозяйственников, те не растерялись, сделали из госимущества свой концерн и глазом не моргнули, а я чем хуже?

— Одним словом — обстоятельства? И не только они, — не спросил, а как бы даже и подтвердил Крутиков. Откровенность Баскова его интересовала.

— Обстоятельства не сегодня возникли, Крутиков. Они, Крутиков, тогда возникли, когда задуман был, во-первых, о-о-огромный такой идеал, а во-вторых, задумано было его о-о-осуществить. А это бяка, это ерунда, потому что настоящий идеал никогда осуществлен и достигнут быть не может. Никогда! Церковники это давным-давно поняли и царство небесное на земле всерьез никому не обещали, пятилеток по срокам второго пришествия не планировали. Вот они нынче, церковники-то, и на коне, а мы отдаем концы быстренько. Так нам и надо: наобещали лишнего! У нас нынче земли, богатств природы, ног, рук и голов не меньше, чем у них там, в Европах, в том числе и светлых голов, но мы — в тупике, как можешь, так и выкарабкивайся. Перестройка — это что значит? Это значит спасается кто как может, кто как умеет. Учитываешь? Учти, иначе пропадешь. Ну, иди делай. Хотя подожди! Ты вот еще что скажи, Крутиков... А кто такой, по-твоему, капиталист? Эксплуататор, да?

Крутиков подумал и подтвердил:

— Да.

— Почему?

— Ну хотя бы потому, что нельзя сказать «нет».

— Это серьезно. Согласен — серьезно. Ну а еще — кто такой капиталист?

— Толковый человек.

— О! О! Почти моя формулировка! Моя формулировка: человек, который умеет жить. Не в абсолютном смысле, но в относительном: умеет лучше других! Согласен?

— Надо подумать.

— Думай, думай — кто тебе не велит. А я остаюсь при своем мнении: я тоже умею! Умею, а мне не дают! Только зажил, только научился при одном режиме, а мне в морду суют другой — перестройку! А я — не хочу!

— А вас и не спрашивают.

— Вот-вот! Меня не спрашивают, значит, и я не спрашиваю и с сегодняшнего дня буду действовать как умею. Как мне, неокapиталисту, лучше. В застойные, бывало, времена я частенько думал: как действовать? В свою пользу или в пользу государственную? Теперь сомнений нет, перестройка все поставила на свои места! Все! Вот теперь ты свободен, как птица! Теперь — иди! Делай!

— Свободен-то я свободен... — вздохнул Крутиков. — Птица-то я птица... А вот информации у меня для выполнения вашего пепе — нет. Птичий и той нет. Цифр, фактов, данных — нет. Из пальца буду высасывать, а что из него высосешь?

И вдруг совершенно неожиданно Басков оживился, помолодел и сказал:

— Информация — это, Крутиков, проблема. Над проблемой надо думать. Всерьез и долго. Вот тебе и еще задание — думай, думай и думай. — И даже с некоторой лаской добавил: — Я на тебя надеюсь, Крутиков. Запомни — очень надеюсь!

Кончить к трем часам — это было нешуточно. Одно только Крутикова и устраивало и успокаивало: малая коллегия начнется в четыре, его вопрос — первый, самое позднее он освободится в шесть, к семи можно быть у Кудрявцевых без опоздания. Крутиков не любил опаздывать, а нынче опоздать попросту не мог.

Работа всегда была для него своей тарелкой и никогда чужой. Вот и работай, Крутиков, поторапливайся!

Приступив к записке, он сначала подумал: надо употребить побольше специальных терминов — форстерит, хромит, периклаз, интриды и так далее; но вскоре решил сократить, свои же люди будут читать записку, их терминами не проймешь. И обедом он решил поступиться, обойдется чайком и бутербродом в буфете, не в первый раз.

Без пятнадцати три Крутиков позвонил секретарше:

— Начальник на месте?

— Начальник на месте, — подтвердила секретарша, она неплохо относилась к Крутикову. Уж это точно: как относится к тебе начальник, так и его секретарша.

— У меня готово, Николай Николаевич! — сообщил Крутиков Баскову. — Две и три четверти страницы. И на машинке перепечатано через полтора интервала.

В трубке неожиданная оказалась тишина, ни приветов, ни ответов. Крутиков догадался: что-то не так, что-то изменилось.

— А знаешь, Крутиков, — еще помолчав, ответил Николай Николаевич, — не понадобилась твоя записка. Мы тут с час назад, того меньше, посоветовались с госплановскими, они говорят: зачем? Так обойдемся, без записки, без коллегий — бюрократия ведь не в моде. Ты уж извини, я тебе забыл сообщить. Да и вопрос-то окончательно выяснился с полчаса назад, не больше.

Надо бы радоваться, что дело обошлось без него, без его, Крутикова, участия, но радости почему-то не было. Крутиков посидел-посидел неподвижно и набрал Сонечкин номер: может, они вместе еще сходят в буфет, выпьют чайку, поговорят. Ответил не ее голос, Крутиков вспомнил, что Сонечки на работе сегодня нет, положил трубку. «Надо ждать семи вечера, надо ждать», — подумал он, и тут впервые его охватило такое нетерпение, что он забоялся: а вдруг не дожидается, вдруг — умрет? Разговор-то предстоит какой? Судьбоносный!

Василия Викторовича Кудрявцева Крутиков встречал редко, разве только в лифте, в последнее время встреч с ним избегал и даже не помнил его внешности — кажется, довольно высокий, кажется, с высоким же и торопливым голосом. Ну а что он там делал, в своем издательском отделе министерства, Крутиков понятия не имел.

Поэтому он — когда позвонил в квартиру Кудрявцевых, успокоившись, вполне взявши себя в руки, когда дверь открыл Кудрявцев, — взглянул на него с интересом.

Человек действительно оказался высоким и неожиданно лысоватым. Если бы Крутиков совершенно ничего об этом человеке не знал, он подумал бы: симпатичный. А может быть, не подумал бы ничего. Кудрявцев сказал:

— Раздевайтесь. Проходите. Садитесь.

Крутиков снял плащ и кепку, прошел в столовую, сел и подумал: «Здесь она до сих пор живет... Вот здесь... В той комнате спальня, а в этой спит она. Вот на этом диване...»

— Чайку? — спросил Кудрявцев.

— Нет, пожалуй, — ответил Крутиков. — Я, знаете ли, поторапливаюсь.

Нервы у Крутикова, он чувствовал, были в порядке. У Кудрявцева, кажется, тоже. Сонечки дома не было. Димы тоже. «Порядок», — подумал Крутиков и вопросительно посмотрел на хозяина: начнем?

— Ну что же, — вздохнул хозяин. — Что говорить, когда дело, кажется, решенное? Надо быть объективным: решенное!

— Конечно... — подтвердил Крутиков. — Конечно, остались формальности, их много, но все равно — только формальности.

Начало было спокойным.

— Без этого в наше время не бывает, — подтвердил Кудрявцев. — Без этого в наше время ничего не бывает: без формальностей.

— Если вы о квартире...

— О квартире — вы, а не я. Во всем этом деле инициатива ваша, не моя. Мое дело маленькое: вот моя квартира, а где-то там ваша, будем, если надо, размениваться. Как положено по закону, так и будем. У меня юрист знакомый есть, бракоразводный спец. Поможет. А у вас? Конечно, вы моему юристу можете и не доверять, дело серьезное. Привлекайте своего. Как юристы скажут, так и будет.

— Это уже полдела, такое наше с вами согласие, такая между нами договоренность.

— Больше чем пол. У меня практики, конечно, нет, но я кругом только и слышу: квартиры... разделы... суды... договоры... и прочее такое же. А мы, я думаю, этого разговора и не начнем — пусть юристы начинают. Мы их слушаем, а тогда приступим к делу. Хорошо бы, конечно, не судиться. Чтобы было как у мужчины с женщиной. Без истерик, без взаимных оскорблений.

— Ну зачем же это — истерики, зачем суды? Совсем ни к чему, — согласно кивнул Крутиков и подумал: «Не так страшен черт...»

— Совсем... совсем... — повторил раз и другой Кудрявцев. — Но у меня, знаете ли, к вам, Владимир Владимирович, будет вопрос. Не знаю, большой или маленький, но вопрос. Может быть, совсем пустячный — зависит, как вы посмотрите.

— А именно?

— Есть одно неудобство в нашем положении. Вы, наверное, о нем тоже думали. Я о нем думал. Seriously.

— Слушаю.

— Вы же и сами знаете, что все мы трое, весь наш треугольник, работаем в одном министерстве. В одном здании.

— Я об этом думал. Один, и с Софьей Николаевной мы думали...

— И что же?

— Я постараюсь из нашего министерства уйти. У меня как будто есть такая возможность. Софья Николаевна останется — женщине устроиться труднее.

Никакой на этот счет возможности у Крутикова не было, ни он, ни Сонечка об этом не думали, но признаться в собственном легкомыслии Крутиков не хотел.

— Нет! — сказал Кудрявцев и приподнялся на стуле. — Должен уйти я! Конечно, я! Неудобно же нам с Соней продолжать работать в одном учреждении и в одном здании. Согласитесь — неудобно.

— Соглашаюсь, но тогда уж это ваше дело. Только ваше.

— Почему же? И ваше тоже. Вы должны мне помочь найти другую работу. Просто обязаны!

— Обязан?! Каким образом? И что я могу? Я и для себя-то...

— Слушайте! Нынче при нашем министерстве вполне может быть создана новая организация. Небольшая, но крайне необходимая и в другом здании... Если дело подтолкнуть, а меня подтолкнуть в то, в другое здание — вопрос исчерпан. К обоюдному согласию.

— Новая организация? Какая же?

— Не догадываетесь? Информационный центр — вот какая! Для нашего времени это совершенно необходимо. Это нынче просто невозможно и архаично — без. Если хотите знать, это судьба перестрой-

ки: без информации, то есть без гласности, мы пойдем не вперед, а назад и даже — ко дну пойдем. А нас только и ждут там, позади, недобитки командно-административной системы. Безгласность — вот их оружие, а наше — гласность... Скрестим оружие! Настало время — скрестить!

И Кудрявцев встал и, жестикулируя, стал ходить по комнате, а Крутиков подумал: совсем как товарищ Пустынник! Хотя Пустынника он в жизни не видел, только слышал о нем — и немало — от Сонечки. «Ну а при чем здесь я?» — думал Крутиков.

— При чем здесь я? — вслух повторил он вопрос. — Я не имею отношения к информации. И не имел никогда. Докладные писал, это верно, пишу, еще буду писать, это верно, но чтобы информация? Нет, не могу.

— Можете! И еще как можете! У вас солидный вес в министерстве. С вами начальник главка запросто. Вы свое мнение министру можете высказать.

— Да ничего подобного! Все это фантазия, не знаю что откуда!

— А ваша затея с Софьей Николаевной? Романчик ваш? Ведь это какая же фантазия, но вы на нее пошли — рыцарь без страха, без упрека! Идите же до конца! До упора!

— Честное слово, если бы мог... Если бы хоть немного...

— А вы можете много.

— Откуда знаете?

— Знаю. Вы сегодня у начальника главка были? По вопросу о Черемуховском и Лебяжинском?

— Что из этого следует?

— Все следует! Все что надо! Вам Басков на отсутствие информации жаловался? Жаловался! Потому что и среди них, среди бюрократов, есть люди, понимают современность. Есть, не отрицайте! Не надо отрицать!

— Но он же мне никаких указаний по информации не давал! Мало ли нынче кто на что жалуется! Все на что-нибудь обязательно. Вот и Басков жаловался на плохую информацию — что из этого следует?

— А вот что. Вы завтра же к Баскову пойдете и скажете: «Николай Николаевич! Вчера вы заронили во мне мысль... Позвольте, я напишу вам по этому поводу докладную. Я уже обдумал, как что написать».

— А Николай Николаевич удивится. Скажет: «Ты рехнулся, Крутиков? В этой суматохе-неразберихе не хватало нам еще одной напасти, новой конторы?!» Вы же — контору имеете в виду? Новую?

— Ничего подобного: он вас поддержит! Более того — он положительно отметит вашу инициативу.

— В шею он меня выгонит! И сам я себя в шею: это же взятка! Моя — вам!

— Басков скажет: «Пиши, товарищ Крутиков, докладную, и поскорее. А то пока мы чешемся — другие перехватят инициативу!», — будто и не услышал слова «взятка» Кудрявцев.

— Глупую! — скажу я. — Глупую инициативу не жалко — пусть перехватывают.

— Но ведь вся наша передовая печать об информации пишет, а нам надо работать на подхвате, на идеях, которые витают в воздухе. Витают и витают. Без конца.

— Затял вредная. И совершенно не ко времени... — вздохнул, а потом и еще раз вздохнул Крутиков. — Вместо дела — информация. Значит, вы хотите в информационный центр начальником?

— У меня нет другого выхода. И у вас, Владимир Владимирович, нет. И не будет. Вы меня поняли — нет и не будет!

— А... Софья Николаевна знает об этом? Вы ей говорили?

— В общих чертах. В ее нынешнем состоянии с ней только так



и можно — в общих. И только с вами разговор совершенно конкретный. И мужской. И деловой.

Крутиков решил и сказал:

— Вы же сами утверждаете — вопрос решен. Значит, приступаем к делу, обращаемся к юристам, вы к своему, и я найду консультанта. Надеюсь, обойдемся без суда. Если же все-таки суд — потерпим, обратного хода все равно нет. Мало ли через что перешагивают люди — перешагнем и мы. Единственно о чем я вас прошу — поберегите Софью Николаевну. Ей бесконечно тяжело. А мы с вами вот сейчас и разойдемся, как будто не было между нами разговора, а встретимся в суде. Если иначе нельзя — в суде.

— Можно было бы и так, — согласился Кудрявцев, — можно было бы, только вы еще плохо знаете свою Сонечку! — сделал ударение на слове «свою» Кудрявцев. — Плохо! А она ни за что на свете не бросит меня неустроенного, несчастного! Вы еще не оценили по достоинству ее благородства, ее обязательности, но уже отвергаете мой вариант. Я бы сказал — благородный вариант. Я пример приведу. Вы, конечно, знаете, она вам рассказывала: моего близкого друга, блестящего человека, и меня вместе с ним милиция чуть не задержала. Едва мы выкрутились. Об этом вы знаете? Слыхали?

— Соня мне рассказывала, да. О вашем друге. О Василии Евдокимовиче Пустыннике.

— В данном случае дело не в нем. Дело в Софье. Она мне после этого говорила: «Благодари Бога, что тебя на Пушкинской не поймали и не посадили! Если бы поймали, если бы посадили — разве я смогла бы от тебя уйти, когда ты в тюрьме? А теперь ты свободен, теперь у тебя друг Пустынник, найдешь пустынницу, ты свободен и я свободна!»

— Что вы хотите этим сказать?

— То же самое: не смогла бы она меня бросить, если бы я сидел в тюрьме, не бросит и теперь — неустроенного, до глубины души потрясенного. Я знаю: никогда! А если оставит — себя замучает, о вас и говорить нечего, вас замучает вдрызг. А вы эгоист, нет чтобы разом решить проблему, вам, видите ли, это неудобно по вашим принципам. Очень советую: завтра же напишите докладную, укажите на необходимость привлечения к делу кооператоров, укажите лицо, которое могло бы возглавить новую службу информации. — Кудрявцева Василия Викторовича. Укажите. Пожалейте Соню. Она в ужасном положении: со мной жить не может, потому что любит вас; меня оставить не может, потому что из-за нее я буду несчастным. Обделенным. А пока что мы с вами попросаемя.

Когда Крутиков выходил из подъезда дома Кудрявцевых, туда входил человек с черной бородой и с синим носом.

На имя Николая Николаевича Баскова, начальника главка, Крутиков написал докладную следующего содержания:

«В работе любого оперативного учреждения с широкими и разнообразными управленческими функциями, каковым является наше министерство, совершенно необходима четкая, оснащенная всеми необходимыми средствами связи и другими техническими средствами служба информации.

До настоящего времени эта служба рассредоточена у нас по разным главкам, отделам и даже подотделам, ежедневные рапорты на имя министра о состоянии дел на местах, в республиканских и областных органах министерства, на стройках и действующих объектах союзного подчинения исходят от Управления делами и диспетчерской, они неизбежно носят далеко не полный и случайный характер и не дают представления о положении дел. Значительную часть рабочего времени руководители всех подразделений тратят на добывание сведений и фактов по телефону и в письменном виде, но цельной кар-

тины при этом не создается, а будучи разрозненными, эти рапорты даже искажают действительность.

В общем, постановка этого дела у нас соответствует уровню середины 30-х годов, в то время как объем работы за это время возрос в десятки раз, и во всем мире, даже в развивающихся странах, оно поставлено несравненно лучше и современнее. Мы отстаем от среднего уровня на 30 и даже на 40 лет.

Издаваемые нами «Информационные бюллетени» больше способствуют искажению истины, чем созданию объективной картины. У нас нет даже надлежащей аппаратуры с электронной памятью, и мы не можем с необходимой быстротой сравнить самые свежие полученные данные с такими же данными годичной или хотя бы месячной давности. Отсюда неточность и даже ошибочность руководящих указаний и директив на места, неувязки в согласованиях с Советом Министров, Госпланом, Госснабом и другими государственными органами.

Итак, положение создалось крайне нетерпимое, если мы не хотим плестись в хвосте событий, его надо коренным образом и безотлагательно менять.

Вновь созданная при сравнительно небольших затратах служба информации, на наш взгляд, могла бы действовать в тесном сотрудничестве с другими министерствами, прежде всего с Госстроем, Госснабом, Госконтролем и другими, по вашему усмотрению и усмотрению министра. Не исключено привлечение к участию в создании современной службы информации и кооперативов, уже несколько лет специализирующихся в этой области, располагающих необходимой техникой и опытом. Считаю также, что в кадрах нашего министерства мы могли бы найти людей, способных принять на себя руководство новой службой, имея в виду преобразование в таковую нашего издательского отдела.

И — завертелось-закрутилось! Крутиков припомнить не мог, чтобы когда-нибудь какой-то вопрос так же вертелся-крутился! Крутикова несколько раз на день вызывал Басков, дважды — замминистра, но не это его поразило, другое: Басков советовал — по сути дела, приказывал — привлечь к делу Дарью Варфоломеевну Галкину.

— Галкину?! — не мог скрыть удивления Крутиков.

— Галкину! — подтвердил Басков. — Объяснишь ей что и как, она поймет. Она быстро поймет.

Все это дело — по организации информационного центра — состояло из разговоров. И в министерстве и вне — всюду разговоры, разговоры, разговоры с самыми разными людьми, но Галкина?! У Крутикова с первых лет работы в министерстве возникли к этой даме две неприязни — общественная и личная.

Общественная.

Галкина работала исключительно потому, что работу предписал ей врач. Она объясняла это всем, кто готов был и кто не был готов ее выслушать: «Ушла бы на пенсию, с удовольствием ушла, еще два года назад, но врач не велит! Врач обещает — на пенсии я потеряю жизненный тонус, и нервная система сдаст, а без нервной системы я никто. У меня в затылке боли, а тогда что будет?» Между тем нервная система у Галкиной была еще та и позволяла ей доказывать свою любую правоту в каком угодно вопросе кому угодно и когда угодно. Начинала Галкина свои доказательства с того, что она «специалист милостью Божьей», что без нее подотдел будет уже не подотделом, а бог знает чем, кончала же тем, что у нее муж — член Союза художников.

Приходила Галкина на работу не к десяти, а к двенадцати, иногда к часу, она задерживалась в каком-нибудь учреждении, и нервная система тоже не позволяла ей переутомляться, у нее ведь были медицинские справки. Никто насчет справок не сомневался, но никто

и не видел их собственными глазами — ни отдел кадров, ни управделами. «Спрашивать у меня справки? — пресекала всякие попытки на этот счет Галкина.— У меня? Я двадцать лет в министерстве, ко мне полное доверие общественности! Общественность за меня стеной!» И опять Галкина была права: кому придет в голову действовать на ее нервную систему! Кроме того многие чувствовали себя за Галкиной как за каменной стеной — опоздал кто-то на работу, ответ и оправдание вот оно: «Галкиной можно, а почему другим нельзя?»

Совершенно особую роль в облике Галкиной играла ее партийная принадлежность. Еще не так давно Галкина, не будучи ни парторгом, ни заместителем парторга, ни членом бюро, воплощала в своей фигуре партийность: к каждому собранию готовилась, каждому, кто не готовился, умела выразить осуждение, иногда молча, одним только суровым выражением лица, иногда устно: «Вы повестку дня партсобрания знаете? Неужели не знаете? Тогда зачем же вам идти на собрание?» Но вот подошло время, и она активно осудила статью шестую Конституции СССР о руководящей роли партии, а когда статья была отменена, поддержала это решение. «Двумя руками поддерживаю!» — и объясняла, почему она оказалась в партии: только потому, что вступала не когда-нибудь, а в период оттепели, в тот момент это было безусловно прогрессивным шагом. Теперь прогрессивный шаг — из партии выйти.

А в общем-то, беспартийная Галкина — это для всех видимое недоразумение, даже для нее самой, и теперь с головы до ног она была озабочена поиском своего нового status quo.

Неприязнь личная была для Крутикова деликатной и смутительной: когда-то в санатории министерства в Кисловодске в плавательном бассейне Галкина продемонстрировала Крутикову свой бюст, и он тотчас откуда-то издалека услышал, кажется, мычание, такое же, как на колхозной молочнотоварной ферме. Нехорошо, очень плохо было так услышать, а что поделаешь, если было?

И теперь он тоже не сразу вошел к ней в комнату, сначала психологически подготавливался. В комнате сидели сколько-то женщин и один мужчина, к мужчине и обратился за чем-то Крутиков, после обернулся к Галкиной.

— А я и к вам. К вам тоже есть разговор.

— Пожалуйста,— сказала Галкина.— Я к вашим услугам,— сказала она, мощно опираясь о стол, а Крутиков опять вспомнил, что Галкину называли в главке буферным государством.

— Значит, так... — начал Крутиков. — Здесь, у нас в министерстве и даже в нашем главке, возникла, я хочу сказать, одна идея... Одно дело. Решено привлечь к этому делу вас...

Крутиков не знал, каким должен быть разговор — конфиденциальным или открытым, при всех.

— Ну-ну, — сказала Галкина,— значит, идея? Выйдем-ка в холл. Чтобы здесь никому не мешать.

В холле, как обычно, кресла и стулья были заняты сотрудниками министерства и приехавшими с мест, из областей и республик товарищами, те и другие беседовали между собой, насколько это было возможно, конфиденциально, вполголоса, но два свободных места — кресло и стул — нашлись. Галкина села в кресло, сделала знак принести из другого угла стул. Крутиков принес, разговор начался.

— Идея, Дарья Варфоломеевна, такая: при министерстве организовать информационную службу.

— Почему это при министерстве? — спросила Галкина строго. — Это надо при нескольких министерствах организовать, чтобы информация была самой полной. И почему это служба? Все это должна быть не служба, не бюрократия какая-нибудь. Это должен быть центр. Информационный центр. Вы меня поняли? Я в своей специальности милостью Божьей...

Во взгляде Галкиной прочитывались холодность, надменность и, пожалуй, презрение. Она сидела, откинувшись на спинку кресла, положив на подлокотники руки. Поза подтверждала презрительный смысл ее взгляда.

Крутиков же не мог вспомнить, какая у Галкиной специальность.

— Кроме того, нам, очевидно, придется привлечь к делу какой-нибудь кооператив. Надо и об этом подумать, — сказал он.

— Есть такой кооператив. Недорого возьмет. Не так дорого, процентов двадцать — двадцать пять от дохода, но достанет компьютеры. Находится в районе Главпочтамта. А еще этому кооперативу нужен цемент, не так много, а все-таки. И арматура нужна, тоже не так много.

Крутиков помолчал, вздохнул:

— Это хорошо.

— Надо бы лучше, ну ничего, и с этими мужиками как-нибудь обойдемся. Еще нам нужен специалист по коммерческой информатике и рекламе. И чтобы знал языки: будем выходить на международную арену.

— Для этого, наверное, нужна валюта?

— Выйдем на Европу, выйдем и на валюту. Ну и, конечно, нам нужна печать, пресса нужна. В этом нам тоже помогут. Вы Пустынника, случайно, не знаете? Конечно, слышали, но лично знакомы?

— Василия Евдокимовича? — спросил Крутиков и подумал: «Ужасно тесен мир! Нестерпимо тесен мир!»

— Значит, знаете. Близко? Выхода на него не имеете?

— Не имею.

— У меня на него выход есть, но не очень. У меня муж в Союзе художников, он может организовать.

— А что — Пустынник будет участвовать в центре?

— Вы чудак, Владимир Владимирович! Чудак так чудак! Пустыннику — что? Ему сделать звонок кому надо, и все! Нам и это будет хорошо, в масть будет. Нам на большее рассчитывать не приходится.

— А помещение? — перешел к другому вопросу Крутиков. Ему уже хотелось перейти к другому.

— А это не наша забота. Пусть начальство заботится, Николай Николаевич, даже сам министр. А то они, начальство, любят ездить на чужом горбу, а чуть что — присваивать себе. Вы штатное расписание центра не прикидывали?

— Не прикидывал.

— Прикиньте и покажите мне.

— Я, признаюсь, Дарья Варфоломеевна, не понимаю: а зачем в этом деле я? Зачем все-таки? Если все намечено что и как, если все определено, я-то к чему? Если вы больше в курсе, чем я...

— Может быть, вы думаете, Владимир Владимирович, что ваши интересы пострадают? Не пострадают! Больше того — кого вы порекомендуете на пост директора, тот и будет. Порекомендуете товарища Крутикова — будет Крутиков. Порекомендуете другого — будет другой. Порекомендуете, например, Кудрявцева — будет Кудрявцев. Полное и взаимное доверие.

— Нет! Все-таки я в этом деле человек случайный.

— А докладная Николаю Николаевичу? Случайная? Сама собой написалась? Нет уж — никаких случайностей! Тем более вас все знают, и никто не сомневается в ваших моральных качествах. Вот и я могу подтвердить ваши качества. Это во-первых.

— Во-вторых?

— Во-вторых, брат Николаю Николаевичу на себя такую инициативу не годится. Нынче все руководители его ранга хотят подстраховаться, сконтактироваться с кооператорами на случай пенсионного возраста. Зачем ему уже сейчас двусмысленное положение?

— Значит, в-третьих, двусмысленное положение должен занять я?

— Для вас никакой двусмысленности. Для вас, наоборот, это в самый раз. Это маленькому какому-нибудь служащему брать на себя большую инициативу было бы двусмысленностью, а вам это — честь! Подать докладную записку начальнику главка, с которой он к министру пойдет, — сами подумайте: чье это дело? Вот и нужно двинуть вас. Сами подумайте — другой такой же объективной кандидатуры не может быть! Но я вам прямо скажу: вам есть чем гордиться — такое доверие! Сами подумайте — при нынешнем-то дефиците доверия! Ну а у меня сейчас будет звонок по этому делу, между-городный. К этому звоночку нельзя опоздать.

Она посмотрела на Крутикова, придвинувшись к нему, а отодвинувшись, сказала:

— А вам борода очень идет, Владимир Владимирович. Имейте в виду — очень!

Крутиков в зеркало смотрелся редко, себя и свое лицо в собственном воображении представлял слабовато и ненадежно, а если что и представлялось ему в собственном облике четко и ясно, так это именно свеженькая борода, подарок Сонечки — она ее выдумала: «Тебе пойдет! Уж ты поверь — пойдет!» Он, конечно, поверил и, конечно, не ошибся. Галкиной же он сердито подтвердил:

— Как инициатор я выступаю, но как деятель, как сотрудник центра — увольте! Это не для меня!

— Что-что? — Галкина подобрала ноги и грудью надвинулась на Крутикова. — Что такое, я спрашиваю?

— Да-да! Нам нужна экономика, дело как таковое нужно, а потом уже информация об этом деле. О чем же будет нынче информировать ваш центр — о безделье? О нашей разрухе? Для чего нужно это? Ради чьей выгоды?

И еще Крутиков ругал и драконил пока что не существующий центр, его идею, он разгорячился, рассердился, он негодовал на Галкину, на Баскова, на министерство, на советскую власть, на двадцатый век, на Россию.

— Вы, Крутиков, с ума сошли? Ага, сошли! — остановила его наконец Галкина. — Да где же ваша порядочность-то? Хваленая-то? Всем известная-то? Вы какую такую роль играете? Это как называется, такая роль? Скажите еще раз — это кто же заставил вас докладную писать? Никто не заставлял, а теперь что? Я прямо скажу — тут дело темное! Тут надо разбираться да разбираться!

«Кто заставлял?» — был вопрос, и Крутиков его не предвидел, такой очевидный, сам собою разумеющийся. Ответил он так:

— Это разные вещи, Дарья Варфоломеевна, одно дело — инициатива, другое — ее исполнение. На одно я способен, на другое — нет и нет.

— Ну мы еще посмотрим, товарищ Крутиков, на что вы способны! А в кошки-мышки играть с нами, в темную играть, мы не позволим! Имейте это в виду. Имейте в виду — мы будем работать рука об руку! Так и затвердим. Я иду — звонок!

И Галкина — раз! два! три! — стукнула себя в грудь и — раз! два! три! — офицерским шагом двинулась в даль коридора. Ноги коротенькие, шаг строевой. Зад — назад, перед — вперед. Порядок!

Галкина ушла, Крутиков подумал: «Неужели в нашем разговоре не было ничего положительного? Так-таки ничего?» Стал вспоминать и вспомнил один момент, который, кажется, был со знаком плюс.

Момент был такой.

Кроме Галкиной, Басков велел Крутикову получше связаться еще с несколькими товарищами, в том числе с Великановым. Великанова Крутиков знал не столько лично, сколько по характеристике того же Баскова, и в тот раз он сказал ему:

— Вы, Николай Николаевич, помнится, говорили мне, и по оп-нажды, пожалуй, что Великанова очень опасается: стоит ему поз-

вонить, повстречаться с ним с глазу на глаз, как он обязательно начнет что-нибудь выпрашивать. И обязательно выпросит. Не по бюджету, так по матчасти, не по матчасти, так по штатам.

— Уж это точно, — согласился Басков. — Так оно и есть. Но понимаешь, Крутиков, он-то, Великанов-то, совершенно такие же слухи распускает обо мне. Совершенно! Дескать, хороший мужик Басков, но стоит ему позвонить, он обязательно что-нибудь у тебя урвет — по бюджету, по матчасти, по штатам! Такой, понимаешь ли, сукин сын этот Басков! — И Басков на минуту задумался. — Но все равно, Крутиков, нам Великанова не миновать, свяжись с ним срочно и крепко. Понял?

Крутиков Великанова толком и не знал, но все равно ненавидел, и ему это поручение было поперек горла, он сказал «постараюсь», зная, что стараться не будет.

В разговоре же с Галкиной он Великанова незаметно и с задней мыслью ввернул: «Вот еще очень нужный человек, только неизвестно, как можно к нему подступиться?» — а Галкина тут же и клюнула: «Как же, как же, знаю, знаю. Симпатичный мужчина, хотя и сукин сын. Ну ничего — я возьму его на себя!»

Значит, утешение от разговора с Галкиной все-таки вышло. Хотя вслед за утешением спустя время вышла и другая неутешительная мысль: «Иной раз и жить не хочется, а пакости все-таки делать хочется, — подумал Крутиков. — А иной раз жить хочется, пакости делать не хочется, а — все равно делаешь! Вот она, проблема, — жизнь и пакости!» Чтобы прогнать проблему, Крутиков решил вспомнить что-нибудь о Сонечке. Что-нибудь такое, что он думал о ней не на работе, а дома перед сном или же по утрам в отсутствие УПеса.

Сонечка-то частенько представлялась ему в эти вечерние и утренние минуты женщиной, которая ни в коем случае не должна была распорядиться сама собою произвольно, как ей вздумается. Не могла она по своему усмотрению ни лечь спать, ни на ночь намазать кремом лицо, переодеться в ночную рубашечку, ни пойти в ванную, наполнить ванну не холодной и не горячей, а в самый раз водой... Все это она если и делала — а, конечно, она делала это, — так только по наущению Высшей силы, по наитию, от этой силы исходящему. Какая высота!

А еще вспомнились ему звонки Сонечки. В час, а то и в два и в три ночи она будила Крутикова.

— Вова! Дорогой! Ты знаешь, о чем я думаю? Ни за что не догадаешься! — шептала она в трубку.

— Ну расскажи.

— А вот: что такое Бог? Есть он или нет? А если есть — где же он все-таки находится, не знаешь?

— Не знаю... Нет.

— Я так и знала, что ты не знаешь. А в это время Бог находится в самом человеке, в тебе находится. Хочет человек, чтобы Бог был с ним, и он с ним будет. Не хочет — как хочет, не больно-то Богу нужно кому-то навязываться. А что Бог где-нибудь в космосе — так это ерунда. Что он в каком-то невещественном веществе, в каком-то постустороннем разуме — ерунда. Ты меня понял?

— Кажется, понял.

— Спокойной ночи. Целую, дорогой!

Чаще, чем о Боге, Сонечка беспокоилась по ночам о нем, о Крутикове, и спрашивала:

— Ты, Вова, помнишь, говорил мне, что недоволен собой и своей жизнью... Недоволен, потому что не оставишь после себя никакого следа. Жил-жил, а умер — и следа никакого! Помнишь?

Крутиков не помнил, но если Сонечка помнила, значит, так было.

— Ну-ну. А дальше?

— Каждый, кто жил когда-нибудь, подтверждает само явление жизни, и это самое главное — явление, а не мы с тобой, не Маркс и не Ленин и даже не Чайковский. Я лично этого явления не замечала до тех пор, пока не полюбила тебя. А теперь так замечая, так замечаю, что и сказать не могу. Спокойной ночи. Целую, дорогой мой!

И Крутиков засыпал с ощущением, что он сейчас уже и не он, а тот совсем другой, которым всегда хотел быть, но никогда без Сонечки, без ночных ее вопросов так и не стал бы, хотя бы на пять минут.

«Нет гениальных ответов, есть гениальные вопросы», — вспоминал Крутиков, засыпая, чьи-то, но не помнил чьи, слова. Сонечка же была гениальна, была неповторима, была прекрасна в своих вопросах. Пусть не для всех она была такой, только для него одного — тем он счастливее: для него! для одного!

Правда, вопросы раздавались иногда и вовсе странные:

— Вова! Почему это мне чуть ли не каждую ночь снится один и тот же сон?

— Какой?

— Да вот будто бы я проснулась, не сплю и страдаю, страдаю, страдаю от бессонницы.

Крутиков смеялся. Сонечка вздыхала в телефонную трубку:

— Ты, оказывается, очень легкомысленный человек. Ну ладно, спи. Я тебя все равно люблю. Спокойной ночи. Целую, дорогой!

Утром в министерстве они разговор не продолжают — не то место, не божественное, — но в буфете за угловым столиком, если за этим столиком они двое, больше никого, Крутиков говорил:

— Сонечка! А ты не замечаешь ли, как ты день ото дня все больше становишься женщиной? Походкой становишься, глазами становишься, улыбкой становишься!

— Вот так раз! Вот так вопрос! Дурачок ты, что ли? Да я только этим и живу, этим женским становлением! Я же до сих пор кем была-то? Девчонкой, вот кем! Я даже и не знала до сих пор, что такое женщина! Ну, нам пора разбежаться. Мы слишком долго сидим здесь вместе, в укромном уголке, но на виду у всех.

И она шла в свою, а он в свою комнату, и Крутиков думал: «Трудно жить... Трудно, потому что не знаешь, как это делать. В наше время — как?»

Ну, а день за днем шли в это время как никогда суетливо. Крутиков куда-то звонил, кому-то писал, с кем-то встречался и ходил по краешку самого себя — между собою прошлым, списанным, и завтрашним, еще не состоявшимся. А так хотелось состояться, разумеется, не одному, вместе с Сонечкой!

Когда-то в детстве, вспоминал Крутиков, он тоже начинал самого себя.

В пионерлагере было, на берегу Оки, он впервые оказался без мамы, без папы, и пионервожатая, девочка Симочка с аккуратными косичками и маленьким ротиком, тоже впервые была вожатой, ей тоже было страшно. Они друг друга именно в этом страхе поняли, и Вовка Крутиков стремглав летел на линейку при первом же звуке горна и первым же выскакивал из Оки — в то время под Тарусой в Оке можно было купаться и рыбу ловить на удочку. И Симочка была ему благодарна за эту понятливость и преданность и вот объявила на вечерней линейке: «Вова Крутиков — образцовый пионер! Ребята! Берите пример с Вовы!»

С этого момента Крутиков и уяснил необходимость собственной образцовопоказательности, не столь уж трудной, с тех пор и пионервожатая обрела серьезный авторитет: она ведь определяла, кто в отряде хуже, а кто лучше, кто лучше всех.

Некоторую, не совсем еще отчетливую подлость образцовопоказательности Крутиков впервые почувствовал давею, лет двадцать тому назад, и почувствовал ее без посторонней помощи, без самиздата, а

совершенно сам по себе. И то, что это чувство было таким самостоятельным, то, что ему не только на свою, но и на любую другую образцовопоказательность враз стало наплевать, наделило его другим чувством — свободы и независимости, с которыми он, однако, не знал, что делать. Сесть в тюрьгу? До этого он не додумался, а додумавшись — вряд ли вариант осуществил бы, героем, отважным борцом он ведь не был и не предполагал быть, да и солженицынского «Архипелага ГУЛАГ» тогда еще не было. И он жил сам по себе, растил детей, служил старательно, но карьеры не строил, карьера его уже не увлекала, ни Брежнев и ни Солженицын ему были не указ, разве что начальник главка в рабочие часы.

Но вот что случилось: Сонечка эту его независимость искренне и глубоко оценила, полюбила ее. «Любимый ты мой Сам!» — говорила она, и эти ее слова, и ласка, и нежность толкали Крутикова на путь от себя прошлого, вчерашнего, к себе завтрашнему, но еще неизвестному себе самому. «Вот бы достигнуть!» — мечталось нынче Крутикову, мечталось непременно с чувством благодарности к Сонечке.

А теперь он боялся, как бы в нем не появился энтузиазм по поводу информационного центра, — от энтузиазма до образцовопоказательности один шаг. Он знал за собой грех старательности в любом деле, в котором ему приходилось участвовать, и грех ненависти к бездельникам тоже знал.

Не дай бог снова тот же самый энтузиазм!

Как просто и приятно энтузиазм происходит: «Наша отрасль за годы советской власти...», «За послевоенные годы...», «За последнюю пятилетку...» — а память тотчас преподнесет навалом и цифр, и фактов, и показателей, и еще бог знает чего положительного и даже — душевно необходимого. И вот уже вместо «я», «они» и «вы» появляется в единственном числе «мы» — министерство, «мы» — отрасль, которая... и следуют, и следуют за «мы» имена возвышенные — прилагательные и числительные... И это при том, что Крутиков никогда не знал: «мы» — это сколько же? это кто же? это какие же?

Колонна министерства внушительна, если идешь в ее середине по случаю 1 мая или 7 ноября, ни головы, ни хвоста не видеть. Когда же отделы и главки поочередно выгоняли на Ленинский проспект, чтобы приветствовать флажками и просто так, без флажков, бронированные машины, мчавшиеся с Внуковского аэродрома в Кремль то ли с Хонеккером, то ли с Фиделем Кастро, то ли с Живковым, а то и с Ричардом Никсоном, министерского люда хватало на тротуарах от площади Гагарина почти до самой Академии наук СССР. Однако же все остальное время этот люд был безучетен, визуально невыразителен, ни симпатий, ни чувства единения не внушал, и улизнуть с тротуара было делом соблазнительным, и Крутиков соблазнился, скрывался в подъезды одного из жилых домов — 22, 24, 26 или 28, — здесь всегда находила пристанище некоторая часть приветствующего контингента (в подъездах дома № 30, населенного руководителями советских профсоюзов, сидели пожилые вахтерши и посторонних активно не пропускали), зато в упомянутых выше домах на лестницах вплоть до пятого этажа крутиковские сослуживцы сидели плотно и молча, о чем-то думали. Крутиков тоже, бывало, думал, догадывался, о чем думает его сослуживец, расположившийся ступенькой выше или ниже. Но иногда и совсем уж странные мысли приходили ему в этой обстановке, и опять же по поводу министерства. «А что, — думал он, — что, если бы все цифры, которые когда-либо обитали в министерских бумагах, отчетах и сводках, если бы все они — максимальные, минимальные, средние, итоговые и в динамике, табличные и единичные — вдруг приобрели бы какую-нибудь одушевленную величину, превратились бы, скажем, в рыжих муравьев средней величины? Вот был бы муравейник так муравейник! Этажа на полтора-два высотой и метров сорок в диаметре по основанию!» В общем, это трудно было



представить, и Крутиков переключался на домашние проблемы: вот холодильник с прошлого понедельника гудит, словно вертолет на взлете, вот дочка получила две двойки за неделю — по математике и сочинению, вот... а скоро ли товарищ Фидель Кастро (товарищи Живков, Хонеккер, Кадар) проедет в Кремль? Рано или поздно с быстротой почти что молнии долгожданные машины все-таки пролетали под уклон проспекта, доносилось в подъезд глухое «ур-р-ра!», и тут же возникла задача — пробиться в метро...

С наступлением перестройки встречи выдающихся международных политических деятелей на Ленинском прекратились, но нынче они снова вспоминались Крутикову, причем не сами по себе, а только в связи с рыжими муравьями. Может быть, думал Крутиков, муравьишки в самом деле требуют информации о том, сколько их и почему? И ведь кто-то из людей, из ученых людей, это знает, подсчитывает? А вот численность министерских цифр никто не знает, никто никогда не узнает, это тайна более чем государственная, более чем военная. Цифры должны ведь являться по физическим, экономическим или биологическим законам и правилам, но в министерстве ни тех, ни других, ни третьих законов и правил не было. Цифры здесь были как бы синтетические — никаких муравьев, никакого органического или неорганического вещества, единственно на что они были способны — поглотить министерское «мы», то самое, которое эти цифры производило в таблицах в итогах и в динамике.

Крутикову позвонили:

— Владимир Владимирович?

— Я.

— Такая необходимость: приезжайте сегодня к нам часиков в семь. Если вам удобнее, можно в восемь.

— А кто говорит? — Голос показался Крутикову будто знакомым, но будто бы и нет, надо было убедиться.

— Не узнаете?

— Не совсем.

— А вы совсем узнайте. Кудрявцев говорит. Кудрявцев Василий Викторович. Мы же теперь старые знакомые!

Крутиков помолчал в трубку, и еще было сказано:

— А что? Неужели неожиданность — мой звонок? Вы со своим юристом не связались?

— Я — нет...

— Я тоже нет, а вопросы все равно возникают. Неожиданные. Так что мы ждем вас в семь тридцать вечером. Пока! До скорой!

Кудрявцев говорил «мы», и Крутиков кинулся к Сонечке узнать, в чем дело.

— Нету Софьи Николаевны, ушла. Домой. Голова заболела после обеда, и она ушла, — сказали Крутикову в ее отделе.

А в семье Кудрявцевых вот что произошло накануне.

Все трое они ужинали, запоздали с ужином, поздно было, все мрачные, разговоров никаких. Сколько уже мрачных дней было, а привычки к ним все еще не было. И вдруг Димка отодвинул тарелку с яичницей и сказал:

— Мамулька! А чего это ты выдумала?

Софья Николаевна догадалась, о чем речь: нельзя было не догадаться, посмотрев еще и на мужа.

— Мало ли что в жизни бывает, сынок. Мало ли что случается. И со мной случилось.

— Я это знаю, а со мной — как? И с отцом — как? Никогда не думал, что ты у нас такая легкомысленная! — с обидой в голосе проговорил Димка.

— Я тоже никогда не думала. Оказалось — такая.

— Ну ладно, это твое личное дело. Но ты скажи — мы-то с отцом при чем? Отец! А ты что молчишь? Струсил и сидит, прижал уши.

— Я не прижал. Я слушаю разговор, и у меня есть свое твердое мнение. Я его еще выскажу.

— Еще? — спросил Димка. — Я твое мнение знаю, а мать до сих пор не знает. А в таком деле все должны знать всё.

— Ладно. Я скажу, — сказал Кудрявцев-старший. — Никуда ты, Софья Николаевна, от нас не денешься. Заруби на носу.

— Вот что, Василий, ты ведь знаешь — для меня вопрос решен. Изменить ничего нельзя. Поздно. Да ведь и ты согласился и уговорился с Владимиром Владимировичем. Будь мужчиной, не трепись, договор дороже денег, а главное, я иначе не могу. Да и что вы можете сделать? Я уйду, и только. Я уйду — понятно?

— Не уйдешь, — пожал плечами Димка. — Без меня не уйдешь, а я с тобой не пойду, а без тебя мы с отцом сопьемся, или я начну колоться, глотать таблетки или капельки.

— Димка! — вскрикнула Софья Николаевна. — Димка, что ты? Я ведь с тобой говорила, и ты мне два месяца тому назад сказал: «С тобой, мамуля, хоть куда! Хоть на край света!» Говорил?

— А ты со мной слишком иносказательно беседовала. Не конкретно: куда мы с тобой пойдем, к кому пойдем... Не сказала даже, что к другому отцу, а я думал, ты спрашиваешь насчет лета. Вот, дескать, лето наступит, и мы с тобой поедем дикарями в Крым, или ты путевку какую-нибудь достанешь. Оказывается, ты во-о-он куда загнула!

— О-о-ох! — вздохнула Софья Николаевна и еще и еще раз: — Ох! Ох! Ты шутишь, что ли? Ты... ты... ты...

— Что — я? Я есть я. Я, я, я! И ты со мной не шути: у меня переходный возраст. Мало ли что может быть с человеком в переходном возрасте?!

— В самом деле, мать, — снова вступил в разговор муж, — в самом деле, ты только подумай, только представь себе картину: идет суд, бракоразводный процесс, Димку спрашивают, а он ревет и кричит: «Не хочу, чтобы мама уходила, не хочу, не хочу!» Ты выдержишь такую сцену? Десятки таких сцен? Я тебя знаю — не выдержишь. Не та натура. Ты только представь себе, что мальчишка на суде пообещает, что он будет колоться! Только представь! Да ни один судья, уверяю тебя, не выдержит! Тем более если судьей будет женщина, женщина-мать! А это, откровенно говоря, всегда можно устроить, чтобы выйти на судью женщину-мать. Среди судей их большой процент.

— Вот именно... — подтвердил Димка. — У меня еще и паспорта нет. А кто я такой буду без материнского присмотра?

— И реветь в суде будешь? — спросила Софья Николаевна.

— Буду! Еще бы не реветь! Даже странно: мать бросает сына, а сын помалкивает.

— Громко?

— Уж как получится.

— А с паспортом ты тоже ревел бы?

— Почему бы нет?

— Взрослый человек.

— Мало ли что. Как будто взрослые не ревут. У тебя вон глаза сколько времени не просыхают, а ты ведь взрослая. Мы с отцом и так и этак — он в десять часов вечера каждый день дома, я все до одного урока делаю, но ты ни на что не обращаешь внимания, нас будто и вовсе не видишь и реवेशь втихаря.

— Ну хорошо, хорошо. А вам лучше будет, если я умру? Не выдержу, умру или само... умру?

Василий встал из-за стола, пошел и выключил на плите чайник... Он медленно шел в кухню, обратно вернулся еще медленнее и сказал:

— Не надо, мать. Не надо. Не доводи себя до состояния. С кем не бывает. Кто не без греха.

— У меня не грех! У меня — правда. У меня такая правда, о которой вы и понятия не имеете. Ни тот, ни другой.

— Не надо, мать. Не надо... — повторил Василий. — Вы, женщины, народ слишком эмоциональный, это верно, но ведь и двуличный тоже. Вы все выдержите. И пугать нас не надо. Это нечестно, это нехорошо — пугать! Ты и сама знаешь, что нехорошо. Шантаж — зачем? Что бы ты ни говорила, как бы ни рыдала, а жить-то все равно будешь. С нами будешь жить. У тебя свой бзик, у меня свой бзик, у Димки — третий, пока еще неизвестно какой, вот и будем жить троє с тремя бзиками.

— Но ты, Василий, ты же договорился с Владимиром Владимировичем, ты благодаря ему стал директором центра, как его название-то, что-то вроде СПИДа. Ну а теперь? Ты уже все забыл? И о бракоразводных юристах забыл? Ведь стыдно же, стыдно!

— Позволь, мать! Во-первых, я и без твоего милого Вовочки стал директором! Стал бы! А во-вторых, ты забыла, кто начал всю эту историю. Кто первый? Первая начала ты! Это факт. Вот уж никогда не думал, не знал у тебя такой способности — сваливать с большой головы на здоровую! Вот уж не знал и никогда не догадывался! Наш друг Василий Пустынник уж как тебя ценит, как к тебе относится, но и он этого в тебе не заметил.

— Замолчи! Как тебе не стыдно говорить о проклятом Пустыннике! — громко закричала Софья Николаевна, бросилась в спальню на кровать и еще громче зарыдала. — Он страшный человек, он дьявол, он террорист, он...

Стоя в дверях, Василий выжидал, когда на секунду-другую жена затихала, и говорил:

— Успокойся, пожалуйста, успокойся. Не надо человеку лепить... оскорбления. Незаслуженные. Хотя бы и заочно. Это непорядочно. Ладно, ради тебя я поступлюсь товариществом, своим достоинством поступлюсь, и Пустынник, умнейший человек, бывать у нас не будет. Совсем не будет или только изредка. Но ты пойми — разве ты выдержишь весь этот кошмарный суд, допросы в суде, адвокаты в суде, публика — разные девки и подонки — в суде? Один суд, а может быть, еще и другой и даже третий — на год может растянуться дело, еще дольше! Это ужасно! — Еще подождав, еще выждав время, Василий продолжил: — Завтра в это время к нам придет твой... Владимир Владимирович. Придет. Я предупредил его. Мы спокойно поговорим. Я поговорю, если хочешь — ты поговоришь; если найдешь нужным, чтобы Димка присутствовал, — пусть он поговорит, большой уже. Втроем с ним поговорим. Как хочешь, так и будет. Мы поговорим и поставим точки над «и». Конечно, будет трудно. Тебе особенно трудно, я тебя понимаю, но ты можешь и не присутствовать, а тогда я от твоего имени поговорю, а если сама будешь участвовать, все-таки старайся сдерживаться. Конечно, без слез не обойтись, но мало ли что бывает, какие человеческие трагедии, драмы и комедии, мало ли что.

Подошел к дверям и Димка, выждал время, тоже сказал:

— Мамуля, не убивайся... Это пустяки. Подумаешь — ты ведь только один раз и побыла-то по-настоящему с этим, с Крутиковым. Из-за одного раза — и вдруг такой скандал? Стоит ли?

Софья Николаевна перестала рыдать, приподнялась на кровати.

— Димка! Как тебе не стыдно!

— А чего тут стыдиться? Мы с отцом точно вычислили — всего один раз... К тому же кругом такие события — исторические. Глобальные. Трагические. На этом фоне — подумаешь! Ей-богу, пустяки! Подумаешь, дела! Да кто же это безгрешен-то в наш двадцатый век?.. Если кто-то был бы в нем безгрешен, в двадцатом, так его и вовсе не было бы! Так что, мамуля, брось придуриваться под консерватизм! Что было, то было — факт. На это надо плюнуть и растереть — тоже факт!

— Димка! — воскликнула Софья Николаевна. — Я не хочу тебя слушать! Откуда ты взялся-то — такой умный? У кого просвещаешься? У отца? Или у товарища Пустынника?

— Эт-то, мамуля, что! Эт-то — пустяки! — пожал плечами, сперва одним, а потом другим, Димка. — Ты не знаешь, а если я захочу, если когда очень нужно, я могу быть и еще умнее! Честное слово, могу! Но только не понимаю: матери бы радоваться, что у нее такой умный сын, а она — рыдает! Право слово — парадокс!

— Уйдите! Уйдите прочь! — закричала Софья Николаевна, вскочила, захлопнула дверь и снова, рыдая, упала на кровать.

Кудрявцевы, отец и сын, вернулись к столу, сели.

— Тяжело-то с ней... Не дай бог как тяжело! — сказал Кудрявцев старший и вздохнул.

Димка подтвердил:

— Действительно, разговор сейчас состоялся так разговор! Я даже аппетит потерял. Как ты думаешь, батя, это окончательно? Или все еще нет?

— Это — окончательно! Она никогда через это не перешагнет, где ей! Она, знаешь ли, наша мамуля, из тех, которые никогда не решатся сломать чью-нибудь судьбу. Вполне положительная героиня. Я этого сам даже и не понимал. Это Вася Пустынник мне объяснил. Посмотрел-посмотрел на нашу милую мамулю и объяснил. «Скорее она сломает свою судьбу, чем чью-нибудь другую», — сказал он мне.

— Голова! — покачал небольшой своей головкой на длинной шее Димка. Прищурил рыженькие ресницы и еще раз подтвердил: — Голова-а Пустынник!

— И что невзлюбила его наша мамуля? — вздохнул Кудрявцев отец.

— Детские шалости. А еще — переходный женский возраст, — объяснил отцу Димка. — У них это бывает, у женщин, такой переход.

— Соображаешь... — не без удивления сказал Димке отец. — Соображаешь, а значит, вдвоем-то мы с ней как-нибудь управимся. Меня, Димка, нынешний момент даже и не волнует. С чем, с чем, а с нынешним-то моментом мы управимся, управились уже, все в порядке. А вот что будет потом? Какая будет жизнь потом? Мамуля этого никогда ведь не забудет.

— Боишься, что будет взлягивать?

— Будет. Ой, Димка, будет!

— Ну ничего, как-нибудь, отец...

— Ну ничего, как-нибудь, сын...

В семь тридцать вечера Крутиков был у дома, в котором жили Кудрявцевы.

Настроение у Крутикова было... он и сам не знал, что за настроение. Что-то тревожное, неопределенное и что-то еще. А виновата в этом была, кажется, Леночка — девочка, которая служила в главке в неопределенной должности, если коротко — на побегушках. Так вот она, эта Леночка, когда Крутиков собирался нынче к Кудрявцевым, подошла к нему, помолчала и сказала:

— Владимир Владимирович, хотите, перекрещу? У меня рука легкая. Честное слово.

Крутиков оторопел:

— А ты что-нибудь знаешь, Леночка?

— Да все я знаю, Владимир Владимирович, куда вы идете — я тоже знаю.

— Откуда знаешь?

— Не знаю... Может, я и совсем ничего не знаю, но — понимаю.

— А поможет? Твой крест? Тебе самой помогает?

— Самой нет. А на других сказывается положительно. Во всяком случае, хуже не будет...

- А лучше?
- Лучше — будет!
- Тогда крести!

Леночка перекрестила Крутикова, он поцеловал ее в лобик, спросил:

- Значит, ты в Бога верующая?
- Для себя — не знаю, верю или нет, а для других — верю.

«Славная девочка! — еще подумал Крутиков, поглядев в Леночкины глазки. — Очень, оказывается, славная! И — умненькая, должно быть. А на вид — куколка и больше ничего!» И пошел к Кудрявцевым.

Когда он входил в подъезд, из подъезда вышел уже знакомого вида человек среднего возраста, с черной бородой, синим носом и с большим портфелем. Из кармана плаща у него торчала газета.

Если бы эта газета тотчас попала в руки Крутикова, он смог бы прочитать в ней сообщение о том, что в Москве открылся новый информационный центр «Экспресс-промстройинформация», сокращенно ЭПСИ, «учредителями которого, — писал корреспондент, — явились несколько заинтересованных министерств, связанных с проблемами крупного промышленного строительства, и кооператив, специализирующийся на вопросах научно-технической информации. Эти общие сведения мы получили от директора ЭПСИ тов. В. В. Кудрявцева. Мы знали, — продолжал корреспондент, — что в системе министерства предполагается строительство двух мощных заводов огнеупоров союзного значения — Черемуховского и Лебяжинского, и позвонили в диспетчерскую с целью получить более подробные сведения об этих заводах. Диспетчер Д. Галкина уверенно ответила: «Одну минуту!» — и буквально через минуту механический голос сообщил нам исчерпывающую информацию о том, что проект Черемуховского завода утвержден окончательно, определены все его экономические и технические показатели (тут следовал не один десяток цифр). Утвержден также и протокол независимой экологической экспертизы. Что же касается Лебяжинского завода, его проект после тщательного анализа отклонен и средства — а это многие миллионы — переключены на черемуховский объект. Итак, ЭПСИ действует и готов оказать необходимые услуги государственным учреждениям, кооперативным организациям и частным лицам. Еще один шаг в развитии гласности!».

Корреспонденция эта была напечатана в рубрике «Новости экономики».

## ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Читайте в 1991 году:

**АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ**

Из неопубликованного

*Рассказ. Сценарий. Наброски. Записи*

Публикация и составление М. А. Платоновой. Вступительная статья, подготовка текста и комментарии Н. В. Корниенко.

---

---

ВЛАДИМИР КОСТРОВ

\*

МЫ ВЕДЬ ДРУГ ДРУГА ПОКА НЕ ЛЮБИЛИ

\* \* \*

То-то блудное сердце так вздрогнуло вдруг,  
Лишь озерным оконцем мне дол подмигнул.  
Серый ястреб мне бросил спасательный круг,  
Старый ясень мне руку свою протянул.

Словно велосипед летний дождь моросит,  
Гулкой рамой поет, каждой спицей звенит.  
Разгоняет светило цветной мотоцикл  
И, как гонщик, летит исступленный зенит.

Занимается вечер. Но день не потух.  
Скот идет под забор, а хозяин в запой.  
Черно-красный, при гребне и шпорах петух  
Мефистофелем сел на разбитый забор.

Послезавтра и завтра, вчера и вовек  
Изводи, выжигай, вытравь и стирай! —  
Сотвори мне, художник, святой человек,  
Неизбывное чудо — мой дом и мой край!

Ты плесни в мою душу закатным огнем,  
Этим пламенем синим глаза полосни.  
И ударь по затылку ночным кистенем.  
Сокруши меня в прах. Но пойми и прости!

\* \* \*

При сырой и сухой погоде,  
Не коготки на ноготках,  
Две борзые во двор выходят,  
Словно щуки на поводках.

И над мелочью оробелой  
Блеск клыка, будто блеск клинка.  
Негашеной известью белой  
Круто хвачены их бока.

Вьется шерстка. Ни капли жира.  
Да усмешка на тонких губах.  
От Каира до Йоркшира  
Нет опасней таких собак.

Прочь крикливых. Долой слащавых.  
Здравствуй, грозный разбег полей.

Мало проку от звонких шавок,  
Милых фоксов и пуделей.

Слишком в небе темно и грозно,  
Слишком ветер несется встречь.  
Слишком дело стоит серьезно,  
Чтоб породю пренебречь.

\* \* \*

Когда в тридцатом кулаков громили  
По указанью нашего вождя,  
К ним на подворья многие ходили  
И брали все, до шила и гвоздя.

Тогда уже молчало Божье слово  
И сдвинулись основы бытия...  
И все-таки: «Не трогайте чужого!» —  
Твердила детям бабушка моя.

Но подходя к танкетке ли, к тачанке,  
Возвышенный над сельской чепухой:  
«Кидай холсты. Бойцам нужны портянки» —  
Велел в кожанке человек лихой.

Мы те портянки сорок раз сносили  
И выбросили. И кого корить?  
Но снова нет достатка на России.  
И те холсты вновь хочется кроить.

Поветрия убогого и злого  
Полны и ныне милые края.  
«Спаси Господь, не трогайте чужого», —  
Я говорю, как бабушка моя.

\* \* \*

Сквозь житейскую гиблую прозу  
Невозможно постичь бытия.  
На горячую красную розу  
Не пора ли призвать соловья?

Прилетай, молодой и опасный,  
С острым, звонким желаньем в груди.  
И бутон бесконечно прекрасный  
Увлеки, распусти, разбуди.

Чтобы роза, как сердце, разбилась  
В темно-алом порыве крови.  
Чтоб алкала она, и томилась,  
И горела она от любви.

Пусть сойдет вакханалия страха.  
Слишком холоден век и жесток.  
Да помогут нам кроткая птаха,  
И беспечный, но вечный цветок.

\* \* \*

Воронные кони, воронные.  
Гривы буйные да удила стальные.

Льется пена по губам,  
Хлещет ветер по зубам.  
Черны вороны расселись по столбам.

Ах, запрячь бы таратайку-тараторку  
Да помчаться по равнине, по пригорку  
Да тебя губами пить,  
Да себя совсем забыть.  
И дорогу эту длинную любить.

Воронные кони, колдовские.  
Так, что искры от копыт на пол-России.  
Эх, взнуздай и засупонь  
Да кнутом по ляжкам тронь —  
Сразу черный распластается огонь.

При царях Горохе и Мироне,  
Ах, неужто вороных я проворонил?  
Улетели из Москвы  
Тарангасы и возки.  
И остались только белые виски.

\*.\*

Песня моя начинается молча.  
Не сожалею. Не печалься об этом,  
Пусть наливается ягода волчья  
Сине-багровым, густым фиолетом.

Время, мой друг, не для чистого духа.  
В черных полях догорает солома.  
В наших канавах взошла бормотуха.  
Время дождя и поря бурелома.

Мы не дождемся обещанной форы.  
Скирд не сложили, стогов не сметали.  
Тянем мы к глоткам своим микрофоны,  
Словно стаканы с хмельными медами.

Скоро зима, и, всего ничего-то,  
Дыры заткнет она белой куделью.  
От бормотухи останется рвота  
И первопуток к большому похмелью.

Ягоду волчью заступят рябины,  
В белом сгорят эти грязи и пыли.  
Мы ведь друг друга пока не забыли.  
Мы ведь друг друга еще не любили.

\*.\*

Бедное сердце болит спозаранку  
В горьком сознание беды и вины.  
Чудится, будто играет шарманка  
Песню времен англо-бурской войны.  
Видно, старухи не зря голосили.  
Век начинался — слепое дитя.  
Песня с шарманки прошла по России.  
В пьяных застольях все жилы крутя.



Стакан в стакан! Споем, друзья,  
О дальней стороне.  
«Трансваль, Трансваль, страна моя,  
Ты вся горишь в огне!»

Земец и пахарь. Купец и карманник.  
И с револьвером убойный студент.  
Точка поставлена. Умер шарманщик,  
Но продолжает играть инструмент.  
Давняя музыка родины милой,  
Душу она бередит до сих пор.  
Бурская пуля. Афганская мина.  
Очередь из автомата в упор.

Прощай, любовь. Прости, семья.  
Погасни, свет в окне.  
«Трансваль, Трансваль, страна моя,  
Ты вся горишь в огне!»

Вздыбились нации с именем Бога  
В год обезьяны, а может, змеи.  
Стали уже убивать у порога  
И распинать на глазах у семьи.  
Снова обиды, плевки и проклятья —  
Это шарманка поет на износ.  
Снятся мне душу продавшие братья.  
Каин и Авель, Пилат и Христос.

Нальем, споем, терпеть нельзя.  
Утопим боль в вине.  
«Трансваль, Трансваль, страна моя,  
Ты вся горишь в огне!»

Время гудит над дорогой метельной,  
Словно не хочет тепла и добра.  
И надеваю я крестик нательный —  
Каплю надежды из серебра.



---

---

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

\*

## БОДАЛСЯ ТЕЛЁНОК С ДУБОМ

*Очерки литературной жизни*

### ПЕРВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

(Ноябрь 1967)

ПЕТЛЯ ПОПОЛАМ

**В**от, оказывается, какое липучее это тесто — мемуары: пока ножки не съжишь — и не кончишь. Ведь всё время новые события — и нужны дополнения. И сам себя проклиная за скучную обстоятельность, трачу время читателя и своё.

Ни с чем не могу сравнить этого состояния — облегчения от высказанного. Ведь надо почти столетия гнуться, гнуться, гнуться, молчать, молчать, молчать, — и все распрямиться, рывкнуть — да не с крыши, не на площадь, а на целый мир, — чтобы почувствовать, как вся успокоенная и стройная вселенная возвращается в твою грудь. И уже ни сомнений, ни метаний, ни раскаяния, — чистый свет радости! Так надо было! так давно было надо! И до того осветилось всё восприятие мира, что даже благодущие заливают, хотя ничего не достигнуто.

Впрочем, как не достигнуто? Ведь около ста писателей подержало меня — 84 в коллективном письме съезду и человек пятнадцать — в личных телеграммах и письмах (считаю лишь тех, чьи копии имею). Это ли не изумление? Я на это и надеяться не смел! Бунт писателей!! — у нас! после того, как столько раз прокатили вперёд и назад, вперёд и назад асфальтным сталинским катком! Несчастная гуманитарная интеллигенция! Не тебя ли, главную гидру, уничтожали с самого 1918 года — рубили, косили, травили, морили, выжигали? Уж кажется, начисто! уж какими глазищами шарили, уж какими мётлами попевали! — а ты опять жива? А ты опять тронулась в свой незащищённый, бескорыстный, отчаянный рост! — именно ты, опять ты, а не твои благополучные братья, ракетчики, атомщики, физики, химики, с их верными окладами, современными квартирами и убаюкивающей жизнью! Это им бы, сохранившимся, перенять твой горький рок, наследовать твой безнадежный жребий, — нет! конному пешего не понять! (Из них заявляли: а — что такое он сказал, чего бы мы не знали? а почему только о литературных делах, а не вообще?) Они будут нам готовить огненную гибель, а за цветущую землю — гибли ты!

В письме 84-х было мало неожиданных фамилий, об этих — и так известно, что они из фронды. Но совсем неожиданна была телеграмма Валентина Катаева (показалось на миг и ему, что происходит необратимый сдвиг?), пущенное в Самиздат письмо Павла Антокольского Демичева, — хотя всё ещё в рамках партийной термино-

логии, но с пробивами честного сердца, и письмо Сергея Антонова съезду с резким упором против цензуры (но прозорливо поправлял меня уже тогда, что цензура нравственная не подлежит упразднению). А венчало всех доблестное безоглядное письмо Георгия Владимова, ещё дальше меня шагнувшего — в гимне Самиздату. В общем, письмами-откликами моя аргументация была ещё развита и поправлена.

И опять моей шаровой коробки на шее не хватило предвидеть самые ближайшие последствия! Я писал и рассылал это письмо — как добровольно поднимался на плаху. Я шёл по их идеологию, но навстречу под мышкой нёс же и свою голову. Я видел в этом конец моей ещё в чём-то не разваленной, не распластованной жизни, обрыв последнего отрезка того усреднённого бытия, без которого все мы сироты. Я шёл на жертву — неизбежную, но вовсе не радостную и не благоразумную. А прошло несколько дней — и В. Каверин сказал мне: «Ваше письмо — какой блестящий ход!» И с изумлением я увидел: да! вот неожиданность! оказалась не жертва вовсе, а ход, комбинация, после двухлетних гонений утвердившая меня как на скале\*.

Блаженное состояние! Наконец-то я занял своеобразную, свою прирождённую позицию! Наконец-то я могу не суетиться, не искать, не кланяться, не лгать, а — пребывать независимо!

Уж кажется — боссов нашей литературы и боссов идеологии я ли не понимал? И всё-таки недооценил их ничтожества и нерешительности: я боялся разослать письмо слишком рано, дать им подготовителю контрудар. Я рассылал письма лишь в последние пять дней, — а можно было хоть и за месяц, всё равно бы по тупости не придумали они, чем ответить, все равно б не нашлись\*\*. Зато многие порядочные люди получили слишком поздно, разминулись с письмом в дороге (треть писем и вообще цензура перехватила)\*\*\* — и так не собралось подписей, сколько возможно бы, не полыхнуло под потолок зала съезда.

Но по Москве разошлось моё письмо с быстротой огня. И на Западе было напечатано ещё вовремя — 31 мая в «Монд», тотчас после закрытия съезда, когда ещё не увяла память об этом позорище. И дальше по Западу раскололо оно во всю силу, опять превосходя мои ожидания. (Не то что безудачное интервью японцам. А потому что всякое интервью немногочисленно стоит, как понял я теперь. Письмо же Съезду было событием нашей внутренней жизни.) Даже та сторона письма, где оспаривался западный опыт, кое-где была понята, а уж наша сторона была подчеркнута и подхвачена. И целую декаду — первую декаду июня, чередуя с накалёнными передачами о шестидневной арабо-израильской войне, — несколько мировых радиостанций цитировали, излагали, читали слово в слово и комментировали (иногда очень близоруко) моё письмо.

А боссы — молчали гробово.

И так у меня сложилось ощущение неожиданной и даже разгромной победы!

\* Только много лет спустя я понял, что это, правда, был за шаг: ведь Запад не с искажённого «Ивана Денисовича», а только с этого шумного письма выделал меня и стал напряжённо следить. Ещё за полтора года перед тем разгром моего архива прошёл совсем незамеченным. А отныне — отмечался каждый мой жест против СП. (Примеч. 1978.)

\*\* Список, кому разослать, я долго отработывал, каждую фамилию перетирая. Надо было разослать во все национальные республики и по возможности не самым крупным негодаям (ставка на помощь национальных окраин у меня, впрочем, сорвалась, — не нашлось там рук и голосов); всем *подлинным* писателям; всем общественно-значительным членам союза. И наконец, чтобы список этот не выглядел как донос, — припудрить самими же боссами и стукачами.

\*\*\* А ведь рассчитано было, бросалось по разным районам Москвы, по разным ящикам, не больше двух писем вместе. Несколько человек помогало мне (см. Пятое Дополнение).

И тут мне передали, что Твардовский срочно хочет меня видеть. Это было 8 июня, на Киевском вокзале, за несколько минут до отхода электрички на Наро-Фоминск, с продуктовыми сумками в двух руках, шестью десятками дешёвых яиц,— а по телефону давно не слышанный знакомый голос доброжелательно и многозначительно рокотал, что — очень важно, что немедленно, всё бросив, я должен ехать в редакцию. Досадно мне было и перестраиваться, электричку упускать, тащить продукты в редакцию (нашу земную жизнь — как им понять, кому всё на подносиках?), но быстрее и выше того я смекнул: зачем бы нужно было ему меня искать? только для какого-нибудь покаяния, в пользу «Нового мира»,— но это впусте было и обсуждать. Если же, лето упустя, кинулись по насту за грибами, если решили меня печатать после стольких лет — так подождут до понедельника, именно те дни подождут, пока (расписание уже объявлено) будет Би-Би-Си трижды читать моё письмо на голову боссам. Крепче будет желание!

И я ответил А. Т., что — совершенно невозможно, приеду 12-го. Он очень расстроился, голос его упал. Потом, говорят, ходил по редакции обиженный и разбитый. Это — всегда в нём так, если возгорелось — то вынь да положь, погодить ему нельзя. А. Т. покоряется, когда помеха от начальства, но не может смириться, если помеха от подчинённых. А тут ещё: он хорошо придумал, он в пользу мне придумал — и я же сам оттолкнул руку поддержки.

Столь уж разны наши орбиты — никак нам не столкнуться.

Впрочем, я в тот день одним ухом слышал (кажется, от Берзер) — и изумился: ещё одна полная неожиданность — Твардовский нисколько не возмущён моим письмом съезду, даже доволен им! Нет, не разобрался я в этом человеке! Написал о нём четыре главы воспоминаний, а не разобрался. Я представлял, что он взрвёт от гнева, что проклянет меня навеки за ослушание. (А подумавши, всё понятно: ведь я не Западу жалуюсь, не у Запада ищу защиты,— я тут, у нас, внутри, в морду даю. Это, по понятиям А. Т., можно. И просто, по характеру кулачной драки: нас, «Новый мир», теснят, год поражений,— а мы им с другой стороны — в морду!)

12 июня в редакции я увидел его впервые после того мартовского разговора, который считал нашим последним вообще. Ничего подобного! А. Т. сдерживался при рукопожатии, но весёлые игринки прыгали в его глазах.

— Я очень рад, Александр Трифонович, что вы не отнеслись к моей акции отрицательно.

Он (неудачно пытаясь быть строгим): — Кто вам сказал, что отрицательно? Я не одобряю вашего поступка. Но нет худа без добра. Может быть, вы в сорочке родились, если это вам так сойдёт. А надежда есть.

Тут он перешёл на внушение закликательным голосом, и не увидел я надежды вернуться нам к дружбе:

— Вы должны вести себя так, чтобы не погасить то место, откуда вы вышли, единственное место, где что-то горит.

Самая трудная для меня аргументация, самое сильное, в чём может он меня упрекнуть... Но от вас ли я вышел, друзья? И неужто нигде больше не горит?.. И после всех колоколов — неужели я отойду хоть на ступню? Как можно так уж не понимать?

— Как получилось,— всё с той же нагнетённой серьёзностью спрашивал он,— что ваше письмо стало известно на Западе и вызвало такой шум?

— А как вы хотите в век всеобщей быстрой информации: функционировала бы демократия — и ничего не становилось бы известным за границу? В Англии же не упрекают Бертрана Рассела, что в СССР печатаются его статьи!

А. Т. замахал большими руками, большими пухлыми ладонями:

— Вы этой чуши пожалуйста не заводите на секретариате СП! Вы скажите вот что: обращались вы в самом деле к съезду или у вас был расчёт на западный шум?

— Что вы, Алексан Трифонч! Конечно — только к съезду.

— Так вот давайте поедем в секретариат — и вы это им подтвердите. Скажите, что западный шум у вас у самого вызывает досаду. (Мой спаситель, от которого я ликую?!)

— А. Т.! Ни от одного слова письма я теперь не отрекусь и не изменю. Если захотят, чтоб я что-нибудь *писал*, извинялся...

— Да нет! — опять махал он руками. — Никто от вас не просит ничего *писать*! Вы только подтвердите им то, что сейчас сказали мне, больше ничего! Да не говорите им, что вы боретесь против советской власти! — Уже смеялся он, уже кончал одной из любимых своих шуток.

А оказалось вот что. Верхушкой союза моё письмо было воспринято как «удар ниже пояса» (правила-то — в их руках, они знают), и призывали витии «ответить ударом на удар». Но быстро слабела решимость и у них и *наверху*: от поддержки меня ста писателями, главное же — от того, как разливался звон по загранице (ничего подобного они не ожидали!). Твардовский же проявил необыкновенную для себя поворотливость и дипломатический напор. Он и у Шауры (вместо Поликарпова, «отдел культуры») успел высказать («Вы думаете первый русский писатель — кто? Михаил Александрович? Ошибаетесь!»), и вразумить секретариат союза, что так нельзя, невыгодно им самим: топя меня, они потопят и себя. И убедил их составить проект совсем другого коммюнике: подтвердить мою безупречную воинскую службу; признать что-то в моём письме как заслуживающее разбора; и «сурово» осудить меня за «сенсационный» образ действий. И так как никто в секретариате не мог предложить ничего умней, а это выглядело для них довольно спасительно, отмалчиваться же дальше казалось невозможным (в предвидении международных поездок и вопросов), — то и склонялись они представить *наверх* именно такой вариант решения. И в такой-то момент я не помог Твардовскому своим появлением, не дал ему завершить одну из лучших его операций!.. (Впрочем, не была б она всё равно завершена; верхи были заняты скандальным поражением арабов, а больше одной проблемы сразу не вмещают их головы.)

Почему же секретариат союза меня просто не *вызвал*? Потому что после моего письма они не были уверены, соглашусь ли я прийти. А вдруг — не приду, а сверху не будет указания изгнать меня — и как им тогда выйти из этого тупика?.. Как я постепенно разобрался: для того и должны они были на меня взглянуть, чтоб убедиться, что я вообще с ними разговариваю. Иначе теряло смысл и их коммюнике.

Вот на какую скалу я вскочил своим «ловким ходом»!

Приехали мы в знаменитый колоннадный особняк на Поварской, и А. Т. повёл меня к секретарям. Это были секретари-канцеляристы К. Воронков (челюсть), Г. Марков (отъевшаяся лиса), С. Сартаков (мурло, но отчасти комическое), даже и не писатели вовсе, но именно им шесть тысяч членов союза «поручили» вести все высшие и важные дела СП. Я вошёл как жерд с головою робота — на человеческого движения, ни человеческого выражения. Воронков подбросил из кресла с почтением свою фигуру коренастого вышибалы и украсил челюсть улыбкой: кажется, начинался день из его счастливейших. Уже то для него было явной радостью, что в две двери он имел возможность пропустить меня вперёд себя. В полузале с карриатидами и лепкой Марков с хитреньким мягеньким полубабьим лицом швырнул телефонную трубку, увидав наконец под сводами союза самого дорогого и желанного гостя. Из какой-то потайной, не сразу заметной, двери вышел Сартаков. Но этот несколько не был

мне рад, и вообще все часы просидел с безразличной угрюмостью. А ещё ждали Соболева, тот же метался у себя на Софийской набережной, да не было свободной машины доехать, а другого пути он не знал. Я спросил, нет ли графина с водопроводной водой,— и тут же та же потайная дверь раскрылась, и горничная из какого-то заднего тайного кабинета стала таскать на огромный полированный стол фруктовые и минеральные воды, потом крепкий чай с дорогим рассыпчатым печеньем, сигареты и шоколадные трюфели (народные денежки...). Начался гостинный разговор: о том, что это — дом Ростовых и как его берегут; и как графиня Олсуфьева, приехав из-за границы, просила его осмотреть (со вкусом выговаривал Воронков «графиню», представляя, как он перед ней вертелся — и как бы ту графиню вошёл расстреливать в 1917); и что за тканые портреты Толстого (18 миллионов петель), Пушкина и Горького украшают стены этого полузала. От моей спины до окна, открытого в знойный неподвижный день, было метров шесть. Но сохранение моей драгоценной жизни так волновало Воронкова, что вкрадчиво он осведомился, не дует ли мне, а то у них «коварная комната».

За время этой болтовни я выложил перед собою на стол два-три старых моих письма — Брежневу и в «Правду». Белые листы с неизвестным машинописным текстом невинно легли на коричневый стол, но ужасно взволновали Маркова, сидящего по другую сторону. Он так, наверно, понял, что какую-то ещё новую бомбу я положил, сейчас оглашу, и нетерпение не давало ему сил дожидаться удара: он должен был прочесть! Нарушая весь приличный тон беседы, он выкручивал шею и выворачивал глаза.

Пришёл Соболев — и Марков начал так: на съезде нельзя было разобрать моего письма, у съезда была «своя напряжённая программа». К сожалению, письмо стало фактом не внутреннего, а международного значения и задевает интересы нашего государства. *Надо разобраться и найти выход.* (Чем дальше, тем больше это станет главной мелодией: как нам найти выход из положения? помогите найти выход!)

Коротко сказал и беспокойно смотрел на меня. Тем же гостинным тоном, как мы говорили об особняке Ростовых, я осведомился, не будет ли им интересно «узнать историю этого письма». Оказывается — да, очень интересно. Тогда я длинно стал рассказывать историю всех клевет на меня, и как я возмущался, и как вот письма посылал (трясу ими, Маркову отлегло). Потом был — налёт, стойивший мне романа и архива...

Полканистый Соболев: — Какой налёт?

Я (любезно): — ...госбезопасности.

Затем — мои несколько жалоб в ЦК, и все оставлены без ответа. Затем — начало «тайного издания» моих вещей, все условия для плагиата. А клевета всё расширяется. (Патетически): К кому же обращаться? Да к высшему органу нашего союза — к съезду! Разве это незаконно? (Марков и Воронков вместе: вполне законно. Сартаков и Соболев дуются). Съезд был назначен на июнь 1966, я готовил письмо (вру, ещё идеи не было). Но съезд, как известно присутствующим, был перенесен на декабрь (кивают). Что же делать? Тогда я решил обратиться непосредственно к Леониду Ильичу Брежневу. Там я уже говорил и о положении писателя в нашем обществе и как вовремя можно было остановить культ Сталина. И что ж? На это письмо не было никакого ответа. (Они между собой быстро, как спорясь, как актёры в хорошо отрепетированной массовке: «Леонид Ильич не получил... Не получил Леонид Ильич!.. Леонид Ильич конечно не получил!..») Я стал ждать декабря, чтобы писать съезду. (Вру, уезжал в Укрывище, дописывать «Архипелаг».) Но съезд опять перенесли — на май. (Кивки.) Хорошо! Я стал ждать мая. Если б его

ещё перенесли — я ждал бы ещё. (Небось, пожалели внутренне — отчего ещё дальше не перенесли?)

Сартаков: — Но зачем же четыреста экземпляров?! (Цифра от Би-Би-Си.)

Я: — Откуда это — четыреста? Двести пятьдесят. Вот именно потому, что письма, посланные по одному — по два экземпляра, легли под сукно, — я был вынужден послать сотни.

Они: — Но это непринятый образ действий!

Я: — А тайно издавать роман при жизни автора — это принятый?

Соболев (полканисто): — Но где логика? Зачем посылать делегатам, если шлётся в президиум?

Я: — Мне важно было получить поддержку авторитетных писателей. Я получил от ста и вполне удовлетворён.

Марков: — Но зачем в какую-то «Литературную Грузию»?

Я: — Почему же органу братской республики не знать о моём письме?

Марков: — Со всех мест нам присылают ваши письма. *И не думайте, что все — за вас, многие — решительно против.*

Я: — Так вот я и хочу открытого обсуждения.

Марков (жалостливо): — Да, но если б это не стало известно нашим врагам. (У них для «существования» нет и термина другого: все кругом — враги!)

Я: — Очень досадно. Но это — ваша вина, а не моя. Это почему произошло? Потому что три недели вы на моё письмо не отвечали! Зачем же потеряно столько времени? Я-то ждал, что в первый же день съезда президиум меня вызовет, даст возможность огласить письмо, либо во всяком случае устроит обсуждение.

Марков (стратегически): — Ну что ж, это — упрёки, а главное: как теперь быть?

(И все дробным эхом: как быть?)

Марков: — Вы, находящийся в самой гуще политики, посоветуйте!

Я (с изумлением): — Какая политика? Я — художник!

Воронков: — Да ведь как передают! — по два раза в одну передачу! — (Врёт, но я не могу возражать: я же западного радио не слушаю.) — Израиль! — ваше письмо! — Израиль! — ваше письмо! Да читаете как! — мастера художественного чтения!

Марков (язвительно): — А всё-таки в вашем письме есть маленькая неточность.

Одна *маленькая неточность*? В письме, где я головы рублю им начисто? Где на камни разворачиваю их десятилетия?..

— Какая же?

Марков: — А вот: что «Новый мир» отказался печатать «Раковый корпус». Он не отказывался.

Это Твардовский им так ответил. Он так помнит. Он честно искренне помнит так. Об этом мы уже в редакции с ним сегодня толковали: «А. И., когда я вам отказывал?» — «А. Т.! Да вы же взяли 2-ю часть в руки, подняли и говорите: даже если бы всё зависело от одного меня...» Нет, не помнит! И что я «ничего не хочу забыть», и что у меня «ничего святого нет», — забыл. — «Может быть, о какой-нибудь странице шла речь? А всю 2-ю часть я не отказывал...»

Сейчас Твардовский сидит в стороне, курит и с серьёзно-внимательным видом наблюдает наш спектакль. Подошло, что все на него оглянулись.

Твардовский: — Ну, погорячились, чего не сказали оба. Это был так, разговор, а редакция вам не отказала.

«Так, разговор», которым едва не закончились все наши отношения...

Твардовский: — Сейчас вся редакция согласна печатать весь

«Раковый корпус». Там расхождение с автором у нас на полторы-две страницы, не стоит и говорить...

Полторы-две? Помнится, целые главы вычёркивали, целых персонажей... Но всё изменилось — победители не судимы. Первый раз в жизни я могу применить эту поговорку к себе.

А. Т. почувствовал заминку и — что за молодец! откуда в нём эта расторопность и это умение? — вдруг тоном отечески-суровым, с торжественностью:

— Но в редакции я не задал вам, А. И., одного важного вопроса. Скажите, как по-вашему: могут ли «Раковый корпус» и «Круг первый» достичь Европы и быть опубликованными там?

Это нам в цвет! Такие вопросы давайте!

Я: — Да, «Раковый корпус» разошёлся чрезвычайно широко. Не удивляюсь, если он появится за границей.

Кто-то (сочувственно): — Да ведь переврут, да вывернут!

(Не больше, чем ваша цензура!)

Соболев (ужасаясь попасть в такое беззащитное положение): — Да ещё какие порядки объявили: принимают к печати даже рукописи, пришедшие через третьих лиц, а за авторами, видите ли, сохраняют гонорары!

Кто-то: — Но как случилось, что «Корпус» так разошёлся?

Я: — Я давал его на обсуждение писателям, потом в несколько редакций, и вообще всем, кто просил. Свои произведения своим соотечественникам — отчего ж не давать?

И не смеют возразить! Вот времена...

Твардовский (как будто только вспомнив): — Да! Мне же Вигорелли прислал отчаянную телеграмму: Европейская Ассоциация грозит развалом. Члены запрашивают у него разъяснений по письму Солженицына. Я послал пока неопределённую телеграмму.

Воронков: — Промежуточную. — (Смеётся цинично.)

Твардовский: — Да ведь без нас Европейская Ассоциация существовать не может.

Марков: — Да она для нас и была создана.

(Потом я узнал от А. Т.: в июне он должен был ехать в Рим на пленум президиума Ассоциации обсуждать тяжёлое положение писателей... в Греции и Испании. И всё сорвалось для греческих писателей из-за моего письма.)

Я: — А «Круг первый» я долго не выпускал из рук. Узнав же, что его дают читать и без меня, решил, что автор имеет не меньше прав на свой роман. И не стал отказывать тем, кто просит. Таким образом, уже расходится и он, но значительно меньше, чем «Раковый».

Твардовский (встал в волнении, начинает расхаживать):

— Вот почему я и говорю: надо немедленно печатать «Раковый корпус»! Это сразу оборвёт свистопляску на Западе и предупредит печатание его там. И надо в два дня дать в «Литгазете» отрывок со ссылкой, что полностью повесть будет напечатана... — (с милой заминкой) — ...ну, в том журнале, который автор изберёт, который ему ближе.

И никто не возражал! Обсуждали только: успеет ли «Литгазета» за два дня, ведь уже набрана. Может быть — «ЛитРоссия»?

Они были мало сказать растеряны в этот день, — они были нокаутированы: не встречей, а до неё, радиобомбёжкой. И самое неприятное в их состоянии было то, что кажется в этот раз им самими предложили выходить из положения (ЦК уклонилось, письмо — не к нему!) — а вот этого они не умеют, за всю жизнь они ни одного вопроса никогда не решили сами. И пользуясь коснением их серости, всегда медлительный Твардовский завладел инициативой.

Марков и Воронков наперебой благодарили меня, — за что же? За



то, что я к ним пришёл!.. (Теперь и я смягчился, и *благодарил* их, что они, наконец, занялись моим письмом.)

В этот день впервые в жизни я ощутил то, что раньше понимал только со стороны: что значит проявить силу. И как хорошо они понимают этот язык! *Только этот язык! Один этот язык* — от самого дня своего рождения!

Мы возвращались с Твардовским в известинской чёрной большой машине. Он был очень доволен ходом дел, предполагал, что секретари уже *советовались* наверху, иначе откуда такая податливость? где же «ударом на удар»?.. Тут же А. Т. придумал, какую главу брать для отрывка в «Литгазете», и сам надписал: «Отрывок из романа „Раковый корпус“».

Его искренняя, но обрывистая память несколько не удерживала, что это самое название он год назад объявлял недопустимым и невозможным. Ещё до всякого печатанья все уже запросто приняли: «Раковый корпус».

Ход самих вещей.

Но слишком это было хорошо, чтоб так ему и быть. Дальше всё, конечно, завязло: *наверху* же и задержали, и прежде всего Дёмичев. (На одной из квартир, где я юмористически рассказывал, как дурил его при встрече, стоял гебистский микрофон, очевидно, у Теушей. Перед Дёмичевым положили ленту этой записи. И хотя, если под дверь подслушиваешь и стукнут в нос, то пенять надо как будто на себя, Дёмичев рассвирепел на меня, стал моим вечным заклятым врагом. На весь большой конфликт наложилась на многие годы ещё его личная мстительность. В его лице единственный раз со мной пыталось знакомиться Коллективное Руководство — и вот...)

Ни коммюнике секретариата, ни отрывка в «Литгазете», разумеется, не появилось; прекратилась радиобомбёжка с Запада, и боссы решили, что можно пережить, ничего не предпринявши. Были сведения у А. Т., что 30 июня наверху обсуждался мой вопрос. Но опять ничего не было решено. А Дёмичев придумал такой план: чтобы секретарям (Твардовский: «тридцать три богатыря, сорок два секретаря») прочесть мои тома: и «Круг», и «Раковый», но прежде и обязательнее всего — «Пир победителей» (жалко было им слезать с этого безотказного конька!). Если учесть, что среди секретарей не только не все владели пером, но и читали-то запинаясь, то задуманный спуск на тормозах был полугодовым и обещал перетянуть телегу в послеюбилейное (полвека «Великого Октября») время, когда можно будет разговаривать покруче.

Всё это я узнал от А. Т., зайдя в редакцию в начале июля. Он был кисл и мрачен. Каждый месяц он сталкивался с этой загораживающей тупой силой — но и за полтора месяца не мог привыкнуть. Цензура запрещала ему уже самые елейные повести (Е. Герасимова). Воронков, которого я таким подхвостистым видел недавно, — и тот не всякий раз подходил к телефону, а отвечал — надменно. Но тут из-за моего прихода А. Т. усилился и позвонил ещё. Воронков изволил подойти и сказать, что секретари читают, однако не знают, где взять «Раковый корпус» (ведь его не изымала ЧК, и нет в ЦК...). А. Т. оживился: я пришла!

Надежда! Он решил послать тот единственный редакционный чистенький незатрёпанный и выправленный экземпляр, который я им дал недавно. Я возмутился: «Не хочу им, собакам, отдавать! — затрепят, заложмят!» Взыбился и А. Т.: «О голове идёт! а вы — затрепят!..» Только стал меня просить «выбросить страничку про метастазы» — очевидно, это и были те «полторы-две страницы» спорных. Помнилось ему (внушил кто-то из редакции, ещё наверное Дементьев до ухода), якобы есть там длинное рассуждение, что лагеря проросли страну, как метастазы (будто это пришлось бы размазы-

вать на страницу!). Очень трудно высвободить А. Т. от первоначального ложного убеждения. Я уверял, что нет такой страницы, он не верил. Я показал абзац, где есть примерная фраза, ну могу её вычеркнуть, ладно. Нет, есть где-то страница! Тут втёрся в дверь маленький Кондратович и живенько стал носом поковыривать под страницы: у Шулубина должно быть, у Шулубина! Я стал при них пробегать шулубинские страницы и ещё давал Кондратовичу смотреть, как своему же, не опасаясь, что тяпнет за ногу. Но у него разгорелись глаза — это не его были глаза, а вставленные подменённые глаза от цензуры, и ноздри были не его, а снаряжённые нюхательными волосочками цензуры,— и он уверенно-радостно выкусил клочок:

— Вот! Вот!

— Где?

— Вот:

На всех стихиях человек  
Тиранин, предатель или узник!

— Так это — про метастазы?

— Всё равно что про метастазы. Ещё хуже!

Я это всё не о Кондратовиче рассказываю,— о журнале и о Твардовском. Измученный и напуганный Твардовский приник к предупредению Кондратовича:

— Получается, что сказано о николаевской России — то относится и к нам?..

— Да не о николаевской России, а об Англии, которая собиралась выдать декабриста Тургенева.

То ли устыдился, что не знал мотивов пушкинского стихотворения, то ли что вообще занёс руку на Пушкина, А. Т. примирился:

— Ну, только уберите фразу, что Костоглолов согласен.

Это было их обычное сдавленное ожидание: кроме того, что скажут об всей вещи, ещё надо предвидеть — из какой полоски вырежут ремешок, ремешок навяжут на кнут и будут кнутом цитировать по мордасам.

Для душевного покоя А. Т. убрал я и эту фразу. Он повеселел и решил «утешать» меня: что Егорычева\* вот сняли, а меня — не сняли; что я хорошо себя вёл на секретариате: и без задиры, и безо всякого раскаяния.

Ему совсем не хотелось, чтобы я теперь раскаивался! Ему определённо нравилась моя затея с письмом. Да кажется впервые за годы нашего знакомства он поверил, что я могу самостоятельно передвигать ноги.

Стали говорить о «Пире победителей», — как отвести его от обсуждения в секретариате, и что Симонов вслед за Твардовским отказался его читать.

— Вы хоть мне бы дали,— попросил он.

— Да ведь, А. Т., честно! — единственный экземпляр у меня был, и вот загребли. У самого не осталось.

— В конце концов, — рассуждал он покладисто, созерцательно, — у Бунина есть «Окаянные дни». Ваша пьеса не более же антисоветская! А его остального мы печатаем...

Нет, менялся Твардовский! Менялся, и совсем не медленно. Давно ли он спрашивал, как я смел какие-то лагерные пьески положить «рядом со святым Иваном Денисовичем»? Давно ли он целыми главами не принимал даже «Раковый корпус»? А сейчас вполне обнадёживающе написал:

Я сам дознаюсь, дойду  
До всех моих просчётов.

\* Секретарь мосгоркома КПСС, замахнувшийся на Брежнева.

И лишь просил:

Не стойте только над душой,  
Над ухом не дышите!

Ещё так сказал добродушно:

— Я тоже разрешаю себе высказываться против советской власти, но только в самом узком кругу.— (Надо понимать, что у Твардовского значит — «против советской власти» с добродушной усмешкой. Это — не в газетном резком смысле, это — не касаясь основ и партийного замысла, а лишь: не со всем кряду соглашаться, иметь же свою точку, чёрт подери!) — А например за границу поеду — там выкуси, там всё наоборот.

Уж это — как водится, уж как воспитано.

Прошло ещё полтора месяца — всё было так же, ни глаза ни дыхания. Да собственно, я не ждал ничего и не нужно мне было ничего, — я-то стоял на скале! Но беспокойство, не упускаю ли ещё какую-то возможность, навело меня предложить Твардовскому заключить на «Раковый» теперь договор: ведь мы, как будто, вновь воссоединились. А в том болотном неустойчивом равновесии, где не говорят «да» и не говорят «нет», где все уклоняются от решения, — один-то маленький толчок, может, всего и нужен? Вот и сделаем его. И пусть хоть на договор кто-нибудь наложит запрет! А не будет — можно и рукопись толкать. Надо же пробовать!

Этот планчик застал Твардовского врасплох: и неожиданно ему было, чтобы я о договоре первый завёл, и толкал же я его на мятеж, не иначе, — самому преступить волю начальства. И мне кажется так: внутренне в нём сразу сработало, что он — не может, не смеет, на это не пойдёт. Но если жёсткие люди своё промелькнувшее ощущение тут же переключают в слова, люди с мягкотою не решаются так круто сказать. И он в основном обещал, но ещё надо уточнить, и десятидневными уточнениями, двумя моими ненужными заездами в редакцию, а его неприездом (к нему на дачу газ проводили) и с дачи телефонным звонком уяснилось: «Я всё равно не могу заключить с вами договора на «Корпус», пока не получу на то разрешения».

С какой это поры даже на договор редакция нуждается в разрешении? (Да, бишь, редакция же «не отказала» «Корпусу»?) Впал Твардовский в малодушие опять. В этих опаданиях и приподыманиях, между его биографией и душой, в этих затемнениях и просветлениях — его истерзанная жизнь. Он — и не с теми, кто всего боится, и не с теми, кто идёт напролом. Тяжелее всех ему.

Для меня же отказ его имел уже характер освобождающий: потому что к этому дню у меня зародился новый план — толчка большого, а не малого, и договор только связывал бы меня.

До меня доходили слухи (потом оказались ложными), будто в Италии уже готовится издание «Ракового корпуса». А у нас медлили! И я придумал предупредительный шаг, метку: вот я вам сказал, впредь отвечать будете вы! Приходило же время разорвать их судебную хватку с литературной шеи. Разве при нашей цензуре, разве при нашей бесправии, разве при отказе государства от международного авторского права — за книги, вышедшие на Западе, должны отвечать не наши боссы? Почему — авторы?..

По образцу первого письма я думал снова послать экземпляров 150, сократятся лишь на нацреспубликах. Однако склонили меня не делать огласки разом, не разрывать одежду с треском, — а только урозить этим треском. Показалось мне — разумно. И я решил своё второе письмо разослать лишь «сорока двум секретарям» и секретариату как целому — и никому не дать на руки, чтоб не пошло в Самиздат и не пошло за границу.

Ещё надо было выбрать наилучший срок. Хотя ничто меня теперь не гнало, у меня времени в запасе стояли озёра, — но сходнее

было сдерживать до пышного Юбилея Революции. И вместо полугодия от съездовского письма я выбрал три месяца от встречи на Поварской. [3]

Однако снова петелька: надо же «советоваться» с А. Т., мы же опять в дружбе. А разве он может такой шаг одобрить?.. А разве я могу от задуманного отказаться?..

Я назначил день, когда буду в редакции. А. Т. обещал быть — и не приехал. Его томило, что я о договоре буду спрашивать! — и он избежал встречи. Так избыточная пустая затейка с этим договором тоже вложилась в общую конструкцию: я рвался с ним советоваться! но его не было! И к вечеру 12 сентября сорок три письма были уже в почтовых ящиках Москвы! Лучше оказалось и для А. Т. и для меня, что мы не встретились.

Но как он теперь? От этой новой дерзости — взовётся? Секретари взвились как от наступа на хвост, что-то кричал и рычал Михалков по телефону в «Новый мир», уже 15-го собрали предварительный секретариат для первого обгавкивания, пока без стенограммы. И в тот же день послали мне вызов на 22-е. И в тот же день гнал за мной гонцов Твардовский.

Я ехал к нему 18-го, уже сомневаясь: не суета ли моя? Зачем уж я так наседаю на этот осинный рой? Ведь и крепко я стал, ведь и временем располагаю, — ну и работал бы тихо. Разве драка важнее работы?

Я и Твардовскому своё сомнение высказал в тот день, но он! — он сказал: надо было о! раз уж начали — доводите до конца!

Опять он меня удивил, опять вынырнул непредсказуемый. Куда делись его опущенность, уклончивость, усталость? Он снова был быстр и бодр, моё второе письмо как сигнал трубы подняло его к бою, — и он уже выдержал этот бой — предбой, Шевардино, — на секретариате 15-го. Говорил, что его поддержали (печатать «Раковый корпус») Салынский и Бажан, а были и поколебленные. «Дела не безнадежны!» — подбодрял он себя и меня.

Одно единственное заседание казалось мне разрушением и моего рабочего ритма и душевного стиля, уж я тяготился и сомневался. А он на своём поэтическом веку, как долгом тёмном волоку, — сколько их перенёс? триста? четыреста? Чему ж удивляться? — тому ли, что он поддался кривому ввинчиванию мозгов? Или душевному здоровью, с которым перенёс и уцелел?

Я сетовал, что он меня вызвал толковать, только от работы время отрывая. «Да может никакого времени скоро не останется!» — сверкнул он грозно. Он вот чего боялся, умелого сдержанного Лакшина призвал и с ним вместе готовился меня уговорить и настроить, чтоб я был сдержан там, чтоб не выскакивал, не сшибался репликами, не взрывался от гнева, — ведь заключут, ведь тогда я пропал, они же все опытные петухи.

Столько времени мы знакомы с А. Т. — и совсем друг друга не знаем!..

— Открою вам тайну, — сказал я им. — Я никогда не выйду из себя, это просто невозможно, в этом же лагерная школа. Я взорвусь — только по плану, если мы договоримся взорваться, на девятнадцатой минуте или — сколько раз в заседание. А нет — пожалуйста, нет.

Но А. Т. мне не верил — если б так!.. Он-то знал, как вытягивают жилы на этих заседаниях, как ставят подножки, колют в задницу, кусают в пятку. Невыгодность расположения состояла для нас в том, что они читали «Пир победителей», обсуждали «Пир», хотели говорить только о «Пире» и бить по «Пиру» и «Пиром» — меня. А надо было заставить их замолчать о «Пире» и говорить о «Корпусе».

Всё же мы разработали, как я должен сбивать «Пир», не прерывая ни одного оратора.

Два дня я ещё имел время, в тишине, — но уже мысленно в бою.

То, что могут мне сказать, спросить, как наброситься — так и выступало со всех сторон из воздуха, изводило меня преждевременно, вызывало на ответы. Я записывал возможные реплики — и тогда мои ответы.

Например: «Вы выносите сор из избы!» Ответ: «Всякая провокация заслуживает быть разоблачённой, и пусть о ней узнает хоть и весь мир. Боясь западной огласки, мы соглашаемся жить в постоянной безгласности. А безгласность — мать беззакония».

Например (жалко, не спросили): «На какие средства вы живёте?» Ответ: «Восемь лет я лакал собачью лагерную похлёбку — и тогда никто из вас не спросил, на какие средства я живу. Учителем я жил на 60 рублей в месяц — и никто из вас не спросил, на какие средства я живу. А теперь, когда издана моя книга, на которую, при моих малых потребностях, можно жить 10 лет, — это я вас спрошу: куда вы деваете народные деньги, которые так щедро вам расточают каждый год?»

Постепенно из отдельных реплик сама стала складываться возможная речь. Никогда в жизни не готовил я письменной речи дословно, презирал это как шпаргалство, — а вот написал. Конечно, я не мог предусмотреть точно всех задёвок, которыми меня встретят, но на наших собраниях и не привыкли, чтобы речи точно соответствовали друг другу, ведь чаще говорят м и м о, кому что важней, и никто не удивляется.

Готовиться к этой первой (но тридцать лет я к ней шёл!) схватке мне, собственно, не было трудно: и потому, что очень уж отчётливо я представлял свою точку зрения на всё, что только могло шевельнуться под их теменами; и потому, что на самом деле предстоящий секретариат не был для меня решилищем судьбы моей повести: пропустят ли они «Раковый корпус» или не пропустят, — они всё равно проиграли. Равно не нужен мне был этот секретариат и как аудитория: бесполезно было пытаться воистину их переубедить. Всего только и нужно было мне: прийти к врагам лицом к лицу, проявить непреклонность и составить протокол. В конце концов — ещё бы им меня не ненавидеть! Ведь я — отрицание не только их лжи, но и всей их лукавой прошлой, нынешней и будущей жизни.

И всё-таки, готовясь к этому копьёборству, я к концу уставал и хотелось снять избыточное, нетворческое, совсем ненужное мне напряжение. А чем? Лекарствами? Простая мысль: перед вечером — немного водки. И сразу смягчались контуры, и ничто уже не дёргало меня к ответу и огрызу, и сон спокойный. И вот ещё в одном я понял Твардовского: а ему тридцать пять лет чем же было снимать это досадливое, жгущее, постыдное и бесплодное напряжение, если не водкой?.. Вот и брось в него камень. (Разговора о своих выпивках он очень не любил. Ему скажешь: «Должны же вы себя поберечь, А. Т.!» — отводит недовольно. И о куреньи его безостановном пытался я ему говорить, пугал раковым корпусом, — отмахивается.)

Мой план был такой: единственное, чего я хочу от заседания — записать его поподробней. Это даст мне возможность и головы не поднять, когда будут трясти надо мной десницами и шуями: «скажите прямо — вы за социализм или против?!», «скажите прямо — вы разделяете программу союза писателей?» Это и их не может не напугать: ведь для чего-то я строчу? ведь куда-то это пойдёт? Они поосторожней станут выражения выбирать, — они не привыкли, чтоб их мутные речи выплескивали под солнце гласности.

Я заготовил чистые листы, пронумеровал их, поля очертил, — и в назначенные 13.00 22-го сентября вошёл в тот самый полузал с кариатидами. А у них уже был густой, надыханный и накуранный воздух, дневное электричество, опорожнённые чайные стаканы и пепел, насыпанный на полировку стола, — они уже два часа до меня заседали. Не все сорок два были: Шолохову приезжать было бы унижительно; Леонову — скользко перед потомками, он рассчитывал на посмертность. Не было ядовитого Чаковского (может быть, тоже из предусмотрительности) и яростного Грибачёва. Но свыше тридцати секретарей набилось, и три стенографистки заняли свой столик.

Я сдержанно поздоровался в одну и в другую сторону и стал искать место. Как раз одно и было свободно. И оказалось оно рядом с Твардовским.

Терпеливо прослушав обиженное фединское вступление («Изложение» секретариата [4]), я уловил те единственные пять секунд заминки, когда он слону глотал, готовился дать кому-то слово, — и елевым голосом попросил:

— Константин Александрович! Вы разрешите мне два слова по предмету нашего обсуждения?

Не заявление! не декларация! только два безобидных слова! — и по предмету же обсуждения... Как важно было их вырвать! Я просил так невинно — Федин галантно разрешил.

И тогда я торжественно встал, раскрыл папку, достал отпечатанный лист, и с лицом непроницаемым, а голосом, декламирующим в историю, грянул им своё первое заявление, отводящее «Пир победителей», — но не покаянно, а обвинительно, — их всех обвиняя в многолетнем предательстве народа!!!

Я потом узнал: у них уже было расписано, кто за кем и как начнут меня клевать. Они уже стояли в боевых порядках, но прежде их условного знака — я дал в них залп из ста сорока четырёх орудий, и в клубах дыма скромно сел (копию декларации отдав через плечо стенографисткам).

Я сидел, готовый записывать, но они что-то не выступали. Я выбил из их рук всё главное — битё «Пира победителей». Зашевелились, расчухивались — и Корнейчук полез с вопросом.

— Я не школьник, вскакивать на каждый вопрос, — ответил я. — У меня будет же выступление.

Но вот второй вопрос! третий! Они нашли форму: они сейчас запутают и собьют меня вопросами, превратят в обвиняемого! Это они умеют, жиганы!

Я отказываюсь: у меня же будет выступление.

Ага, значит верно клюнули! Они сливаются в гомоне — в ропоте — в вое: «Секретариат не может начать обсуждать без ваших ответов!» — «Вы можете вообще отказаться разговаривать, но заявите!»

Смяты и наши стройные ряды, они сбивают и мой план боя, — где уж тут бесстрастно записывать. Но бездари, но бездари! — отчего ж эти вопросы ваши я знал заранее? Почему на все ваши устные вопросы у меня уже обстоятельно изложены письменные ответы? Только одна жертва: разодрать свою речь в клочья и клочьями от вас отбиваться.

Я подымаюсь, вынимаю свои листы и уже не исторически-отрешённым, но свободнеющим голосом драматического артиста читаю им готовые ответы.

И передаю стенографисткам.

Они поражены. Вероятно, за 35 лет их гнусного союза — это первый такой случай. Однако прут резервы, второй эшелон, прёт нечистая сила! И мне задаются ещё три вопроса.

А, будьте вы неладны, когда же вас записывать! Это хорошо, что у меня все ответы готовы. Я встаю и выхватываю следующие листы. И уже всё более свободно и всё более расширительно, сам определяя границы боя, уже не столько на их вопросы, сколько по своему плану, я гоню и гоню их по всему бородинскому полю до самых дальних флешей.

И — тишина, рассеянность, растерянность, неопределённость наступают в пространстве. И с фланга идут чьи-то ряды, но это — вполне враги, это — полунаши. Выступают Салынский и Симонов, они хоть не вовсе за нас, но хотя бы за «Раковый». Враг растерян, никто не просит слова, и вопросов уже нет. Что такое? Да не есть ли это победа? Тяжёлыми драгунами Твардовский начинает реять и рыскать по полю: так принимаем решение! печатаем «Корпус!» и отрывок не-

медленно в «Литгазете»! да мы же принимали коммюнике, где коммюнике, Воронков?

Но подхватистый Воронков не спешит. Верней, он ищет коммюнике, он ищет, но не может сразу найти. (А только что мне моё Письмо съезду понадобилось для цитаты — он раньше меня вывернулся и поднёс: «Пожалуйста!» — листовку, изданную «Посевом», я догадался отклонить.) Ещё немножко, ещё немножко им продержаться! Да где же имперские резервы?.. Там и здесь поднимаются из-под копыт: «Почему голосовать? Ведь ещё не решили! Ведь *есть и против!*»

И вот она, чёрная гвардия! — Корнейчук (разъярённый скорпион на задних ножках)! Кожевников! И на белых конях — перемётная конница Суркова! И дальше, и дальше, из глубины — новые и новые твердолобые — Озеров, Рюриков, на хоккеиста смахивающий Баруздин.

(Баруздин сидит рядом со мной, о каждом выступающем я у него осведомляюсь — кто это? А вон тот сидит? Называет соседа. Нет, вон тот? Называет другого соседа. Нет, между ними! — лицо, подобное холёному пухлому заднему месту, с насаженными светленькими очками. Ах, это товарищ Мелентьев из отдела культуры ЦК. Тайный дирижёр! Сидит и строчит. Строчи! знай бывших зэков!)

И потом — все национальные роты (Абдумомунов, Бровка, Кербабаяев, Яшен, Шарипов), — у них в республиках осваиваются целинные земли, строятся плотины, — какой «Раковый корпус»? какой Солженицын? Зачем он пишет о страданиях, если мы пишем только о радостном?

И сколько их? Конца нет их перечню! Только прибалты молчат, головы опустив. Они видят упущенный свой жребий. Стиханья нет затверженному шагу, обрыва нет заученным фразам. Враги заполнили всё поле, всю землю, весь воздух! Поле боя останется за ними. Мы как будто были смелей, мы всё время атаковали. А поле боя — за ними...

Бородино. Нужно времени пройти, чтобы разобрались стороны, кто выиграл в тот день.

На лице Федина его компромиссы, измены и низости многих лет впечатались одна на другую, одна на другую, и без пропуска (и травлю Пастернака начал он, и суд над Синявским — его предложение). У Дорiana Грея это всё сгушалось на портрете, Федину досталось принять — своим лицом. И с этим лицом порочного волка он ведёт наше заседание, он предлагает нелепо, чтоб я поднял лай против Запада, с приятностью перенося притеснения и оскорбления Востока. Сквозь слой пороков, избледневший его лицо, его череп ещё улыбается и кивает ораторам: да не вправду ли верит он, что я им уступлю?..

Я уже давно вошёл в ритм — пишу и пишу протокол. Лицо моё смиренно — о, волки, вы ещё не знаете зэков! Вы ещё пожалеете о своих неосторожных речах!

В последнем, уже четвёртом, выступлении я позволяю себе и погрозить в сторону отдела культуры ЦК («за „Пир победителей“ ответит та организация, которая...»), и поиграть с Фединым — ну конечно же я приветствую его предложение! (Всеобщие улыбки! я сломлен!..) Ну конечно я за публичность! Довольно нам прятать стенограммы и речи!.. Печатайте моё *Письмо*, а там посмотрим!..

Ропот и вой. Поднимается Рюриков и скорбно морща свой догматический лоб:

— Александр Исаевич! Вы просто не представляете, какой ужас пишет о вас западная пресса. У вас волосы встали бы дыбом. Приходите завтра в «Иностранную литературу», мы дадим вам подборки, вырезки.

Я смотрю на часы:

— Я хочу напомнить, что я — не московский житель. Сейчас я иду на поезд, и мне не удастся воспользоваться вашей любезностью.

Ропот и вой. Обманутый разгневанный Федин закрывает обсуждение, длившееся пять часов. Я корректно буркаю два досвиданья через два плеча и ухожу.

Поле боя — за ними. Они не уступили нигде, нисколько.

Но чья победа?

В тот день я не успел повидать А. Т. Он послал мне письмо:

«Я просто любовался вами и был рад за вас и нас... Очевидное превосходство правды над всяческими плутнями и «политикой»... По видимости дело как будто не подвинулось... На самом же деле произошла безусловно подвижка в нашу пользу... Практически мой вывод такой, что мы готовы заключить с вами договор, а там видно будет».

Но не меньше Твардовского меня удивило Би-Би-Си. Заседание окончилось в пятницу вечером. Прошёл week end — а в понедельник днём англичане уже передавали о вызове меня на секретариат и о смысле заседания — довольно верно.

Не иголочка в стогу, теперь не потеряюсь!

ЦДЛ гудел слухами. Писатели, поддержавшие меня при съезде, теперь требовали разъяснений от секретариата.

Через несколько дней на правлении СП РСФСР огласили письмо Шолохова: он требует *не допускать меня к перу!* (не к типографиям — к перу! как Тараса Шевченко когда-то). Он не может больше состоять в одном творческом союзе с таким антисоветчиком, как я! Русские братья-писатели заревели на правлении: «И мы — не можем! Резолюцию!» Перепугался Соболев (ведь указаний не было!); товарищи, это неправильно было бы ставить на голосование! Кто не может — пишите индивидуальные заявления.

И трусили. Ни один не написал.

Среди московских писателей: а может, и мы с ними не можем?

Ну разве доступно ввинтиться в гранит? Разве есть такие свёрла? Кто бы предсказал, что при нашем режиме можно начать громогласить правду — и выстоять на ногах?

А вот — получается?...

Узда лагерной памяти осаживает мои загубья до боли: хвали день по вечеру, а жизнь по смерти.

Ноябрь 1967

Рязань

## ВТОРОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

(Февраль 1971)

Странная вырабатывается вещь. Не предвиденная ранними планами и не обязательная: можно писать, можно и не писать. Три года не касался, спрятав глубоко. Не знал, вернусь ли к ней, до того ли будет. Несколько близких друзей, прочитавших: бойко получается, обязательно продолжай! Вот в передыхе между Узлами главной книги (кончил «Август») припадаю к этой опять.

И первое, что вижу: не продолжать бы надо, а дописать скрытое, основательней объяснить это чудо: что я свободно хожу по болоту, стою на трясине, пересекаю омуты и в воздухе держусь без подпорки. Издали кажется: государством проклятый, госбезопасностью окольцованный — как это я не переломлюсь? как это я выстаиваю в одиночку, да ещё и махинную работу проворачиваю, когда-то же успеваю и в архивах рыться, и в библиотеках, и справки наводить, и цитаты проверять, и старых людей опрашивать, и писать, и перепечатывать, и считывать, и переплетать, — выходят книга за книгою в



Самиздат (а через одну и в запас копятся), — какими силами? каким чудом?

И миновать этих объяснений нельзя, а назвать — ещё нелезее. Когда-нибудь, даст Бог, безопасность наступит — допишу\*. А пока даже план того объяснения на бумажке составить для памяти — боюсь: как бы та бумажка не попала в ЧКГБ.

Но уже вижу, перечитывая, что за минувшие годы я окреп, осмелел и осмеливаюсь больше и больше рожки высовывать, и сегодня решаюсь такое написать, что три года назад казалось смертельно. Всё явней следится моё движение — к победе или к гибели.

Тем и странна эта вещь, что для всякой другой создаёшь архитектурный план, и ненаписанную видишь уже в целом, и каждой частью стараешься служить целому. Эта же вещь подобна нагромождению пристроек, ничего не известно о следующей — как велика будет и куда пойдёт. Во всякую минуту книга столь же кончена, сколь и не кончена, можно кинуть её, можно продолжать, пока жизнь идёт, или пока телёнок шею свернёт о дуб, или пока дуб затрещит и свалится.

Случай невероятный, но я очень его допускаю.

### ПРОРВАЛО!

Да, сходство с Бородином подтверждалось: с битвы прошло два месяца, почти ни одного выстрела не было сделано с обеих сторон, — ни газетного упоминания, ни особенной трибуны брани, — да ведь Пятидесятилетие проползло, и требовалось им как можно нескандальнее, как можно глаже. Тоже и я, со склонностью к перемирию, своего «Изложения» о бое [4] в ход не пускал, правильно ли, неправильно, бережа для слитного удара когда-нибудь. Не происходило никаких заметных перемещений литературных масс, и поле боя, помнится, оставалось за противником, у него осталась Москва, — но чувствовал я именно в этой затиши: где-то что-то неслышно, невидимо подмывалось, подрывалось — и не звала ли нас обagrённая земля воротиться на неё безо всякой схватки?

С этим ощущением я приехал в Москву, спустя великий юбилей, и чтоб немного действий проявить перед тем, как на всю зиму нырнуть в безмолвие. Для действий — нужен был Твардовский, но его оказалось нет давно, уже целый месяц он пребывал в своей обычной слабости, в ней незаметно провёл и барабанный Юбилей (от которого неизлечимо-наивный Запад ждал амнистии хоть Синявскому — Даниэлю да своему слабонервному европейцу Джеральду Бруку — но не бросили, разумеется, никому ни ломтя с праздничного стола). Так всегда и получалось у нас с А. Т., так и должно было разьёрзнуться: когда нужен ему я — не дозваться, когда нужен мне он — не доступен.

День по дню пождал я его в редакции, созванивался с дачей, — наконец решено было 24 ноября ехать мне в Пахру, и вызвался со мною Лакшин. Выехали мы утром в известинской чёрной «волге» ещё в лёгком пока снегопаде. Было у меня чтение в дорогу срочное, но не вышло, занимал меня спутник разговором. Это многим дико, а у меня инерция уже принятой работы и тянет обязательно доделывать по плану, хотя посылается единственный, может быть, случай — вот поговорить с Лакшиным, с которым никогда почему-то не выходило. Да при неведомом шофере какой и разговор? Много было пустого, а всё-таки на заднем сиденье негромко рассказал он мне интересное вот что: в 1954 году, когда решался вопрос о снятии А. Т. с Главного в «Новом мире», этого снятия могло бы не быть, если бы Твардовский вырвался из запоя. И его уже приводили в се-

\* См. Пятое Дополнение, «Невидимки».

бя, но в самый день заседания он ускользнул от сторожившего его Маршака и напился. Заседание в ЦК складывалось благоприятно для «Нового мира»: Пospelов был посрамлён, Хрущёв сказал, что интеллигенции просто не разъяснили вопросов, связанных с культом личности,— и редакцию в общем не разогнали, но отсутствующего даже на ЦК главного редактора — как же было не снять?

Иногда спасительной разрядкой была эта склонность, иногда ж и губила.

Английский пятнистый дог встретил нас за калиткой. Вошли в дом беспрепятственно и звали хозяев. А. Т. медленно спустился с лестницы. В этот момент он был больнее, беспомощнее, ужаснее всего (потом в ходе беседы немного подправился, и подтянулся). Сильно обвисли нижние веки. Особенно беззащитными выглядели бледно-голубые глаза. Ни к кому из нас отдельно, он высказал очень грустно:

— Ты видишь, друг Мак, до чего я дошёл.

И у него выступили слёзы. Лакшин ободряюще обнял его за спину.

В том самом холле, и сейчас мрачном от сильного снегопада за целостенным окном, недалеко от камина, где разжигался хворост о погибшем романе, мы сели, а Трифонов расхаживал нервно, крупно. Короткую минуту мы ничего не говорили, чтобы А. Т. пришёл в себя, а для него это очень тягостно оказалось, и он спросил:

— Что-нибудь случилось? —

и крупно тряслся, даже плясали его руки, уже не только от слабости, но и от страха.

— Да нет! — поспешил я вскричать, — абсолютно ничего. То есть помните, какой мрачный приезд был *torga*, — так теперь всё наоборот!

Он несколько успокоился, руки почти освободились от тряски. Мял сигарету, но не закурил. И сев на диван, спросил с половинной тревогой:

— Ну, что в мире?

Очень это меня кольнуло. Я вспомнил, как школьником, два-три дня пропустивши в школе, я бывал сильно угнетён, как будто провинился: а что там без меня делалось? Как будто за эти дни неминуемо сдвинулся в угрозу тот внешний опасный мир. И то же самое, очевидно, испытывал он, когда вот так, на целый месяц, начистоту отключался не только от журнала, но ото всего внешнего мира.

— В Новом мире или в остальном? — пошутил я.

— Во в сём, — тихо попросил он.

Лакшин дал ему такую версию: после юбилея ничто не улучшилось, но ничто и не ухудшилось. А я даже хотел убедить, что лучше: в Англии была телевизионная инсценировка по процессу Синявского — Даниэля, поднимается новая волна в их защиту, так что дела не плохо... Но эта аргументация до обоих не доходила совсем: не было для них Синявского — Даниэля.

Чтоб не тянуть, я начал излагать своё дело: что ощущаю у противника слабость. Распробовать её лучше бы всего так: никого не спрашивая, пустить в набор несколько глав «Ракового корпуса». Даже если не пройдёт, то, при появлении «РК» за границей, я смогу справедливо негодовать на СП. Иначе, предупредил я, смотрите: вот появится «РК» за границей, неизбежно, и на нас же с вами свалят: скажут, что это мы не предпринимали никаких попыток, не могли друг с другом договориться.

А. Т.: — Это надо подумать, так сразу не скажешь.

А тон этот я уже знаю: это отказ. Пытаюсь убеждать: в обоих случаях, откажут или пропустят, — мы выигрываем!

А. Т.: — Это дерзость будет после всего случившегося — подать

как ни в чём не бывало. Надо сперва идти *говорить*, но я уже не могу, поймите.

(Лакшин потом объяснит мне: в последний раз в «отделе культуры» Шаура опять навязывал Твардовскому читать «Пир победителей» — и А. Т. в который раз был достойно-непреклонен: ворованную вещь, распространяемую против воли автора, не взял в руки! — но слишком ругательно ответил Шауре, и больше не мог идти туда.)

Я: — Да не надо идти просить! Подать обычным образом — и ждате. Почему нельзя?

Лакшин (подобранно, вдумчиво): — Я не сказал Александру Исавичу по дороге...

(А почему не сказал? не было времени? Да из-за этого и ехал он, теперь понимаю, но сказать должен был при шефе.)

— ...а есть такой вариант. Был Хитров в отделе Шауры, перебирала то да сё, зашла речь о Солженицыне. Там удивляются: ему же 24 писателя сказали — написать антизападное выступление, как же он смеет не писать? Пусть напишет — и всё будет в порядке. Ну, не обязательно в «Правде» или в «Литгазете»... Пусть хоть в «Новом мире»...

(Да-а? Так они на попятную уже идут, на попятную. Не привыкли встречать твёрдость!)

Итак, предлагает Лакшин: действительно, набрать несколько глав «Корпуса» — и в том же номере, «ну хотя бы в отделе писем... — какое-то заявление А. И., что он удивляется западному шуму...».

Благоразумный мальчик (в 35 лет)! он качался со мной на заднем сиденьи, вёз капитуляцию — и не показал. Очень благоразумно, да, для этого маленького квадрата, но их — шестьдесят четыре, и надо видеть, что противник смят!

Однако я не успел даже ответить Лакшину, — отдать справедливость Трифону, он тут же нахохлился, забурчал:

— А что он может писать? О чём, если всё замяли? Письмо-то съезду было, его же не изменишь!

И — стих Лакшин, ни довода больше: мнение А. Т. важнее для него, чем мнение ЦК. Стих, хотя внутренне не согласился.

Ну, и я не настаивал больше. Говорили о разном. Пили чифирно-густой чай. А. Т. ещё вставал, похаживал, садился — и всё больше благообразел, отходил от слабости. Тут Лакшин выложил на стол пачку новых книжечек Твардовского, а я по оплошности протянул А. Т. ручку:

— С вас библиотечный сбор.

Он даже не брал её, не пытался, руки-то тряслись! Извинительно:

— Я сейчас не сумею надписать... Я — потом...

Чтобы А. Т. не потерял интереса печатать «РК», я не собирался прежде времени рассказывать ему об «Августе Четырнадцатого». Но так показалось тягостно его состояние, что решил подбодрить: вот, Самсоновскую катастрофу пишу, к будущему лету может быть удастся кончить.

А. Т., уже возвращаясь и к иронии:

— Никакой катастрофы не было и не могло быть. Теперь установлено, что дореволюционная Россия совсем не была отсталой. Я читал одну экономическую статью недавно, так и положение крепостных перед 1861 годом рисуется весьма благоприятно: чуть ли не помещики их кормили, старость и инвалидность их были обеспечены...

(Самое смешное, что новая казённая версия гораздо вернее предшествующих «революционных»...)

Мы пробили меньше часа, ждала машина (известинские шофера всегда капризничали и торопили новомирских редакторов), стали собираться. А. Т. надумал идти гулять, надел какой-то полубушлат очень простой, фуражку, взял в руки палку для опоры, правда не

толстую, и под тихим снегопадом проводил нас за калитку — очень похожий на мужика, ну, может быть, мал-мало грамотного. Он снял фуражку, и снег падал на его маловолосую светлую крупную, тоже мужицкую, голову. Но лицо было бледным, болезненным. Защемило. Я первый поцеловал его на прощанье — этот обряд был надолго у нас перебит ссорами и взрывами. Машина пошла, а он так и стоял под снегом, мужик с палкой.

В редакции я сам смягчил разговор Костоглотова — Зои о ленинградской блокаде, чтоб не оставить у них серьёзных отговорок.

И уехал. Но едва до Рязани доехал — пришло письмо от Воронкова [5] — зондирующая нота: когда же, наконец, я отмежусь от западной пропаганды? Зашевелились?! Недолго думая, я тут же отпалил ему десятком контрвопросов: когда они исправятся? Жду и я, наконец, ответа!! [6]

И, облегчённый, поехал дальше, в глубь, в Солотчу, в холодную тёмную избу Агафьи (второй Матрёны), где в оттепельные дни мы дотапливали до 15° С, а в морозные я просыпался чаще при двух-трёх градусах. По своему многомесячному плану я должен был теперь прожить здесь зиму. Обложился портретами самсоновских генералов и дерзал начать главную книгу своей жизни. Но робость перед ней сковывала меня, сомневался я — допрыгну ли. Вялые строки повисали, рука опадала. А тут обнаружил, что и в «Архипелаге» упущенного много, надо ещё изучить и написать историю гласных судебных процессов, и это первое всего: неоконченная работа как бы и не начата, она поразима при всяком ударе. А тут достигло меня тревожное письмо, что продают «Раковый корпус» англичанам — да от моего имени, чего быть не могло, от чего я всеми щитами, кажется, оборонился! Так смешалась работа — а через несколько дней и ещё брякнуло, — то из Москвы уже выздоровевший Твардовский потянул в Рязань длинную тягу вызывного колокольца: явись и стань передо мной! срочно нужно! А что срочное — не названо, и конечно же выдуманное. Нароботаешься с вами, леший вас раздери! Нехотя, медленно, брзюжа я собирался. Терпеть не могу, когда внешние обстоятельства ломают мой план работы.

А Твардовский то-то дивился, что я не бросаюсь тотчас: звали его и меня в секретариат СП СССР прийти *побеседовать* запросто; звонил ему Воронков, *беспокоился*: заплатил ли «Новый мир» Солженицыну хоть аванс за «Раковый корпус», — *наго же человеку что-то кусать!* («Кусать» — это расхожий термин у них для авторских потребностей.)

Ах, паразиты, вот как!! Да я и не удивляюсь: раз я стал неколеблю — значит вам колебаться! Я другому удивляюсь, что за полвека весь мир не видит этого простейшего: только силы и твёрдости они боятся, а кто им улыбается да кланяется — тех давят.

18 декабря я застал А. Т. в редакции уже плавающим в мягких облачных подушках на полуторном небе. Тоже не извещённый точно, Твардовский по мелким побочным признакам безошибочно вывел, что кто-то *наверху*, чуть ли не Сам (Брежнев), не то чтобы прямо указал печатать «Раковый корпус», нет, наверняка не так (признаки были бы иные), но обронил фразу в том смысле, что надо ли запрещать? И, где-то в воздухе опущенная, но не до пола, никем не записанная, эта фраза была тут же однако подхвачена, и по людским рукам, по плечам, по ушам поползла, поползла, и онемел от неё аппарат Дёмичева, и все литературные марионетки, а какие поживей и поприспособленней, вроде Воронкова, кинулись перед нею и хвостом промести. Итак, нисколько не решено ещё было, но поворот от сентября столь крут, что на сиденьи известинской «волги», везшей нас на улицу Воровского, Твардовский опять, как полгода

назад, размечтался не только о журнальном печатании, но чтоб непременно сейчас же шла глава в «Литературку» для закрепления позиций, и опять перебирал, какую главу дать, какой «филейный кусочек» не жаль. В благодушной уступке уже назвал было предпоследнюю (Костоготов по городу и зоопарку), но взял назад:

— Нет, *права первой ночи* я Чаковскому не отдам.

Были мы на пороге нового цензурного чуда? Тем и дивен бюрократический мир, что на краткое время внутри себя он может отметить все физические законы — и тяжёлые предметы вознесутся вверх, и электроны устремятся на катод. Но я в этот раз не ждал чуда и, помнится, не очень его хотел: ведь опять начнут выжимать строки и абзацы, гадость мелкая, а в Самиздате так беспрепятственно, так неискалеченно расходился «Корпус»! Мне уже больше нравился открываемый независимый путь. Однако я не препятствовал короткому счастью А. Т., не возражал.

Коренастый широчелюстный хамелеон Воронков снова был внимателен и любезен, хотя не так рассыпчато, как после моего письма съезду, но и не тот же вышибала, который подсовывал мне листовку «Посева»! Вчетвером сели мы как в карты играют: мы с Твардовским друг против друга, Сартаков против Воронкова, только мы трое за маленьким столиком, а Воронков отнесен от нас тушею письменного стола, и, сам туша, сидел в тяжёлом кресле, однако и довольно подвижно. Я — только самое необходимое кидал, я сил нисколько не напрягал, не ощущая реальности всей игры; ехидно-аккуратный Сартаков тоже подбрасывал нечасто; а поединок, далеко не выражаемый в произносимых словах, происходил между Воронковым и атакующим Твардовским. Воронков хотел провести беседу, не сказав и не обещав ничего, а всё ж отметиться в дружелюбии. Твардовский, за 35 лет толканья в советско-литературном мире все эти ходы хорошо понимавший, хотел Воронкова прижать и хотя бы устного согласия от него добиться на печатание «Корпуса».

— Это — дело журнала, — удивлялся Воронков. — Как хотите, так и делайте.

— Но вы, по крайней мере, *не возражаете?*

— Да при чём же тут союз писателей? — всё более изумлялся Воронков.

(Разве у нас кто-нибудь давит на издательства?)

— Не-ет, я не привык ездить в трамвае без билета! — фразою не из своего быта, но в СП отработанной, парировал Твардовский.

А если Воронков маневрировал наступательно, что надо же отсекаться (мне — от Запада и от письма), нельзя же обмолчать всю историю, — я просто отмахивался, уж языком молоть надоело, а Твардовский уверенно:

— Можно! Смолчим — и всё будет в порядке.

— Да как же можно умолчать?? — поражался любитель гласности Воронков.

— А вот так, — очень значительно и уверенно, будто прислушавшись к верхней части стены, припечатывал Твардовский. — Хрущёва сняли — умолчали, и прошло! А покрупней было событие, чем письмо Солженицына.

Как вообще дошёл Воронков до этого кресла? почему он вообще руководил шестью тысячами советских писателей? был ли он первый классик среди них? Рассказывали мне, что когда-то Фадеев выбрал себе в любовницы одну из секретарш СП, тем самым она уже не могла вести простую техническую работу, и на подхват взяли прислужистого Костю Воронкова. Оттуда он вжился, вьелся и поднялся. Но что же он писал? Шутили, что главные его книги — адресные справочники СП. А, впрочем совсем недавно именно почему-то Воронкову (для того ль, чтоб судьбу «Н. мира» облегчить?), именно Твардовский доверил... драматургическую редакцию «Тёр-

кина». Уж какой там безызвестный негр ту работу для Воронкова сделал — а стал Воронков драматургом.

Проговорили часа полтора — но всё ж не дался склизкий объёмистый Воронков в пухлые ручища Твардовского: манил и заметал, а ничего не обещал и ничего не разрешил. Пошли мы с А. Т. перелуками к Никитским воротам и дальше Тверским бульваром к редакции. И за эти полчаса легкоморозных при умеренном зимнем солнышке, поддерживая А. Т. под руку и особенно бережа его на переходах улиц, ему необычных, заметил я, как в нём внутри прорабатывается, дорабатывается, созревает — и возвращается к нему исходное радостное состояние, но уже не на мечте, а на собственной твёрдости. Вошли в «Новый мир» — распорядился он созвать редакцию, а мне сказал сдержанно-торжественно:

— Запускаем «Раковый» в набор! Сколько глав?

Договорились на восемь. А. Т. «садился в трамвай, не беря билета»!

О, сила безликого мнения! Развивая свою твёрдость (заложенную, впрочем, и в фамилию его, и быть бы ему таким всю жизнь!), не погнушался Твардовский пойти сам и в типографию «Известий» и там дал понять какому-то начальнику, что с «Корпусом» — не самоуправство, а *есть такое мнение*, и надо поторопиться. И партийный начальник, не представляя же подобной дерзости в другом партийном начальнике, так поторопился, что хоть и не в несколько ночных часов, как набрался «Иван Денисович», но к исходу следующего дня принесли в редакцию пачку гранок, и я, ещё не успевши унырнуть в берлогу, тут же провёл и корректуру. И тут же выдержал яростную схватку с Твардовским: он до белых гневных глаз *запрещал* мне давать впереди оглавление\*, — и сама идея, и шрифт, и возможное расположение — всё было ему отвратительно: «Так никто не делает!» А я стоял на своём — и хоть поссорься и разойдись, хоть рассыпь весь набор! Вот так, на нескольких уровнях сразу, обитал Твардовский. Но и какой же, правда, я был для А. Т. отягощающий союзник во всём.

Совершился акт «набора», за рассыпку которого ещё будет долго попрекать западная пресса наших верховных злодеев, — совершился от наплыва слабости в ЦК и от прилива твёрдости у издателя. Мне продлило это денег почти на два года жизни, важных два года. Но очень скоро в ЦК очнулись, подправились (кто сказал ту неосторожную фразу — так и неизвестно, а может и никто не говорил, на подхвате недослышали и переврали; кто теперь запретил — тоже неизвестно, вроде опять-таки Брежнев), — и засохло всё на корню.

Лишил их Бог всякой гибкости — признака живого творения.

А мне и легче — опять стелился путь неизведанный, но прямой, ощущаемо верный. Не отвлекало меня сожаление, что печатанье не состоялось.

Не то — Трифону. Для него этот срыв прошёл как большое горе. Ведь он поверил уже! он своей отчаянной храбростью как был воодушевлён! — но поглотило его порыв тупое рыхлое тесто. Ему надо же было в эти дни что-то предпринимать, и тянуло делиться со мной, и он слал мне в Рязань телеграммы, что нужен я срочно (кажется — подготовить смягчения в тексте). А я — не хотел смягчений, и больше всего ехать не хотел, два часа до Рязани да три часа до Москвы, да как объяснить забывчивому крестьянину, что под Новый год десять окружных голодных губерний едут в Москву покупать продукты, за билетами очереди, поездка трудна, не поеду я мучиться. Я телеграфировал отказ. Тогда иначе: приехать сразу после Нового года! Да не поеду я и после, когда же работать, измотаешься

\* Как это сделано в «Круге». Я предполагал так и в «Корпусе», позже отказался, может быть и зря. (Примеч. 1986.)

от этих вызовов! А он не поймёт: общая наша борьба, почему же я равнодушен? «Да где он? я вертолёт к нему пошлю?!» Лакшин — Кондратович особенно изволили выйти из себя: «Если набирается вещь, автор обязан жить тут хоть две недели!»

А правильно, что я не поехал: из отдела культуры давили на Трифону́ча опять, чтоб хоть смягчённое, да написал я письмо-отречение: «Ему пошли навстречу, напечатали «Ивана Денисовича», а он чем отблагодарил? «Пиром Победителей?..» — «Не с кем разговаривать», — очень грустно вздыхал Трифону́ч моей жене. — Даже не «Корпус» говорят, а «Раковая крепость»... — И мечтал: «А если б сейчас «Корпус» напечатать — ведь опять бы вся обстановка изменилась в литературе!.. Сколько б мы за тем двинули!..»

Прошло ещё дня два, и вот наш разлояльный Трифону́ч тоже взялся за письмо! — век писем! — правда, письмо лишь к одному Федину, зато объёмом чуть не в авторский лист, А. Т. писал его долго, даже в пометке — больше недели, писал на даче в лучшие рабочие часы, собирая к нему мысли и фразы в чистке снега.

Письмо это было не только не в темпе идущей борьбы, но и не в манере её, действительно не «открытое», — и если бы предупредили А. Т., что оно разлетится, — он бы его скорей всего и не писал. В этой обстоятельной неторопливости, объёме, воспоминании о «барвихинских куцах» — уж никак не думал он о Самиздате. И видно, с каким огромным душевным трудом он преодолевает мучительное для себя письмо — и ведь пишет «без особых упований на благоприятный результат», но «написать его было для меня делом долга и совести». Только из этого письма мы (и я) узнаём, что в секретариате СП создавалось некое ежемесячное «дело Солженицына», повлекшее «длинный ряд узких, расширенных и широких заседаний в секретариате» (Трифону́ч и не рассказывал мне), «вопрос вопросов сегодняшней деятельности Союза писателей», и как от А. Т. требовали, чтоб он «употребил своё влияние на Солженицына», склонить его к выступлению против Запада; и как в удачный (очевидно, летом 1967) момент А. Т. уже составил «коммюнике» для секретариата, и Федин его редактировал и одобрил, — а вот отвергнуто; и что при последних встречах с Фединым (значит поздней осенью 1967) А. Т. говорил ему «слова жестокие, может быть обидные... без достаточной выдержки и себе во вред». Но Твардовский все прошлые месяцы всё больше набирал общественной смелости, и уже в тех заседаниях и теперь в этом письме лепит им: да, после «Ивана Денисовича» писать по-старому уже никому нельзя, и это-то вызывает главное сопротивление; Солженицын «очень осложнил литературную жизнь... он находится в перекрестии двух противоположных тенденций общественного сознания». А. Т. не помнит от секретарей СП «даже попыток опровергнуть хоть один из пунктов его письма» съезду, «они неопровержимы... я подписался бы под ними обеими руками» (!!), — да А. Т. высказывался и в секретариате и в ЦК — и о цензуре, и о личной судьбе Солженицына «даже резче, чем он». И даже: из моего нигде же не опубликованного, никому (кроме А. Т.) не представленного протокола сентябрьского заседания секретариата А. Т. бесстрашно цитирует Федину — и о земле отечества под моими подошвами всю мою жизнь, и о «Пире», как я там дословно выразился; и из последнего моего письма к самому А. Т.: что «моё внутреннее душевное состояние мне дороже судьбы моих вещей». И Твардовский — это всё разделяет! И для него тоже это стало так, почему он и пишет это письмо и, рискуя 5-м томом своего собрания сочинений, отказался снять упоминание о Солженицыне. Он ещё дописывает это письмо к Федину — «всё целиком зависит от Вас», разрешите печатание «хотя бы на усмотрение „Нового мира“», — но не в этих просьбах, а в своём душевном распрямлении главный смысл письма для Твардовского.

А дальше: дал двум-трём близким приятелям — и кто-то из них, соблазнясь, швырнул письмо в Самиздат. Твардовский только ахнул вслед.

А я в Солотче гнал последние доработки «Архипелага», по вечерам балуя слушанием западного радио, и в феврале с изумлением услышал своё ноябрьское письмо Воронкову, — с изумлением, потому что никак не выпустил его из рук, отдельно и смысла не было, — а вот так и береги документы в запасе... (Ускользнуло, конечно, у Воронкова, обрезана была дата, как при поспешном фотографировании, но много лет мне будут поминать, что это — я.)

К марту у меня начались сильные головные боли, багровые приливы, — первый приступ давления, первое предупреждение о старости. А только «Архипелаг» вытянуть — надо было ни на час не разгибаться апрель и май. Лишь бы в эти два месяца ничто не ворвалось, не помешало!.. Я очень надеялся, что вернутся силы в моём любимом Рождестве-на-Истье — от касания с землёй, от солнышка, от зелени.

Первый в жизни свой клочок земли, сто метров своего ручья, особая включённость во всю окружающую природу! Домик почти каждый год затопляло, но я всегда спешил туда на первый же спад прилива, ещё когда мокры были половицы и близко к крыльцу подходил вечерами язык воды из овражка. При холодных ночах вся вода утягивается в речку, оставляя на пойменных склонах и на овражке — крыши белостеклистого льда. Он висит хрупкий над пустотой, утром проваливается большими кусками, будто кто идёт по нему. В тёплые ж ночи воды в реке не менеет, она не отступает, а звучно громко всю ночь журчит. Да даже и днём не заглушают весеннюю реку машины с шоссе, мудрый звук её журчания можно сидеть и слушать часами, от часа к часу выздоравливая. То сильно крупно булькнет, то странно шарахнет (упала ветка, застрявшая на иве от более высокой воды), и опять многогласное ровное журчание. Матовое заоблачное солнце нежно отражается в бегучей воде. А потом начнёт на взгорках подсыхать — и ласкаешь тёплую землю граблями, очищая от жухлой травы для подрастающей зелёной. День по дню спадает вода, и вот уже можно вилами расчищать берег от нанесенного хлама и дрома. И просто сидеть и безмысленно греться под солнышком — на старом верстаке, на дубовой скамье. Растут на моём участке ольхи, а рядом — берёзовый лес, и каждую весну предстоит проверить примету: если ольха распускается раньше берёзы — будет мокрое лето, если берёза раньше ольхи — сухое. (И каждый год: правильно! А когда распустятся одновременно — так и лето перемежное.)

Хорошо! Вот в такую же весну год назад здесь написана главная часть этих очерков. А через месяц, когда совсем потеплеет, озеленеет — тут будем в несколько пар рук печатать окончательный «Архипелаг»: сделать рывок за май, пока дачников нет, не так затметно, и стук машинок не слышит никто.

Из Рязани в Рождество ехать через Москву. В Москве не миновать зайти в «Новый мир»: «Здравствуйте, Александр Трифонович!» Да что ж теперь «здравствуйте», отгорело давно, что было, уже не тем голова занята. Почти уже три месяца, как отослано письмо Федину, уже и на «горьковских торжествах» встречались, и что же Федин? Целовался с Твардовским: «Благодарю, благодарю, дорогой А. Т.! У меня такая тяжесть на сердце...» — «А правда, К. А., что вы у Брежнева были?» — «Да, товарищи вокруг решили, что нам надо повидаться». — «И был разговор о Солженицыне?» — (Со вздохом:) «Был». — «И что же вы сказали?» — «Ну, вы сами понимаете, что ничего хорошего я сказать не мог. — Спыхвяться: — Но и плохого тоже ничего». (? — Что ж тогда?..)

Я слушаю, как всегда в «Новом мире», больше из вежливости,



не спору. Неплохо, конечно, что Трифонич такое письмо послал (а по мне бы — вчетверо короче), ещё лучше, что оно разгласилось..

У Трифонича — неторопливость благородной природы: врагов много, боёв много, всех не перечерпать, так и метаться нечего, а со временем всё одолеется, наше дело правое, возьмёт. Попьём пока чайку с мягкими бубликами.

Да! вот и рана, свежая: почему это по Москве *ходит* какое-то моё новое *произведение*, — а он, А. Т., обойден, — почему? почему я не принёс, не сказал ничего? Какие-то литераторы в Пахре *имели наглость* предложить А. Т. почитать, «я, конечно, отказался!».

(Ах, ну как всё объяснить! Да потому что принеси — обязательно удержишь, скажешь не надо давать! А мне — надо, пусть гуляет. Это — «Читают Ивана Денисовича», бывшая глава из «Архипелага», при последней переработке выпавшая оттуда, а жалко пропадёт, ну — пустил её..)

— Да, А. Т., не моя это вещь, потому и не принёс, я — не автор, я — составитель, там 85% цитат из читателей. Я никак не думал, что это распространится и даже будет иметь успех. Я *просто дал* двум старушкам, бывшим зэчкам, почитать.

— Где эти старушки? — грозно порывается он. — Сейчас берём машину, едем к ним и отбираем. Как могло утечь?

— А как ваше письмо Федину утекло? Вы ж никому не давали!

Вот это — поразительно для него. Тут он верно знает, что не давал.

— Вам надо тихо сейчас сидеть! — внушает.

Сейчас — да, я согласен. Но всё же честно предупреждаю: если «РК» напечатают за границей — я разошлю писателям свои объяснения. (Какие объяснения — тоже нельзя говорить. Прежде времени ему скажи — лапу наложит, и плакало моё «Изложение». Так запретитель сам себя обрекает не знать никогда вовремя правды!..)

На том и уезжаю — тихо сидеть. Это было 8 апреля. И именно в тот же день во Франкфурте-на-Майне составлялась граневская динамитная телеграмма... Недолго мне в этом году предстояло попить ранневесеннюю сласть моего «поместья». Шла Вербная неделя как раз, но холодная. В субботу 13-го пошёл даже снег, и обильный, и не таял. А в вечерней передаче Би-Би-Си я услышал: в литературном приложении к «Таймсу» напечатаны «пространные отрывки» из «Ракового корпуса». Удар! — громовой и радостный! Началось! Хожу и хожу по прогулочной тропке, под весенним снегопадом, — началось! И ждал — и не ждал. Как ни жди, а такие события раздражаются раньше жданного.

Именно «Корпуса» я никогда на Запад не передавал. Предлагали мне, и пути были, — я почему-то отказывался, без всякого расчёта. А уж сам попал — ну, значит, так надо, пришли Божьи сроки. И что ж завертится? — после процесса Синявского. — Даниэля через год и такая наглость? Но — предчувствие, что несёт меня по неотразимому пути: а вот — ничего и не будет!

За этой прогулкой под апрельским снегом застала меня жена, только что из Москвы. Взвонована. Знать бы ей неоткуда, ведь передавали только-только. Нет, у неё другая новость: Твардовский уже четвёртый день меня ищет, рвёт и мечет, — а где меня искать? В Рязани нет, московские родственники «не знают» (я в тайне храню своё Рождество именно от «Нового мира», только это и создаёт защищённость, а то б уж дёргали десять раз). В понедельник виделась, а со среды уже «рвёт и мечет»? «Ещё никогда не было так важно»? У них (у нас) — всегда «никогда», всегда «особый момент, так важно!». Только уши развешивай. Подождут. Не надо всякий раз «волки!» кричать, когда волков нет, тогда и будут вам верить. Не могу я каждый раз дёргаться, как только дёрнутся внешние условия. Вот поеду через три дня, переживёт Твардовский. Бесчело-

вечно к ним? — но они ко мне не заботливей: за эти годы на все их вызовы являться — я б и писателем перестал быть.

Уж новей моего известия у них не может быть: выходит «Корпус» на Западе! И не о том надо волноваться, что выходит, а: как там его примут? И обдумывать надо — не чего там переполошился «Новый мир», а: не пришло ли время моего удара? Ведь томятся перележалые документы, бородинского боя нашего никто не знает, — не пора ль его показать? Хотелось покоя — а надо действовать! Не ожидать, пока сберутся к атаке, — вот сейчас и атаковать их!

Не объёмный расчёт ведёт меня — тоннельная интуиция.

С этим и еду я во вторник 16-го: запускать «Изложение»! Там страниц много, полста экземпляров перепечатаны впрок ещё за зиму (уже Литвинов и Богораз передавали своё прямо корреспондентам, но я ещё осторожничаю, я гнанный зверь, я прячусь за пятьдесят писательских спин), сейчас лишь сопроводиловку [7] допечатать быстро, связку бомбы, чтоб разрозненные части детонировали все разом и к понятному всем теперь сроку:

«...Я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности ухода моих произведений за границу, поскольку они давно и широко ходят по рукам... Упущен год, неизбежное произошло... ясна ответственность Секретариата».

В последний момент ещё держат меня за рукава московские друзья: надо подождать! Именно сейчас, такой момент — общая реакция, сламывают воли... не надо раздражать верхи...

Так вот именно потому сейчас и двигать!!!

Для этого я и приехал в Москву. А между прочим — заглянуть и в «Новый мир»: что там за переполох?

Крайнее возбуждение! горестный тёмный гнев на лицах Лакшина и Кондратовича — но ничего по-людски не говорят: иерархия и дисциплина прежде всего, без А. Т. нельзя! А тот никак с дачи не доедет: лопнул скат по дороге, у известинского заевшегося шофёра даже не нашлось ключа, колесо отвернуть. Через три часа А. Т. вошёл, напряжённый внутренне, но и — убитый, мною убитый! Теперь собралась в его кабинете вся главная коллегия, как следственная комиссия, испытующе-строгая. И кладут передо мной — так брезгливо, что даже в руках держать её мерзко, — грязную, гадкую телеграмму из предательских подлых «Граней» (а название-то какое хорошее для мыслящих людей!):

«Франкфурт-ам-Майн, 9.4., Новый мир

Ставим вас в известность, что комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на Запад ещё один экземпляр Ракового корпуса, чтобы этим заблокировать его публикацию в Новом мире. Поэтому мы решили это произведение опубликовать сразу.

Редакция журнала Грани».

Так неожиданно, и столько тут противоречий, даже загадок, — не могу понять, в голову не лезет. Но мне и понимать не требуется! — провокация! — и как советский человек я должен... Им и самим тут почти ничего не ясно, но не хватает простой гражданской зрелости — с выяснения неясностей и начинать. К чему одному привыкли советские люди? — *дать отпор!* Чем разбираться, чем исследовать, чем обдумывать — *дать отпор!* Прибитость многих десятилетий. Но и молодой, критичный, сообразительный же Лакшин немилослаще нависает с остальными в той же стенке: дать отпор.

О, главная слабость моя — «Новый мир»! О, главная моя уязвимость! Ни с кем не трудно мне разговаривать, только с вами и трудно. Никакому советскому учреждению я давно ничего не должен, только вам одним, но через вас-то и цапает, и заволакивает меня вся липкая система: должен! должен! наш! наш!

Твардовский (значительно и даже торжественно):

— Вот наступает момент доказать, что вы — советский человек. Что тот, кого *мы открыли*, — наш человек, что «Новый мир» не ошибся. Вы должны думать — обо всей советской литературе, вы должны думать о *товарищах*. Если вы неправильно себя поведёте — наш журнал могут закрыть...

Постоянная угроза — *могут закрыть*... И я — не просто я, а либо жернов, либо шар воздушный на шее «Нового мира»...

После Бородина я возомнил, что я — свободный человек. Нет-нет, нисколько! Как вязнут ноги, как трудно вытаскивать их! Пытаюсь отнекаться тем, что:

— Опоздали «Грани». Вот уж «Таймс» напечатал...

«Таймс» — неважно, важны — «Грани»! важен отпор и советская принципиальность!..

Подсовываю А. Т. мою *сопроводиловку*, копию — Лакшину (Кондратовичу не даю, он читает через плечо Лакшина). Нет, на А. Т. не действует. И на остальных (глянув на А. Т.) не действует.

— «Таймс» — это не на русском...

Лакшин: — Очень важно, Александр Исаевич, перед историей. Ведь в справочниках всегда указывается первая публикация на родном языке. И если будет указано — «Грани», какой позор!..

Вдруг А. Т. пробуждается и к сопроводиловке:

— А вы собираетесь это рассылать?! Не время, не время! Сейчас *знаете, какое настроение*... можно головы лишиться... В уголовный кодекс добавляют новую статью...

Я: — Ко мне вся гармошка кодекса да-авно не относится, не боюсь.

А. Т.: — И вы уже начали рассылать?

Не начал я, но вру: — Да. — (Чтоб неотвратимее.)

Не одобряет, не одобряет. И даже в стол себе не хочет взять такой ошибочной, опрометчивой бумаги. Не это главное сейчас! Единomyсленно и строго сдвинулись вокруг меня опять. И Твардовский прямо диктует мне:

«Я категорически запрещаю вашему нео-эмигрантскому, откровенно враждебному журналу... Приму все меры...»

Ка к и е?! Правительство наших прав не защищает, но требует, чтобы мы защищались сами! — вот это *по-нашему*.

— А иначе, Александр Исаевич, *мы вам больше не товарищи!*

И на лицах Лакшина — Хитрова — Кондратовича каменное, единое: нет, мы вам больше не товарищи! Мы — патриоты и коммунисты.

О, как трудно не уступить *грузьям*!.. Да мне и действительно не хочется, чтобы «Грани» печатали «РК», только всё испортят, особенно когда уже началось европейское печатание. Ну что ж... ну, ладно... ну, телеграмму я дам... (Я сломлен?.. Так быстро?..) Пытаюсь сложить — а слова не складываются. Дайте подумать! Отводят в кабинет Лакшина. Но я как бы под арестом: пока не напишу запретительной телеграммы — из редакции не отпустят.

А всегда надо подумать! Всегда осмотреться. На обороте той же телеграммы карандашом — что это? Черновик:

«Многоуважаемый Пётр Нилович!

Я считаю, что Солженицын должен послать этому нео-эмигрантскому — (в этом нео они видят какой-то особенный укор!) — откровенно-враждебному нашей стране... Я пытаюсь срочно вызвать Солженицына, местонахождение которого мне сейчас не известно, в Москву. Жду ваших указаний. Твардовский.

11 апреля».

(Указаний после того не получил Твардовский и, изнывая, через сутки позвонил Дёмичеву сам. Тот: «А-а, пусть как хочет». А вы, мол, расхлебаете. Ещё в большем угрызении стал Твардовский искать меня.)

А слова-то телеграммы никак не складываются. Что-то я наскрёб, но совсем без ругани, понёс показывать — А. Т. разгневался: слабо, не то! Я его мягко похлопал по спине, он пуще вскипел:

— Я — не нервный! Это — вы нервный!

Ну, ин так. Не пишется. Утро вечера мудреней, дайте подумать, завтра утром пошлю, обещаю.

Кое-как отпустили.

А на душе — мерзко.

Л. К. Чуковская с недоумением:

— Не понимаю. Игры, в которые играют тигры. Лучше устранимся.

И правда, что за мóрок? Как мог я им обещать? Да разобраться-то надо? Цепь загадок:

1) как могло случиться, что *такую* телеграмму вообще доставили? или огрех аппарата — или провокация КГБ.

2) кто такой Луи?

3) «ещё один экземпляр»? а где и кем доставлен первый? (И оба же — не бесплатно!) И деньги за мой «Корпус» уже пошли на укрепление Госбезопасности!

Пока неотклонимо готовится мой залп из пятидесяти «Изложений», узнать о Луи, — и сразу находится бывшая зэчка (Н. И. Стоярова, см. Пятое Дополнение), приносит дивный букет: никакой не Луи, а Виталий Левин, сел недоучившимся студентом, подторговывал валютой с иностранными туристами; в лагере был известным стукачом; после лагеря не только не лишён Москвы, но стал корреспондентом довольно «правых» английских газет, женат на дочери английского богача, свободно ездит за границу, имеет избыток валюты и сказочную дачу в генеральском посёлке Баковке, по соседству с Фурцевой. И рукопись Аллилуевой на Запад отвёз — именно он.

Всё ясно. Телеграмма — подлинная (доставлена по просчёту, по чуду), ГБ торгует моим «Корпусом», «Грани» честно предупреждают Твардовского, за это я должен по-советски облить их грязью, а ГБ пусть и дальше торгует моей душой, она — власть, она — *наша*, она — имеет право.

И полдюжины редакционных новомирских лбов полдюжины дней хохлятся в кабинетах, изливают друг другу, какой я негодай, что скрываюсь от редакции, во всём угодливо кивают Главному, а он топчет на меня ногами, и угодничает перед Дёмичевым, и изнывает от страха за «Новый мир», — и ни один не вчитается в телеграмму, ни один не позвонит на телеграф: да подлинная ли телеграмма; не поинтересуется: существует ли такой Луи? в какой стране? кто он и что?

Вот это и есть советское воспитание: верноподданное баранство, гибрид угодливости и трусости, только бы *дать отпор* — по направлению, где не опасно!.. Просто смешно, что накануне я мог обморочиться и заколебаться.

Оберёт меня Бог опозориться вместе с ними. Из штопорного вихря выносит меня на коне: «потекли «Изложения»! И тут же, им во след, попорхало ещё новое моё письмо — о Луи! [8] Если б не было Виктора Луи — хоть придумай его, так попался к стати под руку! За всё печатание «Корпуса» отвечать теперь будет ГБ, а не я! Чтoб А. Т. пристыдился, две записки день за днём оставляю ему в редакции — и, освобождённый, уезжаю в своё Рождество. Все удары нанесены, и в лучшее время, — теперь пусть гремит без меня, я же буду работать.

А прежде того — тихую тёплую Пасху встречать. Храма близко нет, обезглавленный виден с моего балкончика — в селе Рождестве, церковь Рождества Христова. Когда-нибудь, буду жив или хоть после смерти, надо её восстановить. А сейчас только ночная передача Би-Би-Си заменит всенощное стояние. А в Страстную Субботу, в мир-

ный солнечный день, жаркий из-за того, что ветви ещё голы, с наслаждением ворочаю завалы хвороста, натащенного наводнением, проникаюсь покоем. Как Ты мудро и сильно ведёшь меня, Господи!

Вдруг — быстрые крепкие мужские шаги. Это — Боря Можаяев, писатель, мой славный друг, щедрый на помощь. Пришагал на длинных, прикатил новую беду: словак Павел Личко самовольно продаёт из Чехословакии «Раковый корпус» англичанам.

Нет, никогда не знаешь, где подостлать.

Нет покоя! То же мирное солнышко светит на тот же оголённый лес, и так же мудро журчит, струится поток — но ушёл покой из души, и всё сменилось. Час назад, день назад победительна была скачка моего кося — и вот сломана нога, и мы валимся в бездну.

Что же мне делать? Отсесть и эту угрозу. Удержать защищённое равновесие на гребне или даже пике опасности, куда взметнули меня последние дни. Слишком много писем для нескольких дней, но уж такие дни, надо писать ещё одно! Может быть, нет худа без добра: защита от своих и одновременно хорошая возможность прошерстить и западных издательских шакалов, испоганивших мне «Ивана Денисовича» до неузнаваемости, до политической агитки.

Человеку свойственно бить по слабому, сильно гневаться на беззащитного. Сколько советские писатели с удовольствием (и без всякой даже надобности) лягали русскую церковь, русское священство (хотя б и в «Двенадцати стульях»), или весь «западный мир», зная, насколько это безопасно, безответно и укрепляет их шансы перед своим правительством. Этот подлый наклон чуть-чуть не овладевает и мной, своё письмо (в «Монд», «Униту» и «Литгазету») я наклоняю слишком резко против западных издательств — как будто у меня есть какие-нибудь другие! (Н. И. Столярова вовремя поправляет меня...)

И вот уже (25.4) с напечатанным письмом [9] я шагаю в редакцию «Литературной газеты». Только гадливо встречаться с Чаковским — но, к счастью, нет его. А два заместителя (нисколько, конечно, не лучше), ошарашенные моим приходом, встречают меня настороженно-предупредительно. Как ни в чём не бывало, как будто я их завсегдатай, кладу им на стол своё письмишко. Кинулись, наперебой читают, вздрагивают:

— А в «Монд» уже послали?

— Вот сейчас иду посылать.

— Подождите! Может быть... Вы понимаете, это не от нас зависит... — Брови к потолку. — Но если...

— Всё понимаю. Хорошо, два дня жду вашего звонка.

Ещё в «ЛитРоссии» лысого, изворотливого, бесстыдного и осмотрительного Поздняева пугаю такой же бумажкой — и ухожу.

Текут часы — и вдруг меня серое щемление охватывает изнутри: а не допустил ли я подлости? а не слишком ли я резок к Западу? а не выглядит это как сломенность, как подслуживание к нашим?..

Очень мерзко на душе. Вот самая страшная опасность: защем совести, измаранье своей чистой чести, — никакая угроза, никакая физическая гибель и в сравнение идти не могут.

Разуверили меня друзья, что ничего позорного в письме нет.

Но всё равно: не хочу от «Литгазеты» звонка согласия.

Да его и нет. Лишил их Бог разума на их погибель, давно лишил (а всё не гибнут...). В международной политике они справляются неплохо — потому что Запад перед ними едва ли не на коленях, потому что все *прогрессисты* наперебой перед ними заискивают, — а вот во внутренней почти всегда наши выбирают худшее для себя реше-

ние из всех возможных. При отсутствии свободных собеседников это не может быть иначе.

Отсылаю в «Монд» заказное с обратным уведомлением. (Всё — кобелю под хвост, не отошлют.) А в «Униту»? Говорят, Витторио Страда в Москве, на днях уезжает, коммунистический литературный критик, — вот его и попросим. (Через Копелева.)

Но Витторио Страда клочок письма не в карман положил, а — в чемодан, с пачками тяжёлого Самиздата. А на него, видно, стукнули, что многое везёт, — и осмелились проверить, да! — где гордость «свободных независимых» коммунистов? — протряхнули и ободрали как последнего буржуазного туриста. И что же в Италии? Написал в свою «Ринашиту»? Пожаловался в свой ЦК? Их ЦК опротестовал перед нашим? Да ничего подобного, смолчали, тут их независимость и кончается: ведь придут ко власти — сами будут делать так же.

А в Рождестве — нежная зелень, первые соловьи, перед утрами туманец от Исты. От рассвета до темени правится и печатается «Архипелаг», а тут ещё одна машинка каждый день портится, то сам её паяю, то возжу на починку. Самый страшный момент: с нами — единственный подлинник, с нами — все отпечатки «Архипелага». Нагрянь сейчас ГБ — и слитный стон, предсмертный шёпот миллионов, все невысказанные завещания погибших, — всё в их руках, этого мне уже не восстановить, голова не сработает больше. Столько десятилетий им везло, каждый раз перед ними уходила вода из Сиваша, — неужели попустит Бог и теперь? неужели совсем невозможна справедливость на русской земле?

Но — щебечут, заливаются разноголосые птички, квакают лягушки, всё крупнее листья на деревьях, всё гуще тень, — а людей нет, дачные соседи ещё не приехали, никакие шпионы не бродят, — да не знают они, да не видят нас, прохлопают!

Правда, слух дошёл, что ободрали В. Страду на таможне. Провал на границе — как будто страшная вещь для советского человека, — но я так обнаглел, что уже и не пугаюсь: я начинаю ощущать свою силу и взятую высоту. Да и письмишко невинное, да и в коммунистическую газету, — чёрт с ним. Работаем дальше!!! И вдруг —

— по дачному адресу, куда никакие письма не приходят (всем запрещено писать, приезжать), — письмо из таможни! «...в связи с возникшей необходимостью... по касающемуся вас делу...» меня приглашают на шереметьевскую таможню к какому-то Жижину. (Куда утекла русская нация? Знаем куда, всосалась в землю Архипелага. А на поверхность вот эти и всплыли — какие-то Жижины, Чечевы, Шкаевы...)

Так не безмятежное небо над нами — огромное зреймо КГБ, — и мигнуло, как Голова из «Руслана»: знай наших! поминай своих... Все они видят, всё копошеньё наше, — и мы у них в руках...

Оледенели. Но — спокойно! Взять себя в руки, подумать несколько часов. Без лагерной выучки ещё, пожалуй, и помчишься, свободный гражданин, по вызову таможни. А не пора бы — поставить их на место? А напишем так:

«...Выраженной вами необходимости встретиться я не вижу. Как правило, у художественной литературы не бывает общих дел с таможней. Если, однако, для вас эта необходимость настоятельна — ваш представитель может посетить меня...»

И — квартира Штейнов, в Москве, дата — на десять дней позже, чем они меня вызывают, и — три льготных часа, буду их ожидать.

Послано. Две рабочих недели продолжаем напропалую! — держимся, никто не огрызнулся, никто не нагрянул. И вот моя работа кончена, ещё несколько дней работы на машинке. Еду в Москву. Сидим на квартире, час проходит — смеются Штейны: и ты поверил, что придут? нашёл дураков! Под окнами сквер, я ухожу туда гулять

с приятелем, а хозяина квартиры, Юру Штейна, прошу: если придут — распахни вот это окно. Но заговорились, забыл я на окно оглядываться, и оттуда Юра разбойничьи мне свистит на квартал. (Что подумали бедные таможенники? — попали в засаду!) Я быстро вернулся:

— Простите, заставил вас ждать.

Они — полны любезности, плащи сняли, ещё стоят, — да напуганные, после такого свиста; сейчас, гляди, их самих свяжут?

Майор, лет шестидесяти, с тонким пустым портфелем, и по виду, пожалуй, правда, таможенник. Лейтенант молодой — гебист безусловно.

Садимся, полчаса разговариваем — и никому ж невдогляд, что рядом со мной на диване беспечно, открыто валяется только что мне привезенный мандадорьевский «Раковый корпус» — контрабанда явная!

Молодой: — Давайте дверь закроем, мы кому-то мешаем. (А там за дверью моих двое молодчиков подслушивают.)

Я: — Ну что вы, кому ж мы мешаем? Тут все свои.

Пожилой: — Всё-таки бывают исключительные случаи, когда у таможи находятся общие дела с литературой.

Открывает свой тонкий портфель, оттуда достаёт тонкую папочку и с ехидной готовностью подаёт мне — моё «Изложение»! Моё «Изложение», но первым же зырком ухватываю: машинка не моя, не из наших.

Я: — По содержанию моё, оформление — не моё, а как это к вам попало?

— На границе задержали.

Я (очень укоризненно): — На границе?! — (Качаю головой.) — Это ведь — для внутреннего употребления.

Он: — Вот именно!

Пауза, в обоюдном сокрушении. Я ведь ничего не знаю, ни о Страде, ни о ком, нельзя сделать ошибочного движения, фигуру тронешь — ходи.

Тогда пожилой, уже из кармана, изящно-украдчивым движением достаёт конверт и подаёт мне с превосходной любезностью:

— А это?

И — впились в меня четыре глаза! Да зрячий и я: почерк на конверте мой, и даже обратный адрес рязанский, ещё и лучше — значит не прятался. Но теперь надо быстро хватать фигуру, а то опять естественно будет (или я — со многими послал?), называй сам:

— Как — у Витторио Страды?! вы — взяли?.. Боже мой, что вы наделали! Что вы наделали! Зачем же вы это сделали?

Пожилой (благородно): — Это — по нашим правилам. Ведь конверт был распечатан. *Вот если бы он был запечатан* — мы бы ни в коем случае не стали его открывать!

— А — что же?

— Мы бы сказали пассажиру: бросьте при нас в почтовый ящик...

(А из того почтового ящика труба идёт, конечно, к ним в заднюю комнату.)

— ...Ну, а уж если распечатано — мы смотрим, и вот видим такое дело — от вас... Надо выяснить...

А я «Изложением» трясусь:

— Скажите, а вот с этим материалом вы познакомились?

Пожилой, не так уверенно:

— Да-да.

— У вас там много людей работает? Мне бы хотелось, чтобы как можно больше с ним познакомились! чтобы вы были в курсе литературной жизни.

— Н-ну, не все у нас прочли,— всё-таки обнадёживает меня майор, значит похватывали!

— Так вот,— приступаю я к нему уже плотней.— Вы теперь понимаете, что делается? Происходит какая-то тёмная игра: какие-то мрачные силы продали мою вещь за границу. Теперь я пытаюсь остановить это проституирование нашей литературы...

— Почему проституирование?

— А как же? Произведение наше — продаётся, там искажается, а каким словом это назвать? — и мне не дают возражать! Я пишу в одну газету, в другую, обещают — и не печатают! Тогда я протестую в «Монд», сдаю письмо на почту, заказным с обратным уведомлением,— перехватывают...

— Откуда вы знаете, что перехватывают?

— Ну, если обратное уведомление за месяц не вернулось — что я должен думать?.. Надеялся на «Униту» — в «Уните» почему-то тоже нет. А теперь — мне понятно! теперь всё понятно... Что ж вы наделали?.. Кому ж вы на руку играете?..

Надо же им: тотчас разобраться, и это письмо дослать Витторио Страде с извинениями, чтобы те его успели напечатать.

Он ещё держится:

— Нет, простите, у нас *правила*...

Я (с лёгкостью, сочувствием, да просто как между советскими партийными людьми):

— Товарищи! Ну, я не хочу вас называть чиновниками, вы понимаете? Не хочу думать о вас так плохо. Ведь кроме своего служебного долга вы же граждане! нашего общества! Вы же не можете так относиться: вот это — моё дело, а что рядом — я не знаю? Ваши правила — да, хорошо, а — почтовые правила? Они — обязательны? Почему же письмо, отправленное по почтовым правилам, — не идёт? Хорошо, я не буду ссылаться на конституцию... Но по смыслу — если письмо выгодно для нашей страны, для нашей литературы, — почему было задерживать? Это же последняя тупость была...

— Ну, работы почты мы не можем касаться...

— Если вы *граждане*? Вы всё должны охватывать вокруг! Шло письмо против разбойников издателей — в итальянскую коммунистическую газету. Это выгодно для компартии Италии! Зачем же вы задержали? Разве только из общего отвращения к моему имени?

И вдруг пожилой таможенник улыбается, как бы извиняясь за свои погоны, как бы на миг и без них (сегодня вечером с этим выражением будет семье рассказывать?):

— Не у всех. Не у всех.

Щадя его перед молодым, я не замечаю поправки:

— И вот потеряно три недели!

— Позвольте, а что это за вызов? — Достая, сую: — «Необходимо явиться...» — кого так вызывают? Это ж милицейский вызов! Одну старуху вызвали так — она чуть не умерла, а оказывается, реабилитация покойного мужа, приятное известие!

Майор стеснён:

— Ну, мы в письме не могли прямо написать...

Я уже — прямо в хохот:

— Перехватят? прочтут? да если *вы* не перехватите, кто же?..

Таможенник делает последнее усилие вернуться к программе, с которой его послали, но — между прочим, это же не существенный вопрос:

— А вы — Витторио Страде сами передавали?

— Нет, я сам его не повидал... — (Я его в жизни не видал.)

Ещё легче, ещё незначительней:

— А — через кого?

Но к этому легчайшему вопросу я наиболее готов! Обворожительно-язвительно, вода пальцем по их же бланку:



— Скажите, пожалуйста, это правда, здесь написано, что вы — министерство внешней торговли?

— Да, конечно, — ещё не поняли они.

Я откидываюсь на диван, так мне с ними легко и хорошо:

— А для министерства внешней торговли — не слишком ли много вопросов?

Живо схватились оба:

— Мы — не *комитетчики*! Вы не думайте, мы — не *комитетчики*!

Ишь, какой термин у них. «Гебисты» — не говорят.

Так полное понимание:

— А если так — остальное не может вас интересовать!

Разговор — к концу, взаимная ясность, и только я настаиваю:

— Я настаиваю! Я очень прошу, чтоб вы как можно скорей отправили это письмо Витторио Страде!.. Вот сейчас наши представители едут на КОМЕСКО в Рим, и если бы это письмо было напечатано — как им было бы легко отвечать на вопросы!

— Мы доложим... мы доложим... Мы сами не можем.

Я уж совсем развязно:

— Там — марки нет. Если нужно — я, пожалуйста, сейчас наклею.

И приятно обрадованные, как будто очень довольные выяснением, они ушли, не предлагая мне никакого акта и ничем не грозя.

Вот так с вами разговаривать! Веселятся мои свидетели.

Через несколько дней «Архипелаг» закончен, отснят, плёнка свёрнута в капсулу — и в этот самый день, 2 июня, приехали в Рождество Столярова и Угримов (Пятое Дополнение, очерк 9) с такой новостью:

*Вышел на Западе «Круг первый»!* — пока малый русский тираж, заявочный на копирайт, английское издание может появиться через месяц-два. И такое предлагают они мне: будет на днях возможность отправить «Архипелаг»!

Только потянулись сладко, что работу об-угол, — как уже в колокол! в колокол!!! — в тот же день и почти в тот же час! Никакой человеческой планировкой так не подгонишь! Бьёт колокол! бьёт колокол судьбы и событий — оглушительно! — и никому ещё неслышно, в июньском нежном зелёном лесу.

Отправление будет авантюрное, с большим риском, но по малым нашим возможностям другого не видно, не рисуется. Значит, отправляю... Только-только вынырнуло сердце из тревоги — и ныряет в новую. Отдышки нет.

А — выход на Западе двух моих романов сразу, *губль*?! Как на гавайском прибое у Джека Лондона, стоя в рост на гладкой доске, никак не держась, ничем не припутан, на гребне девятого вала, в раздире лёгких от ветра — угадываю! предчувствую: а это — пройдёт! А это — удастся! а это *слопают наши*!

Но — мрачная, давящая неделя. Неудачные случайности, затрудняющие отправку. Сгущается всё под 9-е июня, под православную Троицу. И так стекается, что провал или удачу я узнаю лишь несколькими днями позже. У меня уже следующая работа — последняя редакция истинного «Круга», «Круга»-96 (из 96 глав, и сюжет неискражённый), которого никто не знает (на Западе выходит «Круг»-87), но валится из рук, работать не могу. Когда тебе слабо и плохо — так хорошо прильнуть к ступням Бога. В нежном берёзовом лесу наломать веток и украсить деревянную любимую дачку. Что будет через несколько дней — уже тюрьма или счастливая работа над романом? О том знает только Бог один. Молюсь. Можно было так хорошо вздохнуть, отдохнуть, перемяться, — но долг перед умершими не разрешил этого послабления: они умерли, а ты жив, — исполняй же свой долг, чтобы мир обо всём узнал.

Если провал — можно выиграть несколько дней, недель, даже

месяцев, и ещё поработать, последнее что-нибудь сделать,— только надо скрыться из дому, где я засечен, куда придут. И вечером под Троицу я убегаю с дачи (поспешные сборы, голова плохо соображает, это не первый мой побег из дому — горький побег из родного дома, а в гражданскую войну сколько, наверно, вот так?!), сплю на укрытой квартире, без телефона.

И целый день — и ещё день — и ещё день — вся Троица в неизвестности. Работа — вываливается. Воздуха нет, простора нет. И даже к окнам подходить нельзя, увидят чужого. Я—уже самозаточён, только нет намордников и не ограничен паёк. А как не хочется на Лубянку! Тем, кто это знает... Вообще я стою крепко, мне многое спускается. Но «Архипелаг» — не спустят! Поймав его на выходе, ещё не известного никому,— удушат вместе его и меня.

Только на третий день Троицы узналось об удаче. Свобода! Лёгкость! Весь мир — обойми! я — разве в оковах? я — зажатый писатель? Да во все стороны свободны мои пути! Я свободнее всех поощряемых соцреалистов! Сейчас за три месяца сделать «Круг»-96, потом исполнить несколько небольших долгов — и сброшено всё, что годами меня огузняло, нарастая на движущемся клубке, и распахивается простор в главную вещь моей жизни — «Р-17».

И — почти как юмор, летним пухлым, но не грозным облаком прошла большая против меня статья «Литературки» (26.6.68). Я быстро проглядывал её, ища чувствительных ударов,—и не находил ни одного! Как они не находчивы, как обделены ясным соображением, как распатались их дряхлые зубы! Даже отвергают трусливо, что взят мой архив: нет, мол, не взят! Даже рассердиться на эту статью — не хватает температуры. И ещё, выпарывая сами себя, привели с 9-недельным опозданием моё апрельское письмо, запрещающее «Раковский». И сколько, небось, обсуждали и правили статью в секретариате СП, в агитпропе ЦК, а никто не доглядел моего уязвимо-места: что против печатания «Круга» — я ведь не возразил, не протестовал,— почему?..

Не тот борец, кто поборол, а тот, кто вывернулся.

В Самиздат вышло два серьёзных ответа на статью «Литгазеты». В. Ф. Турчин отчётливо сёк Чаковского, что он сам фальсификатор и клеветник, что оттяжкой моего письма в газету они сами и способствуют публикации «Корпуса» на Западе, и ещё отдельно—за подленькие фразы газеты, наводящие тень на реабилитацию вообще. Л. К. Чуковская вдоволь изыдевалась над их настрявшей идеологической терминологией, из которой и сплетена вся громкая часть газетной статьи; открывала, что дана «беззвучная команда окутать туманом наше прошлое»; обвиняла «Литгазету», что она соучастница похитителей, раз пересказывает украденную пьесу. Вот так отвечали у нас теперь официальным советским газетам, а тем оставалось утереться и молчать.

Вот-вот, к осенним месяцам, на главных языках мира должны были появиться два моих романа. После улюлюканья вкруг Пастернака, после суда над Синявским и Даниэлем — казалось, я должен был съёжиться и зажмуриться в ожидании двойного удара за мой наглый дубль. Но нет, другое наступило время,— уж так обуздывали, уж так зарешечивали,— а оно текло всё свободней и шире! И все пути и ходы моих писем и книг как будто были не моей человеческой головой придуманы и уж конечно не моим щитом осе-нены.

Когда-нибудь должны же были воды Сиваша в первый раз не отступить!..

Счастливей того лета придумать было нельзя — с такой лёгкой душой так быстро доделывал я роман. Счастливей бы не было, если б — не Чехословакия..

Считая наших не окончательными безумцами, я думал—они на

оккупацию не пойдут. В ста метрах от моей дачи сутки за сутками лились по шоссе на юг танки, грузовики, спецмашины,—я всё считал, что наши только пугают, манёвры. А они—вступили и успешно раздавили. И значит, по понятиям XX века, оказались правы.

Эти дни — 21, 22 августа, были для меня ключевые. Нет, не будем прятаться за фатум: главные направления своей жизни всё-таки выбираем мы сами. Свою судьбу я снова сам выбирал в эти дни.

Сердце хотело одного — написать коротко, видоизменить Герцена: *стыдно быть советским!* В этих трёх словах—весь вывод из Чехословакии, да вывод из наших всех пятидесяти лет! Бумага сразу сложилась. Подошвы горели — бежать, ехать. И уже машину я заводил (ручкой).

Я так думал: разные знаменитости, вроде академика Капицы, вроде Шостаковича, ищут со мною встреч, приглашают к себе, ухаживают за мной, но мне даже и не почётна, а тошна эта салонная лескотня — неглубокая, ни к чему не ведущая, пустой перевод времени. А ну-ка, на машине их быстро объеду—ещё Леонтовича, а тот с Сахаровым близок (я с Сахаровым ещё не был знаком в те дни), ещё Ростроповича (он в прошлом году в Рязани вихрем налетел на меня, знакомясь, а со второго свидания звал к себе жить), да и к Твардовскому же, наконец,— и перед каждым положу свой трёхфразовый текст, свой трёхсловный вывод: *стыдно быть советским!* И—вот выбор вашей жизни: подписываете или нет?

А ну-ка, за семью такими подписями — да двинуть в Самиздат! через два дня по Би-Би-Си! — со всеми танками не хватит лязга у наших на зубах,— вхолостую пролязгают, осекутся!

Но с надрывом накручивая ручкой свой капризный «москвич», я ощутил физически, что не подниму эту семёрку, не вытяну: не подпишут они, не того воспитания, не того образа мыслей! Пленный гений Шостаковича замечется как раненый, захлопает согнутыми руками — не удержит пера в пальцах. Дialeктичный прагматик Капица вывернет как-нибудь так, что мы этим только Чехословакии повредим, ну и нашему отечеству, конечно; в крайнем случае, и после ста исправлений, через месяц, можно написать на четырёх страницах: «при всех успехах нашего социалистического строительства... однако, имеются теневые стороны... признавая истинность стремлений братской компартии к социализму...», — то есть вообще душить можно, только братьев по социализму не следовало бы. И, наверно, как-нибудь сходно думают и захлопочут искорёжить мой текст остальные четверо. А уж этого — не подпишу я.

Зарычал мотор — а я не поехал.

Если подписывать такое — то одному. Честно и хорошо.

И — прекрасный момент потерять голову: сейчас, под танковый гул, они мне её и срежут незаметно. От самой публикации «Ивана Денисовича» — это первый настоящий момент слизнуть меня за компанию, в общем шуме.

А у меня на руках — неоконченный «Круг», не говорю уже — начатый «Р-17».

Нет, такие взлёты отчаяния — я понимаю, я разделяю. В такой момент — я способен крикнуть! Но вот что: *главный* ли это крик? Крикнуть сейчас и на том сорваться, значит: такого ужаса я не видел за всю свою жизнь. А я — видел и знаю много хуже, весь «Архипелаг» из этого, о том же я не кричу? *все пятьдесят лет* из этого—а мы молчим? Крикнуть сейчас—это отречься от отечественной истории, помочь приукрасить её. Надо горло побережь для главного крика. Уже недолго осталось. Вот начнут переводить «Архипелаг» на английский язык...

Оправдание трусости? Или разумные доводы?

Я — смолчал. С этого мига — добавочный груз на моих плечах. О Венгрии — я был никто, чтобы крикнуть. О Чехословакии — смол-

чал. Тем постыдней, что за Чехословакию была у меня и особая личная ответственность: все признают, что у них началось с писательского съезда, а он — с моего письма, прочтённого Когоутом\*.

И — гнал, кончал «Круг»-96. И опять — совпадение сроков, како-го не спланируешь в человеческой черепной коробке: в сентябре я закончил, и значит спас, «Круг»-96. И в тех же неделях, подменённый, куций «Круг»-87 стал выходить на европейских языках.

Была третья годовщина захвата моего архива госбезопасностью. Два моих романа шли по Европе — и, кажется, имели успех. Прорвало железный занавес! А я бродил себе по осеннему приистыинскому лесу — без коня и без кандалов. Не спроворилась чёртова пасть откусить мне голову вовремя. Подранок залечился и утвердился на ногах.

\* \* \*

Тут много бы ещё смешного можно было рассказать: как на истыинскую мою дачку повадился ходить изнеженный Луи со своей бригадой — выяснять отношения, а я вылезал к нему, чумазый и рваный работяга, из-под автомобиля. Как он тайно фотографировал меня телеобъективом и продавал фотографии на Запад с комментариями вполне антисоветскими, а по советско-чекистской линии доносил на меня само собой, да кажется и звукоаппаратуру рассыпал на моём участке. Как соседи дачные, по своей советской настороженности, считали, что у меня в лесу закопана радиостанция: иначе зачем я так часто в лес ухожу, да ещё с приезжающими — очевидно, резидентами разведок? Как, выполняя договор, благородно навязанный мне «Мосфильмом» года полтора назад, я тужился подать им сценарий кинокомедии «Тунеядец» (о наших «выборах») и как наверх, к Дёмичеву, он подавался тотчас и получал абсолютно-запретную визу. Как Твардовский с редакторским сладострастием выпрашивал у меня тот сценарий в тайной надежде: а вдруг можно печатать? — и возвращал с добродушной улыбкой: «Нет, сажать вас надо, и как можно быстрее!»

Я шёл по окаянно-запретным литературным путям, а вёл себя с наглой уверенностью признанного советского литератора. И — сходило. В секретариате СП РСФСР допытывались у нашего рязанского секретаря Э. Сафонова: как я ответил на критику «Литературной газеты» и «Правды» — они хотели бы тот документ посмотреть, проскочил он мимо них, — и поверить не могли, что никак не ответил! В советских головах это ведь не помещается, полвека так: если критикуют, значит надо покаяться, признать ошибки. А я вдруг — никак.

В тот декабрь исполнилось мне пятьдесят. У моих предшественников в глухие десятилетия сколько таких юбилеев прошло задуманными, так что близкие даже друзья боялись посетить, написать. Но вот — отказали чумные кордоны, прорвало запретную зону! И — к опальному, к проклятому, за неделю вперёд, понесли в Рязань телеграммы, потом и письма, и меньше «левых», больше по почте, и мало анонимных, а всё подписанные. Последние сутки телеграфные разносчики приносили разом по 50, по 70 штук — и на дню-то несколько раз! Всего телеграмм было больше пятисот, писем до двухсот, и полторы тысячи отдельных личных бесстрашных подписей, редко замаскированных (как Шулубин, Нержины, Ида Лубянская, дети Сима).

\* Этот стыд за Чехословакию так долго и сильно ещё горел во мне потом, что в последующие годы, когда я составлял «Жить не по лжи», я в запале написал: «преданный нами, обманутый нами великий народ Европы — чехословацкий». А глянуть просторней — кто кого обманул и с каким душевным величием, когда чехословацкие легионеры дезорганизовали колчакское сопротивление, самого Колчака предали на расстрел большевикам, а через Сибирь увозили украденное русское золото? (И они не были к тому принуждаемы пулей, как наши солдаты в 1968.) Это — один из нередких в истории примеров, когда люди, группы и даже целые нации в безумной слепоте куют своё же гибельное будущее. (Примеч. 1986.)

«Дай Бог вам таким держаться...»

«...трудную минуту вспоминайте обсуждение в Союзе...»

«...чтоб мы долго-долго ещё были вашими читателями и отпала бы нужда быть вашими издателями...»

«Дороги выбирает себе каждый, и верю я, вы не сойдёте с избранного вами пути... радуюсь, что наше поколение по крайней мере выстрадало таких сыновей».

«Живите ещё столько же всем сволочам назло; пусть вам так же пишется, как им икается».

«Пожалуйста, не откладывайте перо. Поверьте, не все любить умеют только мёртвых».

«...и в дальнейшем быть автором только таких произведений, под которыми не стыдно подписываться...»

«Всё, что вы сделали—надежда на пути от духовной оторопи, в какой застыла вся страна...»

«Жить в одно время с вами и больно и радостно...»

«Слава Богу, что в этот день вам не придётся услышать ни полслова неискреннего, фальшивого...»

«Читаем ваши книги на папиросной бумаге, от того они нам ещё дороже. И если за свои великие грехи Россия платит дорогой ценой, то наверно за великие её страдания и ещё, чтоб не упали совсем мы духом от стыда, посланы в Россию вы...»

«Когда мне надо думать, как вести себя на работе,— я обращаюсь к вашим поступкам... когда бывают моменты душевного упадка—обращаюсь к вашей жизни...»

«...оказываешься перед лицом своей совести и с горечью сознаёшь, что молчишь, когда молчать уже нельзя...»

«Не люблю предателей. Вы отпраздновали свой день рождения, а спустя 10 дней мы будем праздновать день рождения товарища Сталина. За этот день мы поднимем полные бокалы!!! История всё и всех поставит на своё место. Заслужив признание Запада, вы приобрели презрение своего народа. Привет Никите, другу вашему» (на машинке, без подписи, брошено в дверной почтовый ящик)\*.

«Вашим голосом заговорила сама немота. Я не знаю писателя, более долгожданного и необходимого, чем вы. Где не погибло слово, там спасено будущее. Ваши горькие книги ранят и лечат душу. Вы вернули русской литературе её громовое могущество. Лидия Чуковская».

«...Живите ещё пятьдесят, не теряя прекрасной силы вашего таланта. Всё минется, только правда останется... Всегда ваш Твардовский».

Скажу, не ломаясь, в ту неделю я ходил гордый. Настигла благодарность при жизни и, кажется, не за пустяки. В день же 11-го, между сотенными пачками телеграмм, стали складываться, выхаживаться строки ответа, хотя и некуда их послать, только в Самиздат спасительный, ну с отвлечением на «Литературку» [10].

«...Моя единственная мечта — оказаться достойным надежд читающей России».

И не ведаю, что близок день, когда эта клятва стреножит меня.

\* А по Самиздату пришли и такие поздравления:

«...Поражены вашей способностью дожив до 50 лет писать правду. Просим поделиться опытом страницах нашей газеты.

Редакция „Правды“».

«...В год вашего 50-летия по количеству и качеству выпускаемой продукции мы заняли первое место в мире. Надеемся сотрудничать вами ближайшие 50 лет.

САМИЗДАТ».

«Капо! Дарагой! Большое спасибо уточнение отдельных деталей маей замечательной биографии. Не плохо, очень не плохо, поздравляю!

Иосиф Джугашвили».

## ДУШАТ

Занесусь по своей линии, по своим планам и действиям — замечаю: линию Твардовского упустил, а уж она кровно в эту книгу вшлась, хотя сказать о ней могу всего лишь выведенное из встреч.

Весь 1968 год, начатый длинным письмом к Федину, был годом быстрого развития Твардовского, неожиданного расширения и углубления его взглядов и даже принципов, казалось бы устоявшихся, — а ведь исполнилось ему пятьдесят восемь! Не прямо, не ровно пробивалось это развитие (хотя б вокруг той телеграммы «Граней»), — а пло!

Когда летом 68-го я увидел А. Т., я поразился перемене, произошедшей в нём за 4 месяца. Он опять вызвал меня — криком в тёмную пустоту, ибо так и не знал, бедняга, где я есть (а от его дачи до моего Рождества — меньше часа автомобильной езды, уж он бы не раз ко мне накатывал!), явлюсь ли вообще. «Когда эта конспирация кончится?!» — топал он в редакции. И можно понять его раздражение и даже отчаяние: ну как со мной договариваться и совместно действовать? Вероятно, не раз зарекался он обязать меня твёрдой связью, но я явлюсь, обезоружу его готовностью, дружелюбностью, — он смягчается и не имеет настояния жёстко условиться на будущее.

Может быть, я б и в этот раз не явился, но из редакции по секрету передали мне, в чём новость: в «отделе культуры» ЦК сказали Лакшину и Кондратовичу, что «скоро Солженицыну конец — Мондадори печатает „Пир победителей“». Беляев: «Его растерзают!» — то есть разгневаннные патриоты. Мелентьев: «Ну, не растерзают, у нас закон. Но — посадят». Твардовский очень напугался и, главное: не я ли пьесу пустил? Он всё не верил до конца, что не осталось у меня «Пира», что только они могут пустить. (И ведь как им жадалось этот «Пир» увидеть на Западе! сколько раз почесуха их брала — самим передать, а не решались, плюгавцы, потому что, через плечо, с оборотом, сильно кусал их «Пир», наломал-навредил бы им больше, чем мне.)

Я рванулся и приехал на дачу А. Т. тотчас — много раньше, чем он рассчитывал меня увидеть. Очень он обрадовался такой неожиданности, широкими руками принял меня. Сели опять в том же мрачном холле, где три года назад на хворостяном костре сжигались моё спокойствие и моя нерешительность. Я притворился, конечно, что повода не знаю, и А. Т. подробно мне всё рассказывал, я же, к его полному облегчению, в десятый раз подтвердил, что нет у меня экземпляра «Пира», честно, что это — провокация агитпропа. (Тогда Трифонич: «Да как же мне самому прочесть?» Я: «Возьмите у них, чёт с ними, скажите — моего согласия». Нет, так и не взял.) Но и встречный аргумент я ему положил: его-то «мальчишки», Лакшин да Кондратович, такие изворотливые в защите журнала, могли бы не просто струхнуть и бежать плакаться А. Т., и он бы топал, меня вызывал, а сразу там, в «отделе культуры», сдвинув строго брови, ответить: «Позвольте, это — крайне важное сообщение. Чтобы действовать — редакции необходимо знать источник и достоверность его». Мол, если западная газета, так назовите число; а если вы узнали по тайным каналам — так не сами ли вы, голубчики, и продали?.. Трудно ли было найтись? Но для этого надо иметь дыхание свободное. Воспитанные же на советской службе, они, как и в случае с Луи, с «Гранями», всё, что знали и умели, по-советски: ловить сверху упрёки и травить их вниз. А. Т. и сейчас мимо ушей пропустил мой аргумент как самый незначительный.

Однако всем остальным чрезвычайно порадовал он меня. Застал я его за чтением Жореса Медведева «Об иностранных связях». Удивлялся: «Пробивные два братца!» И вообще о Самиздате, восхищённо взявшись за голову обеими руками: «Ведь это ж целая литература! И не только художественная, но и публицистическая, и научная!»

Давно ли коробило его всё, что не напечатано *законно*, что не прошло одобрения какой-нибудь редакции и не получило штампа Главлита, хоть и не уважаемого нисколько. Лишь опасную контрабанду видел он уже во скольких моих вещах, пошедших самиздатским путём, — и вдруг такой поворот! И ревниво следил, оказывается, за самиздатскими ответами на облай меня в «Литературке». С большим одобрением: «А Чуковскую вы читали? Хорошо она!..» А с Рюриковым и Озеровым (предполагаемые авторы литературкинской статьи против меня) А. Т. решил ничего общего не иметь и в Лозанну ехать не вместе с ними, как посылают, а порознь.

Да что! сидели мы, болтали — вдруг он вскочил, легко, несмотря на свою телесность, и спохватился, не таясь: «Три минуты пропустили! Пошли Би-Би-Си слушать!» Это — он?! Би-Би-Си?!.. Я закачался. Он так же резво, неудержимо, большими ножищами семенил к «спидоле», как я бросался уже много лет, точно по часам. Именно от этого порыва я почувствовал его близким как никогда! Ещё б нам несколько вёрст бок о бок, и могла б между нами потечь откровенная, не таящая дружба.

— Вы стали радио... ? А о вашем письме к Федину слышали?

Нетерпеливо, но с опаской:

— А подробный текст его не передавали?

Вот, наверно, откуда! — от своего письма стал он и слушать. Естественный путь. Но первый-то рубеж — отважиться, переступить свободным актом воли, послать само письмо! Надо помнить, что именно с весны 1968 растерянные было власти стали теснить расхрабрённую общественность, теснить очень примитивно и успешно: «собеседованиями» пять к одному с *подписантами* в парткомах и директоратах, исключениями одиночек из партии и из институтов, — и поразительно быстро свелось на нет движение протестов, привыкшие пугаться люди послушно возвращались в согнутое положение. Твардовский же, напротив, именно в это время стал упираться там, где можно бы и уступить: не только по журналу, это всегда, но из-за отдельных фраз обо мне в его статье о Маршаке задерживал целый том своего собрания сочинений.

После Би-Би-Си:

— Такая серьёзная радиостанция, никакого пристрастия.

Недавно Твардовский ехал в Рим и предупредил Дёмичева: «Если спросят о Солженицыне — я скажу, что думаю». Дёмичев, уверенно-цинично: «Сумеете вывернуться!» Но, говорит А. Т., с ним за границей обращались как с больным, не напоминая о здоровье: избегая вопросов о «Новом мире» и Солженицыне...

В этот раз научил я его приёму, как оставлять копии писем при шариковой ручке. Очень обрадовался: «А то ведь не всё машинистке дашь».

Сердечно мы расстались, как никогда.

Это было — 16 августа. А 21-го грянула оккупация Чехословакии.

И я не доехал до Твардовского со своей бумагой. Нет, её бы он не подписал и, вероятно, кричал бы на меня. Однако вот как он себя повёл. Верховоды СП, чтобы шире и надёжней перепачкать круг писателей, в эти дни прислали А. Т. подписать два письма: 1) об освобождении какого-то греческого писателя (излюбленный отвлекающий манёвр) и 2) письмо чехословацким писателям: как им не стыдно защищать контрреволюцию? Твардовский ответил: первое — неуместно, от второго отказываюсь.

Отлистайте сто страниц назад — разве это прежний Твардовский?

Я ему, в сентябре: — Если это подлое письмо появится за безликой подписью «секретариат СП», можно ли рассказывать другим, что вы туда не вошли?

Он, хохлясь: — Я не собираюсь делать из этого секрета.

(Три года назад: «нежелательная огласка!»..)

— Я глубоко рад, Александр Трифонович, что вы заняли такую позицию!

Он, с достоинством: — А какую я мог занять другую?

Да какую ж? ту самую... Ту самую, которую в этих же днях совсем некупуемо, бессмысленно подписала редакция «Нового мира»: горячо одобряем оккупацию! Гадко-казённые слова, в соседних столбиках «Литературки» — одни и те же у «Октября» и «Нового мира»!..

Глазами чехов: значит русские — все до одного палачи, если передовой журнал тоже одобряет...

Напомним: во многих московских НИИ всё-таки нашлись бунтари в те дни. В «Новом мире» не нашлось. Правда, на предварительном собрании партгруппе не соглашался подписывать эту мерзость Виноградов, но благодарные Лакшин — Хитров — Кондратович отправили его домой, — и так состоялось партийное единогласие, и его поднесли общему собранию редакции. Да впрочем, и театр «Современник» голосовал единогласно. Да кто не голосовал? кто себя не спасал? Сам ли я не промолчал, чтобы бросать камень?

И всё-таки этот день я считаю духовной смертью «Нового мира».

Да, конечно, жали: не обычный секретариат СП, к которому уже привыкли, но райком партии (дело *партийной важности!*) звонил в «Новый мир» каждые два часа и требовал резолюцию. Замечешься! А Твардовского в редакции не было: он формально в отпуске. И Лакшин с Кондратовичем поехали к нему на дачу за согласием.

Твардовский уже распрямлял свою крутую спину, уже готовился — впервые в жизни! по такому важному вопросу! — к необъявленному, молчаливому устоянию против верхов. С какой же задачей неслись к нему по шоссе его заместители? Какие доводы везли? Если бы к этому новому Твардовскому они приехали бы с горячим движением: «на миру и смерть красна, а может и выстоим гордо!» (и выстояли бы! — чувствую, вижу!) — решение состоялось бы мгновенно, и ясно какое: плюс, умноженный на плюс, даёт только плюс. Но если позиция Твардовского была плюс, это мы знаем, а умножение дало минус, то позиция Лакшина открывается нам алгебраически. Ясно, что, приехав, он сказал Твардовскому: «надо *спасать журнал!*»

Спасать журнал! Дать визу на публичную позорную резолюцию — и сосморкано наземь собственное одинокое горделивое устояние главного редактора. Разъезжались ноги — одна на земле, одна на плотике. Устоять душой — и сдать публично! Разве надолго это спасёт журнал? Разве злопамятные верхи забудут ему, что сам он сказал оккупации нет, да только ловкости не имел разгласить.

Спасать журнал! — крик, на который не мог не отозваться Твардовский! С тех лет как всё реже и реже поэмы и стихи выходили из-под его пера, он всё страстней любил свой журнал — действительно чудо вкуса среди огородных пугал всех остальных журналов, умеренный человеческий голос среди лающих, честное лицо свободолюбца среди циничных балаганных харь. Журнал постепенно становился не только главным делом, но всю жизнь Твардовского, он охранял детище своим ширококопленным толстобоком корпусом, в себя принимал все камни, пинки, плевки, он для журнала шёл на унижения, на потери постов кандидата ЦК, депутата Верховного Совета, на потерю представительства, на опадание из разных почётных списков, что больно переживал до последнего дня, — он гордо рассчитывался и за напечатание «Ивана Денисовича», и за защиту меня, и за своё развитие последних месяцев. Он разрывал дружбы, терял знакомства, которыми гордился, всё более загадочно и одиноко высился — отпавший от закоснелых верхов и не слившийся с динамичным новым племенем. И вот — не из этого разве племени? — приезжает к нему молодой, полный сил, блеска и знаний заместитель и говорит: надо уступить, сила солому ломит.



Солому!—только солому. Ну, ещё хворост. Но даже жердиника не берёт.

Хотя много раз виделись мы с Лакшиным, но всегда бегло, кратко, наспех (из-за меня), да и дел-то мы с ним ни одного никогда не решали, все мои решались Твардовским. А по закрытости характера его и моего у нас не возникало и подробных ненаправленных разговоров. И так, не имею прочных оснований судить о его убеждениях и побуждениях. Но — не обойти его повествованием. И рискну, опираясь на явные факты, дать не столько достоверный портрет его, сколько этюд о нём.

Я считаю Лакшина весьма одарённым литературным критиком—уровня наших лучших критиков XIX века, и не раз высказывал так ему. Он и сам эту традицию знал в себе и очень ею дорожил, со звучной баритональностью поставленного голоса произносил: Добро-любов. Как и многие у нас, вряд ли он ощущал эстетическую ущербленность той критики, никогда не отделённой от общественного направления, никогда не достигавшей высшего возможного интуитивного уровня, как судит крупный художник о другом крупном художнике, Ахматова о Пушкине. Ведь дар великого критика редчайший: чувствовать искусство так, как художник, но почему-то не быть художником.

У Лакшина тесная преемственность с русской критикой XIX века. И в том, что статьи его обычно не содержат собственно-художественного анализа, а состоят из анализа социального, дотолкуют сюжет, нравственно дояняют персонажей (что очень полезно и потребно одичавшему советскому читателю). И в том, что он прочно начитан в предшественниках, немало и к месту цитирует их. И в приёмах живого разговора с читателем, в приверженности неторопливой, очень вкусной манере изложения, отчего самый процесс чтения лакшинских статей доставляет удовольствие, а это важное достоинство всякого литературного произведения всегда,— хотя по темпу и по плотности мысли такое замедленное изложение уже не поспекает за нашим временем.

Ещё и отличным русским языком пишет Лакшин иногда, а это в наше время стало редкостью: многие авторы статей и даже книг вообще не ведают, что такое русский язык, особенно — русский синтаксис. Например (потеха, до чего не допишешься в этой вторичной литературе: автор даёт критический разбор собственного критика), например статья об «Иване Денисовиче». Перелагая и толкуя повесть, критик и сам старается выдержать соответствующий ей лексический фон — «ведаться с бедами», «стыден был», «со свежа», — приём художника, а не критика. И другой приём художника: Лакшин вводит в статью самого себя — то для характеристики своего поколения («едут мимо жизни, семафоры зелёные»), то даже для прямого политического самообвинения, но выраженного художнически-мягко, тонко: в дни, когда Иван Денисович ходил на зимний развод, юный Лакшин «любил смотреть на красивые, недоступные, чуть подбеленные изморозью стены Кремля» и «зубрил курс сталинского учения о языке». Такое—по расчёту не получится, оно рождено искренним движением в те немногие месяцы перемежной хрущёвской оттепели, когда можно было увлечься и вправду поверить, что «это не повторится».

Если оценить ещё и трудолюбие критика, читающего свой материал явно не по разу, то вдоль, то поперёк. Если добавить его великолепную приноровленность к подцензурному многозначительному писанию, к полемике и иронии, когда цензура на стороне противника, а у тебя скованы руки, зубы и губы,— надо признать: этому критику дано от природы многое. К тому ж, его способности были счастливо углублены долгими болезнями в юности и значит обильным чтением и размышлением.

Но и печать государственной обстановки, те «семафоры зелёные» и «недоступные зубцы Кремля» тоже все вошли в личность, талант и судьбу критика. Университет принёс ему не только систематический курс русского языка и литературы, но и обширный курс марксизма-ленинизма, и для успешности диплома требовалось потеснить любимых критиков XIX века в пользу классиков изма-изма. (Впрочем, это потеснение не такое мучительное: те и другие во многом не противоречат друг другу, а в утилитарности, общественной страстности, особенно же в настойчивом атеизме — очень сходны. Где ж они рознятся — гибкий ум может усмотреть переходную формулу. И вся Передовая Теория воспринимается тогда нисколько не мёртвой, но — родником для духовной жажды.) Другое требование университетской успешности, для поступления в аспирантуру, состояло в том, чтобы быть комсомольцем, да не рядовым, а заметным на факультете. (Это требование не упустили многие, да даже, не смейтесь, автор этих строк, хотя и не для аспирантуры, — уж так велось для успешливых советских молодых людей 30-х—50-х годов.)

Но что делать после всякого учения? Ведь литературный критик ещё уязвимее художника для любого политического разноса. Как же иметь выдающиеся способности и *несмотря* на это найти им простор? Сама природа защищает свои творения, снабжает их качествами для выживания. Поколение, кончавшее среднюю школу близ великого сталинского семидесятилетия, не расщепляло в себе служебности и искренности, это перевивалось в нём — и оно могло брать воздух там, где его совсем не было. Во всяком случае, мы видим, что Лакшин не задохнулся: он вёл семинары в университете, стал рядовым критиком, даже заведовал отделом критики «Литгазеты», а через комиссию по наследству Щеглова, утерянного «Новым миром», всё ближе становится к этому журналу, сдруживается с редколлегией, замечен и излюблен Твардовским, который решает, что вот этого мальчика он выведет в литературные звёзды.

И взял его, с ревнивым нетерпением к своим лучшим открытиям, и приобрёл перо, украшающее журнал. Правилен был и выбор Лакшина: он нашёл единственную из ста невозможностей расцвести в этой стране, в эти годы, — защищённый верным прочным крылом Твардовского. И быстро стало укрепляться их взаимопонимание, двоякое: художественное и общественное, две линии, которые Твардовскому всегда очень трудно было гармонировать, он как бы разными органами их воспринимал, а у Лакшина всегда сходилось ладно и примирительно, всегда подворачивались ленинские цитаты, которые соединяли мостиками несоединимое. В апреле 1964 у меня записано: «Вл. Яков. принимает Твардовским предпочтительно перед другими членами редакции», легко вход к нему в кабинет. Как ни был А. Т. издавна близок с Дементьевым, он чутьём художника ощущал, что дементьевские формулы уж слишком окостенели, что надо связывать судьбу журнала с более гибким отзывчивым молодым поколением. С другой стороны, сколько я помню и могу теперь сопоставить, мнение наблюдательного, внимательного, догадливого Лакшина всегда совпадало с мнением Твардовского, иногда опережая и ещё не высказанное, и хорошо аргументируя его. (Впрочем, на открытом лице Твардовского работа его мысли бывала предварена.) Не помню их не только спорящими, но хоть с каким-нибудь клином возражения. Так смена первого заместителя была подготовлена душевно, прежде чем она грянула сверху организационно, и тем была смягчена, оказалась для Твардовского переносимой. Очень кстати в том же 1966 году Лакшин вступил и в КПСС — и ведь, вероятно, без противоречия с общим мировоззрением (хотя уже многие интеллектуалы в тот год не знали, как из той партии ноги унести), — и лишь враждебность секретариата СП помешала Лакшину стать первым заместителем официально. Стали числить «первым» главного ходатая в цензуру

литературно-холостого Кондратовича (А. Т. не думал так о нём, сам его сотворя), а реально первым стал Лакшин.

Сами мы себя вперёд не ожидаем, как изменимся, занимая новые посты, принимаясь за новую работу. Не только внешне — осанка, другое лицо, тонко-шнуровые усики, другая походка, переход на «вы», кого называл раньше на «ты». Но и сам твой литературно-критический талант как-то преобразуется, перераспускается в талант административный, талант оглядчивости, учёта опасностей,—словом, для либерального журнала, талант хождения по канату, без чего такой журнал не может выходить. Главный — поэт и ребёнок, может себе разрешить быть простодушным и в гневе, и в милости, и в щедрых обещаниях,— первый заместитель не может отдаться порыву чувства, а должен осторожно подправить Главного, должен отсекал опасности. Раньше эту благородную работу выполнял твой предшественник, а ты мог позволить себе большую свободу,— теперь же обручи мономаховой шапки отзывно стягивают кожу твоей головы. И если приносят тебе рукописи двух сестёр: огненного «Пушкина и Пугачёва» покойной Марины и длинноватые, не колкие, никому не обидные воспоминания живой Анастасии, то оценив: «да, талантливо обе сестры!», ты откладываешь блистательно-опасную рукопись, а гладенькую ещё приглаживаешь,—и всё равно будет шаг передовой. Ведь «Новый мир» — это единственный светоч во тьме нашей жизни, и нельзя дать задуть его. Для такого журнала — чем не жертвуешь? на что не пойдёшь? только здесь развивается наша литература, наша мысль, и тому нисколько не мешает марксистско-ленинская идеология, умно понятая,— а Самиздат, какие-то молодые группки, петиции и демонстрации—всё гиль. В том-то и чрезвычайная сложность задачи, что несдержанным бунтарям не дано высказываться перед публикой в ста сорока тысячах экземпляров. Вот почему слишком выхлёстывающие, резкие публикации лучше самому прежде цензуры приостановить, переубедить, подрезать. Это уже теперь не только наш журнал, но в каком-то смысле и твоя, — высшего положения нет и не будет для критика, пишущего по-русски, а ты достиг его моложе пушкинского возраста, так будь же не по возрасту оглячив, и именно для общего литературного дела береги этот журнал от слишком опрометчивых рядовых редакторов, которым лишь бы *продвинуть* материал, даже с антисоветским душком, послать в цензуру «на пробу», подвергая журнал смертельной опасности.

По тому, что я раньше писал о Дементьеве — как же должна была посвободнеть редакция от замены его! Но вот говорит Дорош: «С Александром Трифоновичем только разбеседуешься по душам — войдёт в кабинет Лакшин, и сразу меняется атмосферное давление, и уже ни о чём не хочется».

Новое поколение не всегда приносит обновление форм жизни (достаточно видим это и по руководству нашей страны), напротив: расчёт на долголетний путь заставляет искать стабильности.

А сам критик? Меняется ли он? Да, с человеком меняется и критик, но, разумеется, неизменна в нём ось Единственно Верного мировоззрения. То, что в раннем Лакшине было лишь досадными тенями (вера баптиста «наивна и бессильна» по сравнению с мужицким здравым смыслом; но и Шухову «непосильно» охватить общее положение в деревне), теперь выступает чёрными полосами.

Вот он оценивает роль насилия. Естественно, мол, заметить, что именно насилие, а не самоусовершенствование ведёт к историческим вершинам. Конечно, благородным деятелям оно даётся не всегда легко. Такие мягкие сердечные люди, как Урицкий, мечтательно лепечут между двумя казнями: «Не пылит дорога, / Не дрожат листы... / Подожди немного, / Отдохнёшь и ты»... Так неоспоримо принимается критиком вся мифологическая ложь о нашей новейшей истории. И в

таких пропорциях понимается история двух веков. Если Александр II дал там какое-то освобождение крестьян и другие кушые реформы (величайшие во всей русской истории), то он «либерал поневоле», а за подавление польского восстания (это уже — свободной волей), осуждение Чернышевского и нескольких сот (!) революционеров — палач, достойный своей бомбы. Напротив, Никита Хрущёв со своим светоносным XX съездом, не освободивший крестьян, не давший ни одной последовательной освободительной реформы, подавивший (поневоле) венгерское восстание и Новочеркасск, осудивший тысячи в лагерь на мягче сталинских, возобновивший лютые гонения на религию, — начал великое прогрессивное движение современности, в которое, не щадя сил, и вливается «Новый мир».

Не замечает никогда сам человек, как его душевные движения отлагаются на его наружности. Не замечает и — как перо его меняется. Как ты долго готовишься, как пробиваешься к заветной статье о «Мастере и Маргарите». Но вот — достигнуто, открылось, можно писать, — а само перо выписывает и выписывает вензеля оговорок на всякий случай. В интересе к Михаилу Булгакову есть, конечно, «издержки сенсационности». «Коли уж говорить о его слабостях» (коли очень придаёт оттенок хлебосольной манеры глаголанья). Что ж тот Булгаков? — «субъективность его социальных критериев и эмоций заметно сужала его художественный обзор», «изображение социальной конкретности — наиболее уязвимая сторона его таланта» (! — выделено мной. Ну в самом деле, кто изобразил нам Москву раннесоветских лет так вяло и бледно, как Булгаков?!..). Да и с художественной стороны «пусть не всё (в романе) отделано ровно и до конца». Да и с философской: «христианская легенда», «как если бы» реальный эпизод истории. Да ведь известно, что и у Лермонтова «Божий суд» несколько «не выражает религиозного чувства». Ну может какой «суеверный читатель» и осенит себя «крестным знамением» (это ж милая такая ужимка, создающая с читателем благорасположенное доверие). А наша линия — «в согласии со старой марксистской традицией...»; «коммунизм не только не гнушается моралью, но она есть необходимое условие его конечной победы»...

Для этого романа — в пируэтках фантазии, во всплывках смеха, тридцать лет трагически таимого, едва не растоптанного, — рост ли в рост написана статья? Опять подражательная старомодная замедленность, кружная путь пересказа, манерная эпиграфичность (накопилось эпиграфов про запас — куда их деть-то?), — а мыслей, скачущих как воландовская конница, — нет! а разгадки загадочного романа — нет! Это распутное увлечение нечистой силой — уже не в первой книге (в «Дьяволяде» — и до безвкусицы), и это сходство с Гоголем уже во стольких чертах и пристрастиях таланта, — откуда? почему? И что за удивительная трактовка евангельской истории с таким унижением Христа, как будто глазами Сатаны увиденная, — это к чему, как охватить?..

Да что там, да куда там! — возражает Лакшин. — И за эту-то статью, с реверансами, чуть голову не отгрызли. Ну правда, правда... Но вот опаска: сносно, если только пишешь так, при нагнутой шее, — а что если и думаешь не выше, не шире? В ноябре 1968 всё это о статье я высказал Лакшину, и он ответил:

— Я не хочу сослаться на то, что мне что-то не дали из-за цензуры говорить. Я умею всё сказать и при цензуре.

Так это — в с ё ?...

И что ж теперь, если эта статья подписана к печати 19 августа, а в ночь на 21-е начинается чехословацкий ужас, а 23-го, когда ещё сигнального экземпляра нет, а весь тираж и ничего не стоит пустить под нож, — звонят из райкома партии и требуют незначущей формальности, ни к чему не обязывающей резолюции в поддержку окку-

пации, которая всё равно и без этого произошла и победила,—почему бы этой резолюции не дать? с каким склонением поедешь на дачу к Твардовскому?

Может быть, не всё так именно Лакшин думал — но так делал.

А Твардовский, недавно именно так думавший и веривший,— вот стал переколыхиваться, переливаться, не помещаться.

И с тех месяцев 1968, когда я кончил «Архипелаг», и Твардовский так зримо углублялся, искал,— потянуло меня дать ему прочесть. Это нужно было ему — как опора железная, это заменило бы ему долгие околичные рысканья по нашей новейшей истории. Но препятствия были:

— меньше: доставить «Архипелаг» из глубокого укрытия и те 5 дней, какие А. Т. будет его читать, жить с ним вместе, не упускать книгу из виду;

— большее: при первой же нетрезвости он не удержится, станет делиться впечатлениями — и потечёт, потечёт мой хранимый, мой самый тайный. (Почему-то подозревая такую же человеческую слабость — неспособность держать тайны, я и Ахматовой не мог дать читать своих скрытых вещей, даже «Круга»,— такому поэту! современнице! уж ей бы не дать?!— не смел. Зря. Так и умерла не прочтя.)

Всё же на ноябрь договорились мы, что привезу я Трифону «Архипелаг». Однако к моему приезду он не оказался на ногах, появился, тут же опять на чьём-то юбилее распил коньячка, снова ослаб. Потом не приехал в редакцию из-за того, что оборудовал у себя на даче какую-то комнату—книжный шкаф.

И спрятал я «Архипелаг».

А через несколько дней, 29 ноября, А. Т. вышел ко мне с редакционного партсобрании в тёплом веселе, очень доброжелательный, сразу целоваться.

— Ничего, что с собрания?

— Да я ж там не председатель. Видели, что пришёл, сидел,—хватит!

Конечно, о бороде прошёлся. Тут же, самокритично:

— Когда будете знатным и богатым — не заводите шкафов-комнат... А впрочем, что делать с подаренными книгами? Шлют, шлют, напльвом, каждый с надеждой получить рецензию в «Новом мире». Я им отвечаю: «Вы знаете, как поступил в редакцию «Иван Денисович»? Через окошко регистратуры. Причём автор по забывчивости не написал своего адреса, и мне пришлось его искать через угрозыск».

Новая легенда, и не без тенденции.

В этих днях состоялись выборы в Академию Наук. По секции русского языка был в кандидатах Твардовский, но давлением сверху не дали его выбрать. Очень огорчён. Однако:

— Для честолюбия достаточно, что в газете была кандидатура.

От меня узнал, что физматики на общем голосовании прокатили и Леонова. Доволен.

Но вот и новая тревога: позавчера в Би-Би-Си будто бы «провокационная передача», «меняет всю картину». Что такое? Передавали цитаты из его письма к Федину — «и совершенно точно! как могло просочиться?».

Это — за десять-то месяцев!..

— Вот — как? Вы даже мне дали читать под арестом, вот тут в кабинете, без выноса!

А. Т. (добродушно довольный своею выдумкой): — Не могли ж вы переписать все семнадцать страниц!

(Верно, я только четыре тогда переписал, экстракт.)

Всё ж надеется: — Может быть, всех семнадцати у них нет?

Я: — В Самиздате — всё письмо! К нам в Рязань привезли даже не из литературных кругов, а — врачи.

— И всё — точно?

— Совершенно точно!

А. Т. изумляется неисповедимости путей, однако больше с удовольствием, чем со страхом. Теперь же он Би-Би-Си одобряет, и что оттуда «Раковый корпус» читают — «хорошо, пусть читают». Вздыхнул, но не завистливо ничуть:

— У вас в Европе уже большая слава, чем у меня.

Я перевёл: в армии сейчас, если у кого увидят голубую книжку «Нового мира», занесенную с «гражданки», — таскают к политруку, как за подпольную литературу. Вот это — слава.

Он вдруг:

— А всё-таки шкаф красивый получился, хотя из самого дешёвого, из ясеня! Вот приедете ко мне следующий раз, торопиться не будете...

Когда это бывало, чтоб я не торопился... когда это будет?..

Денег опять мне предлагал:

— Тысячу? Две тысячи? Три тысячи?.. Раньше говорили: мой кошелёк — ваш кошелёк, теперь: моя сберкнижка — ваша сберкнижка!

Я снова отклонил. Мне бы вот — за «Раковый» 60% получить, а не 25. Мне нужны официальные поступления по годам, на какие средства живу.

Смутился. Это — ему трудней. Это надо опять продвигать через начальство, через бухгалтерию «Известий», ещё прежде — через своего же молодого выдержанного осмотрительного Хитрова.

— Вот Хитров приедет, может сообразит.

(Ещё и эту последнюю выплату А. Т. устроит мне — «семь бед — один ответ», вопреки возражениям Лакшина — Кондратовича, что это может повредить журналу.)

А узнав, что я сдал на «Мосфильм» какой-то сценарий — стал просить с хмельной настойчивостью, как запретную рюмку, — дать ему тот сценарий, и сейчас же!

Я — пошёл за ним, к портфелю, А. Т. сразу ревниво:

— Вы с первым этажом ближе, чем со вторым?

(На втором — главные члены редколлегии, на первом — все рядовые, и отдел прозы, и мой портфель всегда остаётся там, к постоянной ревности А. Т.)

Убрал я прочь крамольные, о выборах (номерованные лишь буквами), листы, остальное принёс А. Т. Через час, после партсобрании, уже вся коллегия собралась над моим «Тунеядцем», и А. Т. требовал:

— Право первой ночи — нам! Предупредите «Мосфильм» — право первого печатания за «Новым миром»!

Это — пока не прочли подробно.

Но вот интересно, отмечено в моей тетради: хотя в тех самых днях прошла по мне «Правда» — мы с Трифоновым в разговоре даже о том не упомянули! даже для него правдинское ругательство уже было ничто!.. Времена-а!..

После того следующий раз о чтении «Архипелага» договорились мы с А. Т. на четыре майских дня 1969 (был день Победы в пятницу, смыкались выходные), что беру его в свой «охотничий домик» (так он ласково, не поvidaв, называл мою неведомую истинскую дачу). Но перед самым тем А. Т. снова «впал в слабость» — не глубоко, ещё вызволимо. Узнал я, что Лакшин едет к нему в Пахру, кинулся к Лакшину на квартиру, передал для Трифоновича подбодряющую записку, а самого Лакшина упрашивал: подействуйте на него, уговорите ехать ко мне, это важно для его же стойкости, для отстаивания журнала. (Не удосужился тогда приглядеться и размыслить: ведь для осторожных целей Лакшина моё влияние на А. Т. было разрушительно. По старой привычке, со времён «Ивана Денисовича», я привык видеть в Лакшине своего естественного союзника. А это давно не было так.) Лакшин кивал мне — вежливо, дружелюбно.

но, но, пожалуй, отсутствующе. Увидел я: нет, не станет он уговаривать. Тем более, что у меня застрянет Твардовский и на понедельник, а в тот понедельник состоится *важный* звонок Воронкова в редакцию, и по всем соображениям расчётливой дипломатии надо Главному быть к звонку на своём кабинетном месте. (Шла молчаливая осада Твардовского, применялась новая тактика: давили на него с глазу на глаз, вынуждая добровольно подать в отставку.)

Да только при всех раскинутых лабиринтах дипломатия не знает неба. Для этого-то скрытого противостояния и нужна была Твардовскому огнеупорная твёрдость, какую лишь на эковском Архипелаге и воспитывают.

Нет, не приехал А. Т. Зря протаскал я книгу. И спрятал,— уже навсегда для него.

Вот так мы жили: рядом колотились — а прочесть он не мог\*.

Из оплетенья своих чиновных-депутатских-лауреатских десятилетий высвобождался Твардовский петлями своими, долгими, кружными. И прежде всего, естественно, силится он проделать этот путь на испытанной пахотной лошадке своей поэзии. В душевные месяцы после чехословацкого подавления он писал — сперва отдельные стихотворения: «На сеновале», потом они стали расширяться в поэму — «По праву памяти». В те самые весенние месяцы 69-го года он её дописывал, когда я не дозволялся его читать «Архипелаг». Бедняге, ему искренно казалось, что он важное новое слово говорит, прорывает пелену всеми не додуманного, приносит освобождение мысли не одному себе, но миллионам жаждающих читателей (уже давно шагнувших на километры вперёд!). С большой любовью и надеждой он правил эту поэму уже в вёрстке, отвергнутой цензурой, и летом 1969 снова собирался подавать её куда-то наверх. (Судьба главного редактора! В своём журнале свою любимую поэму напечатать не имел права!) В июле подарил вёрстку мне и очень просил написать, как она мне. Я прочёл — и руки опустились, замкнулись уста: что я ему напишу? что скажу? Ну да, снова Сталин (как будто дело в нём, ягнёнке), и «сын за отца не отвечает», а потом «и званье сын врага народа»,

«И всё, казалось, не хватало  
Стране клеймёных сыновей»;

и — впервые за 30 лет! — о своём родном отце и о сыновней верности ему — ну! ну! ещё! ещё! — нет, не хватило напора, тут же и отвалился: что, ссылаемый в теплушке с кулаками, отец автора

«Держался гордо, отчуждённо,  
От тех, чью долю разделял...  
...Среди врагов советской власти  
Один, что славил эту власть».

И получилась личная семейная реабилитация, а 15 миллионов — сгиньте в тундру и тайгу? Со Сталиным Твардовский теперь уже не примирялся, но:

«Всегда, казалось, рядом был...  
Тот, кто овец не любил...  
Чей образ вечным и живым...  
Кого учителем своим  
Именовал Отец смиренно...»

\* Да по моей постоянной спешке борьбы и из-за наших постоянных разладов в тактике мы никогда с ним не углубились серьёзно в литературную протяжённость — назад и вперёд. Твардовский очень был верен классической традиции и очень недоброжелательно относился к фокусным новшествам: он как бы предугадывал, как новая литературная молодёжь скоро бросится в клочья рвать саму русскую литературу. Почему в то время не укрепился наш союз на этом? Потому что я — так далеко не видел, я весь был напряжён в борьбе с бастионами советской лжи, да и его изводила тогда главным образом дутые советские «классики», новая порча ещё тогда не проступила. Это всё — издержки того хребта, по которому ещё предстояло пройти русскому сознанию: не свалиться ни в пропасть остро-каменного национал-большевизма, ни в трясину расплывчатой интернациональности (безнациональной) популярии. (Примеч. 1936.)

Как же и чем я мог на эту поэму отозваться? Для 1969 года, Александр Трифонович, — мало! слабо! робко!

Вообще, у Твардовского и возглавленной им редколлегии величнейшее было представление о том, насколько они — пульс передовой мысли, насколько они ведут и возглавляют общественную жизнь даже всей страны. (А движения истинного протеста и борьбы давно и бурно текли мимо.) В редакции все они друг друга так восполняли и убеждали, по несколько человек по несколько часов просиживая в комнате, что казалось им: они, члены редакционной коллегии, и есть движущий духовный центр, самозамкнутый во владении истиной, авторы же их — воспитуемые, от авторов не получишь светового толчка.

Зимой 1968-69, снова в солотчинской тёмной избе, я несколько месяцев мялся, робел приступить к «Р-17», очень уж высок казался прыжок, да и холодно было, не раскутаешься, не разложишься, — так часами по лесу гулял и на проходке читал «Новый мир», прочёл досконально целую сплотку, более двадцати номеров подряд, пропущенных из-за моей густой работы, — и сложилось у меня цельное впечатление о журнале. Конечно: более приятного и разумного чтения в СССР не было. Чтение освежающее, броунизирующее мысли. Интеллектуальная лёгкая гимнастика. Всегда — благородно, честно, старательно (если простить, пролистывать целые сотни пустых или гадких страниц туполобых казённо-революционных, казённо-интернациональных и казённо-патриотических публицистов).

Но это — сравнивая со всем печатным. Если же рядом с журнальным есть выбор чего-либо из Самиздата — какая рука не предпочтёт самиздатского? С развитием в 60-х годах самовольного машинописного печатания живая жизнь всё более уходила туда, — редакция же «Нового мира» трагически не понимала этого, и заместители, собираясь в кабинете Твардовского, серьёзно планировали стратегию отечественной мысли. Пожалуй, самой неудачной из таких попыток была статья Дементьева (НМ—1969, № 4, а вышла в июне) — давно уже не члена редакции, а всё ещё — родственной идеологической души, а всё ещё — радетеля, запечного друга.

Историю той несчастной статьи либо обойти совсем, либо разобрать подробней. Она как будто отводит от стержня этой книги, но почему-то не обмивается.

В 1968 в «Молодой гвардии» опубликованы были две статьи заурядного темноватого публициста Чалмаева (а вероятно за ним стоял кто-то поумней), давшие повод к длительной газетно-журнальной полемике. Сумбурно построенные, беспорядочно нахватавшиеся по материалу (изо всех рядов, куда руки поспевали), малограмотные по уровню, сильно декаламационные по манере, с хаосом притянутых цитат, со смешотворными претензиями дать «существенные контуры духовного процесса», «ориентацию в мировой культуре» и «цельную перспективу движения художественной мысли», — эти статьи всё же не зря обратили на себя много гнева, и с разных сторон: изо рта, загороженного догматическими вставными зубами, вырывалась не речь — мычанье немоего, отвыкшего от речи, но мычанье тоски по смутно вспомненной национальной идее. Конечно, идея эта была казённо вывернута и отвратительно раздута — непомерными восхвалениями русского характера (только в нашем характере — правдоискательство, совестливость, справедливость!.. только у нас «заветный родник» и «светоносный поток идей»), оболганьем Запада («ничтожен, задыхается от избытка ненависти», — то-то у нас много любви!..), поношением его даже и за «равный парламентаризм», даже и Достоевского приспособив (где Достоевский поносил социализм — перекинул ту брань на «буржуазный Запад»). Конечно, идея эта была разряжена в компатриотический лоскутный наряд, то и дело автор повторял коммунистическую присягу, лбом стучал перед идеологией, кровавую революцию прославлял как «красивое праздничное деяние» — и тем самым вступал в уничижающее противоречие, ибо коммунистичность истребляет всякую национальную идею (как это и произошло на нашей земле), невозможно быть коммунистом и русским, коммунистом и французом, — надо выбирать.

Но вот что удивительно: из того мычанья вырывались похвалы «святым и праведникам, рождённым ожиданием чуда, ласкового добра», и даже кое-кто назван, не без погрешностей: Сергей Радогежский, патриарх Гермоген, Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский; и помянута «Русь уходящая» Корinna (разумеется, «лишённая религиозного чувства»); и «народная тоска о нравственной силе»; и с симпатией цитирован Достоевский в довольно божественных своих местах, и даже один раз «profundis» сокрыто; а один раз и прямо о Христе — что он «ризь, над должной



отряхнул»; и даже прорвалось (лучшее место!) глубокое предупреждение — не согрешить, отвечая насилием на насилие; и против жестокости, и против взаимной отчужденности сердец, — вот уж не по-ленински! и никак не с ленинской позиции возражали Горькому (!), защищая гуховное слово от базарного; и даже намёкнуто на масштаб русской тысячелетней истории, где тонут «формации», насколько их помещается (социализм не назван трусливо); и заикнуто даже о происшедшем уничтожении русской нации — только, оказывается, не от ЧК и ЧОНа, а от «буржуазного развития», — от русских кушцов, что ли; и на обиходные нашей современной деревни указано на гуховное — когда в кинотеатр стекаются с окружающих деревень, как прежде стекались на всеобщее бдение; где-то там на краю и по «алюминиевым дворцам» хлопнуто мимоходом, по Базарову... Да можно выделить, перечислить и оценить отдельные мысли этой и смежных статей «Молодой гвардии», весьма неожиданные для советской печати:

1) Нравственное предпочтении «пустынножителем», «духовным ратоборцам», старообрядцам — перед революционными демократами, как прохороводили они у нас от Чернышевского до Керенского. (Честно говоря — присоединюсь.)

2) Что в дискуссиях журнала «Современник» мельчали и покрывались публицистическим налётом культурные ценности 30-х годов XIX в. (От вечного? — мельчали конечно.)

3) Что передвижники не выражали народной тоски по идеалу красоты, по нравственной силе, а Нестеров и Врубель возродили её. (Не может быть оспорено.)

4) Что в 10-е годы XX в. русская культура сделала новые шаги в художественном развитии человечества — и упреки Горькому (!) за оплёвывание этого десятилетия. (Не вызывает сомнений.)

5) Народ хочет быть не только сытым, но и вечным. (А если уже не так, то ничего мы не стоим.)

6) Земля — вечное и обязательное, в отрыве от неё — не жизнь. (Да, я ощущаю — так, я в этом убеждён. А Достоевский воскликнул: «Если хотите переродить человечество к лучшему... то наделите его землёй! В земле есть что-то сакральное... Родиться и всходить нация должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут».)

7) Деревня — оплот отечественных традиций. (Опоздано. Сейчас, увы, уже — не оплот, ибо деревню убили. Но было — так. Разве — царский Санкт-Петербург? Или Москва пятилеток?)

8) Ещё и человечество ярко проявляло в себе русский национальный дух. (Да, не меньше крестьянства. А сгусток национальной энергии — наибольший.)

9) Народная речь — питание поэзии. (На том стою и я.)

10) У нас выросло просвещённое мещанство. (Да! — и это ужасный класс, — необъятный, некачественный образованный слой, образованщина, присвоившая себе звание интеллигенции — подлинной творческой элиты, очень малочисленной, насквозь индивидуальной. И в той же образованщине — весь парашпарат.)

11) Молодого человека нашей страны облагают: выхолащенный язык, опустошающий мысль и чувство; телевизионная суета; беготня кинофильмов.

Одним словом, в 20-е — 30-е годы авторов таких статей сейчас же бы сунули в ГПУ да вскоре и расстреляли. Года до 1933 за дуновение русского (сиречь тогда «белогвардейского», а ругательно на мужиков — «русопяцкого») чувства казнили, травляли, ссылали (вспомним хотя бы доносительские статьи Осипа Бескина против Клюева и Калычкова). Потом исподволь чувство это разрешали, но — красноперемазанным, в пеленах кумача и с непремывным тавром жгучего атеизма. Однако уцелевших подросших крестьянских (и купеческих? а то и священских?) детей, испоганенных, проглавленных и продавленных за красные книжечки, — иногда, как тоска об утерянном рае, посещало всё-таки не уничтоженное национальное чувство. Кого-то из них оно и подвинуло эти статьи составить, провести через редакцию и цензуру, напечатать.

И повяты, что в тех же месяцах официальная советская пресса, начиная с «Коммуниста», лупанула «М. гвардию» за эти статьи. (Порицание было единодушным), как пишет Дементьев, и «казалось, что дальнейший разговор не имеет смысла». Но компартиоты из «М. гвардии» ещё и после разгрома чалмаевских статей пытались вытягивать противоестественное соединение «русскости» и «коммунистичности», эту пометь дворняжки со свиной, столько же стоящую, сколько «диалог» между коммунистами и христианами до того дня, пока коммунисты не придут к власти.

Но обо всём том, может быть, не узналось бы и не упомялось, и мой б очерки были на несколько густых страниц полегче, если б редакции «Н. мира» не взбрела несчастная идея — влиться в общее «ату», да ещё поруча статью писать засохшему Дементьеву.

Если вспомнить десятилетия советской литературы, поток ортодоксально-помойной критики разных напостальцев, литфронтовцев, рапповцев, ЛитЭнциклопедии 1929—33 года, а потом официальной ЦП, — право же, статья Чалмаева никак не покажется худшим образцом. Чем же так они рассердились и раззарили «Новый мир»?

Эмоциональный толчок был — расплатиться за свою вечную загнанность: изо всех собак, постоянно кусающих «Новый мир», одна провинилась, отбилась — и свои же кусают её. Смекнув ситуацию: вот удобно ударить и нам! Чем ударить? — марксизмом, конечно, чистейшим Передовым Учением. Дементьеву это было очень срочно. Но по крайней мере один человек в редакции — Твардовский, мог бы помнить и понимать пословицу: волка на собак в помощь не зови. Даже на злых враждебных

собак всё-таки не зови в помощь волка марксизма, бей их честной палкой — а волка не зови. Потому что волк твою собственную печень слопаёт.

Но в том-то и дело, что марксизм не был для «Н. мира» принудительным цензурным балластом, а так и понимался, как учение Единственно-Верное, лишь бы было «исходно-чистым». Так и атеизм, очень необходимый для этого выступления, был своеобразным, искренним убеждением всей редколлегии «Нового мира», включая, увы, Твардовского. И потому неслучайны были и не показались им ошибочными аргументация и тон этого позорного выступления журнала — так незадолго до его конца. (Говорят, Дорош был против этой статьи.)

В исходном замысле, ещё не перенесенном на бумагу, ещё обсуждаемом в кабинете, очевидно были у новомирцев и вполне правильные соображения: «эта банда» кликушески поносит Запад не только как капиталистический Запад (такого марксистам не жалко, и Дементьеву тоже), а как псевдоним всякого свободного веяния в нашей стране (вопреки марксизму, эти передовые веяния почему-то поддерживаются именно обречённым Западом), как псевдоним интеллигенции и самого «Н. мира». В статьях «М. гвардии» что-то слишком подозрительно выпячиваются «народные основы», церкви, деревня, земля. А в нашей стране так это смутно напряжено, что произнеси похвально слово «народ» — и уже это воспринимается как «бей интеллигенцию!» (увы, образованщину на 80%, а из кого *народ* состоит — и вовсе неведомо...), произнеси похвально «деревня» — значит угроза городу, «земля» — значит упрёк «асфальту». Итак, против этих тайных, невысказанных угроз защищая себя под псевдонимом интернационализма и пользуясь всеми ловкостями диалектического марксизма, — в бой, Александр Григорьевич!

И вот, с профессорской учёностью, легко находя неграмотное и смешное в статьях молодогвардейских недоучек (да ведь двадцать пять этажей слов срубил в этом народе, удивляться ли мычанию дилипутскому?), тараном попёр новомирский критик в пролом проверенный, разминированный, безопасный, куда с 20-х годов бито всегда наверх, и сегодня тоже вполне угодно государственной власти.

Критик помнит о задаче, с которой его напустили, — ударить и сокрушить, не очень разбирая, нет ли где живого, следуя соображениям не истины, а тактики. Начиная с давней истории: без тряски не может он слышать о каких-то «пустынножителях, патриархах...»; или допустить похвалу 10-м годам, раз они сурово осуждены т. Лениным и т. Горьким; уже по разговору, по привычке, хотя к спору не относится, — дважды охватя «Вехи»: «энциклопедия ренегатства», «позорный сборник»; заодно лягнуть Леонтьева, Аксакова, даже Ключевского, «почвенничество», «славянофильство», — а что противопоставим? нашу науку. (Ах, не смешили б вы кур «вашей наукой!» — дважды два сколько назначит Центральный Комитет...) Впрочем, учит партия (только с 1934 года) от наследия не отказываться — и в наследие широко захватывает Дементьев «и Чернышевского, и Достоевского» (один звал к топору, другой к раскапанию, надо бы выбирать), да хоть «и Троицу Рублёва» (после 1934 тоже можно).

Ото всего церковного шибче всего трясёт критика-коммуниста: и от порочного «церковного красноречия» (высшей поэзии!) и от каких-то «добрых храмов», «грустных церквей» у поэтов «Молодой гвардии». (Уж там какие ни стихи, а боль несомненная, а сожаление искреннее: уходит под воду церковь —

Я удержу, спасу, но если  
Всё ближе пенная волна,  
Прижмусь к стене и канем вместе...)

А Дементьев холодно и фальшиво: «Событие совсем не из весёлых», но не надо «стояния экзальтации», «церковная тема требует более продуманного и трезвого подхода». (Да уж продуманней, чем церкви — что у нас уничтожала? при Хрущёве и Бульдозерами. Какова б «М. гвардия» ни была, да хоть косвенно защитила религию, а либеральный искренно-атеистический «Н. мир» с удовольствием поддерживает послесталинский натиск на Церковь.)

И что такое патриотизм, мы от Дементьева доподлинно узнаём: он — не в любви к старине и монастырям, он «неотраделим», как вы понимаете, «от пролетарского интернационализма». И что за уродливая привязанность к «малой родине» (краю, месту, где ты взрос), когда и Добролюбов и КПСС разъяснили, что надо быть привязанным к *большой родине* (так, чтобы границы любви точно совпадали с границами государственной власти, этим упрощается и армейская служба). И почему бы это образный русский язык хранился именно в деревне (если Дементьев пропал всю жизнь социалистическим жаргоном — и ничего?) Фу-фу, мужиковствующие, ещё смеют нам предсказывать, что

«...с протянутой рукою

К своим истокам собственным придём» —

нет, не придём! — знает Дементьев. Если уж хотите деревню воспевать, так воспевайте новую, «кузавшую большие перемены», покажите «духовный смысл и поэзию колхозного земледельческого труда и социалистического преобразования деревни» (поди, потрудись там, красный профессор, когда в морлоков гнут, поди!).

Раз по тактике надо Европу защищать — так чем плохо «М. гвардии» магнитофонное завывание в городском дворе? или что в воронежской слободе «сатанеет Джаз», а Кольцова не читают? Чем поп-музыка хуже русских песен? Советское благополучие «ведёт к обогащению культуры» (на доминошниках, на картёжниках, на пьницах — на каждом шагу мы это видим!). Нас ли учить выворачивать? Уверяют в «М. гвардии», что Есенина — травили? убили? Есенина — любил! — бесстыдно пом-

нит Дементьев (не сам, конечно, он, комсомольским активистом, не парткомы, не газеты, не критики, не Бухарин — но... любили).

А главное: «свершилась великая революция!», «возник строй социализма», «моральный потенциал русского народа воплотился в большевиках», «уверенно смотреть вперёд», «ветер века дует в наши паруса»...

И—до уныния так, устаёт рука выписывать. И обязательно цитаты из Горького, и обязательно из Маяковского, и всё читанное по тысяче раз... Угроза? Есть, конечно, но вот какая: «проникновение идеалистических» (тут же и с другого локтя, чтоб запутать:) «и вульгарно-материалистических», «ревизионистских» (и для баланса:) «догматических... извращений марксизма-ленинизма». Вот что нам угрожает!— не национальный дух в опасности, не природа наша, не душа, не нравственность, а марксизм-ленинизм в опасности, вот как считает наш передовой журнал!

И это газетное пошло, это холодное бессердечное убожество неужели предлагает нам не «Правда», а наш любимый «Новый мир», единственный светоч,— и притом как свою программу?

Так в нашей стране, в наше время нельзя ни об одной проблеме (а—тысяча их гнётся в исковеркании) сказать незамутнённо, ясно, чисто. В обоих спорящих журналах мысли не только не прояснены, но—залапаны коммунистической терминологией и слюной,— а тут подхватились самые поворотливые трупоеды — «Огонёк», и дали по «Новому миру» двухмиллионный залп — «письмо одиннадцати» писателей, которых и не знает никто. Да уже не в защиту «страны отцов», или там «духовного слова», а—последние следы спора утопя в политическом визге, в самых пошлых доносных обвинениях: провокационная тактика наведения мостов! чехословацкая диверсия! космополитическая интеграция! капитулянтство!

Да ведь как аукнется. Ведь и Дементьев пишет: в опасности — марксизм-ленинизм, не что-нибудь другое. Волка на собак в помощь не зови.

Тут, дёрнувщи верёвочкой, спроворились поместить, почему-то в «Соц. индустрию», письмо Твардовскому какого-то токаря: «хотелось бы всем нам шагать в ногу» (сталеваварам и литераторам), «ответ хотим партийный, иного ответа рабочий класс — (а от его имени токарь Захаров) — не примет».

Пошла дискуссия по-советски! Типичная своей бездарностью оскорбительная подделка не критикуемой, неотвечественной прессы. Унизительная участь, словенные терпеть быть главным редактором официального журнала и всерьёз выслушивать, как безграмотный дурак оценивает твою литературу,— и сколько лет жизни Твардовского прошло в том!.. В этот раз он нашёлся с остроумием: попросил «Соц. индустрию» прислать хотя бы фотокопию этой подделки и дать анкетные сведения о таинственном Захарове. Впрочем, Захаров оказался вполне реальный — тот токарь, который депутат Верховного Совета и член ЦК, и уж теперь-то предупреждал пророчески: «кто в рабочий класс не верит, тому и рабочий класс в доверии откажет». И фотокопию тоже приводила газетка, вот чудо,— но какую! Уверенная (и обоснованная) наглость советских газетчиков: что наш читатель не станет сверять газету за 10 дней,— и даже страничку малую, какую привели, не потрудились подделать под газетную статью!

(на фотокопии)

Уважаемые т. т. из газеты  
«Соц. индустрия!»

давно собирался поднять  
в печати

(в газете на 10 дней раньше)

Уважаемый Александр Трифонович!

давно собирался написать Вам

Но откладывал:

на заводе работы много, да и на общественные дела постоянно отвлекаешься — (этакая рабочая подлинность интонации!)

Но один разговор

состоялся недавно

состоялся недавно в цехе

спросил меня мой товарищ (товарищ — по ЦК? по Верховному Совету?)

спросил меня мой товарищ, рабочий наш

Только первой страничкой показали нам свою подделку, дальше сам догадывайся. И никому нигде не опровергнуть! — в этом наша непродажная пресса, независимая от денежного мешка.

(Давно мечтаю: какой-нибудь фотограф приготовил бы такой альбом: Диктатура Пролетариата. Никаких пояснений, никакого текста, только лица — вести — триста чванных, разъеденных, сонных и свирепых морд — как о ни в автомобили садятся, как на трибуны восходят, как за письменными столами возвышаются,— никаких пясенений, только: Диктатура Пролетариата!)

Каково жить Твардовскому? каково — всей редакции «Нового мира»? Если где в этой книге я проглаживаю их слишком жёстко — исправьте меня: на муки их, на скванность их, на беззащитность.

Я-то об этих атаках ничего не знал. Я — у себя на истынской даче прочёл с большим опозданием статью Дементьева — и ахнул,

и завыл, и рассердился на «Новый мир». Составил даже анализ на бумажке. 2-го сентября пришёл в редакцию. Они все только и жили своей дискуссией (да уж веселей публичная схватка, чем как весной душили Твардовского в закрытом кабинете) и своим маленьким ответом «Огоньку», который, при месячной неповоротливости и цензурных задержках «Нового мира», всё-таки удалось прилепить в последний номер и выпустить в свет. Торжествовал Твардовский скромно:

— Ответ достойный!

(Да ничего особенного. Умеренное остроумие. Дементьевского шибайшего духа, к счастью, нет.)

— Достойный. Но вообще, А. Т., статья Дементьева доставила мне боль. *Не с той стороны* вы их бьёте. Эта засохлая дементьевская догматичность...

Очень насторожился:

— Да я сам половину этой статьи написал.— (Не верю. У Твардовского есть эта несоветская черта: от ругаемой вещи не отшатываться, а любить больше прежнего.)— Ведь они — банда!

— Не отрицаю. Но вы — всё равно не с той стороны... Помните, вы в Рязани, когда роман читали: «идти на костёр — так было б из-за чего».

— Я зна-аю,— возбуждался он к спору и раскуривался,— вы ж— за церковки! за старину!..— (Да не плохо бы и крестьянскому поэту тоже...) То-то они в а с не атакуют.

— Да меня не то что атаковать, меня и называть нельзя.

— Но вам я прощаю. А мы — отстаиваем ленинизм. В нашем положении это уже очень много. *Чистый* марксизм-ленинизм — очень опасное учение (!!), его не допускают. Хорошо, напишите нам статью, в чём вы не согласны.

Статья — не статья, а предыдущие страницы уже у меня были, тезисно на листочке. Статьи, конечно, я писать не буду вместо самосоновской катастрофы, но — можно ли говорить? После полувека подавления всякого изъясняющего слова, отсечения всякой думающей головы — такая всеобщая перепутанность, что даже и близким друг друга не понять. Вот им, *грузьям*, об этом открыто — можно ли?.. Да в «Новом мире» для меня такая уж добрая всегда обстановка, что часто духу не хватает развёртывать им неприятные речи.

— Александр Трифоньич, вы «Вехи» читали?

Три раза он меня переспросил! — слово-то короткое, да незнакомое.

— Нет.

— А Александр Григорьич читал когда-нибудь? Думаю, что не читал. А зачем безо всякой надобности лягнул два раза?

Нахмурился А. Т., вспоминая:

— О ней что-то Ленин писал...

— Да мало ли что Ленин писал... в разгаре борьбы,— добавляю поспешно, без этого — резко, без этого — раскол!..

Твардовский — не прежняя партийная уверенность. Новые поиски так и пробиваются морщинками по лицу:

— А где достать? Она запрещена?

— Не запрещена, но в библиотеках её зажимают. Да пусть ваши ребята вам достанут.

Тут перешли в другой кабинет, как раз к этим самым *ребятам* — Хитрову, Лакшину.

Твардовский, громогласно-добродушно, но и задето:

— Слушайте, он, оказывается, двенадцатый к «письму одиннадцати», просто не успел подписаться!

Когда смех перешёл, я:

— А. Т., так нельзя: кто не с нами на 100%, тот против нас?..

Владимир Яковлевич! Вы обязаны найти «Вехи» для А. Т. Да вы сами-то читали их?

— Нет.

— Так надо!

Лакшин, достаточно сдержанно, достаточно холодно:

— Мне — сейчас — это — не надо.

(Интересно, как он внутренне относится к статье Дементьева? Не могут же не оскорблять его вкуса эти затхлые заклинания. Но если нравятся Главному — не надо противоречить.)

— А зачем же вы их лягаете?

Так же раздельно, выразительно, баритонально:

— Я — не лягаю.

Ну да, не он, а — Дементьев!..

Я: — Великие книги — всегда *надо*.

И вдруг А. Т., посреди маленькой комнаты стоя большой, мало-подвижный, ещё руки раскинув, и с обаятельной улыбкой откровенности:

— Да вы *освободите* меня от марксизма-ленинизма, тогда другое дело. А пока — мы на нём стоим.

Вот это — вырвалось, чуждым криком души! Вот это было уже — вектор развития Твардовского! Насколько же он ушёл за полтора года!

Была бы свободная страна, действительно — открыть другой журнал, начать с ними публичную дискуссию с *другой* стороны, доказать самому Твардовскому, что он — совсем не Дементьев. А в нашей стране иначе распорядилась серая лапа: накрыла и меня, накрыла и их.

Как уже давила, давила, давила всё растущее, пятьдесят лет.

\* \* \*

После бурной весны 68-го года — что-то слишком оставили меня в покое, так долго не трогали, не нападали.

Получил французскую премию «за лучшую книгу года» (дубль: и за «Раковый», и за «Круг») — *наши* ни звука. Избран в американскую академию «Arts and Letters» — *наши* ни ухом. В другую американскую академию, «Arts and Sciences» (Бостон), и ответил им согласием, — *наши* и хвостом не ударили. На досуге и без помех я рассказывался, с весны 1969 скорость набирал на «Р-17» и даже в Историческом музее, в двух шагах от Кремля, работал, — дали официальное разрешение, и только приходили чекисты своими глазами меня обсмотреть, как я тут. И по стране поездил — никаких помех. Так долго тихо, что даже задыхаешься.

Не знаю, в КГБ ли придумали или сам по себе изобретательный авантюрист, — но пока я скрываюсь в затёмках, а по Москве громко проявился лже-Солженицын, и ведёт себя скандальнейше: устраивает размашистые кутежи в «Славянском базаре», пьяно кричит, что он — великий писатель, пристаёт к женщинам и заказывает себе встречи с красивенькими артистками. И что мне делать? Спасибо, Копелев помог его разоблачить. А как дальше остановить? Куда написать? [11]

Летом 1969 получил я агентурные сведения (у меня сочувствующих — не меньше, чем у них платных агентов), что готовится моё исключение из СП, — но замаялось как-то, телеграмма странная была: «отложить заседание до конца октября», далёкий расчёт! Настолько рязанское отделение СП само ничего не знало — что за неделю до исключения выдавало мне справки на жизнь. Разрешительный ключ был: что в четвёртый четверг октября объявили Нобелевскую премию по литературе — и не мне! Одного этого и боялись. А теперь развязаны руки. Дёрнул Соболев (СП РСФСР) из Москвы, вызвал туда нашего Эрнста Сафонова, завертелось.

И ведь так сложилось — целый 69-й год меня в Рязани не было, а тут я как раз приехал: слякотный месяцок дома поработать, с помощью читальни, — над Лениным теперь. Как раз и портрет Ленина утвердили (навек, на щите) — на улице, прямо перед моим окном. И хорошо пошло! так хорошо: в ночь на 4 ноября проснулся, а мысли сами текут, скорей записывай, утром их не поймашь. С утра навалился работать — с наслаждением, и чувствую: получается!! Наконец-то! — ведь 33 года замыслу, треть столетия, — и вот лишь когда...

Но Персонаж мой драться умеет, никогда не дремал. В 11 часов — звонок, прибежала секретарша из СП, очень поспешная, глаза как-то прячет и суетливо суёт мне отпечатанную бумажку, что сегодня в 3 часа дня совещание об *идейном воспитании* писателей. Ушла, можно б ещё три с половиной часа работать, но: что так внезапно? Да ещё *идейное воспитание*. Нет, думаю, тут что-то связанное со мной. И пытаюсь дальше сладко работать — нет, раскручивается, внутри что-то раскручивается, чувствую опасность. Бросил роман, беру свою старую папку, называется «Я и ССП», там всякие бумажёнки — по борьбе, по взаимным упрёкам, и доносы мне разных читателей: где, кто, что про меня сказал с трибуны. Всё это в хаосе, думаю — надо подготовиться. И срочно: ножницы, клей, монтирую на всякий случай, есть и заготовки позапрошлого года к бою на секретариате, не использовано тогда, — и это теперь переклеиваю, переписываю.

Особенно приготовил я про это *идейное воспитание* им вызвездить, так (немножко из Дидро): «Что значит — человек берётся быть писателем? Значит, он дерзко заявил, что берётся, так сказать, за идейное воспитание других людей и делает это книгами. А что значит — идейно воспитывать писателей? Двойная дерзость! Так не ставьте *вопрос*, не устраивайте заседаний, а напишите книгу, — мы прослезимся, нас просветит: ах, вот как надо писать, а мы-то, дураки, в темноте бродим!...» — Приготовил, да в поспехе забыл, очень во времени жали.

Пришёл я в СП раньше назначенного, за 5—7 минут, чтоб не на коленях досталось писать, если писать, а захватить бы место у единственного там круглого столика, на нём бы разложиться со всеми цветными ручками. (Я — давно исключения ждал и собирался диктофон нести на заседание, и принёс бы! — да ведь не исключение, просто «идейное воспитание».) Но и с ручками я, кажется, зря спешил: до собрания всегда за час околачиваются рязанские писатели, дома-то делать нечего, — а тут, гля, пустая комната, и только сидит на подоконнике Василий Матушкин — благообразный такой, круглолицый, доброе русское лицо, уже пенсионер, он-то в дни хрущёвского бума сам и нашёл меня, сам таскал мне заполнять анкеты в СП, так радовался «Ивану Денисовичу», говорил, что это ему — важный языковой урок. Я ему руку жму:

— Здравствуйте, Василь Семёныч! Не будет, что ли?

Отвечает важно, с подоконника не слезая:

— Почему? Будет.

— Да когда ж соберутся?

— Соберу-утся.

Понурый какой-то, и глаза отводит. Вдвоём мы с ним, никого больше, ну что б ему стоило шепнуть, сказать? — нет, сукин сын, молчит. Я с ним — вежливый разговор: вы, говорят, пьесу новую написали, и опять областной театр ставит... Стол мне, как будто, не пригодится, но на всякий случай занял.

А — никто не идёт. До последней минуты! И вдруг — сразу все, и даже больше чем все, с большой скоростью зходят, — и не замечаю я, что все уже раздеты, пальто и шапок ни на ком, а обычно только

тут снимают\*. Один за другим идут, и хоть можно бы стол мой миновать, но все писатели сворачивают и жмут мне руку,— и Родин (лица на нём нет, сильно болен, больше 38°, я расспрашиваю, ахаю, зачем же вы приехали?), и Баранов, лиса такая (недавно: «можно ли в Ростов от вас привет передать? мне там завидуют, что я с вами встречаюсь»), и Левченко — душа открытая, парень-простака, хоть и серый, и Женя Маркин — молодой, слишком левый и слишком передовой для Рязани поэт. Да вот и Таурин, представитель секретариата РСФСР, почтительно мне представляется, почтительно жмёт руку. Нет, никакого исключения не будет. Да вот же и ещё идёт какой-то сияющий, радостный, разъеденный гад,— и этот ко мне, и этот прямо радостно руку мне трясёт, у него — особенный праздник сегодня! Жму и я. А кто такой — не знаю. Остальные не здороваются. Расселись, ба,— 12 человек, а членов СП — только 6, остальные — посторонние.

Разложился я, но писать, видно, не придётся. А один уж что-то строчит, на коленях,— да не гебист ли в штатском? Таурин докладывает, скучно, вяло: вот Анатолий Кузнецов бежал, такой позорный случай, СП РСФСР имеет решение, в тульской организации проработали, все глубоко возмущены (безо всякого выражения), решили на всех организациях проработать. Ну, конечно, усилят меры по контролю за писателями, выезжающими за границу, и воспитательные меры...

(Давно уж я, кажется, вырос из рабских недомерков, уже не сжимается сердце, что выдернут: «Теперь своё отношение пусть выскажет т. Солженицын...»,— уж распрямился, уж за язык меня не потянешь. А впрочем, глупое положение: ведь предложат голосовать за суровое осуждение Кузнецова? А что надо — одобрять?)

...А вот в московской организации на высоком, на хорошем уровне прошло собрание. Были высказаны деловые обвинения против Лидии Чуковской, Льва Копелева, Булата Окуджавы...

(Не избежать — за них придётся заступаться. Но мельком ещё рабская мысль: а может здесь промолчать? ведь не Москва, Рязань, здесь кому какое... И если б не близкие друзья, если бы просто либеральные писатели — пожалуй бы и пригнулся, пронеси спокойней. Но про этих твёрдо решил: скажу! вот повод и «за резолюцию в целом» не голосовать.)

Мягко этак Таурин стелет, печально, и как о незначущем:

— Ну... кое-что говорили и о вашем члене, о товарище Солженицыне.

Всё. Доклад кончен. «Кое-что». Очевидно — несерьёзное.

Кто возьмёт слово? Матушкин. Слезает с подоконника старик, жмётся. Дают ему 10 минут регламента. Я (предвидя, что и мне по-

\* Как их собирали и готовили — я узнал потом. Секретарь рязанской писательской организации (из семи человек) Эрнст Сафонов верно предчувствовал и пессимистически говорил мне летом, что всю процедуру покатыт через него. В СП РСФСР он упёрся против моего исключения. Но зав. отделом пропаганды рязанского обкома партии Шестопалов настиг его и в больнице после операции и тщетно пытался вырвать согласие там. (За сопротивление Сафонов потом много лет носил партийный выговор.) 4 ноября с утра Шестопалов вызывал четырёх писателей в обком по одному и каждому внушал, что меня надо исключить. Но такая неудобная цифра «7», что «4» не составляют из неё двух третей. Итак, для вкору необходимо было пригнать ещё пятого писателя — Николая Родина из Касимова. Это — 200 километров от Рязани, по худым дорогам, и Родин действительно лежал с высокой температурой, очевидно с воспалением лёгких. И по телефонной команде из обкома секретарь касимовского райкома принудил Родину сесть в райкомовскую машину. Однако Родин вернулся с дороги, говоря, что он может в пути умереть (шофёр пожалел Родину, нарушил партийную дисциплину). Секретарь райкома пришёл в гнев: «По дороге — четыре больницы, будете заезжать к врачам!» — и погнал их снова. Родин успел приехать на заседание «партгруппы» — пяти партийных писателей (то есть все, кроме меня), где секретарь обкома по пропаганде Кожевников ещё их строгалил, направлял и удостоверялся. Оттуда через час они все и ввалили в писательскую комнату. (Примеч. 1978.)

надобится): — «Давайте больше, чего там!» Все (предвидя, что и мне понадобится): Нет, десять, десять!

Походя, с медленным разворотом, начинает Матушкин нападать на меня. (Текст известен.) Я строчу, строчу, а сам удивляюсь: как же они решились? почти уверен я был, что не решатся, и обнагел в своей безнаказанности. Да нет, ясно вижу: им же это невыгодно, на свою они голову, зачем? Отняла им злоба ум.

Один за другим, без задержки, выступают братья-писатели: и обходительный Баранов, и простак Левченко, и чистая душа Родин, и тревожный лохматый Маркин. Маркин так явно колеблется даже в своём выступлении: «Не хочу я участвовать в этом маятнике,— сейчас мы А. И. исключаем, потом принимаем, потом опять исключать, опять принимать...»,— и голосует за исключение. (Его б совсем немного поддержать, раньше мне выступить бы, что ли,— да вот как сошлось: добивался он два года комнаты— и завтра обещают ему ордер выписать. И Левченко сколько лет без квартиры. И Родин который год просится в Рязань— тоже не дают. И опыт начальства показывается: так — держится крепче.)

Я: — Разрешите вопрос задать.

Не дают: нет! нельзя.

Я: — Стенографистки нет. Протокола не будет!

Ничего, им не надо!

Что-то разговорился этот брюхатый, победительный как Наполеон, я ему:

— Простите, кто вы такой, что здесь, на собрании писателей...

Он даже хохочет от изумления:

— Как — кто? Ха-ха! Не знаете? Представитель обкома!

— Ну и что ж, что представитель? А — кто именно?

— Секретарь обкома!

— Какой именно секретарь?— не унимаюсь я.

Это даже омрачает ему радость выигранного сражения: что за победа, если противник тебя и не узнаёт?

— По агитации.

— Позвольте, ваша фамилия как?

— Хм! Фамилии моей не знаете?— Явно оскорблён, даже унижен: — Кожевников!!!

Ну-у-у! — действительно смешно, засмеялся б и я, да времени нет. По советским меркам это дико даже: он — отец родной всем рязанским деятелям идеологии, он — бесценно в Рязани, я — уже семь лет рязанский писатель, и спрашиваю, кто он такой.. Обидишься...

— Да,— назидает,— мы с вами никогда не виделись.

— Нет, виделись,— говорю,— просто у меня слабая зрительная память.— (Каких только шуток она со мной не играла.)— Мы виделись, когда я из Кремля приехал, рассказывал тут о встрече с Хрущёвым, вы приходили послушать меня.

Как я прославился — он вызывал меня из школы по телефону, я ответил: устал, не могу. На мою славу прихрущёвскую он послушно притопал, сел в уголке. Потом сколько было наставлений писателям — а меня всегда нет. (Правильно делают, что меня исключают: какой я, в самом деле, советский писатель, подручный партии?!) А год назад позвонил мне домой: «Как вы относитесь, что «Советская Россия» вас нехорошо упоминает?» — «А я её не читал». — «Как? Статья «О чём шумит югославская пресса», о вас!» — «Да я вообще «Советской России» не читаю», — «Как так?» — «Да так». — Изумился: «Слушайте, я по телефону вам прочту». — «Да нет, я так не умею». — «Приходите побеседовать». — «На тайное собеседование, в кабинет? не пойду! Собирайте всех писателей, гласно побеседуем». — «Нет, митинга мы не будем устраивать».

Ну вот дождался, вот у праздничка, оттого и сиянье такое.

Исключение — решено, но как мне успеть всё записать? Вот и



мне слово дают, а у меня и речь не готова, кое-как склеена, ни разу не прочтена. Только разошёлся, кричат:

— Десять минут! Конец!!

— Что значит — десять? Вопрос жизни! Сколько надо — столько и дайте.

Матушкин, елейно-старчески: — Три минуты ему дать.

Вырвал ещё десять. Пулемётной скоростью гнал: ведь только то, что успею сказать, только то и можно будет завтра по свету пустить, а что за щекой останется, какое б разящее ни было, — не пойдёт, не сразит. Ничего, за 20 минут наговорил много. Вижу — Маркин просто счастлив, слушает, как я их долблю, да и Родину через болезнь, через температуру нравятся: им самим приятно, что хоть кто-то сопротивляется.

А проголосовали — покорно.

И я, с удовольствием, — против всей резолюции в целом (про меня — только пунктик там).

Разошлись весёлые, кулуары, разговоры. Собрал я карандаши, рванулся — Таурин меня ловит, да обходительно, да сочувственно: — Я вам очень советую, вы езжайте сейчас же в секретариат, именно завтра будет полный секретариат, это в ваших интересах!

Я: — Нигде в уставе не написано, чтобы в 24 часа исключать, можно и с разрядочкой.

(Про себя: мне б только слух успеть пустить, мне б «Изложение» скорей пустить, а тогда посмотрим, как вы будете заседать. Уверен я всё-таки был, что без меня нельзя исключать, — а можно! всё у нас можно!)

— Слушайте, — цепляется Таурин за рукав, — никто исключать вас не хочет! Вы только напишите вот эту бумажечку, единственное, что от вас требуют, вот эту бумажечку, что вы возмущены, что на Западе там...

Может быть, и правда, они рассчитывали? подарок к октябрьской годовщине?.. А без этого ведь совсем никакого смысла не было в исключении, только месть одна. Пока они меня не исключали, положение, казалось, в их пользу: стоит шеститысячная глыба, из сожжения не давит меня, а захочет — раздавит. А вот как исключат, да я цел, — тогда что?

Ещё в коридоре ловил меня Женя Маркин, громко просил прощения (это — по хорошему Достоевскому, ещё несколько раз он будет каяться, плакаться, на колени становиться, и опять отрекаться, ему и правда тяжко, он душой и правда за меня, да грешное тело не пускает)\*. Я — скорей, скорей, и на телефонную переговорную. В Рязани я — в капкане, в Рязани меня додушить нетрудно, надо чтобы вырвалась, вырвалась весть по Москве — и в этом только спасение. У нас в Рязани завели единственный междугородний автомат, и если он сейчас не испорчен... Нет... и очереди нет... Набираю номер Али. Никого. Набираю другой. Не подходят. Куда же звонить? В «Новый мир»! — ещё нет пяти вечера, ещё не разошлись. Так и сделал. (Потом возникнет рабское истолкование: «За то и разогнали „Новый мир“».)

Тогда, уже спокойный, воротился домой, сел записывать подробно «Изложение». В 6 утра проснулся, включил по обычаю «Голос Америки», безо всякой задней мысли, и как укололо:

«По частным сведениям из Москвы, вчера в Рязани, в своём родном городе, исключён из писательской организации Александр Солженицын»!

\* Год спустя он умудрится протащить в «Н. мире» (с новым руководством) стихотворение о бакенщике «Исаиче», которого очень уважают на большой реке, он всегда знает путь, — то-то скандалу было потом, когда догадались! и исключили-таки бедного Женю из СП. (Примеч. 1978.)

Я — подскочил! Ну, век информации! Чтобы так моментально — нет, не ожидал!!

Четыре раза в кратких известиях передали, четыре раза в подробных. Хор-рошо! Вышел в сквер заряжаться, когда нет ещё никого на улице, смотрю: заметённый снегом стоит грузовик с кузовной надстройкой, уже на другой слеске мною однажды замеченный, а в тёмной кабине сидят двое. Прошёл мимо их кабины близко, оглядел; они без радио, не знают, что уже упустили.

Однако и тревожно: не схватят ли меня? Чуть отъедешь от Москвы — глухой колодец, а не страна, загородить единственный продукт ничего не стоит.

С предосторожностями отправил из дому один экземпляр «Изложения», спасти. [12]

Рассвело, раздёрнул занавеси — и с уличного щита мой загаённый Персонаж бойко, бодро глянул на меня из-под кепочки. Да не писалось мне больше о нём, и в том была главная боль — от таких оторвали страниц! (С тех пор полтора года прошло — а всё не вернись. Персонаж мой за себя постоять сумел.)

В рязанском обкоме переположились! оказывается: «Би-Би-Си уже передаёт, что Солженицына исключили! Ясно, что у них в Рязани есть агентура, следят за нашей идеологической жизнью и моментально передают в Лондон!» И догадались: посадить того же бездомного Левченко к телефону и на все звонки из Москвы отвечать, что он — посторонний, ничего не знает, никого не исключали. Западные корреспонденты действительно звонили, наскочили, поверили — и начались по западному радио опровержения. А в этот же самый день 5 ноября секретариат РСФСР в Москве меня-таки исключил, управился и без меня!

Я этого сам ещё два дня не знал и кроме «Изложения» ничего больше не собирался писать и распространять. Лишь когда узнал — заходил во мне гнев, и сами высекались такие злые строки, каких я ещё не швырял союзу советских писателей, — это само так получалось, это не было ни моим замыслом, ни моим манёвром. (Замысел был лишь сплутный: защитить угрожаемых Лидию Чуковскую и Копелева. Они хорошо воткались в текст — и, кажется, защита удалась: замаялась с ними чёртова сотня.)

«Изложение» я отправил в Москву вперёд себя, а сам в Рязани ещё пытался работать над Лениным, но уже утерян был покой и вкус, а строки грозного письма шагали по-солдатски через голову, выколачивались из груди к бою. Кончились ноябрьские праздники, посвободнели поезда — и я поехал в Москву. Ещё не думал, что это — навсегда. — Что жить мне в Рязани уже не судьба, исключением закрыли, забили мне крест-накрест Рязань. (А как ещё приезжал туда по беде, подходил к столу — а через окно-то, с уличного щита, всё так же щурился на меня в кепочке Ленин; так и проторчал он, год и другой, во все непогоды, перед моим покинутым окном, — есть незavidность в избыточной славе. Я опять уехал, он опять остался.)

А уж в Москве-то меня Трифонич дожидаться не мог! (Мы ещё тем были сближены нежно, что в октябре он прочёл двенадцать пробных глав самсоновской катастрофы и остался ими сверхдоволен, очень хвалил и уже редакторски предсмаковал, как я кончу — и всё будет *проходимое*, патристическое, и уж тут нас никто не остановит, и напечатается Солженицын в «Новом мире», и заживём мы славно! Ведь не говорил же я ему, какие ещё будут в «Августе» шипы, ленинская глава. Никак не мог он принять и поверить, что открытый им, любимый им автор — *непроходим* навеки...) Накануне Твардовский настаивал, чтобы я скорей приехал: ему надо говорить со мной больше даже о себе, чем обо мне. (Опять эта разбереженность, как и после чтения «Круга»!..)

11 ноября я пришёл в редакцию прямо с поезда. Вся редколлегия сидела в кабинете А. Т., перед кем-то лежало моё «Изложение», они только что вслух его прочли и обсудили. Все, как по команде, поднялись и оставили нас вдвоём (это уж так повелось, никогда не ждали, чтоб А. Т. сказал: «мы наедине хотим поговорить»). Заказал А. Т. чай с печеньем и сушками — высшая форма новомирского гостеприимства.

Предполагая Трифону на низшем гражданском градусе, чем он был, я стал объяснять ему, почему не мог успеть на секретариат, что они даже и вызова мне не послали, а косвенное телефонное извещение, и то поздно. Но, оказывается, в этом А. Т. не надо было убеждать: он и для себя считал презренным там быть, не пошёл. (Слухи-слухи! слух по Москве: он был и яростно меня защищал.)

Он вот что, он с тревогою (и не первый раз!) — о западных деньгах: неужели правда, что я получаю деньги за западные издания романов?

Заклятая советская анафема: кто думает не так, обязательно продался за вражеские деньги; если советских не платят — умри патриотически, но западных не получай!

Я: Не только за романы, пришло за «Денисовича» от норвежцев — и то пока не беру. Просто, сволота из СП не может представить, что доступно человеку прожить и скромно.

Сияет А. Т. Хвалит «Изложение». Но опять же: как могло получиться, что уже вчера «читатели-почитатели» ему приносили это самое «Изложение»?

— А я — пустил.

Он отчасти напуган: как же можно? ведь разъярятся! (то есть наверху).

А у меня в портфеле уже томится, своего часа ждёт, готовое «Открытое письмо» секретариату. И ведь вот же: распахнут, расположен А. Т., однонастроены мы! — а показать ему боюсь, по старой памяти об его удерживаниях и запретах. Всё-таки подготавливаю:

— А. Т.! Вы меня любите, и хотите мне добра, но в советах своих исходите из опыта другой эпохи. Например, если бы я в своё время пришёл к вам советовать: посылать ли письмо съезду? распускать ли «Раковый корпус» и «Круг»? — вы бы усиленно меня отговаривали. — (Мягко сказано... стекло настольное об меня бы разбил.) — А ведь я был прав!

Старое-то приемлется. Но о новом — не смею. Просто:

— Поймите. Так надо! Лагерный опыт: чем резче со стукачами, тем безопаснее. Не надо создавать видимости согласия. Если промолчу — они меня через несколько месяцев тихо проглотят — по «непрописке», по «тунеядству», по ничтожному поводу. А если нагрянет — их позиция слабеет.

Он: — Но на что вы надеетесь? Все эти «читатели-почитатели» только играют в поддержку. Лицемерно вздыхают о вашем исключении и тут же переходят на другие темы. Я верю, что вы не позу занимаете, когда говорите, что готовы к смерти. Но ведь — бесполезно, ничего не сдвинете.

Если память не изменяет — не первый раз мы уже на этом брёвнышке противовесим. Только сегодня — без горячности, с грустным благожелательством. Да больше: такой сердечности, как сегодня, не бывало у нас сроду. Нет, сердечность бывала, а вот равенства такого не бывало. Впервые за 8 лет нашего знакомства действительно как с равным, действительно как с другом.

Я: — Если так — пусть так, значит жертва будет пока напрасна. Но в дальнейшем будущем она всё равно сработает. Впрочем, думаю, что найдёт поддержку и сейчас.

(Да, я так думал. Меня избаловала поддержка ста писателями моего съездовского письма. С обычным для меня перевесом опти-

мизма я и сейчас ожидал массового писательского движения, борьбы, может быть выхода из СП. А его — не получилось. Не было никакого настоящего гнёта, не было арестов, не было громов, — но усталые люди потеряли всякий порыв сопротивляться. С разной степенью громкости и резкости написали протесты 17 членов СП, да восьмеро — Можаяев, Максимов, Тендряков, Искандер, Окуджава, С. Антонов, Войнович, Ваншенкин — сходили Воронкова пугать, потом их по одному тягали в ЦК на расправу.)

А. Т.: — Сейчас идёт отлив, обнажаются коряги, водоросли, безобразная картина.

Я: — *Где вода была — там и бюджет.*

А — разговор о нём, о Трифоныче? Наконец и он. Для меня потеря СП — формальность, даже облегчающая, на Твардовского находит трагедия бóльшая, ибо — души касается: подходит неизбежное время покинуть ему своё детище, «Новый мир». И в моём исключении он видит последний к тому толчок. А предпоследний: звонил инструктор ЦК, хочет приехать «подрабатывать» состав редакции (почему? никто его не звал; видимо — Лакшина, Хитрова, Кондратовича выталакивать).

Как вдумчивые верующие люди всю жизнь, и в высший час её, размышляют о своей грядущей, неизбежной смерти, так сколько раз уже, сколько раз А. Т. заговаривал со мной о своей отставке — ещё когда мне только не дали ленинской премии, ещё когда мы все казались на гребне хрущёвской волны. И всякий же раз, и сегодня особенно энергично (обойдя со стулом его большой председательский стол и к его креслу туда, рядом) убеждал я его: «Новый мир» сохраняет культурную традицию, «Новый мир» — единственный честный свидетель современности, в каждом номере две-три очень хороших статьи, ну пусть одна — и то уже всё искуплено, например вот лихачёвская «Будущее литературы», — А. Т. сразу повеселел, встряхнулся, с удовольствием поговорили о лихачёвской статье. А от чего приходится отказываться! — например, есть воспоминания участника сибирского крестьянского восстания 1921 года. («А дадите почитать?» — «Дам». — Вот тут мы — не разлей, как и начинали с «Денисовича»).

— Но, — твердил А. Т., — я не могу унизиться править Рекемчука. Я стоял сколько мог, а теперь я шатаюсь, я надломлен, сбит с копьев.

Я: — Пока стоите — ещё не сбиты! Зачем вы хотите поднести им торт — добровольно уйти? Пусть эту грязную работу возьмут на себя.

Договорились: если не тронут Лакшина — Хитрова — Кондратовича — он стоит, если снимут их — уходит.

Прощался я от наперсного разговора — а за голенищем-то нож, письмо секретариату, и показать никак нельзя, сразу всё порушится. Бодро:

— Александр Трифоныч, в общем, если вынудят меня на какие-нибудь резкие шаги — вы не принимайте к сердцу. Вы отвечайте им, что за меня головы не ставили, я вам не сын родной!

Ещё и к Лакшину зашёл, для амортизации:

— Владимир Яковлевич! Прошу вас: сколько сможете, смягчите А. Т., если...

Неуклонным взглядом через молодые очки смотрит Лакшин. Кивает.

Нет, не сделает. У него — своя проблема, своё уязвимей. Неужели же в такую минуту наперекор становиться разгневанному А. Т.? Направление моё — не его, я ему не союзник.

На другой день — удар! секретариат с недельным опозданием (перевалить ноябрьскую годовщину) объявил своё решение обо мне.

И я без колебаний — удар! Только дату и осталось вписать. Распус-каю!!! [13]

Борис Можаяев (прекрасно вёл себя в эти дни, как и во все тяжёлые дни «Нового мира»), со всем своим внутренним свободным размахом ушкуйника, за годы привык искать и гибкие выходы, держит меня за грудки, не пускает: нельзя посылать такое письмо! зачем рубить канаты? не лучше ли формально обжаловать решение секретариата РСФСР в секретариат СССР, пойти туда на разбирательство?

— Нет, Боря, сейчас меня и паровозом не удержишь!

Смеётся:

— Ты как задорный шляхтич, лишь бы поссориться.

А по-моему, вот это и есть самое русское состояние: размахнуться — и трахнуть! В такую минуту только и чувствуешь себя достойным сыном этой страны. Разве я смелый? — я и есть предельный боязливец: «Архипелаг» имею — молчу, о современных лагерях сколько знаю — молчу, Чехословакию — промолчал, уж за это одно должен сейчас себя выволочить. Да правильно сказала Лидия Корнеевна о политических протестах:

— Без этого не могу главного писать. Пока этой стрелы из себя не вытащу — не могу ни о чём другом!

Так и я. При всеобщей робости и не хлопнуть выходною дверью — да что я буду за человек! (Кому надо оправдаться, такой встречный слух распустят: он сам своей резкостью помешал за себя заступиться, мы только-только собирались, а он хлопнул и всё испортил. Если уж «классовую борьбу» обсмеял — действительно не подступишься. Да ведь всё отговорка, — кто хотел, тот раньше успел.)

А послал — и как сразу спокойно на душе. Хотя в тот день гнали за мной по московским улицам двое нюхунов-топтунов — мне казалось: за город, в благословенный приют, предложенный мне Ростроповичем (в самом сердце спецзоны, где рядом — дачи всех вождей!), за мной не ехали. Здесь (хоть уже и «газовщики» и «электрики» приходили какие-то) мнитса мне: я скрылся ото всех, никому не ведом, не показываюсь, по телефону не звоню. Пусть там бушует моё письмо, а здесь так исцелительно, тихо, — и так ясно работает радиоприёмник, лови своё отражённое письмо и ещё устаивайся на сделанном. Да и работать же начинай.

Не помню, кто мне в жизни сделал больший подарок, чем Ростропович этим приютом. Ещё в прошлом, 68-м году он меня звал, да я как-то боялся стеснить. А в этом — нельзя было переехать и устроиться уместней и своевременней. Что б я делал сейчас в рязанском капкане? где бы скитался в спёртом грохоте Москвы? Надолго бы ещё хватило моей твёрдости? А здесь, в несравнимой тишине спецзоны (у них ни репродукторы не орут, ни трактора не рычат), под чистыми деревьями и чистыми звёздами, — легко быть непреклонным, легко быть спокойным.

Не первый раз стучится Ростропович в переплёт этих очерков. Но — невозможно: уже не держит вещь, и без того взбухла, а в Ростроповиче жизни и красок на десятилетиях, жаль описывать его побочно.

В ту осень он охранял меня так, чтоб я не знал, что земля разверзается, что градовая туча ползёт. Уже был приказ посылать наряд милиции — меня выселять, а я не знал ничего, спокойно погуливал по аллеям.

Иногда беспечная близорукость — спасение для сердца. Иногда борони нас, Боже, от слишком чуткого предвидения.

Впрочем, на случай прихода милиции у меня была отличная защита придумана, такая ракета, что даже жалко — запустить не пришлось.

А тут ещё такой неожиданный оборот тревоги: всё-таки на Западе писатели изрядно протестуют против моего исключения. Национальный комитет писателей Франции (и среди них много советских любимчиков — и Арагон, и Триоле, и Сартр, и Пикассо) публикует протест в коммунистическом «Летр Франсэз» — моа, опомнитесь, дорогие товарищи, ведь огромная ошибка, повторение, как с Пастернаком, а вот Николай II не репрессировал Чехова за «Сахалин». Затем и Международный Пенклуб публикует в «Таймсе» письмо Федину: мы потрясены, призываем восстановить Солженицына. И ещё одно письмо в «Таймс» от густого сбора западных писателей: международный скандал! новая охота за ведьмами! писатель такого масштаба... Прекратите гонения, иначе призовём к международному бойкоту СССР! И ещё в «Монд» от Союза писателей Франции, видимо ещё другого, — протест против попыток напечатать «Пир победителей» на Западе (опаснейшая затея наших! — но вот проваливалась). И я вот чего напугался: а что если наши сейчас так сдрейфят, что в секретариате СП СССР пересмотрят решение секретариата РСФСР и восстановят меня, — и что ж: я молча, покорно вернусь как блудный сын? Стал составлять проект нового письма:

«Внезапное постановление бюро ССП СССР отнюдь не является решением вопроса. Оно не снимает ответственности с «Литературной газеты» за клевету на меня в анонимной статье 26.6.68. Оно не даёт оценку тому отретированному спектаклю, каким было моё исключение из рязанской организации, и пожарным действиям бюро РСФСР в моё отсутствие, а говоря общее: оно обходит вопросы, поднятые в моём письме Четвёртому съезду писателей, и само то письмо. Оно обходит глубокие недостатки устава ССП, где среди задач союза не поставлено ничего, кроме построения коммунизма и дружбы между народами. Там нет: задач нравственного обновления нашего общества, не упомянуты писательские задачи перед отдельным человеком. И ещё общее: возможно ли такие задачи внести в устав какого бы то ни было союза? Соответствует ли существующий Союз задачам нестеснённой литературы — с его громоздким аппаратом, где писателями управляют почему-то чиновники, иногда специфического ведомства, где происходят неслыханные административные злоупотребления, подгасовка голосов и состава съездов. И орган Союза «Литературная газета» — совсем не литературная, но с оттенком политической бульварности. Положение литератора могло бы безо всякого союза вполне обеспечиваться членством в Литературном Фонде...»

Доработать не пришлось — не понадобилось.

Хранил я надежду, что раз я «не Западу жаловался» и раз А. Т. «на одном поле не сел бы...» с тем секретариатом, — вдруг и это последнее моё письмо встретит он благоприятно? Вот открывалась бы подлинная дорога к пониманию.

Но слишком многого захотел я от Твардовского! Он и так уже в своей перестройке, развитии, приятии и понимании отдался крайнему взлёту качелей, — а моё письмо, такое грубое по отношению к священной классово-борьбе, и с объявлением «тяжёлой болезни» самого передового в мире общества, — рывком реальной тяжести поволокло, поволокло его вниз и назад.

Было буйство в редакции, стулья ломал, кричал: «Предатель!!!», «Погуби-и-и!!!» (то есть «Новый мир» погубил...). Конечно — «Вызвать!!!», конечно — меня нет и «никто не знает». Схватился звонить Веронике Туркиной, набросал кучу оскорблений заодно и ей, она тихо слушала и только осмелилась:

— А. Т.! Но что пишет А. И. — ведь это всё правда.

— Не-е-ет! — заревел он в телефон. — Это — *антисоветская листовка!* это — ложь! И я доложу куда следует!!

Не он выкрикивал те несчастные слова, а наша низменная природа 30-х годов, угнетённо-приученный советский язык, верноподанный сын, который «не отвечает за отца». Я распространил открытое письмо, а он, бедняга, — доложит, куда следует.

Потянуло Веронику на беду пойти в редакцию, мутно-угодливый Сац, сподвижник Луначарского, увидел её и побежал донести А. Т. предположительно, что она пришла «распространять письмо Солженицына» по редакции, — в их лбы не помещалось, что «первый этаж» журнала вообще читает самиздатское прежде «второго этажа». И Твардовский стал вымещать свой гнев на Веронике: «Кто её сюда пускает? Кто даёт ей рецензии?» (она подрабатывала у них). «Не давать!»

И какие-то произошли у него переговоры с СП, где Твардовский от меня отрекался, и какие-то с Дёмичевым (а тот — пугал, надеясь, видимо, через А. Т. остановить меня от распространения). Вчера готовый покинуть «Новый мир», — нет, Твардовский не был ещё готов,

он ещё топырился по-курячьи в надежде отстоять своё детище от коршунов. Косвенный телефонный звонок нашёл меня на даче Ростроповича: А. Т. в очень тяжёлом состоянии! требует меня! готов ждать до ночи!

А разве я — облегчу? Если приеду и ещё раз поругаемся — кому станет легче? Всё равно письмо уже пошло. И не откажусь я от него. И я не санитарная команда. Я — прячусь от ГБ. Не хочу мельтешить по Москве и хвосты всюду приводить.

Не поехал.

Через несколько дней после спада его гнева послал ему смягчительное письмо: «...Сейчас эпоха другая — не та, в которую Вы имели несчастье прожить большую часть Вашей литературной жизни, и навыки нужны другие. Мои навыки — каторжанские, лагерные. Без рисовки скажу, что русской литературе я принадлежу не больше, чем русской каторге, я воспитался там, и это навсегда. И когда я решаю важный жизненный шаг, я прислушиваюсь прежде всего к голосам моих товарищей по каторге, иных уже умерших, от болезни или пули, и верно слышу, как они поступили бы на моём месте.

...Этим письмом я: 1) показал, что буду сопротивляться до последнего, что мои слова «жизнь отдам» — не шутка; что и на всякий последующий удар отвечу ударом, и может быть посильнее. И так, если умны, то остерегутся, трогать ли меня дальше. В такой позиции я могу обороняться независимо от позиции «литературной общественности»; 2) использовал неповторимый однодневный момент: я уже свободен от устава и терминологии и ещё имею право к ним обратиться; а секретариат — очень удобный адресат; 3) всю жизнь свою я ощущаю как постепенный подъём с колен, постепенный переход от вынужденной немоты к свободному голосу. Так вот письмо съезду, а теперь это письмо было такими моментами высокого наслаждения, освобождения души...»

А Твардовский и сам постепенно смягчался. Жёсткий мах качелей кинул его назад, отпускал же и снова вперёд. Говорил, вздыхая: «Да, он имел право так написать: ведь он в лагере был, когда мы сидели в редакциях». И... перечитывал «Ивана Денисовича». (Уже верный год он писал мемуары, и в них обо мне. А я — о нём. Такие вот прятки.)

Три месяца мы не встречались, тоже была детская игра. На редакцию приходила мне часть поздравительных писем ко дню рождения, потом к новому году. Он не велел их пересылать, и когда я попросил Люшу Чуковскую забрать у него те письма — не дал: «Не обязательно ко мне лично, но должен сам прийти за письмами». Почему — сам? Да потому что помириться хотелось. О, трудно ему!.. (А я поздравлял с новым годом его и редакцию так: писал под Москвой, везди в Рязань, а там — в почтовый ящик. Де, может, я всё-таки в Рязани, оттого не являюсь.)

Игра-то игра, но меня настигли новые тревоги: не давая vzniku, налетела опасность, пожалуй, страшной предыдущих писем: необъяснимым путём вырвался в «Цайт» 5 декабря отрывок из «Прусских ночей» и обещалась вскоре вся поэма! Это удалось остановить, потому что с осени, спасибо, я обзавёлся адвокатом на Западе. (Да ведь и адвоката надо бы Твардовскому объяснять: почему взял, не посоветовался? почему — буржуазный? Так не делают!) Тут слух прошёл, что и в Москве поэму уже читают. Я кинулся глушить\*.

\* Я считал, что подавил поэму в Самиздате и в «Цайт», не дал ГБ её понюхать. Много позже как же я поразился, узнав, что ГБ тотчас получила поэму, лишь только стали её читать московские литераторы; передано было «Штерну» через его московского корреспондента Дитмара Штейнера, приятеля Виктора Луи, а главный редактор «Штерна» Наннен и подкинул «Цайту» печатать поскорее, настаивая, что «из очень надёжного источника, автор просит скорее печатать». (Примеч. 1978.)

\* \* \*

За этими тревогами и за своим углублением в «Р-17» я проглядел, не заметил издали, как собиралась гроза над Твардовским и «Новым миром». Верно чувствовал А. Т.: *душенье* не было эпизодом, оно было рассчитанной кампанией.

В «Посеве», родственнике «Граней», появилась (хотя совсем по Самиздату не ходила) злосчастная, недописанная, ни властями, ни публикою не принятая, поздняя гордость и горечь автора — его поэма «По праву памяти». Потрясён, обескуражен, удручён был А. Т., — вот уж не хотел! вот уж не ведал! вот уж не посылал! да даже и не распускал!

В январе 1970 стали его дёргать *наверх*, требовать объяснений, негодований и отречений, как полагается от честного советского писателя, — да он и не против был, но одного отречения уже мало было властям, просто так отречения они уже и помещать не хотели, им надо было разгромить ненавистный журнал. Сколько лет и месяцев текла у них слюна на эту жертву! Сколько месяцев и недель обормоты и дармоеды из агитпропа ЦК потратили на составление планов, на манёвры, атаки и обходы! — засушенные мозги их не замечали, что уже рушилась вся их эпоха целиком, все пятьдесят этажей междуэтажных перекрытий, — они жадали вот эту одну лестничную площадку захватить. Разливался по стране свободный Самиздат, уходили на Запад, печатались там русские романы, возвращались на родину радиопередачами, — этим плеснякам казалось: вот эту одну супротивную площадку захватить — и воцарится, как при Сталине, излюбленное хоровое единомыслие, не останется последнего голоса, кто б мог высмеивать их.

Твардовскому, теперь ослабленному своей виною — что поэма-то стала *оружием врага!* — опять, как весной минувшего года, стали предлагать сменить редколлегию — одного члена, двух, трёх, четырёх! Чтоб усилить нажим — на каком-то из бессчётных писательских пленумов выступил некий Овчаренко — лягавый хваткий волк (только фамилия пастушья), и назвал Твардовского *кулацким поэтом*. А Воронков *каждый день*, как на службу, *вызывал* к себе этого поэта на собеседование, — и подавленный, покорный, виноватый Твардовский ехал на вызов. И *этого самого Овчаренко* ему предложили взять в редакцию!.. (Выверт 30-х годов!)

Тут, перед концом, особенно больно проявилось, что либеральный журнал\* был внутри себя построен так же чиновно, как и вся система, извергавшая его: живя извечно в номенклатурном мире, нуждался и Твардовский внутри своего учреждения отделить доверенную номенклатуру (редакционную коллегию) от прочей массы. А «масса»-то была в «Новом мире» совсем не обычная: здесь не было просто платных безразличных сотрудников, работавших за деньги, здесь каждый рядовой редактор, корректор и машинистка жили интересами всего направления. Но как в хорошие дни не разделяли с ними заслуг Главный редактор и его ближайшие, так и теперь в горькие не приходило им в голову хоть не таить, как дела идут, не то чтобы всех собрать: «Друзья! Мы с вами 12 лет работали вместе. Я не ставлю на голосование, но важно знать, как думаете вы: если несколько членов редколлегии заберут — оставаться нам всем или не оставаться? вытнем — или нет? Мне — уходить в отставку или ждать, пока снимут?» Нет. Рассеянно отвечая на поклоны, молча проходил Твардовский в кабинет, втягивались туда члены коллегии, и за закрытыми дверями часами обсуживались там новости и планы,

\* Лакшин, по традиционным интеллигентским меркам, обижался: «наш журнал не либеральный, а демократический», то есть, мол, гораздо левей. Как ни парадоксально, он был *октябристским*, но не в бандитском кочетовском смысле, а в терминологии предреволюционной России: они хотели, чтоб именно этот режим существовал, лишь придерживаясь своей конституции.



и с каждого слово бралось — не разглашать! А рядовые редакторы, всё женщины, чья личная судьба решалась не менее, и не меньшим же было щемление за судьбу журнала, — собирались в секретарскую подслушивать голоса через дверь, ловить обрывки фраз и истолковывать их. Кому-нибудь из писателей в дачном посёлке Твардовский открывал больше — и от этого писателя вызнавали потом в редакции.

Разносился по Москве слух, что топят «Новый мир», — и всё больше авторов стекалось в редакцию, заполнены были и комнаты и коридоры, «вся литература собралась» (да если вообще была советская литература — так только тут), писатели, во главе с Можаявым, стали сколачивать коллективное письмо опять тому же Брежневу, да всё равно судьба того письма, как и тысяч, была оставаться неотвеченным. А редколлегия сторонилась этих писательских попыток! — состоя на честной советской службе, она не могла участвовать в открытом бунте, даже жаловаться с перескоком инстанций.

В такой день, 10 февраля, когда уже решено было снятие Лакшина — Кондратовича — Виноградова, пришёл и я в это столпотворение. Все кресла были завалены писательскими пальто, все коридоры загорожены группами писателей. А. Т. у себя в кабинете (когда Колосапов здесь на стене прибьёт барельеф Ленина — тогда станет ясно, чего не хватало у Твардовского) сидел трезво, грустно, бездеятельно. (Бездеятельно, если б не так ужасно курил — одну за другой, одну за другой грубые сильные сигареты.) Это первая была наша встреча после ноябрьской бури. Мы пожали руки, поцеловались. Я пришёл убеждать его, что пока ещё остаются, считая с ним вместе, четверо членов редакции — можно внутри редакции продолжать борьбу, ещё 2—3 месяца пойдут приготовленные номера, лишь когда надо будет подписать уже совсем отвратный номер — тогда и уйти. А. Т. ответил:

— Устал я от унижений. Чтоб ещё сидеть с ними за одним столом и по-серьёзному разговаривать... Ввели людей, каких я и не видел никогда, не знаю — брюнеты или блондины.

(Хуже: они даже писателями не были. Руководить литературным журналом назначались люди, не державшие в руках пера, Трифоныч был прав, да я б на его месте ещё и раньше ушёл, — а предлагал я в духе того терпенья, каким и жили они все года.)

— Но как же так, А. Т., самому подавать? Христианское мировоззрение запрещает самоубийства, а партийная идеология запрещает отставку!

— Вы не знаете, как это в партии принято: скажут подать — и подам.

Более настойчиво и более уверенно я убеждал его не отрекаться от западного издания своей поэмы, не слать ей хулы. Я не знал: уже отречено было! — и, напротив, — как милости и прощения ждал А. Т., чтоб не отказались его отречение напечатать в газете... (Бедный А. Т.! Не станет злопамятности напомнить ему, как «наверно я сам» отдал «Крохотки» в «Грани» — иначе как бы они появились?..) Ни того отреченного письма, ни письма Брежневу (написал: «Я — не Солженицын, а Твардовский, и буду действовать иначе». И очень жаль, на этом пути не выиграешь...) он мне не показал — «копий нет». (Чего-то же стыдился в них передо мной.)

И всё-таки, полузастенчиво и с надеждой:

— А вы поэму мою не читали?

— Ну как же! Вы мне подарили, я читал...

(А сказать-то ничего не могу, не хочу, — да ещё в такой день...)

Он чувствует: — Вы не последнюю редакцию читали, она потом лучше стала...

(Боюсь, что последнюю...)

Опять беспокоился, живу ли я на западные деньги, и тем себя марую. В который раз предлагал своих денег. ..

Подбодрял я его:

— Ну что ж, вы своё отбухали, теперь будете отдыхать. Вот приедем за вами с Ростроповичем, заберём вас в его замок, дам вам ту книгу свою почитать.

(Под потолками не скажешь: «Архипелаг».)

Даже сиял, нравилось ему.

Высказал очень странное:

— Вот у вас есть и повод, почему вы сегодня пришли в редакцию: вам надо было получить свои поздравительные письма.

Это — не в виде укора, не подцепить, а — какое-то затмение, надвинутое из 1937 года.

— Да что вы, А. Т.! Какой *повог*? Перед кем?

— Ну,— потупленно говорил А. Т.,— если вас станут спрашивать, почему в такой день...

— Меня, Александр Трифоновч! Да уж я-то в своём отечестве ни перед кем не отчитываюсь!

Или не знал, что все коридоры 1-го этажа забиты авторами?..

А вот что было трогательное.

— А. Т.! Тут какая-то мистика в датах. Вчера был день моего ареста, даже 25-летие.— (Да покрупней: 9 февраля нового стиля умер Достоевский.) — Сегодня — день смерти Пушкина, и тоже столетие с третью.— (А завтра, 11-го, разорвут Грибоедова.) — И в эти же дни вас разгромили...

Он вдруг очень от души:

— А вот хотите мистику? Сегодня ночью я не спал. Выпил кофе, потом снотворное, заснул тревожно. Вдруг слышу приглушённый, но ясный голос Софьи Ханановны (секретарша А. Т.): «Александр Трифоновч! Пришёл Александр Исаич». И так именно днём произошло.

Очень меня это тронуло. Значит, сегодня он приехал с такой надеждой. Который раз он проявлял, насколько наши нелады ему тяжелее...

В этот день всё ожидалось, что будет в завтрашней «Литературке», и агенты приносили разные сведения: то—*идёт* отречное письмо А. Т., то не *идёт*; то—будет подтасовка, что он согласен с переменами в редакции, то — не будет.

Изменила б «Литгазета» своему характеру, если бы не сжульничала. На другой день и подтасовка была конечно, и невозвратное объявление о выводе четырёх членов редколлегии, и—письмо А. Т., которого уже истомился он ждать в печати, но чести оно принесло ему мало:

«...моя поэма... абсолютно неизвестными мне путями, разумеется, помимо моей воли... в эмигрантском журнальчике «Посев»... искажённом виде... Наглость этой акции... беспардонная лживость... провокационное заглавие... *будто бы* она „запрещена в Советском Союзе“». (А разве же — не запрещена? А разве не спрашиваете вы друзей: «читали мою поэму?» А разве это письмо — откроет ей печатанье в СССР?)

И — за что заплачена цена? За то, что разогнали вашу редакцию, Александр Трифонович?..

Сломали...

Перейдена была мера унижений, мера стойкости, и 11 февраля Твардовский подписал, столько лет из него выжимаемое: «п р о ш у о с в о б о д и т ь»...

И ещё мы не знали: в это самое 11-е вызвали его на «совещание членов Президиума Комеско» — ну, наших обязательных представителей в угодливой вигореллевской организации, которая теперь на дыбки всё же поднялась из-за меня. И Твардовский — за что платя теперь, сегодня?— подписал продиктованное заявление об уходе с

вице-председателя Комеско — то есть сдал ещё одну позицию, сдал себя и меня, хоть и безвредно. И с самым искренним чувством обнял меня на следующий день, не упомянув об этом, да даже и не понимая. Ведь если партия указывает — надо подписывать.

12-го был я в редакции вновь. Уже всё было другое — у редакции не ожидание судьбы, у писателей — не попытка к бою. Чистили столы. Во множестве нахлынули авторы, забирали свои рукописи (потом иные вернут). Другие рукописи рвались в корзины, в мешки, и в бумажках рваных были полы. Это походило на массовый арест редакции или на высылку, эвакуацию. Там и здесь приносили водку, и авторы с редакторами распивали поминальные. Однако в кабинет А. Т. писателям, как всегда, не было открытого доступа. Несколько их с водкою и колбасой пошли в кабинет Лакшина и просили позвать Трифону́ча, но от имени А. Т. Лакшин извинился и отказал. Уже и снятому Главному было неприлично вот так непартийно появиться среди недовольных авторов.

В кабинете я застал А. Т. опять одного — но на ногах, у раскрытых шкафов, тоже за сортировкой папок и бумаг. Сказал он, что испытывает облегчение от того, что заявление подал. Я согласился: уже оставаться было нельзя. Но вот во вчерашнем письме фраза (если б только одна!)... Поэму *будто бы* запретили?

Трифону́ч стал живо возражать, даже ахнул, как я слабо разбираюсь (ахнул, потому что чувствовал промах):

— Это вы не поняли! Это очень тонкая фраза. Из-за неё-то письмо и не хотели печатать! Ведь я объявил по всему Советскому Союзу, что существует вот такая поэма и её держат.

Я не искал переубеждения, избегал обострения.

Упомянул про его близкое 60-летие. Он подсчитал, что вёл «Новый мир» в два приёма целых 16 лет, а ни один русский журнал никогда не существовал больше десяти.

— Ещё до семидесяти, А. Т., вполне можете писать! — утешал я.

— Да Мориаку — восемьдесят пять, и то как пишет! — Покосился: — Бунин вот, в жизни никого не хвалил, кроме Твардовского, а Мориака похвалил.

А вот и зёрнышко:

— А. Т.! Крупным-то ничего: Лакшину, Кондратовичу, им уже устроили посты, будут деньги платить. А мелким что делать?

— Виноградову? Да он ещё лучше устроится.

— Нет, аппарат.

Не расслышал. Не понял! Как тогда с «Вехами» — просто не понял, понятия такого — «аппарат», ещё 20 человек, которые...

— Авторам? Они в «Новом мире» не будут печататься.

Правда, на следующий день, 13-го, А. Т. начал обход всех комнат трёх этажей, где и не бывал никогда: он шёл прощаться. Он еле сдерживал слёзы, был потрясён, растроган, всем говорил хорошие слова, обнимал... — но почему не раньше собрал эти свои две дюжины? И почему сегодня не боролись, а так трогательно, так трагично-печально сдавались?\*

Потом члены редколлегии выпили в просторном кабинете Лакшина, посидели, уехали. А мелкой сошке всё не хотелось расходиться в последний день. Скинулись по рублю, кто-то и из авторов скромных принесли ещё вина и закуски, и придумали: а пойдём в кабинет Твардовского! Уже темно было, зажгли свет, расставили тарелки,

\* Мне рассказали об этой сцене в тех днях, когда я готовился описывать прощание Самсонова с войсками, — и сходство этих сцен, а сразу и сильное сходство характеров открылось мне! — тот же психологический и национальный тип, те же внутреннее величие, крупность, чистота, — и практическая беспомощность, и непоспевание за веком. Ещё и — аристократичность, естественная в Самсонове, противоречивая в Твардовском. Стад я себе объяснять Самсонова через Твардовского и наоборот — и лучше понял каждого из них.

рюмки, расселись там, куда пускали их изредка и не вместе,— «они нас бросили». За стол Твардовского никто не сел, поставили ему, рюмку.

На другой день ждали прихода нового Главного. А — нет, и это снова по-советски! — бумажка, заложенная в заглот аппарата, почему-то не сразу пошла. В таком темпе душили час за часом — и вдруг ослабли руки, и замерло. Всего-то из пяти соседних комнат надо было секретарям СП сбежаться и постановить — но, видимо, не поступило верховного телефонного согласования, и заела машина, и все замерли по кабинетам,— и Твардовский в своём, на Пушкинской площади, ожидая приговора. И так потекли дни, и вторая неделя,— Твардовский приезжал, трезвый, тревожный, ожидал телефонного звонка, входа, снятия,— не звонили, не шли... Наконец, и сам он звонил, ускоряя удар,— но уж как заколодит нечистую силу, так нет её! — скрывался Воронков, не подходил к телефону, эта техника у советских бюрократов высочайше поставлена: легче к ним на крыльях долететь и крышу головой прошибить, чем по телефону от секретарей дознаться: есть ли он на свете вообще, когда будет, когда можно позвонить? И в один вечер, когда уже Твардовский ушёл, а секретарь его ещё присутствовала (и наверное ж точно высчитав момент!), Воронков позвонил сам, в игриво-драматическом тоне: «Уже ушёл? Ах, как жалко... Ведь он, наверно, на меня обижается... А ведь это не от меня зависит. Я всё послал в Центральный Комитет. А сам я — что могу? Без Центрального Комитета я ни бэ ни мэ». — И довольно верно поняли в редакции: Воронков зашатался, может быть, и слетит, не так провернул.

Решенье повисло, решенье могло и не состояться. Хотя такие тягостные оттяжки под секирой — не лучшие поры для размышлений, а выдалось всем подумать: если Твардовского не снимут, так может журнал ещё существует? Твардовский есть — так есть и журнал? Можно остаться и бороться? Но поскольку о снятии Лакшина, Кондратовича, Виноградова уже было напечатано в газете, это, по советским понятиям, невозвратимо, невосстановимо, ибо самая драная жёлто-коричневая советская газетка не может ошибиться. Бывшие заместители Твардовского уже ходили на свои новые должности, но каждый день бывали и здесь,— и в этом новом положении выяснилось, что любимцы А. Т., его заместители, не хотят, чтобы Твардовский вдруг остался бы без них: «Нового мира» без себя они не мыслили.

Можно гибнуть по-разному. «Новый мир» погиб, на мой взгляд, без красоты, с нераспрямлённой спиной. Никакого даже шевеленья к публичной борьбе, когда она уже испробована другими и удаётся! Уж не говорю: ни разу не посмели, ещё при жизни журнала, пустить в Самиздат изъятую цензурой статью или абзацы, как сделала с «Мастером» Е. С. Булгакова. Скажут: погубили бы журнал. Да ведь всё равно погубили, к тому уже шло, уже горло хрипело, — а всё бы не на коленях! В эти февральские дни — ни одного открытого письма в Самиздат (а потому что — риск для партийных билетов и следующих служб отрешённых членов?), робость даже в ходатайствах по команде, два унижительных письма Твардовского в «Литгазету». Хуже того: Твардовский и Лакшин небрезгливо посетили ничтожный писательский съезд РСФСР, проходивший вскоре. Твардовский пошёл и сел в президиум, и улыбался на общих снимках с проходимцами, как будто специально показывая всему миру, что он нисколько не гоним и не обижен. (Уж пошёл—так выступи!) А Лакшин таким образом внешне отметил в верноподданстве, в кулуарах же ловил новомирских авторов и убеждал забирать свои рукописи назад.

Вот это направление усилий старой редакции было неблагородно. И вообще-то нельзя вымогать жертв из других, можно звать к ним, но прежде того и самим же показав, как это делается. Уходящие чле-

ны редколлегии — не сопротивлялись, не боролись, оказали покорную сдачу, кроме Твардовского, — и не пожертвовали ничем, шли на обеспеченные служебные места, — но ото всех остальных после себя ожесточённо требовали жертв: после нас — выжженная земля! мы пали — не живите никто и вы! Чтобы скорей и наглядней содрогнулся мир от затухания нашего светоча: все авторы должны непременно и немедленно уйти из «Нового мира», забравши рукописи, кто поступит иначе — предатель! (А где ж печататься им?) Весь аппарат — редакторы, секретари, если что хорошее пытаются сделать *после нас*, — предатели! тем более члены коллегии ещё не исключённые — должны немедленно подать в отставку, уйти любой ценой! (выходом из СП? гражданской смертью? Повинуясь этой линии, 60-летний, тяжело больной Дорош подал заявление, его не отпускали, — так предатель!).

Но если весь новомирский век состоял из постоянных компромиссов с цензурой и с партийной линией — то почему можно запрещать авторам и аппарату эту линию компромиссов потянуть и продолжить, сколько удастся? Как будто огрызанный «Новый мир» становится отвратнее всех других, давно грязных, журналов. Не сумели разгрома предотвратить, не сумели защитить судно целым, — дайте ж каждому в обломках барахтаться, как он понимает. Нет! в этом они были непримиримы.

А потому что, как это бывает, свою многолетнюю линию жизни совсем иначе видели — вовсе не как вечную пригнупость в компромиссах (иной и быть не может у журнала под таким режимом!). Видели совсем иначе, высоко и стройно, — и это проявилось, когда осмелели всё-таки на Самиздат, осмелели: выпустили два анонимных — и исключительно *партийных!* — панегирика погибшему журналу. (И зачем же такая робкая выступка: совсем не опасно, зачем же анонимно? Вероятно потому, что авторы должны были не открыть своей близости к старой редакции — уж и так просвечивала осведомлённость: что осталось в портфеле старой и как проходят дни новой. Да не трудно угадать, рассмотреть и лица их.)

Уже шибало в нос, как они подписаны: Литератор, Читатель, — по худшему образцу советских газет. У Читателя — обстоятельный, медленного разгону эпиграф (опять же легко узнать манеру), — да эпиграф-то из кого? — из Маркса! — это в 70-м году! это для Самиздата! а дальше и Ленин цитируется — о, мышление подцензурника, как ты выдаёшь свои приёмы!.. В том самом феврале, когда разогнали «Новый мир», гнусный суд над Григоренко засудил первого честного советского генерала в сумасшедший дом; дюжина «Хроник» на своих бледных исчитанных папиросных страничках уже назвала сотни героев, отдавших за свободу мысли — свободу своего тела, заплативших потерей работы, тюрьмой, ссылкой, сумасшедшим домом, — анонимы объявляют разгром «Нового мира» — «важнейшим событием внутренней жизни», которое «будет иметь значительные политические последствия» (чтоб имело последствия — надо самим-то выступать посмелей); надуто хвалят себя: «наши самые честные уста» (честные тех, кто замкнуты тюрьмою?), «непобедимость новомирской Правды» (и в воспоминаниях маршала Конева? и коминтерников?), «важнейший элемент оздоровления советского общества», «голос народной совести» (одобривший оккупацию). «Только он один продержался в защите очистительного движения после XX съезда» (в чём *очистительного?* все золы режима перевалить на Сталина?). Эта линия верности XX съезду КПСС искренне понимается авторами как «дух фундаментальных проблем... в которых вся наша историческая судьба». Только бы одолеть «положительный фанатизм» «сталинистов-экстремистов», ну и конечно же «отрицательный фанатизм... беспроблемное нигилистическое критиканство и озлобленность», — да это же в «Правду» можно подавать, зачем же анонимно, братцы? Эта верно-

подданность тем особенно и разит, что она — анонимна и в Самиздате! На страницах «Нового мира» её можно было хоть цензурой оправдывать... Итак, какая главная беда от разгона «Нового мира»? — «теперь нашим врагам будет гораздо легче бороться с идейным влиянием коммунистического движения во всём мире». Но всего главней, конечно, *социализм!* — только он «способен быть прогрессивной исторической альтернативой миру капитала» (прямо с подцензурных страниц), «не умерщвлённая в народе способность к борьбе за подлинный социализм» (тю-тю-у! поищите-порыщите, где она осталась, только не в нашей стране). А кто ж в неудачах социализма виноват? да кто ж! — Россия, как всегда: «извращения социализма коренятся в многовековом наследии русского феодализма», — неужели ж допустим, товарищи, что социализм порочен сам по себе, что он вообще не осуществим в доброту?!

Более мелкой эпитафии нельзя было произнести «Новому миру», и тем выразить мелкость собствекного понимания истинно-большого дела.

Впрочем, Самиздат — не дурак, разбирается: панегирики эти не были приняты им, хождения не получили, канули; до меня только и дошли через редакционные круги. И огорчили не меньше статьи Деметьева.

От отставленных членов я не скрыл, что осуждаю всю их линию в кризисе и крахе «Нового мира». Так и передано было Твардовскому (уверен, что — Лакшиным), но безо всех вот этих мотивировок.

И снова, в который раз, наша углая дружба с Трифонычем утонула в тёмной пучине. Придушенные одним и тем же сапогом, замолкли мы — врозь.

Моё одиночество, впрочем, не одиночество было, а деятельная работа над «Августом». И не стал я слаб вне союза писателей и не ослабел без журнала, напротив, только независимей и сильней, — уже никому теперь не отчитываясь, никакими побочными соображениями не связанный. *Der Starke ist am mächtigsten allein*, без слабых союзников свободнее руки одинокого.

Одиночество же Трифоныча было полно горечи всеобщего, как ему ощущалось, предательства: он годами жертвовал собою для всех, а для него теперь никто не хотел жертвовать: не уходили из «Нового мира» сотрудники, и лишь немногие отхлынули авторы. Вся эта возня с «теневой» редакцией, непрерывными обсуждениями, что делается в реальной, только больше должна была изводить его и усилить начавшийся от угнетения скрытый ход болезни.

Тут защита схваченного Ж. Медведёва снова сроднила нас, хоть и по-заочью. Я, как обычно, писал в Самиздат, а Трифоныч — ездил в психбольницу в Калугу (мимо ворот моего Рождества, так никогда им не найденного и не виденного), ошеломив там своим явлением всех врачей-палачей.

Тут приближался 60-летний юбилей А. Т., открывая возможность снова переключнуться: Я телеграфировал:

«Дорогой наш Трифоныч! Просторных вам дней, отменных находок, счастливого творчества зрелых лет! В постоянных спорах и разногласиях неизменно нежно любящий вас, благодарный вам Солженицын».

Говорят, он очень был рад моей телеграмме, уединялся с нею в кабинет. Мог бы и не отвечать, юбиляру это трудно, он ответил:

«Спасибо, дорогой Александр Исаевич, за добрые слова по случаю 60-летия моего. Расходясь с вами во взглядах, неизменно ценю и люблю вас как художника. Ваш Твардовский».

И, по темпам наших отношений, месяцев ещё через несколько мы бы с ним повидались. Я написал ему письмо, прося разрешения показать в октябре свой оконченный роман. Я знал, что это доставит ему удовольствие.

Но — не пришло ответа. А узналось — что рак у него (и — скрывают от него). Рак — это рок всех отдающихся жгучему жёлчному обиженному подавленному настроению. В тесноте люди живут, а в обиде гибнут. Так погибли многие уже у нас: после общественного разгрома — смотришь, и умер. Есть такая точка зрения у онкологов: раковые клетки всю жизнь сидят в каждом из нас, а в рост идут, как только пошатнётся...—скажем, дух. Лишь выдающееся здоровье Твардовского при всех коновальских ошибках кремлёвских врачей даёт ему ещё много месяцев жизни, хоть и на одре.

Есть много способов убить поэта.

Твардовского убили тем, что отняли «Новый мир».

Февраль 1971

Жуковка

## ПРИЛОЖЕНИЯ

[3]

### В СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Всем секретарям Правления

Моё письмо IV-му съезду Союза писателей, хотя и поддержанное более, чем ста писателями, осталось без оглашения и без ответа. Лишь распространились единообразные, по-видимому централизованные, слухи, успокаивающие общественное мнение: будто архив и роман мне возвращены, будто печатается «Раковый корпус» и книга рассказов. Но всё это — ложь, как вы знаете.

Секретари Правления СП СССР Г. Марков, К. Воронков, С. Сартаков, Л. Соболев в беседе со мной 12 июня 1967 г. заявили, что Правление СП считает своим долгом публично опровергнуть низкую клевету, распространявшуюся обо мне и моей военной биографии. Но не только не последовало опровержения, а клевета не унимается: на закрытых инструктажах, активах, семинарах агитаторов обо мне распространяется новый фантастический вздор — вроде того, что я бежал в Арабскую республику, не то в Англию (хотел бы заверить клеветников, что они побегут скорей). Наиболее же настойчиво видными лицами выражается сожаление, что я не умер в лагере, что был освобождён оттуда. (Впрочем, и сразу после «Ивана Денисовича» такие сожаления уже выражались. Теперь эта книга тайно изымается из библиотечного пользования.)

Те же секретари Правления обещали «рассмотреть вопрос» по крайней мере о печатании моей последней повести «Раковый корпус». Но за три месяца — четверть года! — и это нисколько не сдвинулось. За три месяца сорок два секретаря Правления не оказались способны ни вынести оценку повести, ни принять рекомендацию о её печатании. В этом странном равновесии — без прямого запрета и без прямого дозволения — моя повесть существует уже более года, с лета 1966. Сейчас журнал «Новый мир» хочет печатать эту повесть, однако не имеет разрешения.

Думает ли Секретариат, что от такой бесконечной затяжки моя повесть тихо изникнет, перестанет существовать и не надо уже будет голосовать о включении или невключении её в отечественную литературу? А между тем, начиная с писателей, она охотно читается. По воле читателей она уже разошлась в сотнях машинописных экземпляров. При встрече 12 июня я предупредил Секретариат, что надо спешить её печатать, если мы хотим её появления сперва на русском языке; что в таких условиях мы не сможем остановить её неконтролируемого появления на Западе.

После многомесячной бессмысленной затяжки приходит пора заявить: если так произойдет, то по явной вине (а может быть и по тайному желанию?) Секретариата Правления СП СССР.

Я настаиваю на опубликовании моей повести безотлагательно!

Солженицын.

12 сентября 1967 г.

[4]

## ИЗЛОЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

22 сентября 1967 г.

Присутствовало около 30 секретарей СП и т. **Мелентьев** из Отдела культуры ЦК. Председательствовал **К. А. Федин**. Заседание по разбору писем писателя Солженицына началось в 13 часов, окончилось после 18 часов.

**Федин** — Второе письмо Солженицына меня покорило. Мотивировки его, что дело остановилось, мне кажутся зыбкими. Мне показалось это оскорблением нашего коллектива. Три с половиной месяца — совсем небольшой срок для рассмотрения его рукописей. Мне здесь услышалась своего рода угроза. Такая мотивировка показалась обидной! Второе письмо Солженицына как бы заставляет нас силком браться за рукописи, скорее их издавать. Вторым письмом продолжает линия первого, но там более обстоятельно и взволнованно говорилось о судьбе писателя, а здесь мне показалось обидным. В сложном вопросе о печатании вещей Солженицына что происходит? Его таланта никто из нас не отрицает. Перекашивает его тон в nepозволительную сторону. Читая письмо, ощущаешь его как оплеуху — мы будто негодники, а не представители творческой интеллигенции. В конце концов своими требованиями он сам тормозит рассмотрение вопроса. Не нашёл я в его письмах темы писательского товарищества. Хотим мы или не хотим, мы должны будем сегодня говорить и о произведениях Солженицына, но мне кажется, что надо говорить в общем по письмам.

**Солженицын** просит разрешения сказать несколько слов о предмете обсуждения. Читает письменное заявление:

«Мне стало известно, что для суждения о повести „Раковый корпус“ секретарям Правления предложено было читать пьесу „Пир победителей“, от которой я давно отказался сам, лет десять даже не перечитывал, уничтожил все экземпляры кроме захваченного, а теперь размноженного. Я уже не раз объяснял, что пьеса эта написана не членом Союза писателей Солженицыным, а бесфамильным арестантом Ц-232 в те далёкие годы, когда арестованным по политической статье не было возврата на свободу, и никто из общественности, в том числе и писательской, ни словом ни делом не выступил против репрессий даже целых народов. Я так же мало отвечаю сейчас за эту пьесу, как и многие литераторы не захотели бы повторить сейчас иных речей и книг, написанных в 1949 году. На этой пьесе отпечатались безвыходность лагеря тех лет, где сознание определялось бытием и отнюдь не возносилось молитв за гонителей. Пьеса эта не имеет никакого отношения к моему сегодняшнему творчеству, и разбор её есть нарочитое отвлечение от делового обсуждения повести „Раковый корпус“.

Кроме того, недостойно писательской этики — обсуждать произведение, вырванное из частной квартиры таким способом.

Разбор же моего романа „В круге первом“ есть вопрос отдельный, и им нельзя подменять разбора повести „Раковый корпус“».



**Корнейчук** — У меня вопрос к Солженицыну. Как он относится к той разнузданной буржуазной пропаганде, которая была поднята вокруг его письма? Почему он от неё не отмежуеться? Почему спокойно терпит? Почему его письмо западное радио начало передавать ещё до съезда?

**Федин** предлагает Солженицыну ответить.

**Солженицын** указывает, что он — не школьник вскакивать на каждый вопрос, у него будет выступление, как и у других.

**Федин** говорит, что можно собрать несколько вопросов и ответить на все вместе.

**Баруздин** — Хотя Солженицын возражает против обсуждения пьесы „Пир победителей“, но нам волей-неволей приходится говорить об этой пьесе. Вопрос: какова была необходимость Солженицыну вообще называть эту пьесу съезду, упоминать её?

**Салынский** — Я прошу, чтобы Солженицын рассказал, кто, когда и при каких обстоятельствах изъял эти материалы? Просил ли автор о возвращении их? Кого просил?

**Федин** предлагает Солженицыну ответить на собравшиеся вопросы.

**Солженицын** повторяет, что ответит на вопросы при выступлении.

**Федин**, поддержанный другими: — Но Секретариат не может приступить к обсуждению, не имея ответа на эти вопросы.

**Ропот голосов** — Солженицын может вообще отказаться разговаривать с Секретариатом, пусть об этом заявит.

**Солженицын** — Хорошо, я отвечу на эти вопросы. Это неверно, что письмо стали передавать по западному радио до съезда: его стали передавать уже после закрытия съезда: и то не сразу. (Далее буквально:) «Здесь употребляют слово «заграница» и с большим значением, с большой выразительностью, как какую-то важную инстанцию, чьим мнением очень дорожат. Может быть это и понятно тем, кто много творческого времени проводит в заграничных поездках и наводняет нашу литературу летучими заметками о загранице. Но мне это странно. Я никакой заграницы не видел, не знаю, и жизненного времени у меня нет — узнавать её. Я не понимаю, как можно так чувствительно считаться с заграницей, а не со своей страной, с её живым общественным мнением. Под моими подошвами всю мою жизнь — земля отечества, только её боль я слышу, только о ней пишу».

Почему пьеса «Пир победителей» была упомянута в письме съезду? — это ясно из самого письма: чтобы протестовать против незаконного «издания» и распространения этой пьесы вопреки воле автора и без его ведома. Теперь относительно изъятия моего романа и архива. Да, я несколько раз, начиная с 1965 года, писал в ЦК по этому поводу, протестовал. (Далее буквально:) «Но за последнее время изобретена новая версия об изъятии моего архива. Будто бы тот человек, Теуш, у которого хранились мои рукописи, был связан с другим ещё человеком, которого не называют, а того задержали на таможне, неизвестно какой, и что-то нашли (не называют что), не моё нашли, но решили меня оберечь от такого знакомства. Всё это — ложь. У знакомого моего Теуша два года назад было следствие, но такого обвинения ему даже не выставлялось. Хранение моё было обнаружено обыкновенной уличной слежкой, подслушиванием телефонных разговоров и подслушивателем в комнате. Но вот примечательно: едва появилась новая версия — она единым толчком обнаруживается в разных местах страны: лектор Потёмкин только что изложил её многолюдному собранию в Риге, один из секретарей СП — московским писателям. Причём от себя он добавил и своё измышление: что всё это я будто бы признал на прошлой встрече в Секретариате. А об

этом у нас и разговора не было. Не сомневаюсь, что скоро начну со всех концов страны получать письма о распространении этой версии».

**Вопрос** — Отвергнута ли редакцией «Нового мира» повесть «Раковый корпус» или принята?

**Абдумомунов** — Какое разрешение требуется «Новому миру» на печатание повести и от кого?

**Твардовский** — Вообще решение печатать или не печатать ту или иную вещь — в компетенции редакции. Но в данной ситуации, сложившейся вокруг имени автора, решать должен Секретариат Союза.

**Воронков** — Солженицын ни одного раза не обращался непосредственно в Секретариат союза писателей СССР. После письма Солженицына съезду у товарищей из Секретариата было желание встретиться, ответить на вопросы — поговорить и помочь. Но после того, как письмо появилось в грязной буржуазной прессе, а Солженицын никак не реагирует...

**Твардовский** — Ну, точно как Союз писателей!

**Воронков** — ...это желание отпало. А тут вот появилось второе письмо. Оно ультимативно, оскорбительно, недостойно нашей писательской общественности. Сейчас Солженицын упомянул об «одном секретаре», дававшем информацию партийному собранию московских писателей. Секретарь этот — я. Вам поспешили передать, но плохо передали. Об изъятии ваших вещей я только то сказал на последнем собрании, что вы признали, что отобранные вещи — ваши, и что обыска у вас дома не было. После вашего письма съезду мы естественно сами запросили — почитать все ваши произведения. Но нельзя так грубо обращаться с вашими товарищами по труду и по перу! А вы, Александр Трифонович, если считаете нужным печатать эту повесть и если автор примет ваши исправления — так и печатайте сами, при чём тут Секретариат?

**Твардовский** — А с Беком как было? И Секретариат занимался, и рекомендовали — и всё равно не напечатали.

**Воронков** — Но меня сейчас больше всего интересует гражданское лицо Солженицына: почему он не реагирует на гнусную буржуазную пропаганду? И почему так обращается с нами?

**Мусрепов** — И у меня вопрос: как это он пишет в письме: более высоко стоящие товарищи выражают сожаление, что я не умер в лагере? Какое право он имеет так писать?

**Шарипов** — И по каким каналам письмо могло попасть на Запад?

**Федин** предлагает Солженицыну ответить на заданные вопросы.

**Солженицын** — Да то ли ещё обо мне говорили! Лицо, занимающее очень высокое положение и сегодня, заявило публично, что сожалеет: не он был в составе той тройки, которая выносила мне приговор в 1945 году, он бы тогда же приговорил меня к расстрелу!.. Здесь моё второе письмо истолковывают как ультиматум: или печатайте повесть, или её на Западе напечатают. Но этот ультиматум не я ставлю Секретариату, а вам и мне вместе ультиматум этот ставит жизнь. Я пишу, что меня беспокоит распространение повести в сотнях — эта цифра на глазок, я её не подсчитывал — в сотнях машинописных экземпляров.

**Голос** — Как это получилось?

**Солженицын** — А вот такое странное свойство обнаружилось у моих вещей: их настойчиво просят почитать, а взяв почитать — за счёт своего досуга или своих средств перепечатывают и дают читать дальше. Первую часть повести ещё год назад перечитала московская секция прозы, удивляюсь, почему тут т. Воронков сказал — не знали, где достать, запрашивали в КГБ. Года три назад такое же быстрое распространение получили «крохотные рассказы» или стихотворения в прозе: едва я их стал давать людям читать, как они быстро разлетё-

лись по разным городам Союза. А потом в редакцию «Нового мира» пришло письмо с Запада, из которого мы узнали, что эти крохотные рассказы и там уже напечатаны. Вот чтобы такая утка не успела произойти с «Раковым корпусом», я и написал своё настоящее письмо Секретариату. Я не меньше могу удивляться, как мог Секретариат нисколько не реагировать на моё письмо съезду—ещё прежде Запада? И не реагировать на всю ту клевету, которой меня окружили? Товарищ Воронков употребил здесь замечательное выражение «братья по перу и по труду». Так вот эти братья по перу и по труду уже два с половиной года спокойно взирают на то, как меня притесняют, преследуют, клеветают на меня.

**Твардовский** — Не все безучастны.

**Солженицын** — ...А редакторы газет, тоже братья, не помещают моих опровержений. (Далее буквально:) «Я уже не говорю, что моей книги не дают читать в лагерях: её не пропускали в лагеря, изымали обысками и сажали за неё в карцер даже в те месяцы, когда все газеты трубно хвалили «Один день Ивана Денисовича» и обещали, что «это не повторится». Но за последнее время книги стали тайно изымать и из вольных библиотек. О запрете выдавать её мне пишут из разных мест: велено отвечать читателям, что книга в переплёте, или на руках, или доступа нет к тем полкам, и уклоняться от выдачи. Вот свежее письмо из Красногвардейского района Крыма:

«В районной библиотеке мне по секрету (я — активист этой библиотеки) сказали, что ваши книги велено изъять. Одна из сотрудниц хотела подарить мне на память ненужный им теперь „Один день“ в журнале-газете, другая тут же остановила свою опрометчивую подругу: „Что вы, что вы, нельзя! Раз книгу отобрали в особый отдел, то опасно её кому-нибудь дарить“».

Не скажу, что книга изъята из всех библиотек, кое-где ещё есть. Но приезжающие ко мне в Рязань посетители не могли достать моей книги в рязанской областной читальне: им отнекивались разными способами, да так и не дали.

Давно известно, что клевета неистощима, изобретательна, быстра в росте, но когда столкнёшься с клеветою сам, да ещё с невиданной новой формой её — клеветою с трибуны, то диву даёшься. Беспрепятственно провернулся круг лжи о том, что я был в плену и сотрудничал с немцами. Но этого уже кажется мало! Этим летом в сети политпросвещения, например, в Болшеве, агитаторам было продиктовано, что я бежал в Арабскую республику и сменил подданство. Ведь это же всё записывается в блокноты и разносится дальше с коэффициентом сто. И это рядом со столицей! Есть и другой вариант. В Соликамске (п/я 389) майор Щестаков объявил, что я бежал по туристской путёвке в Англию. Говорит заместитель по политчасти — кто же смеет не верить? Другой раз он же объявил: Солженицыну официально запрещено писать! Ну, тут он хоть близок к истине.

Ещё так обо мне заявляют с трибун: «его освободили досрочно, а зря». Зря или не зря освободили, это мы можем видеть из судебного решения Военной Коллегии Верховного Суда по реабилитации, оно предложено Секретариату...

**Твардовский** — И там боевая характеристика офицера Солженицына.

**Солженицын** — А вот *досрочно* — это очень смачно употреблено! Сверх восьмилетнего приговора я просидел месяц в пересыльных тюрьмах, да такую мелочь у нас и упоминать стыдно, затем без приговора получил вечную ссылку, а этой вечной обречённостью просидел три года в ссылке, только благодаря XX съезду освобождён—и это называется *досрочно*! Как это словечко выражает удобное мировосприятие 1949—53 годов: если не умер у лагерной помойки, если хоть на коленях из лагеря выполз — значит

освобождён «досрочно»... Ведь срок — вечность, и что раньше — то всё досрочно.

Бывший министр Семичастный, любивший выступать по вопросам литературы, не раз уделял внимание и мне. Одно из его удивительных, уже комичных, обвинений было такое: «Солженицын материально поддерживает капиталистический мир тем, что не берёт гонорара» какого-то за вышедшую где-то книгу, очевидно «Ивана Денисовича», другой нет. Так если вы знаете, где-то прочли, и очень надо, чтоб эти деньги я у капитализма вырвал — почему же меня не известят? Я-то в Рязани не знаю. «Международная книга»? Иностранная Комиссия СП?—сообщите: вот мол твой патриотический долг забрать эти деньги. Ведь это уже комедийная путаница: кто берёт гонорары с Запада — тот продан капиталистам, кто не берёт — тот их материально поддерживает. А третий выход? — на небо лети. Семичастный уже не министр, но идея его не угасла: лекторы Всесоюзного общества по распространению научных знаний понесли её дальше. Например, её повторил 16 июля этого года лектор А. А. Фрейфельд в Свердловском цирке. Сидели две тысячи человек и только удивлялись: какой же ловкач этот Солженицын! — умудрился, не выходя из Советского Союза, не имея в кармане вообще ни копейки — материально укрепить мировой капитализм. (Действительно, история для цирка.) Вот такую чушь обо мне беспрепятственно рассказывает всяк, кому не лень.

12 июня здесь, в Секретариате, у нас было собеседование — тихое, мирное. Вышли отсюда, прошло короткое время — и вдруг слухи по всей Москве, всё рассказывается не так, как было, всё вывернуто, начиная с того, что будто бы Твардовский здесь кричал и стучал на меня кулаком по столу. Но ведь те, кто был, знают, что ничего подобного не было, зачем же лгать? Вот и сейчас мы однозначно слышим, что тут говорится, но где гарантия, что и после сегодняшнего секретариата опять всё не вывернут наизнанку? И если уж «братья по перу и труду», так первая просьба: давайте, рассказывая о сегодняшнем секретариате, ничего не придумывать и не выворачивать.

Я — один, клеветают обо мне — сотни. Я, конечно, не успею никогда оборониться и вперёд не знаю — от чего. Ещё меня могут объявить и сторонником геоцентрической системы и что я первый поджигал костёр Джордано Бруно, не удивляюсь.

**Салынский** — Я буду говорить о «Раковом корпусе». Я считаю, что эту вещь необходимо печатать — это яркая и сильная вещь. Правда, там патологически пишется о болезнях, читатель невольно поддаётся раковой боязни, и без этого распространённой в нашем веке. Это надо как-то убрать. Ещё надо убрать фельетонную хлесткость. Ещё огорчает, что почти все судьбы персонажей в той или иной форме связаны с лагерем или лагерной жизнью. Ну, пусть Костроглов, пусть Русанов, — но зачем обязательно и Вадиму? и Шулубину? и даже солдату? В самом конце мы узнаём, что он — не просто солдат из армии, а из лагерной охраны. Общее направление романа в том, что он говорит о конце тяжёлого прошлого. Теперь о нравственном социализме. По-моему, здесь ничего страшного. Если бы Солженицын проповедовал безнравственный социализм — это было бы ужасно. Если бы он проповедовал национал-социализм или национальный социализм по-китайски — это было бы ужасно. Каждый человек волен думать по-своему о социализме и его развитии. Сам я думаю — социализм определяется экономическими законами. Но спорить — можно, зачем же не печатать повести? — Далее призывает Секретариат решительно выступать с опровержением клеветы против Солженицына.

**Симонов** — Роман «В круге первом» я не приемлю и против его печатания. А «Раковый корпус» — я за публикацию. Мне не всё пра-

вится в этой повести, но не обязательно, чтобы всем нравилось. Может быть, что-то из делаемых замечаний автору надо и принять. А всё принять конечно невозможно. Мы обязаны опровергнуть и клевету относительно него. И книгу его рассказов надо выпустить — и вот там-то, в предисловии, будет хороший повод рассказать его биографию — и так клевета отпадёт сама собой. Покончить с ложными обвинениями должны и можем мы — а не он сам. «Пира победителей» я не читал и у меня нет желания его читать, раз автор этого не хочет.

**Твардовский** — Солженицын находится в таких условиях, что ему с выступлением и соваться нельзя. Это именно мы, Союз, должны дать заявление, опровергающее клевету. Одновременно мы должны строго предупредить Солженицына за недопустимую, не принятую форму его обращения к съезду, во столько адресов. Редакция «Нового мира» не видит никаких причин не печатать «Ракового корпуса», конечно с известными доработками. Мы хотели только получить одобрение Секретариата или хотя бы — что Секретариат не возражает. (Просит Воронкова достать уже прежде подготовленный, ещё в июне, проект коммюнике Секретариата.)

**Воронков** не спешит достать коммюнике. Тем временем

**Голоса** — Да ведь ещё не решили! Есть и против!

**Федин** — Нет, это неверно, Секретариат не должен ничего печатать и опровергать. Неужели мы в чём-то виновны? Неужели вы, Александр Трифонович, считаете себя виновным?

**Твардовский** (быстро, выразительно) — Я??—нет.

**Федин** — Не нужно искать искусственного повода для выступления. Какие-то слухи — недостаточный повод. Другое дело, если Солженицын сам найдёт повод развязать возникшую ситуацию. Тут должно быть публичное выступление самого Солженицына. Но вы подумайте, Александр Исаевич, в интересах чего мы станем печатать ваши протесты? Вы должны прежде всего протестовать против грязного использования вашего имени нашими врагами на Западе. При этом, конечно, вы сумеете найти возможность высказать вслух и какую-то часть ваших сегодняшних жалоб, сказанных здесь. Если это будет удачный и тактичный документ — вот мы его и напечатает, поможем вам. Именно с этого должно начаться ваше оправдание, а не с ваших произведений, не с этой торговли — сколько месяцев мы имеем право рассматривать вашу рукопись — три месяца? четыре? Разве это страшно? Вот страшное событие: ваше имя фигурирует и используется там, на Западе, в самых грязных целях.

(Одобрение среди членов Секретариата)

**Корнейчук** — Мы вас пригласили не для того, чтобы бросать в вас камни. Мы позвали вас, чтобы помочь вам выйти из этого тяжёлого и двусмысленного положения. Вам задавали вопросы, но вы ушли от ответа. Отдаёте ли вы себе отчёт: идёт колоссальная мировая битва и в очень тяжёлых условиях. Мы не можем быть в стороне. Своим творчеством мы защищаем своё правительство, свою партию, свой народ. Вы тут иронически высказались о заграничных поездках как о приятных прогулках, а мы ездим за границу вести борьбу. Мы возвращаемся оттуда измотанные, изнурённые, но с сознанием исполненного долга. Не подумайте, что я обиделся на замечание о путевых заметках, я их не пишу, я езжу по делам Всемирного Совета Мира. Мы знаем, что вы много перенесли, но не вы один. Было много других людей в лагерях, кроме вас. Старых коммунистов. Они из лагеря — и шли на фронт. В нашем прошлом было не только беззаконие, был подвиг. Но вы этого не увидели. Ваши выступления — только прокурорские. «Пир победителей» — это злобно, грязно, оскорбительно! И эта гадкая вещь распространяется, народ её читает! Вы сидели когда там? Не в 37-м году! А в 37-м нам приходилось переживать! — но ничто не остановило нас! Правильно сказал вам Кон-

стантин Александрович: вы должны выступить публично и ударить по западной пропаганде. Идите в бой против врагов нашей страны! Вы понимаете, что в мире существует термоядерное оружие, и несмотря на все наши мирные усилия Соединённые Штаты могут его применить? Как же нам, советским писателям, не быть солдатами?

**Солженицын** — Я повторно заявляю, что обсуждение «Пира победителей» является недобросовестным, и настаиваю, чтобы он был исключён из рассмотрения!

**Сурков** — На чужой роток не накинешь платок.

**Кожевников** — Большой промежуток времени от письма Солженицына до сегодняшнего обсуждения свидетельствует как раз о серьёзности отношения Секретариата к письму. Если бы мы обсуждали его тогда, по горячим следам, мы бы отнеслись острее и менее продуманно. Мы решили сами убедиться, что это за антисоветские рукописи. И потратили много времени на их чтение. По-видимому, документально доказана военная судьба Солженицына, но мы обсуждаем сейчас не офицера, а писателя. Я сегодня впервые услышал, что Солженицын отказывается от пасквильного изображения советской действительности в «Пире победителей», но я не могу отказаться от своего первоначального впечатления от этой пьесы. Для меня момент отказа Солженицына от «Пира победителей» ещё не совпал с моим восприятием этой пьесы. Может быть потому, что в «Круге первом» и в «Раковом корпусе» есть ощущение той же мести за пережитое. И если стоит вопрос о судьбе этих произведений, то автор должен помнить, что он обязан тому органу, который его открыл. Я когда-то первый выступил с опасениями по поводу «Матрёниного двора». Мы тратили время, читали ваши сырые рукописи, которые вы не решались даже дать ни в какую редакцию. «Раковый корпус» вызывает отвращение от обилия натурализма, от нагнетания всевозможных ужасов, но всё-таки главный план его — не медицинский, а социальный, и он-то неприемлем. И как будто сюда же относится и название вещи. Своим вторым письмом вы вымогаете публикацию своей недоделанной повести. Достойно ли такое вымогательство писателя? Да все у нас писатели охотно прислушиваются ко мнению редакторов и не торопят их.

**Солженицын** (буквально) — Несмотря на мои объяснения и возражения, несмотря на полную бессмыслицу обсуждать произведение, написанное двадцать лет назад, в другую эпоху, в несравнимой обстановке и другим человеком, к тому же никогда не опубликованное, никем не читанное и выкраденное из ящика, — часть ораторов сосредотачивается именно на этом произведении. Это гораздо бессмысленнее, чем, например, на 1-м съезде писателей поносить бы Максима Горького за «Несвоевременные мысли» или Сергеева-Ценского за осваговские корреспонденции, которые ведь были и опубликованы, и лишь за 15 лет до того. Здесь сказал Корнейчук, что «такого не было и не будет, и в истории русской литературы такого не было». Вот именно!

**Озеров** — Письмо съезду оказалось политически страшным актом. Оно прежде всего пошло к врагам. В письме были вещи неправильные. В той же куче с несправедливо репрессированными писателями оказался и Замятин. По поводу печатания «Ракового корпуса» можно условиться с «Новым миром»: вещь может идти при условии исправления рукописи и дискуссии по проведенным исправлениям. Тут предстоит ещё очень серьёзная работа. Повесть разностойна по качеству, есть в ней и удачи и неудачи. Особенно приходится возражать против плакатности, карикатурности. Я просил бы о целом ряде купюр по повести, о которых сейчас здесь просто нет времени говорить. Философия нравственного социализма не просто принадлежит герою, она звучит как отстаиваемая автором. Это недопустимо.

**Сурков** — Я тоже читал «Пир победителей». Её настроение: «да будьте вы все прокляты!» И в «Раковом корпусе» продолжает звучать то же. Кто из всех персонажей вошёл в мир героя? Только этот странный Шулубин, так же похожий на коммуниста, как я на... Шулубин, с его бесконечно устарелыми взглядами. Не буду скрывать, я человек начитанный. Все эти экономические и социальные теории я хорошо знаю, нюхал я и Михайловского, и Владимира Соловьёва, и это наивное представление, что экономика может зависеть от нравственности. Претерпев столько, вы имели право обидеться как человек, но вы же писатель! Знакомые мне коммунисты имели, как вы выражаетесь, *вышку*, но это нисколько не повлияло на их мировоззрение. Нет, повесть эта — не физиологическая, это — политическая повесть, и упирается всё в вопросы концепции. И потом этот идол на Театральной площади, — хотя памятник Марксу ещё не был тогда поставлен. Если ваш «Раковый корпус» будет напечатан, эта вещь может быть поднята против нас и будет посильнее мемуаров Светланы. Да, конечно, надо было бы предупредить появление повести на Западе, но — трудно. Вот я был последнее время близок к Анне Андреевне Ахматовой, знаю: дала она нескольким человекам почитать «Реквием», походил он несколько недель — и сразу напечатан на Западе. Конечно, наш читатель уже настолько развит и настолько искущён, что его никакая книжка не уведёт от коммунизма, а всё-таки произведения Солженицына для нас опасней Пастернака: Пастернак был человек, оторванный от жизни, а Солженицын — с живым, боевым, идейным темпераментом, это — идейный человек. Мы — первая революция в истории человечества, не сменившая ни лозунгов, ни знамён! «Нравственный социализм» — это довольно обывательский социализм, старый, примитивный и (в сторону Салынского) не знаю, как можно в этом не разобраться, что-то тут найти.

**Салынский** — Да я его не защищаю вовсе.

**Рюриков** — Солженицын пострадал от тех, кто его оклеветал, но он пострадал и от тех, кто его чрезмерно захваливает и приписал ему качества, которых у него нет. Солженицыну если отказываться — то и от «продолжателя русского реализма». Поведение маршала Рокоссовского, генерала Горбатова — честнее, чем ваших героев. Источник энергии этого писателя — в озлоблении, в обидах. По-человечески можно это понять. Однако вы пишете, что ваши вещи запрещают? Да цензура не прикоснулась ни к одному из ваших романов! Удивляюсь, почему Твардовский испрашивает разрешения у нас. Вот я же, например, никогда не просил у Союза писателей разрешения — печатать или не печатать. (Просит Солженицына отнестись с доверием к рекомендациям «Нового мира» и обещает от «любого из присутствующих» постраничные замечания по «Раковому корпусу».)

**Баруздин** — Я как раз принадлежу к тем, кто и с самого начала не разделял восхищения произведениями Солженицына. Уже «Матрёнин двор» намного слабее первой его вещи. А в «Круге первом» очень много слабого, так убого наивно и примитивно показаны Сталин, Абакумов и Поскрёбышев. «Раковый корпус» же — антигуманистическая вещь. Конец повести подводит к тому, что «по другому надо было идти пути». Неужели Солженицын мог рассчитывать, что его письмо «вместо выступления» так-таки сразу и прочтут на съезде? Сколько съезд получил писем?

**Воронков** — Около пятисот.

**Баруздин** — Ну! И разве можно было в них быстро разобраться? Не согласен с Рюриковым: это правильно, что вопрос о разрешении поставлен на Секретариате. Наш Секретариат должен чаще превращаться в творческий орган и охотно давать советы редакторам.

**Абдумомунов** — Это очень хорошо, что Солженицын нашёл мужество подумать, как выполнить предложение Константина Александровича. Если мы выпустим в свет «Раковый корпус» — ещё будет

больше шума и вреда, чем от его первого письма. И что это значит — «насыпал табаку в глаза макаке резус — просто так»? Как это — просто так? Это — против всего нашего строя высказывание. В повести есть Русановы, есть великомученики от лагеря — и только? А где же советское общество? Нельзя так сгущать краски, нельзя подавать повесть так беспросветно. Много длиннот, повторов, натуралистических сцен — всё это надо убрать.

**Абашидзе** — Успел прочесть только 150 страниц «Ракового корпуса», поэтому глубокого суждения иметь не могу. Но не создается такого впечатления, чтоб этот роман нельзя было печатать. Но, повторяю, глубокого суждения иметь не могу. Может быть самое главное там дальше. Мы все, честные и талантливые писатели, всегда боролись против лакировщиков, даже когда нам это запрещали. Но у Солженицына есть опасность впасть в другую крайность: у него места чисто очеркового разоблачительного характера. Художник — как ребёнок, он разбирает машину, чтобы посмотреть, что внутри. Но истинное искусство начинается со сборки. Я замечаю, как он спрашивает у соседа фамилию каждого оратора. Почему он нас никого не знает? Потому что мы его никогда не приглашали. Правильно предложил К. А., пусть сам Солженицын ответит на клевету, может быть сперва по внутреннему употреблению.

**Бровка** — В Белоруссии много людей, тоже сидевших, — например, Сергей Граковский, тоже отсидел 20 лет. Но они поняли, что не народ, не партия, не советская власть виноваты в беззакониях. Записки Светланы Сталиной — это бабья болтовня, народ уже раскусил и смеётся. А тут перед нами — общепризнанный талант, вот в чём опасность публикации. Да, вы чувствуете боль своей земли, и даже чрезмерно. Но вы не чувствуете её радости. «Раковый корпус» — слишком мрачно, печатать нельзя. — (Как и все предыдущие и последующие ораторы, поддерживает предложение К. А. Федина: Солженицын должен выступить в печати против западной клеветы по поводу его письма.)

**Яшен** (ругает «Пир победителей») — Автор — не измучен несправедливостью, а отравлен ненавистью. Люди возмущаются, что есть в рядах Союза писателей такой писатель. Я хотел предложить исключить его из Союза. Не он один пострадал, но другие понимают трагедию времени лучше. Вот, например, молодой Икрамов. В «Раковом корпусе» — конечно, рука мастера. Автор знает предмет лучше любого врача и профессора. Но вот за блокаду Ленинграда он обвиняет кроме Гитлера — «ещё других». Кого это? — непонятно. Берия? Или сегодняшних замечательных руководителей? Надо же ясно сказать. — (Всё же оратор поддерживает мужественное решение Твардовского поработать над этой повестью с автором. И после этого можно будет дать посмотреть узкому кругу.)

**Кербабаяев** — Читал «Раковый корпус» с большим неудовольствием. Все — бывшие заключённые, всё — мрачно, ни одного тёплого слова. Просто тошнит, когда читаешь. Вера предлагает герою свой дом и свои объятия, а он отказывается от жизни. Потом это «девять сто девять плачут, один смеётся» — это как понять? это — про Советский Союз? Я согласен с тем, как говорил мой друг Корнейчук. Почему автор видит только чёрное? А почему я не пишу чёрное? Я всегда стараюсь писать только о радостном. Это мало, что он от «Пира победителей» отказался. Я считал бы мужеством, если бы он отказался от «Ракового корпуса» — вот тогда я б обнял его как брата.

**Шаринов** — А я б ему скидку не дал, я б его из Союза исключил! В пьесе у него всё советское представлено отрицательно и даже Суворов. Совершенно согласен: пусть откажется от «Ракового корпуса». Наша республика освоила целинные и залежные земли и идёт от успеха к успеху.



**Новиченко** — Письмо съезду разослано с недопустимым обращением через голову формального адресата. Присоединяюсь к строгим словам Твардовского, что мы эту форму должны решительно осудить. Не согласен с главными требованиями письма: нельзя допускать всё печатать. Это что ж тогда — и «Пир победителей» печатать? По поводу «Ракового корпуса». Сложное испытываю отношение. Я — не ребёнок, мне тоже придётся умирать и может быть в таких же мучениях, как герои Солженицына. И здесь-то важнее всего: какова твоя совесть? каковы твои моральные резервы? И если бы роман ограничивался этим, я бы считал нужным печатать. Но — низкопробное вмешательство в нашу литературную жизнь — каррикатурная сцена с дочкой Русанова. Идеино-политический смысл нравственного социализма — это отрицание марксизма-ленинизма. Потом эти слова Пушкина — «Во всех стихиях человек Тиран, предатель или узник» — это оскорбительная теория. Все эти вещи категорически неприемлемы ни для нас, ни для нашего общества и народа. Судьями общества в повести взяты все пострадавшие, это оскорбительно. Русанов — от-вратный тип, правдиво изображён. Но недопустимо, что он становится из типа — носителем и выразителем всего нашего официального общества. Коробит частое употребление имени Горького в этих подлейших и грязнейших русановских устах. Даже если роман будет доведён до определённой кондиции — он не станет романом соцреализма. Но будет явлением, талантливым произведением. Прочёл я и «Пир победителей» — и что-то по-человечески надломилось по отношению к автору. Надо преодолеть всяческие корешки, ведущие от этой пьесы.

**Марков** — Состоялось ценное обсуждение. Оратор только что приехал из Сибири, пять раз выступал перед массовой аудиторией. Надо сказать, никакого особенного ажиотажа вокруг имени этого автора нигде нет. Только в одном месте подали записку — я прошу извинения, но именно так было написано: «а когда этот Долженицын перестанет поносить советскую литературу?» Мы ждём от Солженицына совершенно чёткого ответа на буржуазную клевету, ждём выступления в печати. Он должен защитить свою честь как советского писателя. Заявлением о «Пире победителей» он снял с моей души камень. «Раковый корпус» я оцениваю, как и Сурков. Вещь стоит всё-таки в каком-то практическом плане. Совершенно не приемлю в ней всех общественно-политических заходов. «Кто-то сделал» — безвестные адреса. При установившемся добром сотрудничестве между «Новым миром» и Александром Исаевичем эта повесть может быть дописана, хотя и потребует очень серьёзная работа. А сегодня пускать в набор конечно нельзя. Что же дальше? Конструктивно: А. И. готовит такое выступление в печати, о котором тут все говорили, очень хорошо будет как раз в преддверии праздника — а уж потом возможно будет какое-то коммюнике со стороны Секретариата. Всё же я продолжаю считать его нашим товарищем. Но в сложной ситуации мы, А. И., оказались по вашей вине, а не по чьей другой. Предложения об исключении из Союза? — при тех началах товарищества, которые должны сложиться, мы не должны торопиться.

**Солженицын** — Уже несколько раз я выступал сегодня против обсуждения «Пира победителей», но приходится опять о том же. В конце концов я могу упрекнуть вас всех в том, что вы — не сторонники теории развития, если серьёзно предполагаете, что за двадцать лет и при полной смене всех обстоятельств человек не меняется. Но тут я услышал и более серьёзную вещь: Корнейчук, Баруздин и ещё кто-то высказались так, что «народ читает» «Пир победителей», будто эта пьеса распространяется. Я сейчас буду говорить очень медленно, пусть каждое слово моё будет записано точно. Если «Пир победителей» пойдёт широко по рукам или будет напечатан, я торжественно заявляю, что вся ответственность за это ляжет на ту организацию,

которая использовала единственный сохранившийся, никем не читанный экземпляр этой пьесы для «издания» при моей жизни и против моей воли: это она распространяет пьесу! Я полтора года непрерывно предупреждал, что это очень опасно! Я предполагаю, что у вас там не читальный зал, а пьесу дают на руки, её возят домой, а там есть сыновья и дочери, и не все ящики запираются на замок — я предупреждал! и сейчас предупреждаю!

Теперь о «Раковом корпусе». Упрекают уже за название, говорят, что так и раковый корпус — не медицинский предмет, а некий символ. Ответу: подручный же символ, если добыть его можно, лишь пройдя самому через рак и умирание. Слишком густой замес для символа, слишком много медицинских подробностей для символа. Я давал повесть на отзыв крупным онкологам — они признавали её с медицинской точки зрения безупречной и на современном уровне. Это именно рак, рак как таковой, каким его избегают в увеселительной литературе, но каким его каждый день узнают больные, в том числе ваши родственники, а может быть вскоре и кто-нибудь из присутствующих ляжет на онкологическую койку и поймёт, какой это «символ».

Совершенно не понимаю, когда «Раковый корпус» обвиняют в антигуманистичности. Как раз наоборот: это преодоление смерти жизнью, прошлого — будущим, я по свойствам своего характера иначе не взялся бы и писать. Но я считаю, что задачи литературы и по отношению к обществу и по отношению к отдельному человеку не в том заключаются, чтобы скрывать от него правду, смягчать её, а говорить истинно то, как оно есть, как ждёт его. И в русских пословицах мы слышим то же правило:

Не люби поноровщика, люби спорщика.  
Не тот доброхот, у кого на устах мёд.

Да вообще задачи писателя не сводятся к защите или критике того или иного способа распределения общественного продукта, к защите или критике той или иной формы государственного устройства. Задачи писателя касаются вопросов более общих и более вечных. Они касаются тайн человеческого сердца и совести, столкновения жизни и смерти, преодоления душевного горя и тех законов протяжённого человечества, которые зародились в незапамятной глубине тысячелетий и прекратятся лишь тогда, когда погаснет солнце.

Меня огорчает, что некоторые места в повести товарищи прочли просто невнимательно и отсюда родились извращённые представления. Уж этого-то быть не должно. Вот «девяносто девять плачут, один смеётся» — это ходовая лагерная пословица; к тому типу, который лезет без очереди, Костоготов подходит с этой пословицей, чтобы дать себя опознать, и только. А тут делают вывод, что это — про весь Советский Союз. Или — макака резус, она два раза там встречается, и из сопоставления ясно, что под злым человеком, насыпавшим в глаза табаку просто так, подразумевается конкретно Сталин. А что мне возражают? — что не «просто так»? Но если не «просто так» — так значит, это было закономерно, необходимо? Удивил меня Сурков, я даже не мог сразу понять, почему он заговорил о Марксе, где он там у меня в повести? Ну, Алексей Александрович! Вы же поэт, человек с тонким художественным вкусом, и вдруг ваше воображение даёт такой промах, вы не поняли этой сцены? Шулубин приводит учение Бэкона в его терминологии, он говорит «идолы рынка» — и Костоготов представляет идола внутри театра, нет, не лезет, — так значит, на театральной площади. И как же вы могли вообразить, что речь идёт о Москве и о памятнике Марксу, ещё не поставленном?..

Сказал товарищ Сурков, что несколько недель понадобилось «Реквиему» походить по рукам — и он оказался за границей. А «Ра-

ковый корпус» (1-я часть) ходит уже больше года. Вот это-то меня и беспокоит, вот потому я и тороплю Секретариат.

Ещё тут был мне совет товарища Юрикова: отказаться от продолжения русского реализма. Вот от этого — руку на сердце положу — никогда не откажусь.

**Юриков** — Я не сказал — отказаться от продолжения русского реализма, а от истолкования этой роли на Западе, как они делают.

**Солженицын** — Теперь относительно предложения Константина Александровича. Ну, конечно же, я его приветствую. Именно публичности я и добиваюсь всё время! Довольно нам таиться, довольно нам скрывать наши речи и прятать наши стенограммы за семью замками. Вот было обсуждение «Ракового корпуса». Решено было секцией прозы — послать стенограмму обсуждения в заинтересованные редакции. Куда там! Спрятали, еле-еле согласились мне-то дать, автору. И сегодняшняя стенограмма — я надеюсь, Константин Александрович, получить её?

Спросил К. А.: «в интересах чего печатать ваши протесты?» Помоему, ясно: в интересах отечественной литературы. Но странно говорит К. А., что *развязать* ситуацию должен я. У меня связаны руки и ноги, заткнут рот — и я же должен развязать ситуацию? Мне кажется, это легче сделать могучему Союзу писателей. Мою каждую строчку вычёркивают, а у Союза в руках вся печать. Я всё равно не понимаю и не вижу, почему моё письмо не было затчено на съезде. Теперь К. А. предлагает бороться не против причин, а против следствия — против шума на Западе вокруг моего письма. Вы хотите, чтобы я напечатал опровержение — а чего именно? Не могу я вообще выступать по поводу ненапечатанного письма. А главное: в письме моём есть общая и частная часть. Должен ли я отказаться от общей части? Так я и сейчас всё так же думаю, и ни от одного слова не отказываюсь. Ведь это письмо — о чём?

**Голоса** — О цензуре.

**Солженицын** — Ничего вы тогда не поняли, если — о цензуре. Это письмо — о судьбах нашей великой литературы, которая когда-то покорила и увлекла мир, а сейчас утратила своё положение. Говорят нам с Запада: умер роман, а мы руками машем и доклады делаем, что нет, не умер. А нужно не доклады делать, а романы опубликовывать — такие, чтоб там глаза зажмурили, как от яркого света, — и тогда притихнет «новый роман», и тогда окоснеют «нео-авангардисты». От общей части своего письма я не собираюсь отказываться. Должен ли я, стало быть, заявить, что несправедливы и ложны восемь пунктов частной части моего письма? Так они все справедливы. Должен ли я сказать, что часть пунктов уже устранена, исправляется? Так ни один не устранён, не исправлен. Что же мне можно заявить? Нет, это вы расчистите мне сперва хоть малую дорогу для такого заявления: опубликуйте во-первых моё письмо, затем — коммюнике Союза по поводу письма, затем укажите, что из восьми пунктов исправляется — вот тогда и я смогу выступить, охотно. Моё сегодняшнее заявление о «Пире победителей», если хотите, тогда печатайте тоже, хоть я не понимаю ни обсуждения украденных пьес, ни опровержения ненапечатанных писем. 12 июня здесь, в Секретариате, мне заявили, что коммюнике будет напечатано безо всяких условий, — а сегодня уже ставят условия. Что изменилось?

Запрещается моя книга «Иван Денисович». Продолжается и вспыхивает всё новая против меня клевета. Опровергать её можно вам, но не мне. Только то меня утешает, что ни от какой клеветы я инфаркта не получу никогда, потому что закаляла меня в сталинских лагерях.

**Федин** — Нет, очерёдность не та. Первым публичным выступлением должно быть ваше. Получив столько одобрительных замечаний

вашему таланту и стилю, вы найдёте форму, сумеете. Сперва мы, а потом вы — такая реплика не имеет твердого основания.

**Твардовский** — А само письмо будет при этом опубликовано?

**Федин** — Нет, письмо надо было публиковать тогда, во-время. Теперь нас заграница обогнала, зачем же теперь?

**Солженицын** — Лучше поздно, чем никогда. И из моих восьми пунктов ничего не изменится?

**Федин** — Это потом уже посмотрим.

**Солженицын** — Ну, я уже ответил, и всё, надеюсь, застенографировано точно.

**Сурков** — Вы должны сказать, отмежёвываетесь ли вы от той роли лидера политической оппозиции, которую вам приписывают на Западе?

**Солженицын** — Алексей Александрович, ну, уши вянут такое слышать — и от вас: художник слова — и лидер политической оппозиции? Как это вяжется?

**Несколько коротких выступлений**, настаивающих, чтобы Солженицын принял сказанное Фединым.

**Голоса** — Он подумает!..

**Солженицын** ещё раз говорит, что такое выступление ему первому невозможно, отечественный читатель так и не будет знать, о чём речь.

(Запись велась в ходе заседания А. Солженицыным.)

[5]

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР  
ПРАВЛЕНИЕ

№ 3142

25 ноября 1967 г.

Товарищу А. И. Солженицыну.

Уважаемый Александр Исаевич!

В ходе заседания Секретариата Правления Союза писателей СССР 22 сентября с. г., на котором обсуждались Ваши письма, наряду с резкой критикой Вашего поступка, товарищами высказывалась доброжелательная мысль о том, что Вам необходимо иметь достаточно времени возможность тщательно обдумать всё, о чём говорилось на Секретариате, и уже затем выступить публично и определить Ваше отношение к антисоветской кампании, поднятой недружественной зарубежной пропагандой вокруг Вашего имени и Ваших писем. Прошло два месяца.

Секретариату хотелось бы знать, к какому решению Вы пришли. С уважением

К. Воронков.

По поручению Секретариата,  
Секретарь Правления Союза  
писателей СССР.

[6]

1. 12. 67.  
Рязань

В СЕКРЕТАРИАТ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Из Вашего № 3142 от 25. 11. 67 я не могу понять:

1) Намеревается ли Секретариат защитить меня от непрерывной трёхлетней (мягко было бы назвать её «недружественной») клеветы у

меня на родине? (Новые факты: 5. 10. 67 в Ленинграде в Доме Прессы при многолюдном стечении слушателей главный редактор «Правды» Зимянин повторил надоевшую ложь, что я был в плену, а также нащупывал избитый приём против неудобных — объявить меня шизофреником, а лагерное прошлое — навязчивой идеей. Лекторы МГК выдвинули новые лживые версии о том, будто я «сколачивал в армии» то ли «пораженческую», то ли «террористическую» организацию. Непонятно, почему не увидела этого в деле Военная Коллегия Верховного Суда.)

2) Какие меры принял Секретариат, чтобы отменить незаконный запрет моих печатных произведений в библиотечном пользовании и цензурное распоряжение изымать мою фамилию из упоминания в критических статьях? (В «Вопросах литературы» так поступили даже... в переводе японской статьи. В Пермском университете подвергнута санкциям группа студентов, пытавшихся обсуждать мои печатные произведения в своём научном сборнике.)

3) Хочет ли Секретариат предотвратить бесконтрольное появление «Ракового корпуса» за границей или он остаётся равнодушен к этой опасности? Делаются ли какие-нибудь шаги для печатания отрывков из повести в «Литературной газете», а всей повести — в «Новом мире»?

4) Нет ли у Секретариата намерения ходатайствовать перед правительством о присоединении нашей страны к международной конвенции об авторском праве? Тем самым наши авторы получили бы надёжное средство защиты своих произведений от незаконных зарубежных изданий и бесстыдной коммерческой гонки переводов.

5) За прошедшие полгода от моего письма съезду прекращено ли наконец распространение незаконного «издания» отрывков из моего архива и уничтожено ли это «издание»?

6) Какие меры принял Секретариат к возвращению мне изъятого архива и романа «В круге первом», кроме публичных заверений, что они уже якобы возвращены (секретарь Озеров, например)?

7) Принято или отвергнуто Секретариатом предложение К. М. Сиимонова издать сборник моих рассказов.

8) Почему я до сих пор не получил стенограммы заседания Секретариата 22 сентября для её изучения?

Я был бы очень признателен за разъяснение этих вопросов.

Солженицын.

[7]

## ЧЛЕНУ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Скоро год, как я послал своё безотзывное письмо съезду писателей. С тех пор ещё дважды я писал Секретариату СП, трижды был там сам. Ничто не изменилось и по сегодня: мой архив мне не возвращён, книги не издаются, имя под запретом. Я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности ухода моих произведений за границу, поскольку они давно и широко ходят по рукам. Секретариат же не только не помог напечатанию уже набранного в «Новом мире» «Ракового корпуса», но упорно противодействовал тому, даже воспрепятствовал московской секции прозы об судить 2-ю часть повести.

Упущен год, неизбежное произошло: на днях главы из «Р. корпуса» напечатаны в литературном приложении к «Таймс». Теперь не исключены и другие публикации — быть может с неточных и неокончательных редакций повести. Происшедшее вынуждает меня ознакомить нашу литературную общественность с содержанием прилегаю-

ших писем и высказываний — чтобы стала ясна позиция и ответственность Секретариата СП СССР.

Прилагаемое изложение заседания Секретариата 22. 9. 67, записанное лично мною, разумеется не полно, но совершенно достоверно, и может служить достаточной информацией до опубликования полной стенограммы.

Солженицын.

16.4.68

Приложения:

1. Моё письмо всем (сорока двум) секретарям СП от 12. 9. 67.
2. Изложение заседания в Секретариате 22. 9. 67.
3. Письмо К. Воронкова 25. 11. 67.
4. Моё письмо в Секретариат 1. 12. 67.

[18]

### В СЕКРЕТАРИАТ СП СССР

- Журнал «Новый мир»
- «Литературная газета»
- Членам СП

В редакции «Нового мира» меня познакомили с телеграммой: «НМО177 Франкфурт на Майне Ч2 9 16. 20 Твардовскому „Новый мир“».

Ставим вас в известность, что комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на Запад ещё один экземпляр «Ракового корпуса», чтобы этим заблокировать его публикацию в «Новом мире». Поэтому мы решили это произведение опубликовать сразу.

Редакция журнала „Грани“».

Я хотел бы протестовать против публикации как в „Гранях“, так и осуществляемой В. Луи, но мутный характер телеграммы требует прежде всего выяснить:

1) действительно ли она подана редакцией журнала „Грани“ или подставным лицом (это можно установить через международный телеграф, запросом московского телеграфа во Франкфурт-на-Майне)?

2) кто такой Виктор Луи, что за личность, чей он подданный? Действительно ли он вывез из Советского Союза экземпляр «Ракового корпуса», кому передал, где грозит публикация ещё? И какое отношение имеет к этому Комитет Госбезопасности?

Если Секретариат СП заинтересован в выяснении истины и остановке грозящих публикаций «Ракового корпуса» на русском языке за границей, — я думаю, он может быстро получить ответы на эти вопросы.

Этот эпизод заставляет задуматься о странных и тёмных путях, какими могут попадать на Запад рукописи советских писателей. Он есть крайнее напоминание нам, что нельзя доводить литературу до такого положения, когда литературные произведения становятся выгодным товаром для любого дельца, имеющего проездную визу. Произведения наших авторов должны допускаться к печатанию на своей родине, а не отдаваться в добычу зарубежным издательствам.

Солженицын.

18.4.68

В РЕДАКЦИЮ

«МОНД»  
«УНИТА»  
«ЛИТГАЗЕТЫ»

[9]

Из сообщения газеты «Монд» от 13 апреля мне стало известно, что на Западе в разных местах происходит печатание отрывков и частей из моей повести «Раковый корпус», а между издателями Мондадори (Италия) и Бодли Хэд (Англия) уже начат спор о праве «копирайт» на эту повесть.

Заявляю, что *никто* из зарубежных издателей не получал от меня рукописи этой повести или доверенности печатать её. Поэтому *ничью* состоявшуюся или будущую (без моего разрешения) публикацию я не признаю законной, ни за кем не признаю издательских прав; всякое искажение текста (неизбежное при бесконтрольном размножении и распространении рукописи) наносит мне ущерб; всякую самовольную экранизацию и инсценировку решительно порицаю и запрещаю.

Я уже имею опыт, как во всех переводах был испорчен «Иван Денисович» из-за спешки. Видимо, это же ждёт и «Раковый корпус». Но кроме денег существует литература.

Солженицын.

25.4.68.

[10]

В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Копия: журнал «Новый мир»

Я знаю, что Ваша газета не напечатает единой моей строки, не придав ей исказительного или порочного смысла. Но у меня нет другого выхода ответить моим многочисленным поздравителям иначе, как посредством Вас:

«Читателей и писателей, приславших поздравления и пожелания к моему 50-летию, я с волнением благодарю. Я обещаю им никогда не изменить истине. Моя единственная мечта — оказаться достойным надежд читающей России.

А. Солженицын.

Рязань, 12 декабря 1968 г.».

[11]

В президиум Московской городской коллегии адвокатов

В редакцию газеты «Известия»

7 мая 1969

Прошу Вашей помощи в защите моего имени от позорящих его действий Шалагина Александра Фёдоровича (Москва, ул. Д. Бедного 17, корпус 1, кв. 246) и в пресечении этих действий.

В течение уже многих месяцев он посещает ресторан «Славянский базар», где выдаёт себя за «писателя Солженицына», раздаёт от моего имени автографы, ведёт себя с вызывающей развязностью, делает дорогие подарки незнакомым женщинам (формально же — пенсионер, живущий на небольшую пенсию), заказывает музыку с громогласными пояснениями, что он «исстрадался в лагере» и теперь нуждается в весельи (с 1963 по 1965 г. действительно отбывал срок по ст. 154 УК).

Открытый наглый — от моего имени — поиск женщин составляет главный стержень его действий. Так, он звонил на «Мосфильм» с просьбой подыскать ему для совместных поездок по Союзу молодую машинистку-секретаря, и когда одна из девушек направилась по этому вызову, он напрямик предложил ей сожительство. Звонил он и

Драновской Дине Исаевне, режиссёру театрального коллектива Дворца Культуры им. Горького, читал от моего имени «лагерные стихи» и просил «подобрать ему молодых артисток с хорошими данными» якобы для выступлений с чтением его произведений. ...В меньших подробностях известны и другие подобные случаи.

Солженицын.

[12]

## ИЗЛОЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 4 НОЯБРЯ 1969 г.

(Заседание длилось с 15 ч. до 16 ч. 30 м.)

Присутствовали из семи членов Рязанской писательской организации — шестеро (секретарь Рязанского отделения Эрнст Сафонов лёг на операцию); секретарь СП РСФСР — Ф. Н. Таурин; секретарь по агитации и пропаганде Рязанского обкома КПСС — Александр Сергеевич Кожевников; редактор издательства Поварёнкин и ещё три товарища из областных организаций.

Данная запись в ходе заседания велась Солженицыным.

На повестке дня — один объявленный вопрос: «Информация секретаря СП РСФСР Таурина о решении Секретариата СП РСФСР «О мерах усиления идейно-воспитательной работы среди писателей».

Сама информация не занимает много времени. Ф. Таурин прочитывает решение секретариата СП РСФСР, вызванное побегом А. Кузнецова за границу, с указанием новых мер по усилению контроля за писателями, выезжающими за границу, а также мер идейного воспитания писателей. Сообщает, что подобные заседания уже проведены во многих областных писательских организациях и прошли на высоком уровне, особенно — в Московской писательской организации, где были выдвинуты обвинения против Лидии Чуковской, Льва Копелева, Булата Окуджавы, а также и против члена Рязанской организации СП — Солженицына.

Прения (регламент — 10 мин.)

Василий Матушкин (член СП, Рязань). После нескольких общих фраз о состоянии Рязанской организации: — Не могу не сказать об отношении т. Солженицына к литературе и к нашей писательской организации. Тут есть и моя ответственность: я когда-то давал ему рекомендацию при поступлении в Союз писателей. Таким образом, критикуя сегодня его, я критикую и сам себя. Когда появился «Иван Денисович» — не всё в нём сразу принималось, многое в нём не нравилось. Но после рецензий Симонова и Твардовского мы не могли спорить. Всё же у нас были надежды, что Солженицын станет украшением нашей писательской организации. Эти надежды не сбылись. Взять его отношение к нашей писательской организации. За все эти годы — никакого участия. На перевыборных собраниях он, правда, бывал, но не выступал. Помощь молодым писателям — одна из важнейших наших обязанностей по уставу, он её не оказывал, не участвовал в обсуждениях произведений начинающих авторов. Работы — никакой у него не было. Возникает мнение и боль, что он высокомерно относится к нашей писательской организации и к нашим наибольшим достижениям в литературе. Скажу честно и откровенно, что всё его последнее творчество (правда, мы его не знаем, не читали, нас на обсуждение не приглашали) идёт вразрез с тем, что пишем мы, остальные. Для нас существует Родина-мать, и нет ничего дороже. А творчество Солженицына публикуется за рубежом, и всё это потом выливается на нашу родину. Когда нашу мать поливают грязью, ис-



пользуя его произведения, и Александру Исаевичу дают указания, как надо ответить, и даже печаталась статья в «Литературной газете», а он не реагировал, считая себя умнее.

**С. Баранов** (председательствующий): Ваш регламент кончился, 10 минут.

**Матушкин** — просит еще.

**Солженицын** — Дать, сколько товарищ просит.

(продляют)

**Матушкин** — Союз писателей есть организация совершенно добровольная. Есть люди, которые печатаются, а в Союзе не состоят. В уставе Союза прямо говорится: Союз объединяет единомышленников, кто строит коммунизм, отдаёт этому всё творчество, кто следует социалистическому реализму. А. Солженицыну тогда не место в писательской организации, пусть творит отдельно. Как ни горько, но я должен сказать: у нас с вами, А. И., пути разные и нам придётся расстаться с вами.

**Николай Родин** — Василий Семёнович сказал так, что и добавить нечего. Если взять устав Союза и сравнить с ним гражданскую деятельность Александра Исаевича, то увидим большие расхождения. Мне после Василия Семёновича и добавить нечего. Он не выполнял устава, не считался с нашим Союзом. Бывает так, что некому отдать на рецензию рукопись начинающего писателя, а Солженицын не рецензировал. У меня к нему большие претензии.

**Сергей Х. Баранов** (член СП, Рязань) — Это очень серьёзный вопрос и своевременно его поднимает правление Союза писателей. Мы в Союзе должны хорошо знать душу друг друга и помогать друг другу. Но что будет, если мы разбежимся по углам, кто же будет воспитывать молодёжь? Кто же будет руководить литературными кружками, которых у нас много на производстве и в учебных заведениях? Правильно Василий Семёныч затронул вопрос об А. И. Творчества его мы не знаем, мы его творчества не знаем. Вокруг его произведений вначале была большая шумиха. А я лично в «Иване Денисовиче» всегда видел сплошные чёрные краски. Или «Матрёнин двор» — да где он видел такую одинокую женщину с тараканами и кошкой, и чтоб никто не помогал — где такую Матрёну найти? Я всё же надеялся, что Александр Исаевич напишет вещи, нужные народу. Но где он свои вещи печатает, о чём они? Мы не знаем. Надо повысить мнение к себе и друг к другу. Солженицын оторвался от организации, и нам, очевидно, придётся с ним расстаться.

**Солженицын** просит разрешения задать один общий вопрос выступавшим товарищам, председательствующий отказывает.

**Евгений Маркин** (член СП, Рязань) — Мне труднее всего говорить, труднее всех. Глядя правде в глаза — речь идёт о пребывании Александра Исаевича в нашей организации. Я не был ещё членом Союза в то время, когда вы его принимали. Я нахожусь в угнетённом состоянии вот почему: небывалое колебание маятника из одной амплитуды в другую. Я работал сотрудником «Литературы и Жизнь» в то время, когда раздавались Солженицыну небывалые похвалы. С тех пор наоборот: ни о ком я не слышал таких резких мнений, как о Солженицыне. Такие крайности потом сказываются на совести людей, принимающих решение. Вспомним, как поносили Есенина, а потом стали превозносить, а кое-кто теперь опять хотел бы утопить. Вспомним резкие суждения после 1946 года. Разобраться мне в этом сейчас труднее всех. Если Солженицына сейчас исключат, потом примут, опять исключат, опять примут — я не хочу в этом участвовать. Где тогда найдут себе второй аппендикс те, кто ушёл от обсуждения сегодня? А у нас в организации есть большие язвы: членом Союза не дают квартир. Нашей рязанской писательской организацией два года командовал проходимец Иван Абрамов, который даже не был членом Союза, он вешал на нас политические ярлыки. А с Анатолием Кузне-

цовым я вместе учился в Литинституте, интуиция нас не обманывает, мы его не любили за то, что ханжа. На мой взгляд статьи устава Союза можно толковать двойственно, это палка о двух концах. Но, конечно, хочется спросить Александра Исаевича, почему он не принимал участия в общественной жизни. Почему по поводу той шумихи, что подняла вокруг его имени иностранная пресса, он не выступил в нашей печати, не рассказал об этом нам? Почему Александр Исаевич не постарался правильно разъяснить и популяризировать свою позицию? Его новых произведений я не читал. Моё мнение о пребывании А. И. в Союзе писателей: к рязанской писательской организации он не принадлежал. Я полностью согласен с большинством писательской организации.

**Николай Левченко** (член СП, Рязань) — В основном предыдущими товарищами вопрос освещён. Мне бы хотелось поставить себя на место А. И. и представить, как бы я себя вёл. Если бы моё творчество поставили на вооружение за границей — что бы я делал? Я бы пришёл к товарищам посоветоваться. Он сам себя изолировал. Я присоединяюсь к большинству.

**Поварёнкин** — На протяжении многих лет А. И. был в отрыве от Союза писателей. Не приезжал на перевыборные собрания, а присылал телеграммы: «я присоединяюсь к большинству» — разве это принципиальная позиция? А Горький говорил, что Союз писателей — это коллективный орган, это — общественная организация. А. И., видимо, вступил в Союз с другими целями, чтобы иметь писательский билет. Идеиные качества его произведений не помогают нам строить коммунистическое общество. Он чернит наше светлое будущее. У него самого нутро чёрное. Показать такого бескрылого человека, как Иван Денисович, мог только наш идейный противник. Он сам поставил себя вне писательской организации.

**Солженицын** снова просит разрешения задать вопрос. Ему предлагают вместо этого выступать. После колебаний разрешают вопрос.

**Солженицын** просит членов СП, упрекавших его в отказе рецензировать рукописи, в отказе выступать перед литературной молодёжью, назвать хотя бы один такой случай.

Выступавшие молчат.

**Матушкин** — Член Союза писателей должен активно работать по уставу, а не ожидать приглашения.

**Солженицын** — Я сожалею, что наше совещание не стенографируется, не ведётся тщательных записей. А между тем оно может представить интерес не только завтра и даже позже, чем через неделю. Впрочем, на Секретариате СП СССР работало три стенографистки, но Секретариат, объявляя мои записи тенденциозными, так и не смог или не решился представить стенограмму того совещания.

Прежде всего я хочу снять камень с сердца товарища Матушкина. Василий Семёныч, напомним вам, что вы никогда не давали мне никакой рекомендации, вы, как тогдашний секретарь СП, принесли мне только пустые бланки анкет. В тот период непомерного захваливания секретариат РСФСР так торопился меня принять, что не дал собрать рекомендаций, не дал принять на первичной Рязанской организации, а принял сам и послал мне поздравительную телеграмму.

Обвинения, которые мне здесь предъявили, разделяются на две совсем разные группы. Первая касается Рязанской организации СП, вторая — всей моей литературной судьбы. По поводу первой группы скажу, что нет ни одного обоснованного обвинения. Вот отсутствует здесь наш секретарь т. Сафонов. А я о каждом своём общественном шаге, о каждом своём письме съезду или в Секретариат ставил его в известность в тот же день и всегда просил ознакомить с этими материалами всех членов Рязанского СП, а также нашу литературную молодёжь. А он вам их не показывал? По своему ли нежеланию? Или потому, что ему запретил присутствующий здесь товарищ

Кожевников? Я не только не избегал творческого контакта с Рязанским СП, но я просил Сафонова и настаивал, чтобы мой «Раковый корпус», обсуждённый в Московской писательской организации, был бы непременно обсуждён и в Рязанской, у меня есть копия письма об этом. Но и «Раковый корпус» по какой-то причине был полностью утаён от членов Рязанского СП. Так же я всегда выражал готовность к публичным выступлениям — но меня никогда не допускали до них, видимо чего-то опасаясь. Что касается моего якобы высокомерия, то это смешно, никто из вас такого случая не вспомнит, ни фразы такой, ни выражения лица, напротив, я крайне просто и по-товарищески чувствовал себя со всеми вами. Вот что я не всегда присутствовал на перевыборах — это правда, но причиной то, что я большую часть времени не живу в Рязани, живу под Москвой, вне города. Когда только что был напечатан «Иван Денисович», меня усиленно звали переезжать в Москву, но я боялся там рассредоточиться и отказался. Когда же через несколько лет я попросил разрешения переехать — было отказано. Я обращался в Московскую организацию с просьбой взять меня там на учёт, но секретарь её В. Н. Ильин ответил, что это невозможно, что я должен состоять в той организации, где прописан по паспорту, а неважно, где я фактически живу. Из-за этого мне и трудно было иногда приезжать на перевыборы.

Что же касается обвинений общего характера, то я продолжаю не понимать, какого такого «ответа» от меня ждут, на что «ответа»? На ту ли пресловутую статью в «Литературной газете», где мне был противопоставлен Анатолий Кузнецов, и сказано было, что надо отвечать Западу так, как он, а не так, как я? На ту анонимную статью мне нечего отвечать. Там поставлена под сомнение правильность моей реабилитации — хитрой уклончивой фразой «отбывал наказание» — отбывал наказание и всё, понимаете, что отбывал за дело. Там высказана ложь о моих романах, будто бы «Круг первый» является «злой и клеветой на наш общественный строй» — но кто это доказал, показал, проиллюстрировал? Романы никому не известны и о них можно говорить всё, что угодно. И много ещё мелких искажений в статье, искажён весь смысл моего письма съезду. Наконец, опять обсасывается надоевшая история с «Пиром победителей» — уместно, кстати, задуматься: откуда редакция «Литературной газеты» имеет сведения об этой пьесе, откуда получила её для чтения, если единственный её экземпляр взят из письменного стола госбезопасности?

Вообще с моими вещами делается так: если я какую-нибудь вещь сам отрицаю, не хочу, чтобы она существовала, как «Пир победителей», — то о ней стараются говорить и «разъяснять» как можно больше. Если же я настаиваю на публикации моих вещей, как «Ракового корпуса» или «Круга», то их скрывают и замалчивают.

Должен ли я «отвечать» Секретариату? Но я уже отвечал ему на все заданные мне вопросы, а вот Секретариат не ответил мне ни на один! На моё письмо съезду со всей его общей и личной частью я не получил никакого ответа по существу. Оно было признано малозначительным рядом с другими делами съезда, его положили под сукно и, я начинаю думать, нарочно выжидали, пока оно две недели широко циркулировало, — а когда напечатали его на Западе, в этом нашли удобный предлог не публиковать его у нас.

Такой же точно приём был применён и по отношению к «Раковому корпусу». Ещё в сентябре 1967 г. я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности, что «Корпус» появится за границей из-за его широкой циркуляции у нас. Я торопил дать разрешение печатать его у нас, в «Новом мире». Но Секретариат — ждал. Когда весной 1968 г. стали появляться признаки, что вот-вот его напечатают на Западе, я обратился с письмами: в «Литературную газету», в «Ле Монд» и в «Униита», где запрещал печатать «Раковый корпус» и лишал вся-

ких прав западных издателей. И что же? Письмо в «Ле Монд», посланное по почте заказным, не было пропущено. Письмо в «Унита», посланное с известным публицистом-коммунистом Витторио Страда, было отобрано у него на таможне — и мне пришлось горячо убеждать таможенников, что в интересах нашей литературы необходимо, чтоб это письмо появилось в «Унита». Через несколько дней после этого разговора, уже в начале июня, оно-таки появилось в «Унита» — а «Литературная газета» всё выжидала! Чего она ждала? Почему она скрывала моё письмо в течение девяти недель — от 21 апреля до 26 июня? Она ждала, чтобы «Раковый корпус» появился на Западе! И когда в июне он появился в ужасном русском издании Мондадори — только тогда «Литгазета» напечатала мой протест, окружив его своей многословной статьёй без подписи, где я обвинялся, что недостаточно энергично протестую против напечатания «Корпуса», недостаточно резко. А зачем же «Литгазета» держала протест девять недель? Расчёт ясен: пусть «Корпус» появится на Западе, и тогда можно будет его проклясть и не допустить до советского читателя. А ведь, напечатанный вовремя, протест мог остановить публикацию «Корпуса» на Западе. Вот например два американских издательства Даттон и Прегер, когда только слухи дошли до них, что я протестую против напечатания «Корпуса», в мае 1968 г. отказались от своего намерения печатать книгу. А что было бы, если б «Литгазета» напечатала мой протест тотчас?

Председательствующий Баранов — Ваше время истекло, 10 минут.

**Солженицын** — Какой может быть тут регламент? Это вопрос жизни.

**Баранов** — Но мы не можем вам больше дать, регламент.

**Солженицын** настаивает. Голоса — разные.

**Баранов** — Сколько вам ещё надо?

**Солженицын** — Мне много надо сказать. Но по крайней мере дайте ещё десять минут.

**Матушкин** — Дать ему три минуты.

(Посоветовавшись, дают ещё десять)

**Солженицын** (ещё убыстряя и без того быстрюю речь) — Я обращался в министерство связи, прося прекратить почтовый разбой в отношении моей переписки — недоставку или задержку писем, телеграмм, бандеролей, особенно зарубежных, например, когда я отвечал на поздравления к моему пятидесятилетию. Но что говорить, если Секретариат СП СССР сам поддерживает этот почтовый разбой? Ведь Секретариат не переслал мне ни одного письма, ни одной телеграммы из той кипы, которую получил на моё имя к моему пятидесятилетию. Так и держит беззвучно.

Переписка моя вся перлюстрируется, но мало того: результаты этой незаконной почтовой цензуры используются с циничной открытостью. Так, секретарь фрунзенского райкома партии г. Москвы вызвал руководителя Института русского языка Академии наук и запретил запись моего голоса на магнитофон в этом институте — узнал же он об этом из цензурного почтового извлечения, поданного ему.

Теперь об обвинениях в так называемом «очернении действительности». Скажите: когда и где, в какой теории познания отражение предмета считается важнее самого предмета? Разве что в фантомных философиях, но не в материалистической же диалектике. Получается так: неважно, что мы делаем, а важно, что об этом скажут. И чтобы ничего худого не говорили — будем обо всём происходящем молчать, молчать. Но это — не выход. Не тогда надо мерзостей стыдиться, когда о них говорят, а когда д е л а ю т. Сказал поэт Некрасов:

Кто живёт без печали и гнева,  
Тот не любит отчизну свою.

А тот, кто всё время радостно-лазурен, тот, напротив, к своей родине равнодушен.

Тут говорят о маятнике. Да, конечно, огромное качание маятника, но не со мной только одним, а во всей нашей жизни: хотят закрыть, забыть сталинские преступления, не вспоминать о них. «А надо ли вспоминать прошлое?» — спросил Льва Толстого его биограф Бирюков. И Толстой ответил, цитирую по бирюковской «Биографии Л. Н. Толстого», том 3/4, стр. 48 (читает поспешно):

«Если у меня была лихая болезнь и я излечился и стал чистым от неё, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею всё так же и ещё хуже, и мне хочется обмануть себя. А мы больны и всё так же больны. Болезнь изменила форму, но болезнь всё та же, только её иначе зовут... Болезнь, которою мы больны, есть убийство людей... Если мы вспомним старое и прямо взглянем ему в лицо — и наше новое теперешнее насилие откроется».

Нет! Замолчать преступления Сталина не удастся бесконечно, идти против правды не удастся бесконечно. Это преступления — над миллионами, и они требуют раскрытия. А хорошо б и задуматься: какое моральное влияние на молодёжь имеет укрытие этих преступлений? Это — развращение новых миллионов. Молодёжь растёт не глупая, она прекрасно понимает: вот были миллионные преступления, и о них молчат, всё шито-крыто. Так что ж и каждого из нас удерживает принять участие в несправедливостях? Тоже будет шито-крыто.

Мне остаётся сказать, что я не отказываюсь ни от одного слова, ни от одной буквы моего письма съезду писателей. Я могу закончить теми же словами, как и то письмо (читает):

«Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы — ещё успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение её я готов принять и смерть» — смерть! а не только исключение из Союза. «Но может быть многие уроки научат нас, наконец, не останавливать пера писателя при жизни? Это ещё ни разу не украсило нашей истории».

Что ж, голосуйте, за вами большинство. Но помните: история литературы ещё будет интересоваться нашим сегодняшним заседанием.

**Матушкин** — У меня вопрос к Солженицыну. Чем вы объясните, что вас так охотно печатают на Западе?

**Солженицын** — А чем вы объясните, что меня так упорно не хотят печатать на родине?

**Матушкин** — Нет, вы мне ответьте, вопрос к вам.

**Солженицын** — Я уже отвечал и отвечал. У меня вопросов больше и поставлены они раньше, пусть Секретариат ответит на мои.

**Кожевников** (останавливая Матушкина) — Ладно, не надо. Товарищи, я не хочу вмешиваться в ваше собрание и в ваше решение, вы совершенно независимы. Но я хотел возразить против (голос с металлом) того политического резонанса, который Солженицын хочет навязать нам. Мы берём один вопрос, а он берёт другой. В его распоряжении все газеты, чтобы ответить за границе, а он ими не пользуется. Он не желает ответить нашим врагам. Он не желает дать отповедь за границе и не ссылаясь на Некрасова и Толстого, а своими словами ответить нашим врагам. Съезд отверг ваше письмо как ненужное, как идейно неправильное. Вы в том письме отрицаете руководящую роль партии, а мы на этом стоим, на руководящей роли партии! И я думаю, что правильно здесь говорили ваши бывшие товарищи по перу. Мы не можем мириться! Мы должны идти все в ногу, спаянно, стройно, все заодно — но не под кнутом каким-то, а по своему сознанию!

**Франц Таурин** — Теперь этим делом придётся заниматься Секретариату РСФСР. Это правильно, что главная суть не в рецензирова-

нии рукописей, не в ведении литературных кружков. Главное, что вы, т. Солженицын, не дали отпора использованию вашего имени на Западе. Это можно отчасти объяснить и несправедливостями, допущенными к вам, накопившимися обидами. Но иногда надо поставить судьбу Родины выше своей собственной судьбы. Поймите, никто не хочет поставить вас на колени. Это заседание — попытка помочь вам распрямиться от всего, что на вас навешали с Запада. Там изображается так, что вы, с присущим вам талантом, выступаете против своей Родины. Может быть, в этой борьбе допускаются и передержки, но я знаком со стенограммами заседания Секретариата. Секретари, а особенно товарищ Федин, просто по-стариковски просили вас: уступите, дайте публичный отпор западной шумихе. В этом двойной вред: чернят нас как страну и вырывают у нас талантливого писателя. Любое решение, которое сегодня будет принято, будет обсуждено в Секретариате РСФСР.

**Левченко** (встаёт читать отпечатанный заранее на машинке проект решения. Читает.)

«...Пункт 2-й. Собрание считает, что поведение Солженицына носит антиобщественный характер, в корне противоречащий целям и задачам Союза писателей СССР.

За антиобщественное поведение, противоречащее целям и задачам Союза писателей СССР, за грубое нарушение основных положений устава СП СССР исключить *литератора* Солженицына из членов Союза писателей СССР.

Просим Секретариат утвердить это решение».

**Маркин** — Хотелось бы знать мнение нашего секретаря т. Сафонова. Он — информирован или нет?

**Баранов** — Он болен. Собрание наше правомочно.

Голосуют. За резолюцию — пятеро, против — один (я).

[13]

## ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

### Секретариату Союза писателей РСФСР

Бесстыдно попирая свой собственный устав, вы исключили меня заочно, пожарным порядком, даже не послав мне вызывной телеграммы, даже не дав нужных четырёх часов — добраться из Рязани и присутствовать. Вы откровенно показали, что *решение* предшествовало «обсуждению». Опасались ли вы, что придётся и мне выделить десять минут? Я вынужден заменить их этим письмом.

Протрите циферблаты!— ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжёлые занавеси!— вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. Это — не то глухое, мрачное, безысходное время, когда вот так же угодливо вы исключали Ахматову. И даже не то робкое, зябкое, когда с завываниями исключали Пастернака. Вам мало того позора? Вы хотите его сгустить? Но близок час: каждый из вас будет искать, как выскрести свою подпись под сегодняшней резолюцией.

Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредёте в сторону, противоположную той, которую объявили. В эту кризисную пору нашему тяжело-больному обществу вы не способны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только свою ненависть-бдительность, а только «держатъ и не пущатъ!».

Расползаются ваши дебелие статьи, вяло шевелится ваше безмыслие — а аргументов нет, есть только голосование и администрация. Оттого-то на знаменитое письмо Лидии Чуковской, гордость русской публицистики, не осмелился ответить ни Шолохов, ни все вы

вместе взятые. А готовятся на неё административные клещи: как посмела она допустить, что не изданную книгу её читают? Раз *инстанции* решили тебя не печатать — задавись, удушись, не существуй! никому не давай читать!

Подгоняют под исключение и Льва Копелева — фронтовика, уже отсидевшего десять лет безвинно — теперь же виноватого в том, что заступает за гонимых, что разгласил священный тайный разговор с влиятельным лицом, нарушил *тайну кабинета*. А зачем ведёте вы такие разговоры, которые надо скрывать от народа? А не нам ли было пятьдесят лет назад обещано, что никогда не будет больше тайной дипломатии, тайных переговоров, тайных непонятных назначений и перемещений, что массы будут обо всём знать и судить открыто?

«Враги услышат» — вот ваша отговорка, вечные и постоянные «враги» — удобная основа ваших должностей и вашего существования. Как будто не было врагов, когда обещалась немедленная открытость. Да что б вы делали без «врагов»? Да вы б и жить уже не могли без «врагов», вашей бесплодной атмосферой стала *ненависть*, ненависть, не уступающая расовой. Но так теряется ощущение цельного и единого человечества — и ускоряется его гибель. Да растопись завтра только льды одной Антарктики — и все мы превратимся в тонущее человечество — и кому вы тогда будете тыкать в нос «классовую борьбу»? Уж не говорю — когда остатки двуногих будут бродить по радиоактивной Земле и умирать.

Всё-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, — это человечество. А человечество отделилось от животного мира — мыслью и речью. И они естественно должны быть *свободными*. А если их сковать — мы возвращаемся в животных.

*Гласность*, честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности — тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там.

А. Солженицын.

12 ноября 1969

(Окончание следует)

---

---

ВАЛЕНТИН ЛУКЪЯНОВ

(1936—1987)

\*

## ГДЕ НИТЬ СУДЬБЫ МОЕЙ ИСКРИТСЯ

\* \* \*

Лесная птица вольно пела,  
Сквозь листья солнечно лилось.  
И я касался неумело  
Лучистой тьмы твоих волос.

Очарованья не нарушив,  
В сквозной просвеченной глуши  
Накатывала нежность в душу,  
Всходила радость из души.

Всходили звуки и растения,  
Переплетались на весу.  
И отделялось от забвенья  
Мое беспмятство в лесу...

Все пронеслось неумолимо.  
Стал небосвод возвышен, пуст...  
И мне остался от любимой  
Лишь птичий голос, голый куст.

\* \* \*

Стоит кругом затишье,  
Студеный ветер стих.  
Лишь изредка задышит  
С равнины белый стих,  
Словно спеша поведать  
Замерзшим языком,  
Что все поля под снегом,  
Все реки подо льдом.

### Приближение зимы

Белые мухи на город  
Двинулись. Знак остыванья.  
Я чувствую, скоро нагонит  
Время свое отставанье.

Я чувствую, скоро настигнет  
Суровость дома и дерева.  
Она их нагонит на стыке,  
Смыкающем город с деревней.



Так холодно глянут витрины —  
 Душою кривившие стекла.  
 И станет понятно, что крылось,  
 Что сдалось, что встало стойко.

Поземкой потянет ко сну все,  
 И вдруг задохнется в метели,  
 Чуть крыш помертвело коснутся  
 Распады высоких материй.

...Пока же вдыхаю запах  
 Летящего робко снега.  
 И мне обнажается затхлость,  
 И улица в драном, и небо.

И там, где рисую виды,  
 Как сон, возникает город,  
 Сияющий, снегом увитый...  
 О, как это будет не скоро!

### Метельной ночью

До жженья в сердце — о, до жути! —  
 Безумной теменью гляжу  
 На лист бумажный,  
 Вещий, страшный,  
 Где нить судьбы моей искрится,  
 Сияют звезды, свищут птицы,  
 На мир дремучий и пресветлый,  
 Открытый сердцу донага, —  
 На лист бумажный воют ветры  
 И дышат стужею снега.

---

---

## НИКОЛАЙ ГОДИНА

✧

### ШЕСТЬ СОТОК СВОБОДЫ

\* \* \*

Заработала «орден Сутулова»  
На колхозных полях и ушла.  
Незабудки ее не задуло бы,  
И примета осталась — ветла.

Пес повыл и пропал в неизвестности.  
Проморгалась к поминкам родня.  
Долго маленький крестик на местности  
Отвлекал от дороги меня.

\* \* \*

Отмаясь, отмаясь от черной субботы,  
Приду, упаду, где шесть соток свободы.

Глаза в небеса сфокусирую, душу  
Настрою слегка не вовнутрь, а наружу.

Приглядно белеют ашинские вишни:  
По облику — облако, влажно, хоть выжми.

Не мятая мята среди пастернака  
Стихийней стихов Пастернака, однако.

Аптечные запахи, хруст, будто хрящик.  
Задыхливый кашель грачей некурящих.

И, накрепко всажено мной между грядок,  
Державное пугало держит порядок.

\* \* \*

Болото тихое, но бедное чертями,  
Давно вода не кажется мутных глаз.  
Зеленый червячок измерит четвертями  
Соломинку и не заметит нас.

Когда-то мы коров пасли на этом месте  
И выливали сусликов под смех.  
Теперь здесь никогда всем не собраться вместе  
Из-за причин, предлогов и помех.

Приманчивый лесок, подрезанный дорогой,  
Где молодой и шибко тощий вяз  
Прямоком рванулся к нам Петром или Серегой,  
Но по колено в памяти увяз...

# ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

\*

## КЕДР

Апология

(О книге кн. С. Волконского «Родина»)

**П**одоходить к книге кн. Волконского «Родина» как к явлению литературному — слишком малая мера. Эта книга прежде всего — летопись. И не потому, что он пишет о «летах мира сего», — кто не писал воспоминаний? Основная особенность летописи — то освещение изнутри внешних событий, тот вопрос, который она им ставит, тот ответ, который из них слышит. Летописец далеко не последнее лицо в летописи: им она жива. В этом строжайшем смысле слова книга Волконского наряду с «Wahrheit und Dichtung» Гёте — истинная летопись: века и духа.

Вымышленные книги сейчас не влекут. Причина ясна: после великой фантазмагии Революции, с ее первыми-последними, последними-первыми, после четырехлетнего сна наяву, после черных кремлевских куполов и красных над Кремлем знамен, после сажённого: «Господи, отелиси!» на стенах Страстного монастыря, после гробов, выдаваемых по 33 талону карточки широкого потребления, и лавровых венков покойного композитора Ск-на, продаваемых семей на рынке по фунтам, — нас, кажется, уже ничем не потрясешь, разве что простой человеческой правдой: сущностью единой и неделимой. Такой книгой и является книга Волконского «Родина»: книга глубочайшей человечности. «Глубочайшей», впрочем, для удовлетворения слуховой привычки, я бы «глубочайшей» здесь заменила «высочайшей». Человечность не только глубь, — и высь. Дерево не растет в воздухе, чту корни, но не ошибка ли русских в том, что они за корнями («нутром») не только забывали вершину (цветение), но еще считали ее некоей непозволительной роскошью. В корнях легко увязнуть: корни — и родниковые воды, да, но и корни — и черви. И часто: начав корнями, кончают червями. И еще мне хочется сказать: корни (недра) — не самоцель. Корни — основа, ствол — средство, цвет (свет) — цель.

Корни — всегда *ragu*.

Итак, книга «Родина» — древо высочайшей человечности. Корень — рост — вершина, все налицо, — и какое цветение! Страсть к высотам, так бы я определила ее главенствующую страсть, но еще вопрос: дух ли тянется высь, или высь его тянет. Склонна думать, что кроме тяги земной существует еще и тяга небесная.

Кстати, очаровательное соответствие: первое воспоминание — конное. Автору три года, его посадили на коня, и кто-то из старших ведет коня в поводу по кругу. — «Ну как?» — И сдержанное вместо хваленной ребяческой откровенности (рёвал): «Ничего... Немножечко... неловко!». Да, спору нет: пешему «ловчей», — особенно с непривычки. И смотреть на мир с коня — не только улада, но и ответственность, уже потому хотя бы, что ты на целый конский рост выше (видней!) остальных. «Конный» — это то же, что титул, что дар, — этим нужно уметь владеть и за это нужно уметь ответить.

Ну, не прелестное ли вступление в книгу этот трехлетний всадник, на красном песке садового круга, — такой воспитанный, такой бестрепетный, такой невинно-важный в сознании устремленных на него глаз! И — как я благодарна автору за то, что он не заставляет коня сворачивать в конюшню, при громком хохоте зрителей и рёве седока! И — как я вообще благодарна автору за его детство! Ни нянек, ни елок, ни лошадок, вместо лошадки — сразу конь. (Так всю жизнь: без штекенпфердов, без эрзатцов!

О, разливанные пеленочные моря и реки наших русских классиков! Как вас по се-

В 1992 году будет отмечаться столетие со дня рождения М. И. Цветаевой, а еще раньше — в 1991 году — исполнится пятьдесят лет со дня трагической гибели поэта. Вслед за публикуемым ныне эссе «Кедр» мы намерены напечатать в будущем году две статьи Иосифа Бродского о творчестве Марины Цветаевой и несколько малоизвестных цветаевских стихотворений. Цветаевская тема на страницах «Нового мира» будет продолжена.

мицетной радуге Духа, и не заметив даже, миновал автор! Детское вне ребяческого, младенческое вне пеленочного, юношеское вне юбочного, — найдите еще такую книгу! Особзность книги: упор, мускул, костяк. — Сердце, но сердце в латах! — Никаких развороченностей, никаких исповедей: уж скорей отповедь, чем исповедь! Вместо славянской словесной и телесной распущенности — стройное распускание цветка на твердом стержне. Не ищите в его книге «интимности». Это, вообще, низкое слово. Но, снисходя до него на сей раз, думаю, что не ошибусь, ежели скажу: его «интимный круг» — горизонт (по старинному — окоём) — «там, где море сочetalось с небом».

Вспоминаю здесь один спор об аристократизме, зимой 1919 года в Москве. Из всех определений запомнила только два: собственное и еще одно. «Аристократизм — враг избытка: всегда немножко меньше, чем нужно. Некое — не добавить»...

Собеседник: «Аристократизм, это замена принципов — Принципом»...

И я: «Да, да! Le Grand Principe — как le Grand Conde».

Le Grand Principe в книге Волконского налицо. Имя ему — справедливость. Не справедливость бесстрастия, страсть справедливости. (Не справедливость бесстрастна, а мы к ней!) Свое отношение к предмету мы делаем его качеством. — Страсть справедливости, вы только вдумайтесь, господа! Этим живя, как с этим жить?! Если ты только не на острове, что вокруг тебя не искажено? Само понятие общежитие уже искажение понятия жизнь: человек задуман один. Где двое — там ложь. Противуставляя этой тысячерудой, тысячеголовой людской лжи одинокую человеческую правду, — какая задача! Человеку, обуреваемому демоном справедливости, только два пути: или на остров, к зверям (Руссо), или же — в самый котел. Волконский героически избрал последнее. Вся книга, кроме двух первых, прелестнейших и излюбленнейших мною, глав («Фаль» — призраки, и «Павловка» — деревья), вся книга на людях. И на каких разнообразных! Гимназия и Университет (80-ые годы), круги придворные, круги чиновные, сцена, помещицья глушь, духовенство, крестьяне, эсеры, земцы, учителя, — не говоря уже о Войне и Революции, — какая скáла! Одна глава: «От Нигилизма до Большеви́зма». Прочтите, перечтите. Многое свяжется, многое вскроется, не одно обвинение падет на обвинителя.

И вот, через всё это — (заполните мысленно пролет от 1860 г. до 1922 г. и не забудьте, что перед вами не обывательская жизнь, а жизнь человека от рождения поставленного высоко — чем выше пьедестал, тем шире кругозор!) — и вот, через всю эту вражду: князей — к писателю, писателей — к князю, эсеров — к помещику, помещиков к «вольнодумцу», через эти миллионы вражд количества к качеству, ничтожества к личности — что встает, что пребывает? *Неутомимость любви*.

Любовь. Как детская поэма кн. Волконского обошлась без пеленок, так и любовь его к человечеству обошлась без слезы. Любовь мужественная, действительная, воинствующая. Не «друг мой, брат мой», не идеалы, столь часто ограничивающиеся «одеялом для бедных», не либеральничание 80-ых слезоточивых годов, — уже тогда, 20 лет — шпага действия. Weltverbesserer<sup>1</sup>, — это слово сказано о нем. Храня память о совершенном божеском мире, он не терпит его таким, каким его сделали люди. Отличительная черта: его страсти — этические. Страсть справедливости, страсть благодарности, страсть совершенства, — все то, что у людей соединено с ребяческими прописями — полезно, но скучно, — для него восторг и вдохновение. Не пропись, а пафос. О, такого Крёза не обокрадешь! Не обокрадет его ни большевизм, ни возраст. При этом непрестанном пожаре Духа — какое умение наслаждаться! Стоик с пятью чувствами эпикурейца.

«У какого-то француза я читал: «Les réveils de l'enfance sont triomphants, les réveils de l'age mûr sont moroses, ceux de la vieillesse sont lugubres»<sup>2</sup>. — Нет, не заметил я на себе этих разниц; и посейчас еще торжествую, когда утром просыпаюсь, и посейчас вскакиваю, потому что радостно день начинать, а в особенности, когда хорошая погода или на столе рукопись начатая дожидается»...

От этой «хорошей погоды» до Диогенова бочонка — меньше, чем шаг. (Вспомните пресловутый ответ Александру!) Но какая разница тона — и как нарочит Диогенов бочонок! Нет, Волконский никогда не искал бочонка, ибо орлиной своей сущностью знал, что дело не в скорлупе, — но когда час бочонка (Революции) пробил, он его, всем великим высокомерием своим, принял.

Два слова о Волконском и возрасте. Несколько раз на протяжении книги — такие ссы́лки: «Говорят, что в старости»... «Говорят, что в детстве»... и затем, неизменно, опро-

<sup>1</sup> Утопист; стремящийся улучшить мир (нем.).

<sup>2</sup> Пробуждение ребенка торжествующе, пробуждение зрелого человека угрюмо, а стариков — мрачно (франц.).

вержение: «У меня не так». Волконский никогда не был связан с возрастом, впрочем — пусть скажет сам:

«Странно, я никогда не мог сходиться со сверстниками. Хорошо помню, что в ранней молодости я сам себе казался много моложе их, я считал себя отставшим, а во второй половине жизни то же чувство молодости, которое тогда держало меня — как бы сказать? — на запятках, вдруг выдвинуло меня на двадцать лет вперед — точно природа приберегала меня, и когда она меня выпустила, мои сверстники вокруг меня были старики».

Отсутствие ребяческого в детстве, продленное детство в юности и, наконец, бессрочно-продленная юность. Нет, здесь с возрастом, действительно, не ладно. Но «ладен» ли сам возраст? Нет, возраст не ладен, и вот почему: дух — вне возраста, годами считают лишь тело. Отождествляющие себя с последним в полном чистосердечии говорят: мне было тогда три года — двадцать три — шестьдесят три. Но то, что говоря: «Я» — говорят: «Моя душа», смутно (или ясно) чувствуют ложь календаря по отношению к этой душе, и неизбежно после утверждения — опровержение.

Им бы я, для краткости, предложила формулу Державина: «Я есмь — я был — я буду вновь». Возраст — такая же вторичность, как сословие, имущественное положение, партийность, — почти что платье. Возраст нужен тому, у кого ничего нет взамен. Так, перед звездным циферблатом — бедные, бранные карманные часики.

Но вернемся к источникам наслаждения, — какие незамутненные родники! Вот случай из раннего детства: на Балтийском море, купанье. Мальчику делается дурно.

«Я лишился сил и лишился сознания, но все время слышал шум моря и ветра. Когда возвращался в сознание, это было постепенно, и в этой постепенности был один блаженный миг, — перед полным возвращением. Чувство недомогания прошло, шум волн прибывал...»

Вспоминая о крепком песчаном дне Балтийского моря, автор добавляет:

«Никогда уже нигде я не мог после этого купаться, — только море или океан; ни реки, ни пруда не выносил, не мог выносить, чтобы нога уходила в мягкое, вязкое, — это противоречило аристократизму первых впечатлений».

Автор совершает здесь забавную ошибку: аристократизм личного восприятия он делает свойством предмета, внутреннее перемещает во-вне. Так, поверив ему на слово, нам придется ждать аристократизма от всех, кто когда-либо в детстве купался на Балтийском море: песок под ногой у всех один! Ergo: Балтийское море создает аристократов. — Думаю, что дело здесь не в песке, а в ощущи, и даже не в ощущи, а в молниеносном перенесении внешнего впечатления на душу: твердый песок под ногой становится символом. Соответствие ноги и почвы. Мягкого и вязкого автор не переносил уже потом всю жизнь — ни в чем, нигде: услужил ему балтийский песок!

Но — не показательная ли подмена? Вместо современного, в ушах навязшего: «Я создал горы, воды, звезды, тучи!»...—вдруг: «меня создал балтийский песок». Обкрадывать себя — не первая ли примета неизбывного богатства?

А вот еще одно пробуждение:

«Я спал в каюте на „Варяге“ сладким детским сном. Какой-то грохот пробуждает меня, и прежде, чем я успеваю сообразить, что это барабанный бой, я погружен в тихое блаженство хорового пения: на палубе команда поет „Отче наш“»...

И — через несколько строк: «Но такого пробуждения, как тогда на „Варяге“, я не помню»... Что же здесь изысканно: предмет или восприятие? Шум воды и хоровое пение, — чего проще! То, с чего начинается день последний юнга с этого же „Варяга“! Дело в ушах, дело в душе.

Война. Автор всецело занят своим лазаретом: пленные и раненые, раненые и пленные, — но:

«Бывали и эпикурейские впечатления; разве не эпикурейство, когда в темный вечер по аллее возвращаешься домой, а навстречу шаги, и из темноты вдруг — только подумайте, в глуши, в Тамбовской губ.— раздается: *Eccellenza, felicissima notte!*<sup>3</sup>» (Итальянец-пленный.)

Чист — родник?

Есть у Гоголя где-то, кажется в «Переписке с друзьями», такая великолепная, бичом клещущая формула: «Демократический бунт чувств — против высокого единодержавья души». (Душа здесь как дух.) А что, если пять чувств не только не рабы (враги), а:

<sup>3</sup> Ваша светлость, счастливейшая ночь! (Итал.)

верные союзники духа? Не подавленные, не торжествующие: любовный союз, вольное служение.

Таков случай Волконского. Таков случай—в древности—Лукреция, в недавней дальности — Гёте.

Родство с Гёте. На секундочку помедлим. Из всех воспоминаний, когда-либо мною читанных, больше всего мне книга Волконского напоминает «Wahrheit und Dichtung», и больше нежели «Wahrheit und Dichtung» — эккермановские «Gesprache mit Goethe» (с благородно-отсутствующим Эккерманом!). Читаешь—и удивляешься: в чем тайна, в чем сила? Ведь — просто, ведь и дивиться нечему: ведь каждое слово — почти что пропись! Почему же так действует?—Согласованность вселенского и личного, вневременность, при полном цветении вокруг—века, единый закон надо всем: рост. И еще роднит Волконского с Гёте—некая царственная сушь. Но к сходству с Гёте мы еще вернемся.

Рассмотрим реальную деятельность кн. Волконского: помещичество — придворная жизнь — учительство. Помещиком он был всю жизнь, придворным — два года, учителем — всегда, когда были ученики. (Сужая понятие учительства до лекторства: лектором он был с 1918 г. по 1921 г.)

Но каким странным помещиком, каким необычайным придворным — и: каким восхитительным учителем!

В помещичестве кн. Волконского меня прежде всего поражает его невинность. Есть невинность богатства, как невинность нищеты.

Человек родится с десятью тысячами десятин земли. Вспахать их собственными руками он не может. Стало быть — чужими? Да. И крестьянин, в страдные дни, берет себе в подмогу батрака. Один батрак или двести, это уже вопрос количества. Не в чужих руках дело,— двух рук и нищету мало!— а в разуме и в совести, кои этими руками движут, в замысле, в главе. Настоящее помещичество — сотворчество, сподвижничество: чужие руки — мои, чужая боль — моя. И настоящее наследничество прежде всего — преемничество. (Жертва.)

Такие угодья, как Фалль и как Павловка, не возникают в час, это работа поколений, как готические соборы. От предка к потомку, от зодчего к зодчему, владелец родового имения — преемник, на нем жестокая двойная ответственность: сохранить и довершить. В Фалле (имения Бенкендорфов) нагляднее выявлена охрана прошлого, в этой главе прежде всего — *geg*.

В Павловке (более молодом имении Волконских) упор в творческой работе, в этой главе прежде всего — *внук*.

Кн. Волконский в своем помещичестве, как всякий истинный творец,— и продолжатель и проложитель (новых путей). Забывают люди, что власть и владение в чистых руках — не сласть, а ответственность.

Раздать такое имение, как Павловка, по десятинам, то же самое что раздарить Собор Парижской Богоматери по кирпичикам потомкам тех каменщиков, что его строили. — Нелепость.

Итак, кн. Волконский имения своего не разгромил, а владел им на радость себе и окружающим.

— «Вы любите сельское хозяйство?»—«Нет».—«Вы любите охоту?»—«Нет».—«Что же Вы в деревне делаете?» — «Уверю вас, что мой день очень наполнен»... «Я никогда не любил хозяйства; меня всегда больше влекла расходная, нежели доходная статья. С детства я питал отчуждение к хозяйству. Как ни старался отец меня приучить, ему не удалось разохотить меня. О, эти поездки по хуторам с управляющим!.. О, эти заезды в контору! Этот приказчик с обручальным кольцом на указательном пальце! Мухи на окнах, премии «Нивы» по стенам, куры на пороге, поросята на крыльце... Эта роковая необходимость конторских книг, ведомостей... А дома ждет какая-нибудь начатая дорожка, вновь посаженное дерево»...

...«Итак, я предпочитал расходную статью доходной. Но никогда мне не казалось, что я расходую на себя, когда расходовал на Павловку. У меня было такое ощущение, что моя обязанность, мое призвание сделать из Павловки то, что в революционные времена стали называть „культурной ценностью“».

Да, когда взамен забавы — обязанность и взамен прихоти — призвание, можно сделать из Павловки не только культурную ценность, но — чудо!

Прелестен выход, найденный помещиком из вечных недоразумений с управляющим, недобрым его щедростью.— «Ведь вы ставите благотворительность на при-

хог \*.— так о чем же разговаривать?» Где, скажите, кроме как на Руси, могла (— и кем! помещиком!) быть выведена такая формула: *«расход есть приход»*. Разве что, когда-то, тем нищим проповедником на холмах Иудей. И хорошо же отплатили помещику все эти просители, приходившие по воскресеньям на крыльцо за: «соломкой на крышу, хворостом на плетень, кирпичами на печку». Да какое — соломка, кирпичи, хворост: тут и коровы, и лошади, и тес на стройку, и сохи, и бороны, и лечение за помещичий счет в платной городской больнице, и обучение за помещичий счет в Москве и Петербурге. (Заметьте, это я сгущаю, у автора это только слегка отмечено, еле упомянуто.)

Прочтите «Павловку»,— какая сплошная любовь! Какая внимательная память на имена, лица, слова, приметы, какая памятливая благодарность — потом — во времена Революции (см. «Развал») за те редкие проявления человечности нынешних владык — к своему бывшему. Негодования? Ни тени! В худшем случае — ирония. Нет такой неблагодарности, чтобы отучила давать. Жест дара — в руке. Безнадежность же этого дара кн Волконский познал еще задолго до Революции:

«Конечно, я делал, что мог, но тяжело сознание бездонности того, куда кладешь. Да, помещичья помощь крестьянину, это палка об одном конце, если можно так выразиться... С одной стороны желание добра, а там ничего, пустота. Все это ни к чему, и всегда я имел такое ощущение, что это с моей стороны откуп. Откупиться за невозможное, недостойное положение ешей. Но сказать, что я чувствовал ответственность за такое положение,— никогда не скажу. Бездонность всякой помощи крестьянину тем определяется, что его интересует только — получить, он не знает, что значит вложить. Когда понятие дохода заменяется понятием наживы, то один лишь шаг к тому, чтобы понятие наживы в свою очередь заменилось понятием мошенничества \*\*... За сорок лет один только случай припоминаю, который могу назвать хозяйственной помощью, а не подачкой... А все остальное — бездонная яма, один непробуемый отказ. Тяжело, с детства тяжело было чувствовать это отличие себя и всего огромного окружающего моря. Но не чувствовал я, что когда прорвется, им станет лучше, а еще меньше — что они сами станут лучше. Алексею Давыдову не нужна моя итальянская зала, и он совершенно счастлив без нее...»

О творческой деятельности кн. Волконского в Павловке скажу особо, а пока закончу его помещичество последними, провидческими словами его «Павловки»:

«И сколько раз, когда мне подавали вкусную холодную простоквашу, я думал: — А может быть, это в последний раз... Но нет, не последний... Но будет когда-нибудь последний, всегда доканчивал я...»

Друзья, не восхитительная ли подробность: не за редкостным тепличным ананасом такая мысль, не за бутылкой «доброе старого токайского», а... за простоквашей той невинной простоквашей, которую деревянной ложкой из глиняной миски хлебает в тот же самый час, на самом краю деревни, его последний «раб»!

Ограниченность места при безграничности темы (человеческая сущность — и какая!) не позволяет мне подробно останавливаться на деятельности кн. Волконского во время войны. Но не встает ли уже из предыдущего весь человек во весь рост? Мог ли он бесстрастно созерцать эту праведнейшую из правд — страдание, порожденное сей несправедлившей из неправд — Войной, он, воплощенная справедливость! — В «Родине» белая глава «Война», и отклики ее через все последующие главы. Ограничусь краткими выдержками:

...«Через этот лазаретик в течение трех лет сколько прошло духовной красоты! Я часто наезжал из Павловки... (лазарет находился в борисоглебском доме кн. Волконского)... Какие приезды! Как слышат стук копыт по деревянному мостику, уже, кто может ходить, высыпят ворота отворять. Прежние встречают, как знакомого, новички присматриваются. Но скоро новички становятся знакомыми. Что больше всего сближало, пишущая машина. Сколько писем и открыток отстукал я, сколько разослал поклонов: «Кланяюсь вам от сырой земли до белой зари» и «Жду ответа, как соловей лета»... Есть лица, которых никогда не забуду...»

И целая вереница незабываемых: «Безногий Михаил Минашкин, которого я поместил в Петербург на счетоводные курсы»... Ваня Серов с раздробленным коленом, так вдохновенно слушавший чтение «Федора Иоанновича»... «Его адрес был у меня в книжке, но все книги у меня отняты. Он, может быть, думает, что я его забыл»...

\* Курсив мой.

\*\* То же автор в гл. «Глушь» говорит о некоторых помещиках.

Малоросс, контуженный в голову,— бывший садовник, потерял обоняние и слух, перед цветниками останавливался, как зачарованный... «Раз сорвал цветок темного гелиотропа и, подавая товарищу, шепотом произнес: — „Понюхай ты, у меня не пропущает“». Едут парком (выздоровливающие подолгу гостили в Павловке)— кн. Волконский, малоросс и еще солдат. И товарищ — малороссу, в самое ухо: «Вот бы нам с тобой такой парк!» — «А ты в нем будешь раненых катать?»... «Это было совсем удивительное явление; его самая большая радость была поливать цветы. В нем было что-то Перуджиниевское»...

А католическая обедня для пленных в большой зале «Молочного дома»! Собралось сто двадцать человек, многие причащались. Зала в десять аршин высоты, стропила наружу, как в итальянских церквях, между колоннами доморощенные, кузнечовые люстры.— О кн. Волконском и пленных многое можно, нужно было бы рассказать, но мое дело только ввести читателя, приоткрыть дверь: входил!

Теперь скажу вещь, которая, как все простые вещи, прозвучит чудовищно: Революция, отняв у кн. Волконского Павловку (Павловка здесь — как собирательное, не только Павловку!),— оказала ему услугу. Иногда освобождение приходит извне. В начале Революции было у меня такое шутовское изречение: «Крестьян в 1603 г. прикрепили к земле, дворян (в 1918 г.) — к воздуху». Памятуя закон небесного тяготения, скажу, что такое прикрепление для кн. Волконского — не худшее. Зачем такой совести — тяжесть, такому крылатому духу — прах? Земля — вещь тяжелая, и давит не только на мертвых. Это не решение земельного вопроса, но: руку на сердце положи — оставим землю тем, кто без нее — прах, таким (помещикам) она нужна, и они за нее будут биться не на жизнь, а на смерть: «Что я без Катина? без Вязовки? без Дедова?— Ничто». Касательно кн. Волконского вопрос обстоит иначе: «Что я без Павловки? — Все.— Что Павловка без меня? — Ничто».

У Волконского от Павловки осталась душа без тела (суть), у погромщиков — тело без души (труп). И если кого-нибудь жалеть, то, конечно, не князя!

Чиновничество. Какое жуткое слово. Какая — от Акакия Акакиевича до министра его же ведомства — вычеркнутость из живых. Чиновник — и сразу кладбище с его шестью разрядами. Некое постепенное зарывание в землю: чем выше, тем глубже. А какие унылые наименования: коллежский ассессор, титулярный советник, надворный советник, статский, действительный статский. Делаю исключение только для тайного: сразу Веймарский парк и Гёте.

К счастью, кн. Волконский никогда чиновником не был, его единственный знак отличия, как он не без удовольствия упоминает,— орден Льва и Солнца 2-ой степени, полученный им в бытность директором Театров от Шаха Персидского.

Но не был чиновником, он их в течение двух лет неустанно видел,— немудрено, что увидела их и я. «Я ненавижу общественность, ненавижу службу и соединенную с ней официальность, официальное времяпрепровождение, официальные с людьми отношения, официальность речи и образа мыслей. Если я любил общественную арену, то для того, чтобы выносить плоды моих трудов, моих мыслей»... Т. е. — позволяю себе продолжить — кафедру, место возвышенное и уединенное. Однако автор назначение принимает, принимает из внимания к отцу, т. е. делает — как всякий большой дух — самое для себя трудное, идет по линии наибольшего сопротивления. (Себе!) У нас, в России, только одно сопротивление, кажется, и прело: отцу (включая сюда и гимназического директора, и университетского ректора, и российского государя!),— сопротивление внешнее, т. е. почти бесценное. Противустоять тому, что не по сердцу!— Чего легче!— Избирать то, к чему тянет!— Чего слаще! Но для больших и настоящих дело не в легком и в сладком, а в тяжком и в горьком. Для большого и сильного единственная трудность: я, с другими он, отродясь, справился.

Обвинять кн. Волконского в том, что он, ненавидя общественность, два года своей жизни отдал на Директорство — то же самое, что обвинять Гёте в его придворной и чиновной деятельности.— А Гёте из восьмидесяти своих земных лет едва ли не пятьдесят провел при дворе! Директорство кн. Волконского не слабость, равно как тайное советничество Гёте — не страсть к титулам (что можно взять у первого и прибавить ко второму?), в обоих случаях трудная, ответственная человеческая привязанность: Волконского к отцу, Гёте к другу и сподвижнику молодости. И в обоих случаях — Kraftspröbe<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Проба сил (нем.).



«На перегибе двух столетий прошли те два неприятных тяжелых года, проведенных в близком соприкосновении с сферами чиновничьими, артистическими, газетными. Для меня это было временем опыта житейского. Я узнал много людей и узнал много подлости людской».

Недоброхотов у кн. Волконского («врагов» здесь неуместно: лестно!) — недоброхотов у кн. Волконского на новом поприще оказалось много: за исключением актеров (не солистов) и нескольких высоко-стоящих лиц — все общественные круги, с которыми ему пришлось соприкоснуться. Тут и раздраженные самолюбия лиц его круга, старших по возрасту, «надеявшихся и оставшихся за флагом» (директор Императорских театров тридцати с чем-то лет от роду — неслыханно!), и актерские дрязги. Кипение конторское, кишение газетное. «Снизу подвохи, кругом недоброжелательство, сверху никакой поддержки». Высших оскорбляла в нем личность, свое, прямой хребет, низших — княжество.

«Такие слова как: князь, граф, помещик, сановник, чиновник — заранее определяют отношение к человеку, и люди никогда не затрудняли себя рассмотрением того: все ли князья похожи друг на друга, всякий ли сановник соответствует раз навсегда выработанному ярлыку, не говоря уже о том, чтобы проверить, соответствует ли вообще ярлык действительности. И еще удивляло меня, как люди делают человека ответственным за то, как другие к нему относятся. В самом деле, если городской передо мной вытягивается в струнку, это не значит, что я горд; если человек передо мной лебезит, это не значит, что я чванлив»...

Отвлекаясь на секувачку от двухлетней каторги кн. Волконского на своем высоком посту, упомяну здесь об одном показательном случае из его детства. Ему лет семь-восемь, сидит в доме у управляющего и смотрит картинки. За чайным столом несколько студентов. Вдруг один из них: «Князь!» — Смущенно (ибо детство застенчиво, а воспитанное детство — в особенности!) оборачивается. И звавший — другого под локоть:

— «Ишь — откликается!»

И, как отзвук, другая картина. Москва, лето 1917 г. Шайка красногвардейцев перед клеткой льва. Гикают, ржут, гогочут. И один, тыча в льва только что сорванной веткой: «Ишь,— тоже царь!»

Те студенты 1867 г. родные деды солдатам 1917 г.

Но вернемся к тому, от чего так рвался сам князь: к его директорству. Не буду перечислять всех низостей, предательств и лицемерий. Контора — актеры — придворные: какой тройной котел! А рецензенты! Вот уже поистину ярмарка тщеславий!

Есть в этой главе «Сферы» одна жуткая, библейским ужасом веющая картина. Я бы ее назвала: Канун. Придворный ужин в присутствии Государя. Высокая молодежь, устав от рагаите<sup>5</sup>, захотела, наконец, être<sup>6</sup> (всякий по-своему!) — и вот, со всех концов на все концы стола, сначала робко, потом ободренные участием Государя, все метче, все чаще — и уже целым боем перекрестных радуг — хлебные шарики! Читатель, не предстает ли твоим мысленным очам указательный перст, чертящий на стене три слова... «Никогда на этих общественных придворных верхах чувство беззаботности не заражало меня и никогда чувство жути меня не покидало: *Мой шарик не летел*\*. И почему-то всегда я думал о трех надписях к солнечным часам, которые я читал не помню где. Первая надпись: *Ulti ombri iges nostri* (Что тень — дни наши). Вторая надпись: *Vos umbra me lumen regit* (Вами тень, мною свет руководит). Третья надпись: *Ultimam time* (Бойся последнего)... И в какую огромную игру, в какой своеобразный танец превращалось все это, когда слетались в сознании и беззаботность, и жуткость, и цветы, и корни, и хлебные шарики, и бомбы... И всегда я ощущал, что «сферы» не для меня».

(Не замолчу двух внезапных мыслей. Первая: вторую надпись к солнечным часам я всецело отношу к автору, ставлю эпиграфом к его жизни. Вторая: какая страсть к символике! Балтийский песок, хлебные шарики, — какая мелочь, и какой из этой мелочи — над этой мелочью орлиный взлет прозрения! Проследить по этому руслу книгу Волконского. Благодарная задача.)

<sup>5</sup> Казаться (фрэнчи)

<sup>6</sup> Быть (дтуча)

\* Кудряв мой

Как же это кончилось? (Сферы.) Да так же, как с Павловкой: спасительной «интервенцией» внешнего мира. Освобождение снова пришло извне.

Пустынный повод, очаровательный пустячок. Балерина Кшесинская, любимица в те времена Великого Князя Сергея Михайловича, отказалась в балете «Камарго» надеть фижмы и выступила без них. Директор наложил штраф, Кшесинская пожаловалась Государю, Государь предписал директору оный штраф снять, директор предписание исполнил и подал в отставку.— Как, из-за фижм? Но точно ли уясняет себе читатель, что такое фижмы? Вещь стародавняя, не знать легко Фижмы — это стальные обручи, которые в XVIII в. надевались под платье для придания ему большей пышности, а по Волконскому: «Фижмы, это нечто невидимое, что поддерживает внешний вид, нечто пустое, что придает пышность. Вся придворная жизнь из фижм, фижмами подбита, без них и существовать не может».— Опадает.

Глава «Фижмы» одна из самых захватывающих в книге,— такое недавнее и такое безвозвратно прошлое! Гляжу и вижу: внук декабриста перед Самодержцем, загворившая дедовская фронда. На первый взгляд, кажется, всё иное, все, кроме тождества имен. (Оба Государя — Николаи, оба Волконских — Сергеи). Там права человека, здесь — фижмы; там — вооруженный бунт, здесь — корректная подача в отставку; там крепость, здесь — зал Царскосельского дворца, наконец: там — Николай I, здесь — Николай II. Единственное, что и зрительно и внутренне роднит эти два мновения, это прямой хребет деда и внука. Все изменилось: Волконские пребыли. Любопытно, оценил ли эту старинную новинку Государь? И вырвалось ли у него, хотя бы мысленно, такое естественное для правнука Николая I восклицание: — «Ах, уж мне эти Волконские!»

Эта встреча в Царском — некая очная ставка не Государя с подданным, а внука с дедом. И если есть иные миры, дед («старец в черном бархатном халате, курящий трубку», см. «Фалль») — дед не мог не порадоваться на и за внука. Умилительно здесь отношение отца, по выражению автора совершенно лишенного фронды, к фронде сына. Когда Государь, намекая на злополучную историю с фижмами, спросил кн. Волконского-отца: «Ну, что Ваш сын, успокоился?» — знаете, что он услышал в ответ: «Совершенно успокоился, Ваше Величество, с тех пор, как Вы обещали отпустить его, совершенно успокоился».

Этот ответ, думаю, вполне вознаградила сына за его уступку отцовской воле: отец оказался достойным сыновней покорности.

Но есть еще, кроме трехзвучия отца, деда и внука, в «Фижмах» другое созвучие: с Гёте. И Гёте был директором театров, и Гёте подал в отставку, и Гёте был прошен обратно, и Гёте не вернулся.— Подтверждение найдете у Эккермана.

Мы подходим к основному руслу кн. Волконского, к той деятельности, к которой он был рожден, к замыслу всей его жизни: Учителству. Все остальное: *reine — temps — sang perdu!*<sup>7</sup>

В главе «Павловка», говоря о своем прирожденном отвращении к хозяйству, автор роняет следующую замечательную мысль: «И только много позднее я понял, что вовсе не стыдно не интересоваться тем, что тебя не интересует. Только много позднее понял я, что можно вкусы своего отдыха превратить в предмет своей работы. Конечно, не всякие вкусы заслуживают быть превращенными в работу и, с другой стороны, не всякий человек поставлен в такие условия жизни, которые дозволили бы ему слияние наклонностей и обязанностей. Но кто это может, для того прохождение жизненного пути являет редкое преимущество слиянности, единства и покоя». (Последние слова — не дувение ли с гётевских высот?)

Итак, работа как благословение, а не как проклятие. От второго же Адамова проклятия — праха (десяти тысяч десятин и перед Богом и людьми за них ответственности) любезно освободила кн. Волконского Революция.

Мое сокровенное, душу и уста мне жгущее желание — это, чтобы все поняли, что у большого ничего не возьмешь, что не подведомственны руке человека нерукотворные крепости и недоказуемые уголья Духа, что здесь ничего не возьмет: ни декрет, ни штык. Перстень, кресло карельской березы, портреты бабушек, куртины, десятины — да разве это я?! (Не говоря уже о безличных, вне всякого символа владе-

<sup>7</sup> Потеря труда, времени, крови (франц.).

ниях, как сейф и доходный дом.) Рука, нога, затылок, которым меня приставили к стенке, грудь, в которую наставлены дула,— да разве это, опять-таки — я? То, что в груди, *под* черепной крышкой — неосяземо — недоказуемо — вот я, а разве это штыком началось и штыком кончится? Почему никто от Революции не спасается внутрь себя, *под* веки, в глубь собственной груди, в свой единственный дом — Душу? Почему все ищут спасения вокруг, от других, тех или этих?

Все, — нет, не все, и есть на это у кн. Волконского прямой ответ, на первой же странице его «Родины»:

«Она (Родина) будет не реальна, но она будет сильна в своей метафизичности, она не будет *вне* нас, но тем сильнее будет в нас, она лишится узости земных границ и получит беспредельность личного сознания. И если, отрешаясь от земных условий...» Отрешение, вот оно мое, до безумия глаз, до обмирания сердца любимое слово! Не отречение (старой женщины от любви, Наполеона от царства!), в котором всегда горечь, которое всегда скрепя сердце, в котором всегда разрыв, разрез души, не отречение, которое я всегда чувствую живой раной; а: отрешение, без свистущего ч, с нежным замшелым ш,— шелест монашеской сандали о плиты,— отрешение; листья от дерева, дерева от листьев, естественное, законное распадение того, что уже не нужно, что уже перестало быть насущностью, т. е. уже стало лишностью: шелестение истлевших риз.

Об этом лучше, чем у кого-либо, сказано у Тютчева, одного из настольных поэтов Волконского:

...И странно так на них глядела,  
Как души смотрят с высоты  
На ими брошенное тело.

Говоря об отрешенности, я не удаляюсь от учительства: отрешенность единственный к нему путь. Что такое учитель? Лелеющий чужой рост, оберегающий и направляющий чужие силы и соки. Учитель — прежде всего садовник. И как прав, как зорек к себе Волконский, с его — отродясь — нелюбовью к хозяйству и страстью к дереву. Земля — ради хлеба, дерево — ради неба. Дерево, это псалом природы. Дерево в саду бесполезно, дерева жизнь — славу петь, парк же кн. Волконского равнялся 250 десятинам, — 250 десятин бесполезности, 250 десятин славы Божьей!

Древесная страсть! В такой мере, как кн. Волконским, она на страницах русской письменности не владела еще никем. Если он кого-нибудь напоминает нам из русских, то Аксакова. Но Аксаков — это почти что «мать-земля», дерево только частность, разновидность его любви к земле вообще. Для Аксакова дуб — скорей отец, дед, символ прошлого, для Волконского — дитя — рост — благословенный завтрашний день!

Но есть у кн. Волконского один истинный солюбящий, — в XVIII в., фельдмаршал кн. де Лин, писатель пленительный и ныне почти забытый. Если когда-нибудь встретите его: «*Melanges guerriers et literaires*»<sup>8</sup>, отыщите отрывок «*Mes jardins*»<sup>9</sup>.

Страсть к дереву — страсть искони не русская. Послушайте ценнейшее свидетельство Ключевского: «Тяжелая работа топором и огнем, какую заводилось лесное хлебопашество на *пали*, расчищенной из-под срубленного и спаленного леса, утомляла и досаждала. Этим можно объяснить недружелюбное или небрежное отношение русского человека к лесу: он никогда не любил своего леса».

И еще: «Несмотря на деятельность человека, и притом русского человека, не привыкшего беречь леса...»

Эти строки в полном ладу с личным и наследственным опытом кн. Волконского: «Да, пятьдесят лет любовного отношения к дереву не заразили местных крестьян; у них не только нелюбовь, у них ненависть к дереву. Если бы вы только видели жесткость, с какою обращаются крестьяне с деревьями...» И, живописуя зверскую расправу деревенских мальчишек с молодой рябиной: «...Подумайте только, если у вас есть сколько-нибудь склонности к философскому мышлению, подумайте, что это такое — из-за любви к последствию уничтожить причину...»

Понятно ли будет, если я скажу, что любовь кн. Волконского к дереву *погробна*? Не только понятие дерева он любит, на каждую особь — своя любовь. Любя древесное бытие, тем ревностнее лелеет он его трогательный земной быт. (Ах, если бы мы умели любить людей так, как Волконский — деревья!)

«Вот елочка вздумала разукрасить себя зелеными шишечками: в эти годы? Ка-

<sup>8</sup> «Очерки военные и литературные» (франц.).

<sup>9</sup> «Мои сады» (франц.).

кая неосторожность! — Надо сорвать их. Зачем деревцу истощать себя?» Хотела ограничиться данным, но последующее настолько усладительно, что оборвать — обокрасть читателя; «Кедр великолепен. Устоит ли!.. Он выше всех, и молодой лес вокруг него — не защита ему; легко может бурей его сломать. Он был подвязан на три стороны проволокой к столбикам — проволоку украли; подвязал веревкой — веревку украли, подвязал мочалкой — мочалку украли...»

Вывода два: или беззаветное озорство, или уж такая нищета, что и мочалка — клад. В существовании такой нищеты сомневаюсь.

Страсть кн. Волконского к Дереву — страсть наследственная. Прочтите главу о его матери. Какой редкостный женский образ! Какая женственность сердца, какая мужественность духа, какое царственное небрежение к дню. Страсть к Вечности — так бы я определила ее сущность, и эту страсть унаследовал от нее сын.

«От святителей своих (так мы называли ее работу) \* она с садовыми ножницами и пилой шла к своим деревьям и кустам. И елки, и каштаны, и дубки, и белая акация, и бересклет были наперсниками ее дум; и часто, возвращаясь домой с охапками цветов, с пригоршнями семян, с карманами, набитыми желудями, она приносила с собой новую мысль, проект новой главы или какую-нибудь блестящую полемическую искру...» «Не могу не вспомнить, что после смерти ее мы, как водится, заказали парчовый покров. Когда его принесли, и мы покрыли ее, сестра моя сказала мне: — Посмотри на галун. — Я посмотрел, — на нем был орнамент из дубовых листьев и желудей...»

Елизавете Григорьевне Волконской принадлежит один из самых трепетных женских возгласов, спор женщины и одинокого духа, где последнее слово остается — за последним. Она была в дружбе с Владимиром Соловьевым, и вот однажды с ее уст срывается: «Я люблю Соловьева больше чем кого бы то ни было», и тут же, спохватившись: «То есть, конечно, я больше всех люблю вас, детей моих, но для приволья души моей...»

Для того приволья, где уже ни мужа, ни сына — только один друг: Дух.

Еще два слова о древесной страсти сына. «Борьба с пустыней», так он ее определяет.

«Рощи, целые леса мы развели, и хвойных столько, что вечером иногда пахнет сосной, и уже грибы такие, каких прежде в нашей местности не было»... (Переключается с Аксаковым?) «Парк, интересный в древесном отношении: одних хвойных пород больше двадцати. За последние тридцать лет мы перекинули лесонасаждения уже за пределы парка. В голой степи пошли рощи, и лиственные и хвойные; переход из степи к парку стал постепенным, кто долго не был в Павловке, не узнает местности: то была голь, а то перелески, острова»...

Страсть к дереву — страсть к будущему. Бескорыстнейшая и прекраснейшая из страстей. И жлет Революция, эта великая ненавистница гербов и дубов, жлет Революция, именуя себя страстью к будущему. *Осуществленная* Революция — страсть к сегодняшнему: ни вчера (гербов!), ни завтра (дубов!). Принцип Революции — это принцип саранчи (для поля), топора (для леса), принцип Людовика XV: «Après moi — le deluge!»<sup>10</sup>. И все пресловутые насаждения Революции «сроком в 24 часа» — не что иное, как факирские цветы в воздухе, с той разницей, что даже не цветут.

А теперь — последняя сценка на прощание. Революция: разгром: развал. Кн. Волконский садовыми ножницами на одной из дорожек парка подстригает кусты. Подходит кто-то в защитном и в галифе, недоумевает, задумывается, умиляется: «И для кого вы трудитесь? Ведь смотреть жалко. Сами ведь уж не увидите». — «Я не для себя, я для красоты». — «И кто только после вас стричь будет?» — «После меня уж не стричь, а рубить будут». — Жест выращивания у него в руке.

Творческий инстинкт перед разверстой ямой, — вот оно, бессмертье! Скрип садовых ножниц Волконского, вот он, ответ на стук топоров!

Садовник. — Учитель. — Когда я думаю о Боге первых дней, я неуклонно вижу его садовником. Когда я думаю о Боге первых дней, я неуклонно думаю о Гёте последних. Когда я думаю о Гёте последних, я неуклонно думаю о кн. Волконском. Есть книги кн. Волконского более близкие, по объекту — сущности Гёте, нежели «Родина» («Художественные отклики» напр.). В «Родине» — героической самоотвержен-

\* Две ценных книги по вопросам богословия.

<sup>10</sup> После меня хоть потоп! (Франц.)

ностью автора — много отдано временному, окружающему, *вне* его сущности происходящему. «Пусть другие, если им интересно, говорят обо мне, я предпочитаю говорить о других». Это слово Волконского о его директорстве можно отнести ко всей его книге. Вся книга о других. Каким же чудом я, читатель, из всех этих других вывела только одно: *его*? Простое и чудесное чудо: личность, то чего не скроешь даже в приходо-расходной книжке! Запись виденного, слышанного, взвешенного, но: увидено *его* глазами, услышано *его* ушами, взвешено на *его* весах, и — в итоге — брэнное спадает, как шелуха, как скорлупа, из всей книги, над всей книгой гётевский осяянный лоб. Так книга бытовая, почти злободневная — превращается в *document divin*<sup>11</sup>. (Достаточно с нас — *humains*<sup>12</sup>!) В этом *его* основное родство с Гёте: «alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis»<sup>13</sup>. Гёте на жизнь смотрел не «со стороны», а — с высоты. Со стороны глядя — только одну сторону и увидишь! Это лучше, конечно, чем смотреть из гуши (церковной ли, базарной — едино!), но... Войдя в храм, мы не найдем лучшего места, нежели хоры: и к куполу ближе — и алтарь не заслонен спинами. Хоры менее высокомерны, чем первые места на плоскости! Хоры — это уединение, первые места на плоскости — утверждение своих брэнных земных прав. Революция первых вольна сделать последними, высших она никогда не делает низшими. Взгляд с хор (то же — что конный!) — взгляд божеский: если на плоскости и действены те или иные перегородки (перед князем — княжеская, перед рабочим — пролетарская!), сверху — они все равны, все равно-ничтожны, все — внизу. Бедные сословные закуты!

«A vol d'oiseau», «dans les huages»<sup>14</sup>, все, чем мировое мещанство клеймит духовное избрничество, — неосознанная истина, отдавание должного. Превосходство горы над равниной в том, что ей открыты все дали. И не удержусь не привести здесь одного вскользь и в другой книге оброненного наблюдения кн. Волконского: «Дали недвижны — отсюда спокойствие высот». — Не знай я, что это сказано Волконским, я бы непременно назвала Гёте.

Итак, кн. Волконского я смело могу назвать — учителем жизни. Что же касается до *его* творчески-лекторской деятельности, столь близкой театру, здесь я вдвойне не судая: судьей можно быть лишь в вопросе спорном, — ценность же кн. Волконского — несомненность, и судьей должно быть любящим, — пишущий же эти строки даже и не любопытствует театру. Знаю только, как случайный очевидец, что на росписях лекций во всех учебных заведениях, где читал Волконский, против графы: «Предмет» — стояло: «Волконский». — Волконский читает Волконского.

Работать лектору пришлось в чрезвычайных условиях Революции. Начало *его* занятий в 1918 г. в Тамбове, в Народном Университете, затем два с половиной года — невылазная Москва. Москва 1918 г. — 1921 г., — что встает? Раньше всего — заборы. У большевиков, вообще, роман с заборами: или ломать, или украшать загадочными письменами. (На *е* не сразу научишься читать, не говоря уже о смысловом содержании декретов!) Так, памятуя дровяной голод, декреты и расстрелы, свободно можно сказать: стенкой согреемся, стенкой обучимся, стенкой успокоимся. Символическая страсть к стене: пределу. — Стена партийности. — Но, мимо! Итак, Волконский читает в револ. Москве свою систему, читает в Музыкальной Дrame, в Пролеткульте, во многих студиях. Слушатели — сборная московская молодежь, руководители — коммунисты. Каковы отношения с первыми и со вторыми?

«Из той массы народа, которая прошла за три года перед моими глазами во всевозможных «студиях», я только в одной среде нашел проявление настоящей свежести. Это в рабочей среде. Здесь я видел яркие, любознательностью горящие глаза, каждое слово принималось с доверием и жаждой. Я очень много читал в так называемом Пролеткульте. Там были исключительно рабочие, на нерабочих был процент. Я всегда буду вспоминать с признательностью эту молодежь и их отношение к моей работе и ко мне лично». А вот случай, нельзя ярче живописующий это отношение: придя на лекцию, нежданно-негаданно лектор узнает, что «постановлением заседания преподавательского состава» над *его* уроками учреждена опека в виде инструктора. должностящего изъяснять студийцам, что из указаний Волконского приемлемо, а что должно быть отвергнуто. Одновременно с сим постановлением лектор узнает и

<sup>11</sup> Божественный документ (франц.).

<sup>12</sup> Человеческий.

<sup>13</sup> Все быстротечное — символ, сравнение («Фауст». Перевод Б. Пастернака).

<sup>14</sup> Птичий полет в облаках (франц.).

ответ студийцев: мы люди взрослые, искусству любопытствуем со всех сторон и подобной опеки над Волконским не стерпим.— Кто же эти студийцы? Темнота, рабочие, «рабочий скот», три года подряд, день за днем разжигаемый красными отребьями своих коммунистических торреро.— Какие прелестные лица встают! — Целая вереница! — Вот Сидельников, замечательно одаренный в пластике, похожий на индейца, коммунист, доброволец (погиб впоследствии на льду под Кронштадтом), вот Алексей Матавин, отличный ритмист, вот рабочий Носов, впервые по выходе с большого ритмического праздника понявший, что значит, когда говорят: «искусство облагораживает душу», вот двое Тумановых, один просто — Туманов, а другой Туманов с трубкой. Последний все глядел да отмалчивался, но на легкую укоризну лектора показал последнему целую тетрадь внимательнейших записей.

Много именных воспоминаний, еще больше безымянных: «Имен больше не помню, это не значит, что я забыл людей». Через всю книгу Волконского, особенно там, где речь идет о «малых сих», — этот страх, это тоскливое обмирание сердца: «А вдруг подумает, что забыл?» Есть для этой особой памяти сердца и особое наименование: страсть благодарности. За что? Не за ту муку, конечно, что привезли ему студийцы из артистической поездки, не за те яблоки, что они ему, уже по его выходе из студии, отложили: за доверие к человеку, за переборотое недоверие к князю, за сердце, более зоркое, чем глаза, ослепленные кумачами знамен и иероглифами декретов.

Кстати, по поводу яблок — такой диалог: «...Мы на вашу долю отложили. Вот адрес, а вот билет на получение.— Ну, что Вы беспокоитесь, Вам нужнее, я и без яблок проживу.— Нет, нет, мы знаем, что Вы больше каждого из нас работаете! — Признаюсь, это был, может быть, самый ценный для меня в жизни комплимент, это признание из уст коммуниста». — Признаюсь, в свою очередь, что это, может быть, одно из самых ценных слов, мною в жизни слышанных, это признание из уст князя.

Дело кн. Волконского в Пролеткульте как лектора — ценно, как учителя — огромно. Дарований, по его словам, было мало (как везде!), из всех своих слушателей он самородным золотом называет только одного, — да и тот жил где-то на окраине и пришел на урок только раз, — «но была свежесть и горячность восприятия... Не скажу, чтобы искусство от них со временем выиграло, но Россия о них возрадуется». — Дай Бог! — Мое же русское и человеческое сердце, пока будет биться, не устанет радоваться этому простому чуду: человеку — вне века, князю вне княжества, человеку — без оговорок: че-ло-ве-ку.

Каково же отношение руководителей, честнее: властей?

Действенной злобы с их стороны я не вижу. Скорее робкие поползновения к сближению, примирению. Им — морально — горше доставалось от Волконского, чем ему от них: он был им живой укор и — что хуже — живое опровержение. В самом деле: у человека, во имя рабочих, все отняли — он отдает им свои лучшие часы, при этом всенародно восставая на диктатуру пролетариата. Все отняли, стало быть — не все, кола дает? Что же это, чего нельзя отнять? И почему, ненавидя «пролетариат», любит рабочих?

Сколько загадок! А главное: как, лишенный всего не только «излишнего», но — насущного, как: свет, тепло, хлеб, — как, живя хуже последнего, — пишет книгу за книгой и, очевидно, радуется — раз жив?

Не все над этими вопросами думают, — ответ на них все чувствуют. Как тот маленький коммунист в Борисоглебске, арестованный за то, что посещал семью Волконских, и на допросе ответивший: «Я не к князьям ходил — к людям», — так каждый коммунист, высший или низший, поскольку в нем сохранилось человеческого, ощущал над собою эту власть человека. Короче: коммунистам перед Волконским было стыдно и они его, не понимая, чтили. — «Вы, конечно, представитель буржуазной культуры, но вы по-своему верны себе» — вот отзыв о Волконском комиссара юстиции Красикова. А вот женский голос, умоляющий по телефону Волконского читать лекции в какой-то тысяча первой студии. Из лекций ничего не вышло, но дня три спустя лектор, к удивлению своему, получает от той самой просительницы продовольственную посылочку. Обладательница умоляющего голоса оказалась видной коммунисткой.

Капли в море, да. Бедные капли масла в кровавом море, — и не им утишить бурю! Но не будем, подобно коммунистам, измерять всякую ценность — количеством, и не забудем, что на каждого зверя — есть Орфей!

Нам остается еще сказать о речи Волконского. Основное свойство ее — гибкость: в описании — смычок, в диалоге — шпага, в мысли — резец. С ним можно быть спокойным: не слово его ведет, и не он — слово. Как во всем существе — вольный союз: в лад. Это не ювелирная работа (кропотливо-согнутая спина эстетства) и не каменный обвал косноязычного вдохновения: ни вымученности, ни хаоса. Речь стройна и пряма, как он сам. Эта речь с ним родилась, она его неотъемлемость, вторая плоть.

Переключать мысли в слово — это уже хромые мысли: мысль и слово, в счастливые творческие часы, рождаются одновременно. Мучительное: «как бы это сказать?» — только неосознанное: «как бы это додумать?» Поиски слова — доказательство несовершенности мысли, уточните мысль — отточится слово. Так, а не иначе получается формула. — Совершенная мысль не может не быть формулой.

Но есть, кроме формулы, еще одно великое очарование речи, ее основная магия: ритм: вздох. Ритм для эмоционального начала то же, что формула — для мысли: доказательство существования. «Дышу, стало быть существую», — так говорит душа.

Дыхание кн. Волконского глубоко и высоко, в ритме его спокойно и просторно, как хорошему пловцу в полноводной реке. Раскроем первую стр. «Фалль». Окно над водопадом. «Море сияет далёко, река шумит глубоко, и между ними — воздух и пространство... Что это, как не совершенный вздох? А вот еще в том же «Фалле» — видение древнего бога: «Там, на той стороне реки, на лужайке над горой стоит из бронзы человек, — Аполлон называют его; не видать, на чем он стоит, — облака у ног его, он точно на небе, или небесный на земле...» и через две строки: «И сколько лет уже с террасы белокаменные львы вперяют недвижные очи в недвижные ночи».

Вот запечатление последнего мгновения тела на земле: «...Так, среди снега и мороза, предстал под красным покровом и обложенный римскими пальмами гроб кн. М. А. Волконской... Черные из-под белых подушек глядели еловые ветки, в то время как зеленые пальмы ложились в могилу... Двадцать лет изымалось из реального существования и переходило в тончайший дым воспоминаний. И в то время, как неумолимая земля заравнивала грань между настоящим и уходящим — за белым саваном равнины я видел, поверх макушек внизу лежащего леса, как море сочеталось с небом...»

Что поражает в этом описании? Действенность предметов, являющих смерть. Я бы сказала: здесь смерть (неподвижность) дана в движении. Красный гроб предстает, как триумфатор, ели из-под снега глядят, зеленые пальмы сами ложатся в могилу, земля сама заравнивает грань. — Все вне человека. — И от столького движения — покой. Но не в этом одном отрывке «неодушевленные» предметы у автора живут и движутся. «Как мягко, низко земля подползает под воду; стелется белый песок под светлую струю...» «Вода в затонах рябится и серебрится. Взлетает чибис с хохолком, крылья белым подбиты и две лапки еще висят, — не успел подобрать... Телеса стучит и толкается...»

Так воспринимают дикари, так воспринимают дети, так воспринимают поэты. Но, помимо сердитой толкачей телеги, есть в этом отрывке ценность иного порядка: «рябится и серебрится», — как сразу — путем созвучия — рябь и плеск! О, Волконский великий мастер созвучия! Возьмем простейшие: «Вода рябится и серебрится...» «Коляска катится, кучер на козлах покачивается. Луна стала высокая, далекая...» А вот созвучие уже более сложное, менее явное, более внутреннее, — о револ. Петербурге: «Решетки каналов валились, подвалы домов заливались...» Каналов — подвалов, валились — заливались, слышите переключку, помимо смыслового содержания вырастающую в жалобу? Сами слова стонут, зывают. Вот она, здравому смыслу неподсудная, в победоносности своей беспорочная — Магия слова (заклинивания, причитания, заговоры, плачи)! Ряд коротких ударов, — слушайте: «Жаворонки взлетают, падают, реют, пропадают...» «Поезд пыхтит, раскачивается, пыхтенье напрягается, стук учащается, слабеет, пропадает...» Нарастание перешло в напряжение — высшая точка напряжения — и разрешение, на нет-схождение...

Слышу отсюда реплику: «После всего, что за последнее время было сделано по разработке прозаического ритма...»

Ритмика Волконского мне дорога, потому что она природна. В ней — если кто-нибудь и побывал, то только, вероятно, один — Бог!

1  
Столь же природна: боговдохновенна, как ритмика Волконского, и образность его. Вот сломанная шестиствольная рябина, звездой лежащая на земле. (Шесть стволов — лучи.) Вот «островки древесные», вот «мыс оврага»... «Архитектурная аллея»...

(Сразу — видение готического собора.) «Крылатое вращение жнейки, трескучее подпрыгиванье сеялки»... Остановимся на жнейке. Тремя словами дано все: и движение, и форма,— вплоть до дуновения в лицо... Попробуйте переставить: вращение крылатой жнейки... Первое, что встает: а действительно ли крылата? Вся тяжесть внимания — на крылья,— задержка восприятия — ничего не встает. А крылатое вращение — вне проверки: летишь!

А вот образы слуховые (почти отсутствующие, кстати, у имагинистов, за исключением Есенина, поразительно тугих на ухо). «Рубленая речь», «гортанное ррраз» косаря, «жужжливое негодование» шмеля.— В чем сила? Пропускаются все промежуточные слова, определение дается так, как оно в первую секунду возникает, дается почти само восприятие. Опять-таки — прием детский: взрослые, развращенные газетным, сплошь лишним, языком, в конце концов так даже и не думают. Определение «жужжливо негодуя» — формула. К образам отнесу и зачаровавшее меня «волчье исподлобье». Все мы знаем, что значит глядеть исподлобья, все мы знаем, что волк в глаза не глядит. Автор взял и соединил это человеческое полу-гляденье с этим волчьим не-гляденьем, и получился самый неприятный из взглядов. Возьмем исподлобье (как существительное) отдельно. «Это исподлобье»... То есть как «это»? Не опечатка ли? Но определим исподлобье: «мрачное, хитрое, волчье» — и исподлобье живет. Так, в данном случае: есть качество — есть предмет.

В словесной области, обратно чем в области человеческой, все дело или почти все дело — в соседстве. Это когда-то отлично знали *Романтики*.

Речь Волконского, как всякое истинное творчество, питается двумя источниками: личностью и народностью. Личное, мне кажется, достаточно встает из только что прочитанного. Проследим его речь по руслу народности. Русская речь Волконского — сокровищница. Такое блаженство я испытывала только, читая в 1921 г. «Семейную Хронику» Аксакова. Это не гробокопательство, не воскрешение в ХХ в. допотопных останков, не витрина музея, где к каждому предмету — тысяча и одно примечание,— это живая, живучая и певучая русская мольвь, такая, как она поет еще в далеких деревнях и в памятливых сердцах поэтов.

Когдатощный, побывка, займище, помоха, посеёчас, кладовушка, «скламши ручки» (тип уездной барышни), оглядка, порубка, потрава, «пить-не-пью»,— сокращенные: фырк, дых, вспых,— говорю: сокровищница. Из книги его выходишь, как из живительного потока. И, заметьте,— никогда в проявлениях отвлеченной мысли, народ не мыслит отвлеченно, и отвлеченная мысль — вне народности. На каждый радиус своего духовного круга — своя речь.

Думаю, в преподавательской деятельности кн. Волконского в сов. России, одна из главнейших его заслуг — чистка русской речи, беспощадное — путем высмеивания — смывание с нее чужеземной накипи. Перечтите «Разрушение» — посмеетесь. Я нигде не упоминала о юморе Волконского, это целая стихия! Его помещичья «Глушь» — не продолженные ли «Мертвые Души» (как современная Россия — не продолженная ли гоголевская)? И то, что его вплотную роднит с Гоголем: тот же, непосредственно из самой гущи российского быта — взлет над этой гущей, легкость перемещения, неприкрепленность к именно этой пяди земли,— то, чего так кровно был лишен Чехов: местное, одоленное вселенским, быт — бытием. Вот на прощание последний отрывок: автор возвращается домой после жирных, пьяных, шумных, разлитых помещичьих именин:

«Мягкой черноземной дорогой еду по лунной степи; в луне лежат убранные поля, и копны, как таинственные крепостные сооружения, под лунным светом шетинятся. В луне лежат деревни; окна спящих изб блестят... Еду и вспоминаю слышанные разговоры...»

Я назвала свою статью «Кедр»: дерево из высоких высокое, из прямых прямое, двойное воплощение Севера и Юга (кедр ливанский и кедр сибирский), дерево редкое в средней России. Двойная сущность Волконского: северное сияние духа — и латинский его (материнский) жест. И — двойная судьба его, двойной рок, тяготеющий над родом Волконских: Сибирь — и Рим! (Тяготеющий и над внуком декабриста, ибо — четыре года в сов. России — чем не Сибирь?)

Апологию свою я назвала «Кедр» и потому еще, что это на десяти тысячах его бывших десятин — самая любимая его пядь земли: сибирский кедр, его руками посаженный! «Он могуч, он виден издалека, его зелень бархатна, он царствует посре-



структуру человеческой деятельности, что ее возможности далеко превосходят все, что могло бы быть достигнуто, если бы мы руководствовались сознательно задуманным проектом. Свобода индивидуума решать, на что направить имеющиеся в его распоряжении средства (распределяемые между людьми в соответствии с некими абстрактными правилами), еще раз была признана гораздо более эффективным способом реализации потенциальных возможностей человека. Различие между двумя системами, долгое время казавшееся чисто этическим (и в силу этого не подлежащим третьей стороне разума), на деле оказалось результатом вполне конкретных практических разногласий относительно реальных возможностей каждой системы. В этом случае спор может быть разрешен с помощью рациональной аргументации, что и произошло; превосходство системы, где высшей ценностью является свобода личности, базирующаяся на институте частной собственности, было еще раз продемонстрировано противоположными результатами конкурирующих экспериментов, проводившихся на памяти двух поколений в разных частях того, что когда-то было общеевропейской цивилизацией.

Мало что могло бы меня порадовать больше, чем тот факт, что четырнадцатым языком, на котором появится моя книга, будет русский. Сразу после ее выхода в свет я предоставил разрешение на ее перевод на несколько больше число языков, чем те, на которых она тогда могла быть опубликована. В 40-е и 50-е годы политическая ситуация в некоторых из тех стран, где ее перевод был уже подготовлен, изменилась настолько, что ее публикация стала невозможной. Ныне, как кажется, процесс идет в обратном направлении: в нескольких странах теперь, с примерно тридцатилетним запозданием, появляются издания этой книги. Самым недавним из них, доставившим мне особое удовольствие, было польское издание. И все же я почти не надеялся дожить до момента, когда увижу ее в русском переводе, воздействие которого может оказаться более значительным, чем любого другого. Я глубоко надеюсь и желаю, чтобы мои ожидания сбылись.

Ф. А. Хайек.

Фрейбург-им-Брейсгау, апрель 1982 г.

## ВВЕДЕНИЕ

Нет исследований более раздражающих, чем те, где прослеживается родословная идея.

Лорд Актон.

Отличие современных нам событий от истории состоит в том, что мы не знаем, к чему они приведут. Оглядываясь назад, мы можем понять смысл событий, случившихся в прошлом, и увидеть, какие последствия они за собой повлекли. Но история, происходящая у нас на глазах, — для нас не история. Она ведет нас в неведомые края, и лишь изредка мы можем на мгновение увидеть, что лежит впереди. Дело обстоит бы по-другому, если бы нам дано было пережить те же события вторично, обладая полным знанием того, что мы уже пережили. Насколько иным все бы предстало перед нами, какими важными, а зачастую и тревожными показались бы едва заметные сейчас сдвиги! Быть может, это даже к лучшему — то, что нам не дано этого испытать и мы не знаем, каким законам подчиняется история.

И все же, хоть история никогда полностью не повторяется, и даже как раз благодаря тому, что ни один путь развития не является неизбежным, мы можем, исходя из прошлого, в какой-то мере избежать повторения одного и того же процесса. Чтобы сознавать приближение опасности, не надо быть пророком. Случайное сочетание опыта и заинтересованности может явить одному человеку сокровенную суть событий, неведомую другим.

Ниже следующие страницы являются результатом того опыта, который выпал на мою долю. Можно сказать, что я почти что пережил дважды один и тот же период — или по крайней мере наблюдал дважды весьма схожую эволюцию идей. Подобный опыт вряд ли можно приобрести, живя в одной стране, но при определенных обстоятельствах этого можно достигнуть, если подолгу жить в разных странах поочередно. Дело в том, что хотя влияния, которые испытывает общее направление мысли, в большинстве цивилизованных стран практически одни и те же, они не обязательно проявляются в одно и то же время и развиваются с одинаковой скоростью. Таким образом, переезжая из одной страны в другую, можно иногда дважды наблюдать одни и те же стадии интеллектуального развития. При этом чувства странным образом обостряются. Когда при тебе во вто-

# ПУБЛИЦИСТИКА

Ф. А. ХАЙЕК

\*

## ДОРОГА К РАБСТВУ

СОЦИАЛИСТАМ ВСЕХ ПАРТИЙ.

Любая свобода, как правило, утрачивается постепенно.  
Давид Юм.

Полагаю, я любил бы свободу во все времена, но в наши дни я готов поклоняться ей как Богу.

Алексис де Токвиль.

Фридрих Август Хайек родился в 1899 году в Вене. После окончания в 1921 году Венского университета (где ему были присуждены ученые степени доктора права и доктора политических наук) он некоторое время состоял на государственной службе, после чего в 1927 году был назначен первым директором Венского института экономических исследований. В 1931 году он стал профессором Лондонского университета, где получил кафедру экономики и экономической статистики в Лондонской школе экономики. В 1950 году Ф. А. Хайек становится профессором экономической политики во Фрейбургском университете (ФРГ), где преподает до 1969 года. С 1970 года Ф. А. Хайек — профессор-консультант Зальцбургского университета (Австрия). В 1974 году ему была присуждена Нобелевская премия по экономике. Ф. А. Хайек — член Бриганской Королевской Академии наук и доктор honoris causa нескольких университетов.

### ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Сорок лет назад я попытался в этой книге показать, почему определенное интеллектуальное течение, завладевшее умами многих ведущих западных мыслителей, угрожает гибелью всей построенной нами цивилизации. Появление книги, как и следовало ожидать, было встречено большинством интеллектуалов враждебно; приветствовали его в основном те, кто своей повседневной практической деятельностью способствовал поддержанию существующего порядка, не особенно вдаваясь в размышления относительно его оправданности. Тем не менее она стала отправной точкой нового интеллектуального направления, которое ныне находит все больше сторонников среди молодежи, осознающей порочность даже самых идейных предпосылок того, что когда-то казалось сияющим идеалом. Представление, что наш коллективный разум достиг высот, где мы уже можем заменить саморегулирующийся процесс сознательным руководством, оказалось на поверку всего лишь иллюзией. Если бы это убеждение (отнюдь не абстрактного, а вполне практического свойства) не было ошибочно, тогда действительно нашим моральным долгом было бы управлять всей нашей экономической деятельностью так, чтобы ее результаты соответствовали тем нравственным ценностям, которыми мы руководствуемся в своих индивидуальных действиях. Однако, как мы теперь понимаем, подобная попытка задушила бы именно те самые индивидуальные усилия миллионов отдельных личностей, благодаря которым крупницы знаний, таланта и опыта, рассеянных среди этих миллионов, сливаясь в едином, никем не направляемом процессе, формируют такую

© Russian edition Nina Karsov, 1983.

Работа Ф. А. Хайека печатается нами в переводе Нины Ставиской (Издательство Нины Карсов, Лондон, 1983). В журнальной публикации сокращен объем комментариев, составленных А. Бабичем для данного издания, опущен ряд приводимых автором ссылок, преимущественно библиографического характера. (Ред.)

структуру человеческой деятельности, что ее возможности далеко превосходят все, что могло бы быть достигнуто, если бы мы руководствовались сознательно задуманным проектом. Свобода индивидуума решать, на что направить имеющиеся в его распоряжении средства (распределяемые между людьми в соответствии с некими абстрактными правилами), еще раз была признана гораздо более эффективным способом реализации потенциальных возможностей человека. Различие между двумя системами, долгое время казавшееся чисто этическим (и в силу этого не подлежавшим третейскому суду разума), на деле оказалось результатом вполне конкретных практических разногласий относительно реальных возможностей каждой системы. В этом случае спор может быть разрешен с помощью рациональной аргументации, что и произошло: превосходство системы, где высшей ценностью является свобода личности, базирующаяся на институте частной собственности, было еще раз продемонстрировано противоположными результатами конкурирующих экспериментов, проводившихся на памяти двух поколений в разных частях того, что когда-то было общеевропейской цивилизацией.

Мало что могло бы меня порадовать больше, чем тот факт, что четырнадцатым языком, на котором появится моя книга, будет русский. Сразу после ее выхода в свет я предоставил разрешение на ее перевод на несколько большее число языков, чем те, на которых она тогда могла быть опубликована. В 40-е и 50-е годы политическая ситуация в некоторых из тех стран, где ее перевод был уже подготовлен, изменилась настолько, что ее публикация стала невозможной. Ныне, как кажется, процесс идет в обратном направлении: в нескольких странах теперь, с примерно тридцатилетним запозданием, появляются издания этой книги. Самым недавним из них, доставившим мне особое удовольствие, было польское издание. И все же я почти не надеялся дожить до момента, когда увижу ее в русском переводе, воздействие которого может оказаться более значительным, чем любого другого. Я глубоко надеюсь и желаю, чтобы мои ожидания сбылись.

Ф. А. Хайек.

Фрейбург-им-Брейсгау, апрель 1982 г.

## ВВЕДЕНИЕ

Нет исследований более раздражающих, чем те, где прослеживается родословная идей.

Лорд Актон.

Отличие современных нам событий от истории состоит в том, что мы не знаем, к чему они приведут. Оглядываясь назад, мы можем понять смысл событий, случившихся в прошлом, и увидеть, какие последствия они за собой повлекли. Но история, происходящая у нас на глазах, — для нас не история. Она ведет нас в неведомые края, и лишь изредка мы можем на мгновение увидеть, что лежит впереди. Дело обстоит бы по-другому, если бы нам дано было пережить те же события вторично, обладая полным знанием того, что мы уже пережили. Насколько иным все бы предстало перед нами, какими важными, а зачастую и тревожными показались бы едва заметные сейчас сдвиги! Быть может, это даже к лучшему — то, что нам не дано этого испытать и мы не знаем, каким законам подчиняется история.

И все же, хоть история никогда полностью не повторяется, и даже как раз благодаря тому, что ни один путь развития не является неизбежным, мы можем, исходя из прошлого, в какой-то мере избежать повторения одного и того же процесса. Чтобы сознать приближение опасности, не надо быть пророком. Случайное сочетание опыта и заинтересованности может явить одному человеку сокровенную суть событий, неведомую другим.

Нижеследующие страницы являются результатом того опыта, который выпал на мою долю. Можно сказать, что я почти что пережил дважды один и тот же период — или по крайней мере наблюдал дважды весьма схожую эволюцию идей. Подобный опыт вряд ли можно приобрести, живя в одной стране, но при определенных обстоятельствах этого можно достигнуть, если подолгу жить в разных странах поочередно. Дело в том, что хотя влияния, которые испытывает общее направление мысли, в большинстве цивилизованных стран практически одни и те же, они не обязательно проявляются в одно и то же время и развиваются с одинаковой скоростью. Таким образом, переезжая из одной страны в другую, можно иногда дважды наблюдать одни и те же стадии интеллектуального развития. При этом чувства странным образом обостряются. Когда при тебе во вто-

рой раз высказываются взгляды, или предлагаются меры, с которыми ты впервые столкнулся двадцать—двадцать пять лет назад, они приобретают новую значимость, как символы вполне определенной тенденции. Они говорят если не о неизбежности, то по крайней мере о возможности того, что события будут развиваться в том же направлении.

Теперь необходимо высказать горькую истину: нам угрожает опасность повторить тот путь, по которому уже прошла до нас другая страна, и эта страна — Германия. Опасность, правда, не так уж близка, да и условия в Англии по-прежнему сильно отличаются от тех, что наблюдались в Германии в последние годы, так что трудно поверить, что мы движемся в том же направлении. И все же это одна и та же дорога — и чем дальше мы по ней продвинемся, тем труднее будет повернуть назад. Если «по большому счету» мы творим свою судьбу сами, то в частности — мы пленники нами же порожденных идей. И только вовремя осознав опасность, мы можем надеяться ее предотвратить.

Пока наша страна ни в чем не похожа на нынешнюю Германию — Германию Гитлера, Германию времен теперешней войны. Но все, кто изучает течения общественной мысли, вряд ли могут не заметить отнюдь не поверхностного сходства между общим направлением мысли в Германии до и после первой мировой войны и взглядами, широко распространенными в настоящее время в Англии. Мы наблюдаем ту же самую решимость сохранить организационную структуру, созданную для целей обороны, чтобы впоследствии использовать ее для созидательных целей. Здесь царит то же самое презрение к либерализму девятнадцатого века, тот же фальшивый реализм и даже цинизм, та же фаталистическая покорность перед лицом неотвратимых тенденций. Что же до уроков, которые наши наиболее горластые преобразователи во что бы то ни стало хотят нас заставить извлечь из нынешней войны, то в девяти случаях из десяти это — уроки, извлеченные немцами из прошлой войны и во многом способствовавшие появлению нацизма. На страницах этой книги мы беремся показать, что и во многих других отношениях Англия следует, с пятнадцати-двадцатилетним отставанием, по стопам Германии. Люди не любят, когда им об этом напоминают, но ведь еще недавно социалистическая политика Германии рассматривалась прогрессистами как пример для подражания, подобно тому как в ближайшем прошлом образцовой страной, на которую устремлялись взгляды сторонников прогресса, была Швеция. Все, у кого не такая короткая память, знают, как глубоко повлияла германская идеология и практика на идеалы и политику по крайней мере одного поколения англичан перед прошлой войной.

Автор провел почти половину сознательной жизни на своей родине, в Австрии, в тесном соприкосновении с немецкой интеллектуальной жизнью, а вторую половину — в США и Англии. Двенадцать лет, прожитые на британской земле, внушают ему все большую уверенность в том, что некоторые из сил, уничтоживших свободу в Германии, действуют и здесь, а природа и источник опасности понимаются здесь, быть может, даже в еще меньшей степени, чем когда-то в Германии. Здесь все еще не осознано всего трагизма того, что произошло в Германии, где именно люди доброй воли, считавшиеся в стране образцом и пользовавшиеся всеобщим восхищением, расчистили путь для сил, воплощающих теперь все самое для них ненавистное. А ведь наши шансы отвести аналогичную судьбу зависят от способности без страха смотреть в лицо опасности и отказаться даже от самых дорогих нашему сердцу надежд и устремлений, если они окажутся ее источником. Пока не очень похоже на то, что у нас хватит интеллектуального мужества признаться самим себе в своей возможной неправоте. Немногие готовы признать, что появление фашизма и нацизма было не реакцией на социалистические тенденции предыдущего периода, но прямым следствием этих тенденций. Большинство не желало этого видеть даже тогда, когда сходство многих оттакаживающих черт, присущих коммунистическому режиму в России и национал-социалистическому — в Германии, стало общепризнанным фактом. В итоге многие, считающие, что они не в состоянии скатиться до уровня мрачного безумства нацистской идеологии, и искренне ненавидящие нацизм во всех его проявлениях, в то же время трудятся во имя идеалов, воплощение которых в жизнь прямо привело бы к столь ненавистной им тирании.

Все параллели между путями развития в разных странах, разумеется, обманчивы; но мои доказательства строятся главным образом не на таких параллелях. Не пытаюсь я также доказать, что подобное развитие событий является неизбежным (в противном случае не имело бы смысла все это писать). Я утверждаю, что его можно предотвратить, если люди вовремя осознают, к чему может привести то, что они делают. До недавнего времени любая попытка заставить их увидеть опасность имела небольшие шансы на успех, но сейчас как будто подошел момент для более полного и всестороннего обсу-

дения этой проблемы. Дело не только в том, что теперь серьезность ее признается практически всеми, но появились и особые причины, которые в существующей ситуации заставляют нас взглянуть правде в глаза.

Не исключено, что кое-кто может сказать, что сейчас не время поднимать вопрос, мнения по которому резко разделяются. Однако социализм, о котором идет речь — это не вопрос партийной принадлежности, а обсуждаемые нами проблемы имеют мало общего с предметами межпартийных споров. Суть постановки вопроса не меняется от того, что принадлежащие к различным группировкам сторонники социализма преследуют при этом интересы своей собственной группировки (расходясь, например, во мнениях относительно масштабов необходимых социалистических преобразований). Для нас важно то, что люди, чьи взгляды влияют сейчас на ход развития страны — все в той или иной мере социалисты. Подчеркивать, что «все мы теперь социалисты», перестало быть модным только потому, что это само собой разумеется. Практически никто не сомневается, что мы должны продолжать двигаться к социализму, и в большинстве своем люди просто пытаются отклонить это движение в ту или другую сторону в интересах того или иного класса или группы.

Мы движемся к социализму только потому, что этого хотят почти все. Нет никаких объективных фактов, делающих это движение неизбежным (ниже нам придется еще говорить о мнимой «неизбежности» планирования). Главный вопрос — куда нас это движение приведет. Если люди, чья убежденность придает ему неотразимую силу, увидят то, чего сейчас опасаются лишь немногие, неужели они не отшатнутся в ужасе и не откажутся от мечты, на полвека захватившей столько людей доброй воли? Куда заведут нас общие для нашего поколения убеждения — вот вопрос, который должна решать не одна какая-то партия, а каждый из нас, вопрос первостепенной важности. Можно ли вообразить себе большую трагедию, чем ту, когда мы в наших стремлениях сознательно сформируем свое будущее в соответствии с высокими идеалами, на деле невольно создадим прямую противоположность того, к чему стремимся?

Есть и другая, еще более неотложная причина, почему в настоящий момент нужно прилагать все усилия, чтобы уяснить, какие силы породили национал-социализм: это поможет нам понять врага и осознать, во имя чего ведется эта война. Нельзя отрицать, что пока еще мало кто отдает себе отчет в том, за какие положительные идеалы мы сражаемся. Известно, что мы сражаемся за свободу строить свою жизнь так, как считаем нужным. Это много, но этого недостаточно для выработки твердых убеждений, необходимых, чтобы противостоять врагу, чьим главным оружием является пропаганда, причем не только в грубых, но и в утонченнейших формах. Этого тем более недостаточно для нанесения встречного удара по этой пропаганде в странах, находящихся под ее властью, и в прочих, где влияние ее не исчезнет в момент поражения стран Оси. Этого недостаточно, чтобы показать другим странам, что идеалы, которые мы защищаем, достойны их поддержки. Наконец, этого недостаточно, чтобы дать нам четкий ориентир в деле построения новой Европы, избавленной от опасностей, погубивших старую Европу.

Прискорбным фактом является то, что англичане как в своем поведении по отношению к диктаторам еще до начала войны, так и в робких попытках вести пропаганду, да и в обсуждениях конечных целей самой войны, проявили неуверенность в себе и в своих целях, которую можно объяснить лишь весьма туманным и неясным осознанием как собственных идеалов, так и сути того, что разделяет нас и наших противников. Мы были введены в заблуждение не только верой в искренность некоторых их деклараций, но и отказом верить в искренность тех убеждений, которые разделялись нами самими. Разве не обманывались и левые и правые партии, считая, что национал-социалистская партия состоит на службе у капитализма и является противницей любой формы социализма? Сколько особенностей гитлеровской системы рекомендовалось нам в качестве примера для подражания самыми неожиданными людьми, не сознававшими, что эти особенности являются неотъемлемой частью системы и несовместимы со свободным обществом, которое мы надеемся сохранить? Количество опасных ошибок, совершенных нами до войны и в ходе ее из-за непонимания противника, вызывает ужас. Можно подумать, что мы не желаем осознать, что именно привело к тоталитаризму, только из страха разрушить дорогие нашему сердцу иллюзии, за которые мы цепляемся из последних сил.

Мы никогда не достигнем успеха в отношениях с немцами, пока не поймем природу и пути развития правящих ими ныне идей. Вновь появившаяся теория внутренней порочности немцев как таковых не выдерживает критики, и в нее не очень верят даже ее сто-

ронники. Она бросает тень на долгую вереницу имен англичан, в течение последнего столетия охотно заимствовавших лучшее, да и не только лучшее, в немецкой философской мысли. Она упускает из виду, что восемьдесят лет назад, когда Джон Стюарт Милль писал свое великолепное эссе «О свободе», он черпал свое вдохновение главным образом у двух немцев — Гете и Вильгельма фон Гумбольдта<sup>1</sup>, но забывает также и то, что двумя наиболее влиятельными интеллектуальными предтечами национал-социализма были шотландец Томас Карлейль и англичанин Хьюстон Стюарт Чемберлен. В более грубой форме такой взгляд позорит тех, кто его разделяет, ибо они тем самым усваивают худшее в немецких расовых теориях. Вопрос не в том, почему плохи немцы как таковые (от природы они, вероятно, не хуже и не лучше прочих наций), а в том, какие обстоятельства в течение последних семидесяти лет способствовали росту и последующей победе определенного круга идей, и почему победа эта в конце концов привела к власти наиболее порочные элементы германского общества. Кроме того, ненависть не к конкретным идеям, господствующим сейчас в умах немцев, а просто ко всему немецкому, очень опасна, ибо не позволяет увидеть реальную угрозу. Такая позиция есть зачастую просто попытка уйти от действительности, вызванная нежеланием распознать тенденции, присутствующие не только в Германии, нежеланием пересмотреть, а при необходимости и отбросить, взгляды, заимствованные нами у немцев и продолжающие вводить нас в заблуждение не в меньшей мере, чем самих немцев. Объяснение нацизма лишь особой испорченностью немцев вдвойне опасно тем, что под этим предлогом нетрудно навязать нам как раз те самые институты, которые породили эту испорченность.

Предлагаемая в данной книге интерпретация событий в Германии и Италии весьма отличается от той оценки, которую им дает как большинство зарубежных наблюдателей, так и значительная часть политических эмигрантов из этих стран. Однако, если моя интерпретация правильна, то она одновременно объясняет, почему человеку, который, подобно большинству эмигрантов и иностранных корреспондентов английских и американских газет, придерживается господствующих ныне социалистических взглядов, почти невозможно увидеть эти события в правильной перспективе. Поверхностная и вводящая в заблуждение точка зрения, будто национал-социализм есть просто реакция, сознательно раздута группами, чьи привилегии и интересы угрожало наступление социализма, — эта точка зрения не может не поддерживаться всеми теми, кто когда-то активно участвовал в идеологическом движении, приведшем к национал-социализму, но потом перестал его поддерживать, вступил в конфликт с нацистами и был вынужден покинуть свою страну. Однако то, что эти люди составляли единственную в количественном отношении заметную оппозицию нацистам, означает лишь, что в широком смысле слова все немцы уже практически были социалистами и что либерализм в прежнем его понимании был вытеснен социализмом. Как мы надеемся показать, конфликт между «левыми» силами и «правыми» национал-социалистами в Германии — это конфликт, который всегда будет возникать между соперничающими социалистическими фракциями. Если наша интерпретация верна, то беженцы-социалисты, цепляющиеся за свои убеждения, тем самым способствуют, пусть и с наилучшими намерениями, вступлению противнейшей их страны на путь, пройденный Германией.

Как мне известно, многих моих английских друзей шокируют полуфашистские взгляды, время от времени высказываемые беженцами из Германии, чьи подлинно социалистические убеждения не вызывают сомнений. Однако англичане объясняют это немецкой национальностью беженцев, тогда как подлинная причина — в том, что благодаря своему опыту они просто находятся на несколько стадий дальше точки, достигнутой на сегодняшний день английскими социалистами. Разумеется, социалисты в Германии получили поддержку в значительной степени благодаря некоторым особенностям прусской традиции; и это родство между пруссачеством и социализмом, которым в Германии кичились обе стороны, придает нашему основному тезису дополнительный вес. Но было бы ошибкой считать, что к тоталитаризму Германию привел не социалистический, а специфический «германский» дух. Не прусский дух, а именно преобладание социалистических взглядов роднит Германию с Италией и Россией — да и поднялся национал-социализм не из привилегированных классов, пропитанных прусскими традициями, а из гущи народных масс.

<sup>1</sup> Поскольку кое-кто может считать это утверждение преувеличением, быть может, стоит привести свидетельство лорда Морли, который в своих «Воспоминаниях» называет всеми признанным фактом то, что «основная система рассуждений в эссе «О свободе» не оригинальна, но пришла к нам из Германии».

## Глава 1

## ОТВЕРГНУТЫЙ ПУТЬ

Основной тезис этой программы не в том, что система свободного предпринимательства, ставящего своей целью получение прибыли, в нашем поколении провалилась, а в том, что ее еще не пробовали применять.

Ф. Д. Рувельт.

Когда развитие цивилизации принимает неожиданный оборот, когда вместо ставшего привычным постоянного прогресса нам начинает угрожать зло, ассоциирующееся с ушедшими в прошлое временами варварства, мы, разумеется, начинаем искать виноватых везде, кроме самих себя. Разве не старались мы изо всех сил, и разве наши самые блестящие умы не трудились неустанно над тем, как сделать чир лучше? Разве не были все наши усилия и надежды устремлены к достижению свободы, справедливости и процветания? И если результат столь разительно отличается от поставленных целей, если вместо свободы и процветания нам в лицо смотрят рабство и нищета, то не ясно разве, что наши намерения были извращены силами зла, что мы — жертвы какой-то злой воли, которую необходимо победить, чтобы продолжать путь к лучшей жизни? Скольких бы разных виновников мы ни называли — злого капиталиста или порочность определенной нации, глупость старшего поколения или все еще не свергнутую до конца, несмотря на полувековую нашу борьбу, некую социальную систему — все мы твердо уверены, или по крайней мере были уверены до недавнего времени, в одном: идеи, объединившие при жизни последнего поколения всех людей доброй воли и приведшие к кардинальным сдвигам в нашей общественной жизни, не могли быть ошибочными. Мы готовы принять практически любое объяснение нынешнего кризиса цивилизации, кроме одного: что он является результатом наших искренних заблуждений и что именно погоня за некоторыми из самых дорогих нашему сердцу идеалов привела к последствиям, в корне отличным от ожидавшихся.

Теперь, когда вся наша энергия направлена на то, чтобы довести войну до победного конца, иногда трудно припомнить, что еще до начала войны ценности, за которые мы сейчас сражаемся, находились под угрозой в Англии и были уничтожены в других странах. И когда у нас на глазах разворачивается битва не на жизнь, а на смерть между враждующими нациями, олицетворяющими столь различные идеалы, мы не должны забывать, что конфликт этот вырос из борьбы идей внутри того, что еще недавно было общеевропейской цивилизацией, и что тенденции, кульминационной точкой которых явилось создание тоталитарных систем, проявлялись не только в странах, павших под натиском тоталитаризма. Разумеется, сейчас наша первоочередная задача — выиграть войну; но победа лишь позволит нам еще раз вплотную заняться основополагающими вопросами и попытаться избежать судьбы, постигшей родственные нам цивилизации.

Сегодня мы воспринимаем Германию, Италию или Россию как иные, абсолютно чуждые нам миры. Требуется усилие, чтобы понять, что эти миры — результат определенного процесса развития идей, в котором участвовали и мы сами; гораздо легче и удобнее считать, что наши враги ничем на нас не похожи, и что случившееся там не может случиться здесь. Однако история этих стран в период, предшествовавший возникновению тоталитарных систем, не выявила никаких новых, неизвестных нам особенностей. Внешний конфликт есть результат перестройки общеевропейской мысли — перестройки, в которой другие страны ушли настолько вперед, что вступили в непримиримое противоречие с нашими идеалами, но которая не могла не затронуть и нас.

Англичанам, пожалуй, особенно трудно понять, что таким, каков он есть, мир сделали смена идей и человеческая воля, — хотя сами люди и не предполагали увидеть подобные результаты (это означает, между прочим, что появление новых фактов не обязательно заставляет нас пересмотреть свой интеллектуальный багаж). Трудно же англичанам потому, что в этом процессе перестройки они, к счастью для себя, отстают от большинства европейских народов. Мы все еще полагаем, что идеалы, направляющие нашу жизнь, как и жизнь предыдущего поколения, осуществляются лишь в будущем, и не отдаем себе отчета, до какой степени они уже преобразили

за прошедшие двадцать пять лет не только мир в целом, но и саму Англию. Мы все еще уверены, что до самого последнего времени нашей жизнью управляло нечто, туманно называемое идеями девятнадцатого века, или принципом *laissez-faire*<sup>2</sup>. Если сравнивать Англию с некоторыми другими странами или исходить из точки зрения тех, кому не терпится ускорить происходящие сдвиги, то такая уверенность до некоторой степени оправдана. И все же, хотя вплоть до 1931 года Англия чрезвычайно медленно продвигалась по пути, другими уже давно пройденному, даже к тому моменту мы зашли уже так далеко, что только люди, родившиеся в прошлом столетии, еще помнят, как выглядел мир, построенный на принципах либерализма.

Однако главное — и это пока понимают очень немногие — это не масштабы перемен, происшедших при жизни предыдущего поколения, а то, что перемены эти знаменуют собой радикальную смену направления, в котором шло развитие наших идейных принципов и общественного устройства. В течение двадцати пяти лет, предшествовавших превращению тоталитаризма из призрака в реальную угрозу, мы в своем продвижении вперед все более и более удалялись от основополагающих принципов, на которых была построена европейская цивилизация. Этот путь, на который мы вступили с самыми радужными надеждами и высокими устремлениями, подвел нас вплотную к ужасам тоталитаризма, что явилось сокрушительным ударом для нашего поколения, все еще отказывающегося связать два эти факта между собой. А ведь такой результат лишь подтверждает правоту создателей философии либерализма, последователями которой мы все еще себя считаем. Мы постепенно отказались от той свободы в делах экономических, без которой никогда в прошлом не было свободы личной и политической. И хотя двое величайших политических мыслителей девятнадцатого века, де Токвиль и лорд Актон, предостерегали нас, что социализм означает рабство, мы продолжали неуклонно двигаться к социализму. А теперь, когда у нас на глазах выросла новая форма рабства, мы настолько прочно забыли эти предостережения, что нам и в голову не приходит, что эти две вещи могут быть связаны между собой.

Насколько резкий разрыв не только с недавним прошлым, но и со всем ходом западной цивилизации знаменуют собой современные социалистические тенденции, становится ясно, если рассматривать их в пределах не одного только девятнадцатого века, но в более широкой исторической перспективе. Мы стремительно удаляемся не только от взглядов Кобдена и Брайта, Адама Смита и Юма, или даже Локка и Милтона, но от одной из характернейших особенностей западной цивилизации, выросшей из основ, заложенных христианством и античностью.

Все более и более отбрасывается не только либерализм восемнадцатого века, но и индивидуализм, унаследованный нами от Эразма и Монтеня, от Цицерона и Тацита, от Перикла и Фукидида.

Германский фюрер, заявивший, что национал-социалистская революция есть не что иное как «контрренессанс», был более глубоко прав, чем ему самому, должно быть, казалось. Это был решительный шаг на пути разрушения цивилизации, которую современный человек создавал, начиная с эпохи Возрождения, и которая была в первую очередь цивилизацией, основанной на принципах индивидуализма. Сегодня индивидуализм — слово, пользующееся дурной славой, ассоциирующееся с эгоизмом и самовлюбленностью. Однако индивидуализм, который мы противопоставляем социализму и всем прочим формам коллективизма, вовсе не всегда связан с упомянутыми качествами. На страницах нашей книги мы лишь постепенно сумеем прояснить контраст между этими двумя противоположными принципами. Сейчас отметим лишь, что основными чертами того индивидуализма, о котором мы говорим, являлись уважение к личности как таковой, то есть признание абсолютного приоритета взглядов и пристрастий каждого человека в его собственной сфере деятельности, сколь бы узкой она ни была, а также убеждение в желательности развития индивидуальных дарований и наклонностей. Этот индивидуализм, выросший из элементов христианства и античной философии, впервые полностью сложился в эпоху Возрождения, и с тех пор разросся в то, что мы называем западноевропейской цивилизацией. Слово

<sup>2</sup> *Laissez-faire* (собственно «laissez faire, laissez passer» — «позвольте делать (кто что хочет), позволяйте идти (кто куда хочет)» — доктрина французских экономистов середины восемнадцатого века, отстаивающая принцип невмешательства государства в экономические отношения (выражение принадлежит французскому экономисту Гурне и было впервые употреблено им в 1768 году). (Прим. ред.)



«свобода» настолько истрепалось от чрезмерного употребления и злоупотребления, что не хочется обозначать им идеалы, господствовавшие на протяжении этой эпохи. Терпимость — вот, быть может, единственное слово, все еще полностью сохранившее смысл принципа, который приобретал все большую и большую важность в течение всего этого исторического периода, чтобы лишь в самое последнее время прийти в упадок, а затем, по мере становления тоталитарного государства, окончательно исчезнуть.

Когда прежняя жесткая иерархическая структура постепенно уступала место системе, при которой люди могли хотя бы пытаться сами организовать свою собственную жизнь, при которой перед человеком открывалась возможность познакомиться с разными формами жизни и выбирать между ними, — этот процесс был тесно связан с ростом торговли. Из торговых городов северной Италии новое миропонимание распространилось вместе с расширением торговых связей на запад и на север, через Францию и юго-западную Германию — в Нидерланды и на Британские острова, твердо укоренился везде, где не было политической деспотии, способной его задушить. В Нидерландах и Британии оно достигло высочайшего расцвета и впервые получило возможность свободно развиваться и лечь в основу общественно-политической жизни этих стран. Оттуда оно в конце семнадцатого — начале восемнадцатого века снова начало распространяться, в более развитой форме, на запад и на восток, в Новый Свет и в центр европейского континента, где опустошительные войны и политический гнет практически задавил когда-то ростки тех же самых идей.

На протяжении всего этого периода европейской истории общественное развитие шло в направлении освобождения индивидуума от уз, заставлявших его придерживаться в повседневной деятельности форм, предписанных обычаем, традицией или законом. Осознание того, что стихийные, никем не направляемые усилия отдельных людей могут в конечном счете привести к возникновению сложной, разветвленной структуры экономической деятельности, пришло только после того, как этот процесс продвинулся достаточно далеко. Последовавшая разработка стройной системы аргументов в пользу экономической свободы явилась результатом свободного развития экономической деятельности как непреднамеренного и непредусмотренного побочного продукта свободы политической.

Быть может, величайшим результатом высвобождения индивидуальной энергии был поразительный рост науки, которым сопровождалось триумфальное шествие индивидуальной свободы из Италии в Англию и далее, за ее пределы. Разумеется, в предшествовавшие периоды человеческая изобретательность была не меньшей, о чем свидетельствует как множество искуснейших автоматических игрушек и других механических приспособлений, созданных в эпоху, когда производственная технология все еще пребывала в неизменном виде, так и высокий уровень развития тех отраслей промышленности, которые не подвергались контролю и ограничениям (например, горного или часового дела). Однако редкие попытки расширить промышленное применение технических нововведений, зачастую необычайно перспективных, подавлялись (как и стремление к знанию вообще), пока господствующие взгляды были обязательны для всех. Так убеждения подавляющего большинства относительно того, что хорошо и что плохо, преграждали путь индивидуальному новатору. Лишь после того, как свобода промышленности расчистила путь свободному применению новых, передовых знаний, после того, как стало возможно пробовать все что угодно — при условии, что кто-нибудь согласится финансировать затею на свой страх и риск (и, следует добавить, обычно этот «кто-нибудь» отнюдь не принадлежал к тем, чьей официальной обязанностью было поощрять науку) — лишь после этого наука сделала гигантские шаги, изменившие за последние сто пятьдесят лет облик мира.

Как столь часто бывает, характер нашей цивилизации был яснее понят ее врагами, чем большинством друзей: силой, создавшей нашу цивилизацию, действительно была описанная тоталитаристом девятнадцатого века Огюстом Контом «извечная болезнь Запада: бунт индивидуума против вида». Все, что добавил к индивидуализму предшествующей эпохи девятнадцатый век — это следующее: идея свободы прочно вошла в сознание всех классов общества; ростки нового, прежде появлявшиеся лишь там, где случайно складывались благоприятные обстоятельства, теперь развивались систематически и непрерывно; этот процесс, распространившийся из Англии и Нидерландов, охватил большую часть европейского континента.

Результаты этого развития превзошли все ожидания. Всюду, где барьеры, сдер-

живавшие свободное применение человеческой изобретательности, были устранены, человек быстро получил возможность удовлетворения все расширяющегося круга своих желаний. Конечно, повышение жизненного уровня привело к тому, что в обществе обнаружались темные пятна, с которыми люди больше не желали мириться; но в целом не было, вероятно, ни одного класса, для которого всеобщее движение вперед не было бы благотворным. Неверно оценивать масштабы тогдашнего роста исходя из нынешних стандартов, которые сами являются результатом этого роста и делают очевидными множество недостатков. Чтобы понять, что означал этот рост для тех, на чьих глазах он происходил, мы должны сравнить его с теми надеждами и чаяниями, которые связывали с ним люди в то время. Тогда нам станет ясно, что успех превзошел самые необузданные человеческие мечты, и что к началу двадцатого века западный рабочий достиг такого уровня материального комфорта, уверенности в завтрашнем дне и личной независимости, какой сто лет назад казался недостижимым.

В будущем может оказаться, что самым важным и имеющим далеко идущие последствия результатом этого успеха, вселившего в людей новые надежды, было столь же новое ощущение власти над собственной судьбой, вера в неограниченное улучшение условий своей жизни. Вместе с успехом пришли и более дерзновенные устремления — и человек имел на них полное право. То, что прежде было лишь заманчивыми перспективами, казалось уже недостаточным: люди хотели двигаться вперед еще быстрее. И тогда сами принципы, позволившие в прошлом добиться столь несомненного прогресса, постепенно стали рассматриваться скорее как подлежащие незамедлительному устранению препятствия на пути еще более быстрого прогресса, чем как залог сохранения и развития уже достигнутого.

\* \* \*

В основных принципах либерализма нет ничего застывшего, никаких жестких, раз навсегда установленных правил. Главный его тезис, сводящийся к тому, что при устройстве своих дел мы должны как можно больше использовать стихийные силы общества и как можно меньше прибегать к принуждению, применим к бесконечному многообразию случаев. В частности, существует громадная разница между сознательным созданием системы, позволяющей извлечь из принципа свободной конкуренции максимальную пользу, и пассивным принятием общественных институтов такими, какие они есть. По всей вероятности, ничто не причинило делу либерализма большего вреда, чем те либералы, которые с тупым упорством отстаивали соблюдение некоторых примитивных эмпирических правил, и в первую очередь — принципа *laissez-faire*. Однако в каком-то смысле это было необходимо и неизбежно. Действительно, существовало бесчисленное количество конкурирующих групп и отдельных предпринимателей, наиболее «пробивные» среди которых всегда могли убедительно продемонстрировать немедленную и несомненную пользу тех или иных конкретных мер. При этом вред, приносимый теми же мерами, был зачастую отнюдь не очевиден и мог проявляться лишь косвенным образом, так что перед лицом подобного нажима могли быть эффективными только раз и навсегда установленные, не знающие исключений правила. А поскольку польза свободы промышленности уже практически не подвергалась сомнению, то искушение провозгласить ее таким «железным правилом» зачастую становилось непреодолимым.

Именно так многие глашатаи либеральной доктрины ее и представляли — как жесткую, не знающую исключений систему. Уязвимость подобной позиции очевидна: стоит привести несколько контрпримеров, нарушающих целостность системы, как она немедленно рухнет вся целиком. Еще более эта позиция ослаблялась неизбежно медленным прогрессом политических мер, направленных на постепенное усовершенствование структуры институтов свободного общества. Этот прогресс, в свою очередь, зависел от развития наших знаний: нужно было лучше уяснить природу движущих обществом сил и понять, какие условия наиболее благоприятны для того, чтобы направлять эти силы в нужную сторону. Задача состояла в том, чтобы способствовать этим силам, а где надо — и подталкивать их, а для этого требовалось в первую очередь их понять. Отношение либерала к обществу можно сравнить с отношением садовника к растению, за которым он ухаживает: чтобы создать условия, благоприятствующие его росту, он должен как можно больше знать о том, как оно устроено и как функционирует.

Ни один разумный человек не мог сомневаться в том, что примитивные и грубые правила, в которых выражались принципы экономической политики девятнадцатого века, — только начало, что нам еще многое надо узнать и что путь, по которому мы движемся, открывает впереди громадные возможности. Это продвижение, однако, могло осуществляться лишь по мере того, как мы все более полно постигали сущность тех сил, которые нам предстояло использовать. Имелось множество лежащих на виду задач, таких как регулирование денежной системы, предотвращение появления или контроль монополий, и много других, менее очевидных, но столь же важных задач в других областях, где правительство, без всякого сомнения, обладало громадной властью, которую можно было направить и в добро, и во зло. Были все основания предполагать, что, научившись лучше понимать характер всех этих проблем, мы рано или поздно сумеем эту власть успешно применить.

Но поскольку продвижение к тому, что в ту пору принято было называть «позитивными» мерами, было по необходимости медленным, а при осуществлении тех мероприятий, которые могли бы немедленно дать наглядный эффект, либерализм был обязан опираться в основном на принесенное свободой постепенное увеличение материальных благ, то ему приходилось постоянно бороться против предложений, угрожавших самому этому продвижению. Со временем либерализм стал представляться учением, неспособным предложить какие-либо конструктивные меры — чем-то вроде свода правил, запрещающих или предписывающих воздержание от определенного рода действий. Действительно, все, что он мог предложить отдельному человеку, была доля в общем прогрессе — но сам этот прогресс стал в конце концов восприниматься как нечто само собой разумеющееся, а не как результат политики свободы. Можно даже сказать, что причины упадка либерализма коренятся именно в его успехах. Глядя на уже достигнутое, человек все менее охотно мирился с еще существующим злом и лишениями, которые, перестав казаться неизбежными, стали во всех отношениях невыносимыми.

\* \* \*

Растущее недовольство медлительностью и отсутствием ощутимых результатов либеральной политики, справедливое возмущение поведением тех, кто использовал либеральную фразеологию для защиты антиобщественных привилегий, а также безграничные притязания, кажущиеся вполне оправданными на фоне общего повышения материального уровня, привели к тому, что к концу века все больше людей начало терять веру в основные принципы либерализма. Достигнутое стало казаться неотъемлемой и неуничтожимой собственностью, приобретенной в вечное владение. Взоры людей устремились к новым запросам, быстрому удовлетворению которых мешала, как они думали, приверженность старым принципам. Все шире распространялось убеждение, что дальнейший прогресс невозможен, если оставаться в рамках системы, сделавшей возможным прогресс в прошлом — следовательно, требовалось полностью переделать общество. Речь уже больше не шла о том, чтобы внести какие-то усовершенствования в существующий механизм — его нужно было выбросить на свалку истории и заменить новым. И вот, по мере того, как новое поколение все в большей степени возлагало свои надежды на этот новый, дотоле неизвестный механизм, быстро падал интерес к принципам функционирования существующего общества и само понимание этих принципов — а вслед за этим, разумеется, и осознание того, что необходимо для существования свободного общества.

Здесь не место обсуждать, в какой степени подобной перемене во взглядах способствовал некритический перенос в область общественных проблем того стереотипа мышления, который сформировался в ходе решения проблем технических и был характерен для естествоиспытателя или инженера. Не будем мы говорить и о том, как приверженцы этого стереотипа стремились дискредитировать результаты предшествующего изучения общества, которые не соответствовали их предвзятым представлениям, и одновременно перенести свои понятия об идеальной организации в область, совершенно для этого неподходящую. Для нас важно, что путем постепенных, почти неуловимых сдвигов наше отношение к обществу полностью изменилось. То, что на каждой стадии этого процесса казалось лишь разницей в степени, накапливаясь, породило фундаментальное отличие нынешнего подхода к социальным вопросам от прежней либеральной позиции. Отличие это сводится к полному отказу

от обрисованной нами выше тенденции, отказу от традиций индивидуализма, создавших западную цивилизацию.

Согласно господствующим теперь взглядам, вопрос уже не в том, как наилучшим образом использовать стихийные силы, тающиеся в недрах свободного общества. Фактически мы решили вообще обойтись без сил, приводящих к непредусмотренным результатам, и заменить безличный механизм рыночной экономики коллективным и «сознательным» руководством, направляющим все социальные силы к сознательно избранным целям. Лучшей иллюстрацией этого различия является крайняя позиция автора одной нашумевшей книги; на изложенной в ней программе «планирования во имя свободы» нам придется еще не раз остановиться.

«Нам никогда не приходилось,— пишет д-р Карл Маннгейм,— формировать и направлять всю систему природных сил, как мы вынуждены это делать сегодня с обществом... Человечество все более и более стремится регулировать всю свою общественную жизнь, хотя оно никогда и не пыталось создать вторую природу».

\* \* \*

Показательно, что эти идеологические изменения совпали с переменой путей распространения идей. Более двухсот лет английские идеи распространялись на восток. Казалось, свободе, достигнутой в Англии, суждено захватить весь мир. Примерно к 1870 году царство этих идей достигло, по-видимому, крайних восточных пределов. После этого они начали отступать, а с Востока началось наступление другого круга идей, в действительности не новых, а очень старых. Англия утратила позиции интеллектуального лидера в социально-политической сфере и стала импортером идей. На протяжении следующих шестидесяти лет центр распространения идей, которым суждено было в двадцатом веке охватить весь мир, находился в Германии. И будь то учение Гегеля или Маркса, Листа или Шмоллера, Зомбарта или Маннгейма, будь то социалистическая доктрина в ее радикальной форме или менее радикальные концепции «организации» и «планирования» — немецкие идеи с готовностью заимствовались всеми; немцам обществу институтам стали подражать. Правда, большинство новых идей — в частности, социализм — возникло не в Германии, но именно в Германии они были усовершенствованы и достигли в последней четверти девятнадцатого и первой четверти двадцатого века наиболее полного развития. Сейчас часто забывают о том, насколько далеко впереди была Германия в тот период по уровню развития теории и практики социализма, о том, что за поколение до того, как социализм стал серьезным вопросом в Англии, в немецком парламенте имелась крупная социалистическая фракция и что до недавних пор развитие теории социализма шло почти целиком в Германии и Австрии, так что даже сегодня дискуссии, ведущиеся в России, в основном продолжают то, на чем остановились немцы. Большинство английских социалистов до сих пор не подозревает, что их немецкие коллеги уже давным-давно обсудили почти все те проблемы, которые в Англии только теперь начинают осознаваться.

Интеллектуальное влияние, оказываемое в тот период немцами на весь мир, поддерживалось не только громадными материальными успехами Германии, но в еще большей степени — необыкновенно высокой репутацией немецких мыслителей и ученых, заработанной ими в предыдущее столетие, когда Германия вновь стала полноправным и даже ведущим членом общеевропейской цивилизации. Однако репутация эта вскоре стала способствовать распространению идей Германии, направленных против основ этой самой цивилизации. Сами немцы — или во всяком случае те из них, кто занимался распространением такого рода идей — этот конфликт прекрасно сознавали; общие традиции европейской цивилизации задолго до нацизма превратились для них в «западную» цивилизацию, где слово «западная» означало теперь — «к западу от Рейна». В этом новом понимании «западными» были либерализм и демократия, капитализм и индивидуализм, свобода торговли и любая форма интернационализма или миролюбивой политики.

Но несмотря на плохо скрытое презрение все возрастающего числа немцев к этим «пустым и ничтожным» идеалам, достойным лишь «нации лавочников», а может быть, как раз из-за него, народы Запада продолжали импортировать немецкие идеи и даже поверили, что их собственные прежние убеждения представляли собой всего лишь попытку дать рациональное оправдание эгоистическим интересам, что

свобода торговли была изобретена для укрепления британских интересов и что политические идеалы, подаренные Англией миру, безнадежно устарели и их надо стыдиться.

## Глава 2

### ВЕЛИКАЯ УТОПИЯ

Всякий раз государство превращается в подлинный ад именно потому, что человек пытается сделать его земным раем.

*Ф. Гельдерлин,*

Когда социализм вытеснил либерализм и занял его место в качестве «властителя дум» большинства сторонников прогресса, это означало нечто большее, чем просто забвение тех предостережений, которые великие либеральные мыслители прошлого высказывали по поводу последствий коллективизма: людей удалось убедить в том, что последствия эти будут прямо противоположными предсказанным. Поразительно, что тот самый социализм, в котором многие с самого начала распознали серьезнейшую угрозу свободе, который и возник-то как реакция на либерализм Французской революции, завоевал всеобщее признание под знаменем свободы. Сейчас редко вспоминают о том, что в самых своих истоках социализм носил откровенно авторитарный характер. Французские философы и политические деятели, заложившие основы современного социализма, нимало не сомневались в том, что провести их идеи в жизнь может только сильная диктатура. Для них социализм означал попытку «довести революцию до конца» путем сознательной перестройки общества на иерархической основе и насильственное установление «духовной власти», основанной на методах принуждения. Что же до свободы, то тут намерения основателей социализма были совершенно недвусмысленны. Свободу мысли они считали коренным общественным злом девятнадцатого века, и предтеча нынешних сторонников планирования Сен-Симон даже предсказывал, что с теми, кто не подчинится распоряжениям придуманных им планирующих органов (советов), будут «обходиться как со скотом».

Лишь под влиянием мощных демократических течений кануна революции 1848 года социализм начал объединяться со свобододолюбивыми силами. Однако новому, «демократическому» социализму понадобилось долго рассеивать подозрения, вызванные его прошлым. Человеком, яснее всех понимавшим, что демократия как институт по сути своей индивидуалистический, находится в непримиримом противоречии с социализмом, был де Токвиль. «Демократия расширяет сферу индивидуальной свободы,— говорил он в 1848 году,— социализм же ее ограничивает. Демократия признает высочайшую ценность каждого отдельного человека; социализм превращает каждого человека в простое орудие, в цифру. Демократия и социализм не имеют между собой ничего общего, кроме одного слова: равенство. Однако заметьте и тут отличие: демократия стремится к равенству в свободе, тогда как социализм — к равенству в принуждении и рабстве».

Чтобы усыпить эти подозрения и привлечь на свою сторону сильнейший из политических мотивов — жажду свободы,— социалисты начали все чаще прибегать к обещанию «новой свободы». Пришествие социализма должно было стать «скачком из царства необходимости в царство свободы». Оно должно было принести «экономическую свободу», без которой уже завоеванная политическая свобода «ничего не стоит». Только социализм способен довести до конца вековую борьбу за свободу, борьбу, в которой достижение свободы политической — лишь первая ступень.

Почти неуловимое изменение смысла, которому подверглось слово «свобода» для придания правдоподобия этому рассуждению, крайне важно. Для великих апостолов политической свободы слово это означало свободу от принуждения, от человеческого произвола, избавление от пут, не оставлявших человеку иного выбора, как подчиниться приказаниям власть имущих. Обещанная же новая свобода была свободой от необходимости, избавлением от пут внешних обстоятельств, которые неизбежно ограничивают возможность выбора для всех нас — пусть для одних в гораздо большей степени, чем для других. Чтобы человек мог стать подлинно свободным, требовалось разрушить «деспотизм физической необходимости», ослабить «пуги, налагаемые экономической системой».

Свобода в этом понимании есть, разумеется, лишь другое название власти или богатства. И все же, несмотря на то, что обещания новой свободы часто переплетались с безответственными посулами громадного роста материального изобилия в социалистическом обществе, не от этой полной победы над скаредной природой ожидалась экономическая свобода. На деле было обещано ни больше ни меньше как исчезновение существующего резкого неравенства между людьми в имеющихся у них возможностях выбора. Тем самым требование новой свободы оказывалось, по другим именам, все тем же извечным требованием равного распределения материальных благ. Однако это новое имя дало социалистам еще один общий с либералами термин, который они использовали в полной мере. Правда, словом «свобода» обе группы пользовались в разном смысле, но немногие это заметили, и уж почти никто не задался вопросом, действительно ли можно сочетать оба эти обещанные вида свободы.

Не подлежит сомнению, что обещание большей свободы стало эффективнейшим оружием социалистической пропаганды и что вера в свободу, которую принесет с собой социализм, искренна и неподдельна. Но это только усугубляет трагедию, которая произойдет, если окажется, что обещанный нам *путь к свободе* есть в действительности *столбовая дорога к рабству*. Именно обещание большей свободы соблазнило множество либералов вступить на социалистический путь, заслоняя от них непримиримое противоречие между основными принципами социализма и либерализма и зачастую позволяя социалистам узурпировать даже само имя старой партии свободы. Большинство неопитов из числа интеллигенции приняло социализм в качестве, как они думали, бесспорного наследника либеральных традиций: неудивительно поэтому, что им кажется невероятной сама мысль о том, что социализм ведет не к свободе, а к ее противоположности.

\* \* \*

В последнее время, однако, старые опасения относительно непредвиденных последствий социализма снова стали высказываться во всеуслышание, причем с самых неожиданных сторон. Один за другим наблюдатели, ожидавшие встретиться с совершенно противоположными явлениями, при ближайшем рассмотрении поражаются необыкновенному сходству условий при «фашизме» и при «коммунизме». Пока «прогрессисты» Англии и прочих стран продолжали обманывать себя, утверждая, что коммунизм и фашизм полярны, все больше людей начало спрашивать себя, не ведут ли эти новые виды тирании свое начало от одних и тех же тенденций. Даже коммунистов, должно быть, несколько ошеломило свидетельство старого друга Ленина, Макса Истмэна, который вынужден был признать, что «сталинизм не только не лучше, но хуже фашизма, более безжалостен, жесток, несправедлив, аморален, антидемократичен, не может быть оправдан никакими радужными надеждами или запоздалым раскаянием» и что «было бы точнее охарактеризовать его как сверхфашизм». Выводы автора приобретают более всеобъемлющее значение, когда он приходит к заключению, что «сталинизм — это и есть социализм в том смысле, что он является неизбежным, хотя и непредусмотренным, политическим следствием национализации промышленности и коллективизации сельского хозяйства, на которые он опирается как на составную часть своего плана построения бесклассового общества».

Среди тех, кто с явным одобрением следил за первыми шагами «русского эксперимента», г-н Истмэн — не первый и не единственный, пришедший к подобным выводам (хотя его пример, быть может, наиболее показателен). Несколькоими годами ранее У. Чемберлин, который в течение двенадцати лет, проведенных им в России в качестве иностранного корреспондента, стал свидетелем крушения всех своих идеалов, подытожил результаты наблюдений, собранных в России, Германии и Италии, следующим утверждением: «Вне всякого сомнения, социализм окажется (по крайней мере, на первых порах) путем не к свободе, но к диктатуре, где одни диктаторы будут сменяться другими в беспощадной борьбе за власть. путем к ожесточеннейшей гражданской войне. Социализм, достигаемый и поддерживаемый демократическими средствами, теперь представляется бесповоротно отошедшим в мир утопий» Английский публицист Ф. Войт, также посвятивший многие годы карьере иностранного корреспондента и имевший возможность вблизи наблюдать развитие событий в Европе, заключает, что «марксизм привел к фашизму и национал-соци-

лизму потому, что в основе своей он и есть фашизм и национал-социализм». А такой обозреватель, как д-р Уолтер Липпманн, пришел к следующему убеждению: «...поколение, к которому мы принадлежим, сейчас на собственном опыте узнает, что происходит, когда люди отступают от принципа свободы и переходят к принудительной организации своей деятельности. Хотя они рассчитывают на большее изобилие, но на практике оказываются вынужденными от него отказаться; по мере усиления организованного руководства разнообразие целей неизбежно уступает место единообразию. Такова расплата за предпочтение планового общества и авторитарного принципа организации человеческой деятельности».

В публикациях последних лет можно было бы найти множество подобных утверждений, принадлежащих людям, которые в состоянии не только высказать, но и обосновать свою точку зрения. В особенности это относится к тем, кто жил в ставших ныне тоталитарными странах, своими глазами наблюдал этот процесс духовного перерождения, и кого увиденное и пережитое заставило пересмотреть многие заветнейшие убеждения. В качестве еще одного примера мы приведем слова одного немецкого автора, который высказывает те же взгляды, что и ранее процитированные авторы, но, быть может, глубже проникает в суть дела. «Полный крах веры в достижимость свободы и равенства при помощи воплощения в жизнь марксистской доктрины,— пишет Петер Друккер,— вынудил Россию идти по тому же самому пути к тоталитарному, чисто запретительному, внеэкономическому обществу несвободы и неравенства, по которому шла Германия. Нельзя сказать, что коммунизм и фашизм — это практически одно и то же. Фашизм — это стадия, достигаемая после того, как коммунизм оказался иллюзией, а он оказался в не меньшей степени иллюзией в сталинской России, чем в догитлеровской Германии».

Не менее показательна история идейного перерождения многих нацистских и фашистских лидеров. Любого, кто наблюдал за ростом обоих этих движений в Италии или в Германии, поражало количество лидеров, начиная с Муссолини и вплоть до самого последнего времени (не исключая Лавала и Квислинга), начавших с социализма, а кончивших фашизмом или нацизмом. Подобная биография еще более характерна для рядовых участников движения. В Германии все, и прежде всего — пропагандисты обеих партий, знали, насколько легко обратить молодого коммуниста в нациста и наоборот. Немало английских университетских преподавателей видели английских и американских студентов, которые, возвращаясь с европейского континента, не знали точно, к кому себя причислять — к коммунистам или к нацистам, но были твердо уверены в одном: в своей ненависти к либеральной западной цивилизации.

Разумеется, в Германии до 1933, а в Италии — до 1922 года коммунистическая и нацистская (или, соответственно, фашистская) партии чаще вступали в столкновение между собой, чем с прочими партиями. Они боролись за поддержку людей определенного типа мышления и ненавидели друг друга, как можно ненавидеть только отступников и еретиков. Однако практика обеих партий показывает, как тесно они связаны. И для тех и для других подлинным врагом, с которым у них нет ничего общего и которого они не пытаются переубедить, являются либералы старого типа. Для нациста коммунист, для коммуниста нацист, и для обоих социалист,— это потенциальный новый член, обладающий нужными качествами, но попавший в сети к ложным пророкам; зато оба они знают, что не может быть компромисса между ними и теми, кто действительно верит в свободу личности.

Во избежание сомнений со стороны людей, введенных в заблуждение официальной пропагандой той или иной партии, позволю себе процитировать еще одну декларацию, принадлежащую человеку, чей авторитет в данной области не подлежит сомнению. В статье под весьма показательным заглавием «Повторное открытие либерализма» профессор Эдуард Хайманн, один из лидеров немецкого религиозного социализма, пишет: «Гитлеризм провозглашает себя одновременно подлинной демократией и подлинным социализмом, и страшно то, что в этих притязаниях есть крупица истины — разумеется, бесконечно малая, но, как бы то ни было, дающая основания для таких фантастических передержек. Гитлеризм идет даже дальше: он притязает на роль защитника христианства, и страшно то, что даже это грубое искажение фактов может произвести впечатление. Но одно во всем этом тумане остается совершенно ясным: Гитлер ни разу не провозглашал себя представителем

подлинного либерализма. Таким образом, на долю либерализма выпала честь быть доктриной, наиболее ненавистой Гитлеру».

Следует добавить, что ненависть эта нечасто проявлялась на практике просто потому, что к моменту прихода Гитлера к власти либерализм в Германии был практически уже мертв,— и убил его социализм.

\* \* \*

В то время как большинству непосредственных свидетелей перехода от социализма к фашизму связь между ними становится все яснее, в Англии большинство по-прежнему считает, что социализм может сочетаться со свободой. Несомненно, социалисты в большинстве своем по-прежнему глубоко верят в либеральные идеалы свободы; и если бы они убедились, что осуществление их программы означает гибель свободы, то в ужасе бы от нее отшатнулись. Увы, пока что лишь немногие оказались в состоянии ясно увидеть суть проблемы. Самые антагонистические идеи все еще так легко уживаются в умах, что нам до сих пор приходится слышать, как всерьез обсуждаются концепции, представляющие собой явное противоречие в терминах — например, «индивидуалистический социализм». Если именно это состояние умов и порождает постепенное сползание в мир, где будет господствовать «новый порядок», то необходимо срочно и тщательно проанализировать подлинный смысл эволюции, жертвами которой уже оказались другие. Пусть наши выводы лишь подтвердят опасения, уже высказанные другими — все равно причины, обуславливающие закономерность подобного пути развития, невозможно выявить без всестороннего анализа главных аспектов этой полной перестройки общественной жизни. Многие не поверят в то, что демократический социализм — эта великая утопия предшествующих поколений — недостижим, и что, более того, старания приблизить его порождают совершенно непредвиденные последствия, неприемлемые для большинства его сторонников; не поверят до тех пор, пока связь между фактами не будет вскрыта во всех аспектах.

### Глава 3

#### ИНДИВИДУАЛИЗМ И КОЛЛЕКТИВИЗМ

Социалисты верят в две совершенно разные, а может быть, и несовместимые вещи: в свободу и организацию.

*Эли Галлеи,*

Прежде чем приступить к нашей главной теме, мы должны будем прояснить недоразумение, в значительной степени повинное в сползании нашего общества к тому, чего никто не хочет.

Это недоразумение касается самого понятия социализма. Слово «социализм» может означать (и зачастую именно в таком значении и используется) исключительно идеалы социальной справедливости, большего равенства и уверенности в завтрашнем дне, то есть конечные цели социализма. Но оно означает, кроме того, и конкретные методы, с помощью которых большинство социалистов надеется этих целей достичь, причем многие компетентные люди считают эти методы единственным путем к полному и быстрому достижению перечисленных целей. В таком понимании социализм — это упразднение частного предпринимательства, отмена частной собственности на средства производства и создание системы «плановой экономики», где место предпринимателя, работающего во имя прибыли, займут централизованные планирующие органы.

Для многих людей, называющих себя социалистами, социализм существует лишь в первом значении: они горячо верят в конечные цели социализма, но не задумываются и не желают задумываться, как именно их можно достичь. Они знают — это должно быть сделано, чего бы это ни стоило. Однако почти для всех, для кого социализм — не просто мечта, а предмет практической политической деятельности, методы современного социализма не менее важны, чем его цели. С другой стороны, немало и тех, кто предан конечным целям социализма не меньше самих социалистов, но отказывается его поддерживать, ибо видит в предлагаемых социалистами методах угрозу ценностям иного порядка. Таким образом, спор становится скорее спором о средствах, нежели о целях (хотя вопрос о том, могут ли быть одновременно достигнуты различные цели социализма, тоже еще далеко не ясен).



Уже одного этого было бы достаточно, чтобы привести к путанице, но она еще более усилилась из-за распространенной привычки считать, что человек, отвергающий средства, не дорожит и целью. Мало того, положение осложняется и потому, что главное орудие социалистических реформ — «экономическое планирование» — может применяться и для множества других целей. Если мы хотим, чтобы распределение доходов соответствовало существующим ныне представлениям о социальной справедливости, мы оказываемся вынужденными прибегнуть к централизованному руководству экономикой. Поэтому к «планированию» призывают все, кто требует, чтобы производство развивалось не «во имя прибыли», а «на благо человека». Но ведь централизованное планирование точно так же необходимо и для совершенно несправедливого, по нашим теперешним представлениям, распределения доходов. Если бы мы сочли желательным предоставлять львиную долю благ мира сего расовой элите, людям нордического типа, членам какой-либо партии или касте аристократов, то используемые нами для этого методы все равно были бы теми же, что и методы, обеспечивающие уравнительное распределение доходов.

Может показаться недобросовестным использование термина «социализм» для описания его методов, а не целей — когда словом, символизирующим для множества людей высший идеал, мы называем некоторый частный метод. Быть может, было бы предпочтительнее дать этим методам (которые могут использоваться для самых различных целей) название «коллективизм» и рассматривать социализм как одну из его многочисленных разновидностей. И хотя для большинства социалистов лишь одна из разновидностей коллективизма будет соответствовать «истинному» социализму, при этом она все-таки будет оставаться только одним из частных случаев более общего понятия. Следовательно, любое утверждение, справедливое по отношению к коллективизму, будет справедливо по отношению к социализму.

Почти все расхождения между социалистами и либералами касаются именно методов, характерных для всех форм коллективизма, а не конкретных целей, для достижения которых их хотят использовать социалисты; все рассматриваемое в данной книге явления есть следствия коллективистских методов и не зависят от целей, ради которых эти методы применяются. Нельзя также забывать, что социализм — не только важнейшая из разновидностей коллективизма или «планирования», но что именно благодаря социалистическим идеям люди либеральных взглядов вновь стали использовать ту самую регламентацию экономики, которую когда-то отвергли и при которой правительство, по словам Адама Смита, «чтобы удержаться, вынуждено прибегать к угнетению и произволу».

\* \* \*

Даже условившись применять термин «коллективизм» для всех видов «плановой экономики», независимо от целей планирования, мы не покончим с трудностями, вызванными многозначностью этого широкоупотребительного политического термина. Попробуем немного прояснить наше понимание его: мы говорим о том виде планирования, который является необходимым для достижения любого наперед заданного идеала распределения богатства. Но поскольку притягательная сила идеи централизованного экономического планирования в немалой мере объясняется ее расплывчатостью, договоримся прежде всего о точном ее смысле.

Популярность «планирования» вызвана тем, что каждому хочется, чтобы стоящие перед обществом задачи решались наиболее рациональным образом и с максимальным использованием наших возможностей прогнозирования. В этом смысле планированием заняты все, кроме полнейших фаталистов; с планированием связан (или должен быть связан) любой политический акт; разница лишь в том, что существует планирование хорошее и плохое, разумное и глупое, дальновидное и близорукое. И, конечно, последний, кто может возражать против планирования в этом широком смысле слова — экономист, чья основная задача состоит в изучении того, как люди планируют (и как могли бы планировать) свою жизнь. Однако наши энтузиасты планового общества употребляют этот термин в ином смысле. Для них он означает не только то, что мы должны заниматься планированием, если хотим, чтобы распределение доходов или национального богатства соответствовало какому-то определенному эталону. По их мнению, недостаточно разработать наиболее рациональную и стабильную правовую структуру, в рамках которой люди смогут заниматься любым видом деятельности в соответствии со своими личными планами. Для них такой либеральный план — не план вовсе, так как не указывает, кому что причитается. Они требуют централизованного руководства всей экономической

деятельностью в соответствии с *единым* планом, который указывал бы, как общественные ресурсы должны быть «сознательно направлены» вполне *определенным* образом на службу вполне *конкретным*, заранее поставленным целям.

Таким образом, спор между современными сторонниками планирования и их оппонентами заключается вовсе не в том, должны ли мы сознательно выбирать наиболее подходящую среди возможных форм организации общества, и следует ли при планировании наших общих дел использовать прогнозирование и систематическое мышление. Они спорят о том, как это лучше сделать. Вопрос стоит следующим образом: предпочтительнее ли, чтобы власти, в чьем распоряжении находится аппарат принуждения, ограничились, вообще говоря, созданием условий, способствующих максимальному развитию индивидуальных способностей и инициативы, что позволит отдельным людям самим успешно осуществлять планирование; или же рациональное использование наших ресурсов невозможно без *централизованного* управления и организации всех видов деятельности в соответствии с некоторой сознательно разработанной программой? Социалисты всех партий понимают под планированием планирование второго типа, и именно это значение стало теперь общепринятым. Подобное словупотребление само по себе призвано внушать нам мысль, что этот второй тип планирования есть *единственный* рациональный путь организации наших дел, хотя это, разумеется, остается ничем не доказанным. Таким образом, в данном пункте мнения либералов и сторонников планирования по-прежнему расходятся.

\* \* \*

Неприятие такого рода планирования важно не путать с догматической позицией, занимаемой радикальными сторонниками принципа *laissez-faire*. Либералы выступают вовсе не за то, чтобы предоставить обстоятельствам развиваться самим по себе, но за наилучшее использование конкуренции для координации человеческой деятельности. Они убеждены, что эффективная конкуренция — лучшее средство направлять индивидуальную деятельность. Они не только не отрицают, но, наоборот, подчеркивают, что для того, чтобы конкуренция приносила пользу, необходимы тщательно продуманные юридические рамки и что ни прежние, ни ныне существующие юридические нормы не свободны от серьезных недостатков. Не отрицают они и того, что в случае невозможности создать условия для эффективной конкуренции нужно прибегать к иным методам управления экономической деятельностью. Единственное, чего не приемлет экономический либерализм — это вытеснения конкуренции методами, уступающими ей в эффективности.

Конкуренция в большинстве случаев — не только наиболее эффективный из известных методов; это к тому же единственный метод взаимной координации наших индивидуальных действий без принуждения или произвольного вмешательства со стороны властей. Один из главных доводов в пользу конкуренции заключается в том, что она позволяет обойтись без «сознательного общественного контроля» и дает человеку возможность самому решить, оправдывает ли потенциальная прибыльность того или иного предприятия связанные с ним неудобства и риск.

Успешное применение конкуренции как принципа социальной организации исключает одни виды принудительного вмешательства в экономическую жизнь, но допускает другие (которые иногда могут активно способствовать действию закона конкуренции), а в отдельных случаях даже прямо требует проведения определенных правительственных мероприятий. Однако есть серьезная причина особо подчеркнуть важность условий, «предписывающих воздержание от действий», то есть тех пунктов, где прибегать к принуждению абсолютно запрещено. Прежде всего необходимо, чтобы присутствующие на рынке стороны могли свободно продавать и покупать товары по любой цене, на которую найдутся желающие, и чтобы каждый имел право производить, продавать и покупать все, что может производиться и продаваться. При этом крайне важно, чтобы все на равных основаниях обладали свободой беспрепятственного доступа в различные отрасли, и чтобы любые попытки отдельных лиц или групп тайно или явно ограничить эту свободу преследовались законом.

Всякая попытка контролировать цены или количество того или иного товара отнимает у конкуренции способность эффективно координировать индивидуальные усилия, так как колебания цен в этом случае перестают отражать соответствующие изменения конъюнктуры и уже не могут служить надежным ориентиром для индивидуального производителя. Однако это не всегда верно в отношении чисто ограничительных мер, оговаривающих допустимые методы производства, если только эти ограничения касаются всех потенциальных производителей в одинаковой степени и не применяются для кос-

венного контроля цен и количества товаров. Разумеется, любой такой контроль методов производства влечет за собой дополнительные затраты, то есть использование большого количества ресурсов для производства данного объема продукции, но он может оказаться вполне оправданным. Запрещение применять некоторые ядовитые химические вещества или предписание специальных предосторожностей при их применении, ограничение рабочего дня и требование соблюдения определенных санитарных норм — все эти меры абсолютно совместимы с сохранением конкуренции. Вопрос лишь в том, превышают ли в каждом конкретном случае получаемые преимущества связанные с ними общественные затраты. вполне совместима также конкуренция с широкой сетью социальных услуг (образование, жилищное строительство, здравоохранение и пр.) — если только сама эта сеть не организована таким образом, что делает конкуренцию неэффективной в обширных областях деятельности.

К сожалению (хотя этому нетрудно найти объяснение), в прошлом значительно больше внимания уделялось упомянутым «запретительным» условиям эффективности конкурентной системы (то есть условиям отсутствия определенных действий или явлений), чем «предписывающим» условиям (то есть требованиям проведения определенных мероприятий). А ведь функционирование конкурентной системы требует не только соответствующей организации таких институтов как денежная система, рынок, каналы информации (причем в некоторых случаях частное предпринимательство не в состоянии этого обеспечить), но зависит в первую очередь от наличия адекватной правовой структуры, предназначенной как для сохранения конкуренции, так и для обеспечения максимальной пользы при ее функционировании. Закрепленного законом признания принципов частной собственности и свободы заключения контрактов ни в коем случае недостаточно: многое зависит от точного определения права собственности в применении к различным объектам. Систематическое изучение форм правовых институтов, позволяющих создать эффективно действующую конкурентную систему, находится в плачевном небрежении; более того, можно утверждать, что серьезные недостатки в этой области (особенно в сфере законодательства о коммерческих корпорациях и патентного права) привели не только к снижению эффективности конкуренции, но и к ее полному уничтожению во многих отраслях.

Наконец, вне всякого сомнения, существуют и такие области, где никакие законодательные установления не в состоянии обеспечить выполнение главного условия эффективности системы, основанной на конкуренции и частной собственности, а именно: владелец извлекает выгоду из всех полезных услуг, оказываемых его собственностью, и несет убытки от любого ущерба, причиненного третьим лицам в результате использования этой собственности. Там, например, где пользование определенными услугами невозможно поставить в зависимость от цены или платы за них, конкуренция не сможет обеспечить предоставления подобных услуг. Точно так же становится неэффективной ценовая система и в тех случаях, когда убытки, причиненные окружающим в результате определенных способов использования собственности, невозможно отнести на счет владельца этой собственности. Во всех этих примерах существует расхождение между показателями, учитываемыми в личной калькуляции, с одной стороны, и затрагивающими общественное благосостояние, с другой. Когда это расхождение становится значительным, надо, вероятно, обеспечить предоставление данных услуг каким-то иным методом, отличным от конкуренции. Так, например, снабжение дорог дорожными знаками, а в большинстве случаев и само дорожное строительство, не могут оплачиваться каждым индивидуальным пользователем. Точно так же ущерб, причиняемый вредными последствиями вырубки лесов, некоторыми методами возделывания земли, загрязнением окружающей среды дымовыми выбросами или, наконец, производственным шумом, невозможно возместить с помощью любых расчетов между конкретным владельцем собственности, являющейся причиной вредоносного воздействия, и теми, кто был бы согласен подвергаться ущербу при условии получения компенсации. В подобных случаях мы оказываемся вынужденными найти какую-то замену системе регулирования с помощью ценового механизма. Однако тот факт, что нам приходится прибегать к прямому регулированию сверху, когда создание условий для эффективного функционирования конкуренции оказывается невозможным, вовсе не доказывает, что там, где конкуренция может быть эффективной, ее следует подавлять.

Таким образом, государство располагает широким и неоспоримым полем деятельности в решении таких проблем, как создание условий для достижения максимальной эффективности конкуренции, дополнение ее иными методами в случае невозможности со-

знания подобных условий, наконец, обеспечение населения теми услугами, которые, по словам Адама Смита, «хотя и могут быть в высочайшей степени полезными для широких слоев общества, но по природе своей таковы, что прибыль от них никогда не окупит затраты любого отдельного лица или небольшой группы лиц». Невозможно придумать рациональную модель общественного устройства, где государство просто бездействовало бы. Эффективная конкурентная система не менее любой другой нуждается в разумно организованных и постоянно корректируемых юридических рамках. Даже обеспечение самой важной предпосылки ее правильного функционирования — предотвращение обмана и мошенничества (в том числе злоупотребления неосведомленностью) — все еще остается огромной и отнюдь не решенной до конца задачей, стоящей перед законодательными органами.

\* \* \*

Работа по созданию необходимой структуры, обеспечивающей полезное функционирование конкурентной системы, продвинулась еще не очень далеко, когда государства повсеместно стали отказываться от нее и заменять принцип конкуренции иным, совершенно с нею не совместимым принципом. Речь уже шла не о усовершенствовании условий, в которых действует конкуренция, и не о дополнении ее, но о полном вытеснении из экономической жизни. Важно четко осознать, что современное движение сторонников планирования есть движение, направленное против конкуренции как таковой; это новое знамя, объединившее всех закоренелых ее врагов. Под прикрытием этого знамени ныне ведутся попытки восстановить привилегии, сметенные эпохой либерализма, и осуществляют эти попытки самые разнообразные заинтересованные группы и слои — но именно социалистическая пропаганда планирования вновь сделала враждебность к конкуренции вполне респектабельной в глазах либерально настроенных людей и усыпила здоровую подозрительность, всегда возникавшую прежде при любых попользованиях устранить конкуренцию. В сущности, именно эта враждебность к конкуренции и стремление заменить ее управляемой сверху экономикой и объединяют между собой всех социалистов, независимо от их «левой» или «правой» политической окраски. Термины же «капитализм» и «социализм», все еще широко применяющиеся для характеристики прошлой и будущей общественных формаций, не проясняют, а скорее затемняют истинную сущность переживаемого нами переходного периода.

Итак, все наблюдаемые нами изменения ведут к всеобъемлющему централизованному управлению экономикой: однако на первых порах всеобщая борьба против конкуренции приводит к появлению ситуации, во многих отношениях даже еще худшей и не устраивающей ни сторонников планирования, ни либералов, а именно — возникновению своего рода синдикалистской, или «корпоративной» формы организации производства, при которой конкуренция практически подавлена, а планирование сосредоточено в руках независимых монополий, представляющих отдельные отрасли промышленности. Таков неизбежный первичный результат всеобщей враждебности к конкуренции при несогласии по всем остальным вопросам. Уничтожение конкуренции в одной отрасли промышленности за другой означает, что потребитель оказывается отданным на произвол объединенных монополистских действий капиталистов и рабочих в наиболее хорошо организованных отраслях промышленности. И все же, хотя такая ситуация уже существует в обширных областях экономики, и хотя именно за нее фактически агитируют многие сбитые с толку (и почти все движимые корыстными побуждениями) сторонники планирования, она вряд ли просуществует длительное время (к тому же ее желательность трудно обосновать какими-нибудь рациональными аргументами). Действительно, система независимого планирования, осуществляемого промышленными монополиями, на деле приведет к последствиям, противоположным ожиданиям сторонников планирования. По достижении этой стадии единственной альтернативой возврата к конкуренции окажется государственный контроль монополий, который для усиления своей эффективности вынужден будет становиться все более полным и абсолютным. К этой стадии мы приближаемся все быстрее и быстрее. Когда незадолго до войны в одном еженедельнике отмечались «многочисленные признаки того, что британские лидеры все более и более предпочитают описывать будущее развитие страны в терминах контролируемых монополий», это была, по-видимому, верная оценка тогдашнего положения вещей. Война сильно ускорила этот процесс, и с течением времени его пороки и связанные с ним опасности будут становиться все очевиднее.

Идея полной централизации руководства экономикой все еще отпугивает большинство людей, причем дело здесь не столько в невероятной трудности подобной задачи,

сколько в ужасе, который вызывает сама идея руководства всем из единого центра. И если мы все же на всех парах движемся к такому положению, то лишь потому, что большинство по-прежнему верит в возможность найти некую «золотую середину» между конкурентной системой с ее «раздробленностью» и централизованным руководством. В самом деле, любому здравомыслящему человеку может на первый взгляд показаться, что лучше и надежнее всего было бы использовать какое-то разумное сочетание обоих методов, позволяющее обойтись без крайней децентрализации, характерной для свободной конкуренции, и без крайней централизации, связанной с наличием единого плана. Однако здесь здравый смысл оказывается ненадежным советчиком. Конкуренция может вынести какую-то примесь планирования, но при перенасыщении им перестает быть эффективным регулятором производства. Точно так же и планирование, применяемое «в малых дозах», не может дать тех результатов, на которые можно было бы рассчитывать при «радикальной терапии». И конкуренция, и централизованное руководство становятся плохими и неэффективными методами, если применяются не в полную силу; это разные средства решения одной и той же задачи, и смешение их приведет лишь к тому, что ни одно не окажется успешным и результат будет хуже, чем при последовательном применении чего-то одного. Иначе говоря, планирование и конкуренцию можно совместить, только если первое будет способствовать конкуренции, а не действовать против нее.

Напомним еще раз читателям этой книги (это чрезвычайно важно для правильного ее понимания!), что вся содержащаяся в ней критика обращена исключительно против планирования, направленного против конкуренции — то есть планирования, призванного заменить конкуренцию. Это тем более важно, что объем книги не позволяет нам углубляться в рассмотрение другого вида планирования, крайне необходимого для достижения максимальной эффективности и выгодности конкуренции для общества. Но поскольку этот термин в современном употреблении практически означает только первое, нам придется для краткости говорить просто о планировании, хотя это и значит, что мы отдаем на откуп нашим противникам прекрасное слово, заслуживающее лучшей участи.

#### Глава 4

### «НЕИЗБЕЖНОСТЬ» ПЛАНИРОВАНИЯ

Мы первыми заявили, что чем сложнее становится цивилизация, тем более ограничивается свобода личности.

*Б. Муссолини.*

Весьма показательно, что разговорами о желательности планирования довольствуются немногие. Большинство утверждает, что другого пути нет, что замена конкуренции планированием неизбежна по независящим от нас обстоятельствам. Сознательно культивируется миф, согласно которому мы переходим на новый путь не по своей доброй воле, а в результате спонтанного процесса устранения конкуренции за счет изменений в технологии производства, которые нельзя, да и не нужно поворачивать вспять. Обычно положение это никак не доказывается: оно принадлежит к числу тех утверждений, которые заимствуются авторами друг у друга до тех пор, пока путем простого повторения не превратится в установленный факт. А между тем утверждать это нет никаких оснований. Тенденция к монополизму и планированию — не результат каких-то независящих от нас «объективных фактов», а продукт развития взглядов, поощрявшихся и пропагандировавшихся в течение полувека и ставших доминирующими в нашей политике.

Среди доказательств неизбежности планирования чаще всего всплывает следующий аргумент: технологические сдвиги делают существование конкуренции невозможным во все большем количестве областей, а потому единственное, что нам осталось — выбирать между контролем производства со стороны частных монополий и со стороны правительства. Идея эта была заимствована главным образом из марксистской доктрины «концентрации производства», но теперь, как и многие марксистские идеи, привилась во многих кругах, получивших ее из третьих или четвертых рук без указания источника.

Разумеется, исторического факта — постепенного роста монополий и сужения сферы действия конкуренции в течение последнего пятидесятилетия — оспаривать не приходится, хотя масштабы этого явления сильно преувеличены. Однако важно понять,

что именно перед нами: неизбежное следствие технического прогресса или просто результат проводимой во множестве стран политики. Как мы увидим ниже, подлинная история развития этого феномена явно говорит в пользу второй гипотезы. Но прежде всего выясним, действительно ли неизбежен широкий рост монополий при современном уровне технического развития.

Считается, что рост монополий обуславливается технологическим превосходством крупных предприятий над мелкими, что, в свою очередь, является следствием высокой эффективности современных методов массового производства. Эти методы, уверяют нас, создали в большинстве отраслей промышленности условия, при которых крупная фирма может увеличить объем выпускаемой продукции, одновременно снизив себестоимость единицы продукции; поэтому крупные фирмы повсеместно вытесняют мелкие, предлагая товары по более низким ценам, и процесс этот не остановится до тех пор, пока в каждой отрасли промышленности не останется одна или несколько гигантских компаний. Тем самым принимается во внимание лишь одна тенденция, иногда сопутствующая техническому прогрессу, и игнорируются другие, противоположные направления; да и делающиеся при этом выводы подтверждаются фактами лишь в малой степени. Мы не можем здесь рассмотреть эту проблему во всех тонкостях, поэтому ограничимся лишь самым ярким имеющимся в нашем распоряжении примером. Наиболее исчерпывающее исследование фактов в данной области за последнее время было предпринято специальным Временным национальным комитетом по экономическим вопросам в США и носило общее название «Концентрация экономической мощи». В итоговом отчете этого комитета (который, безусловно, не обвиняет в неподобающем либеральном уклоне) говорится, что мнение, согласно которому причиной исчезновения конкуренции является большая эффективность массового производства, «практически не подтверждается фактами, которыми мы на сегодняшний день располагаем». А в подготовленной комитетом подробной монографии по этому вопросу аналогичные выводы подытоживаются следующим образом:

«Более высокая эффективность крупных предприятий не подтверждается фактами; соответствующие преимущества, якобы приводящие к уничтожению конкуренции, во многих областях, как выяснилось, отсутствуют. Не соответствует действительности и то, что крупные экономические структуры, там, где они существуют, неизбежно влекут за собой появление монополий... Оптимальный размер или размеры экономической структуры, соответствующие максимальной эффективности, могут быть достигнуты задолго до того, как значительная часть общего объема предложения данного товара будет находиться под контролем монополистических групп. С тем, что преимущества крупномасштабного производства неминуемо ведут к уничтожению конкуренции, нельзя согласиться. Более того, следует подчеркнуть, что монополизация зачастую представляет собой результат действия иных факторов, чем связанная с более крупным размером производства низкая себестоимость продукции. Монополии образуются при помощи тайных сговоров и поощряются правительственной политикой. Если объявить подобные сговоры недействительными и изменить политику, то условия для существования конкуренции можно восстановить».

Расследование условий, существующих в Англии, привело бы к весьма сходным результатам. Всякий, кто наблюдал, как монополисты систематически стремятся заручиться поддержкой государства с целью усиления контроля рынка, и как часто эти домогательства увенчиваются успехом, вряд ли будет утверждать, что подобный процесс является объективным и неизбежным.

\* \* \*

Сделанный выше вывод подтверждается тем, в какой исторической последовательности возникало в различных странах явление упадка конкуренции и роста монополий. Если бы монополии были результатом технического развития или неизбежным продуктом эволюции «капитализма», то можно было бы ожидать, что они появятся в первую очередь в странах с наиболее развитой экономикой. На деле же они впервые появились в последней трети девятнадцатого века в США и в Германии — в странах с тогда еще сравнительно молодой промышленностью; причем в Германии, которую постепенно стали считать образцом неизбежной эволюции капитализма, рост картелей и синдикатов начиная с 1878 года сознательно и систематически поощрялся государственной политикой. Не только протекционизм, но и прямое стимулирование и даже принуждение, применялись правительствами для создания и усиления монополий,

позволяющих регулировать цены и сбыт. Именно в Германии с помощью государства был проведен первый крупный эксперимент по «научному планированию» и «продуманной организации промышленности», приведший к созданию гигантских монополий, которые, за пятьдесят лет до того, как то же самое было проделано в Великобритании, преподносились как неизбежный результат экономического роста. Именно под влиянием немецких теоретиков социализма, в частности, Зомбарта, обобщивших опыт своей страны, стала общепринятой идея неизбежности превращения конкурентной системы в «монополистический капитализм». Обобщение это как будто подтверждалось опытом США, где политика усиленного протекционизма позволила вступить на сходный в общих чертах путь развития. Однако не Америка, а именно Германия стала постепенно считаться выразительницей всеобщих тенденций, и стало общим местом (цитирую весьма популярное политическое эссе недавнего времени) говорить о ней как о стране, где «все социально-политические силы современной цивилизации достигли наивысшего развития».

Насколько мало во всем этом неизбежности и много — сознательной политики, становится ясно, если рассмотреть положение в Англии до 1931 года (когда Великобритания впервые прибегла к политике общего протекционизма), и после него. Каких-нибудь двенадцать лет назад британская промышленность в целом, за исключением немногих отраслей, уже находившихся к тому времени под покровительством правительства, была, вероятно, наиболее конкурентоспособной за всю свою историю. Несмотря даже на то, что в 20-е годы страна жестоко пострадала от комбинации проводившейся в то время денежно-кредитной политики с несовместимой с ней политикой в области заработной платы, весь этот период (по крайней мере до 1929 года) характеризовала конъюнктура (в отношении занятости и общего уровня экономической активности), отнюдь не менее благоприятная, чем в 30-е годы. Лишь после перехода к протекционизму, сопровождавшегося глубокими изменениями в британской экономической политике, монополии начали расти с поразительной скоростью, и мало кто сознает, насколько они изменили британскую промышленность. Утверждение, что это хоть как-то связано с достигнутым за этот период техническим прогрессом, что нужды технического развития, проявившиеся в Германии в 80-е и 90-е годы прошлого столетия, вдруг дали себя знать в Англии в 30-е годы, не менее абсурдно, чем приведенное выше заявление Муссолини о том, что Италия была вынуждена уничтожить личную свободу раньше других европейских народов потому, что ушла от них далеко вперед!

Что касается Англии, то утверждение, что сдвиги в общественном мнении и политике вытекают из неотвратимых и независящих от нас фактов, выглядят в какой-то мере правдоподобным лишь потому, что в Англии развитие и распространение определенного рода идей происходило с запозданием по сравнению с другими странами. Поэтому может казаться, что монополистическая организация промышленности выросла вопреки общественному мнению, тогда еще благоприятствовавшему конкуренции, что внешние события пошли вразрез с нашими желаниями. Однако истинная взаимосвязь между теорией и практикой станет ясна, как только мы обратимся к прототипу этого хода развития: к Германии. Что там подавление конкуренции было сознательной политикой, проводившейся во имя идеала, сейчас называемого планированием, — не вызывает сомнений. В своем постепенном переходе к целиком и полностью планируемому обществу немцы, как и все, кто им сейчас подражает, просто следовали курсом, проложенным для них мыслителями девятнадцатого века, в первую очередь немецкими. Интеллектуальная история последних шестидесяти — восьмидесяти лет есть воистину прекрасная иллюстрация того, что сама по себе эволюция общества вовсе не неотвратима, и делает ее такой только наше мышление.

\* \* \*

Утверждение, что современный технический прогресс неизбежно ведет к планированию, поддается разным истолкованиям. Оно может означать, что сложность современной промышленной цивилизации создает новые трудности, разрешимые только путем централизованного планирования. В каком-то смысле это действительно так — но не в том широком смысле, в каком обычно понимается. Общеизвестно, например, что проблемы, порождаемые условиями жизни в современном городе, как и многие другие проблемы, связанные со скученностью и нехваткой свободного пространства, не могут быть разрешены с помощью конкуренции. Но те, кто ссылается на сложность современной цивилизации как на довод в пользу централизованного планирования, имеют

в виду в первую очередь не эти трудности и не проблемы, возникающие в связи с функционированием предприятий общественного пользования, коммунальными услугами и т. п. Обычно они подразумевают все возрастающую трудность получения всеобъемлющей картины экономического процесса и вызываемую этим необходимость координировать экономику при помощи какого-то центрального органа, если мы не хотим, чтобы общественная жизнь превратилась в хаос.

Эти доводы вызваны совершенно неправильным представлением о функционировании механизма конкуренции. В корне неверно считать, что конкуренция пригодна только для относительно простых условий; наоборот, именно сложность разделения труда в современных условиях и делает ее единственным методом, обеспечивающим правильную координацию экономической деятельности. Эффективно осуществлять контроль или планирование было бы нетрудно, если бы условия были настолько просты, что один человек или коллегиальный орган мог бы охватить все основные факты. Только когда факторы, которые необходимо принять в расчет, становятся настолько многочисленными, что полностью их охватить невозможно, именно тогда возникает настоятельная необходимость децентрализации. Но с необходимостью децентрализации сразу же возникает проблема координации, причем такой, которая позволяла бы отдельным предприятиям строить свою деятельность на известных лишь им фактах и вместе с тем согласовывать свои планы с планами других. Поскольку необходимость децентрализации вызвана тем, что никто не может обдумать и взвесить все, касающееся решений такого громадного количества людей, то и координацию можно осуществить не путем «сознательного контроля», а лишь путем создания условий, при которых любому хозяйственному деятелю будет доступна информация, необходимая для эффективного согласования его решений с решениями остальных. А так как непрерывные изменения соотношений спроса и предложения на различные товары никакой центр все равно не может ни учесть в деталях, ни достаточно быстро сделать известными рынку, то единственное, что может здесь помочь — это некий регистрационный прибор, который автоматически отмечает все важнейшие результаты деятельности отдельных людей и указания которого одновременно вытекают из индивидуальных решений и направляют их.

Именно таким органом является в условиях конкуренции ценовая система, и никакая другая система не может с ней сравниться. Она позволяет предпринимателям наблюдать за колебаниями сравнительно немногих цен, как инженер наблюдает за стрелками нескольких индикаторов и исходя из них согласовывает свои действия с действиями остальных. Однако важно понять, что эту функцию система цен может осуществлять только при господстве конкуренции, то есть в условиях, когда индивидуальный производитель должен приспосабливаться к изменениям цен и не может их контролировать. Чем сложнее целое, тем больше мы зависим от этого разделения знаний и сведений между отдельными лицами, чья самостоятельная деятельность координируется безличным механизмом для передачи важной информации, называемым ценовой системой.

Можно без преувеличения сказать, что если бы в период роста нашей индустриальной системы нам пришлось полагаться на сознательное централизованное планирование, то система эта никогда бы не достигла своего нынешнего уровня дифференциации, сложности и гибкости. По сравнению с этим методом решения экономических задач (с помощью децентрализации и автоматического координирования локальных процессов в саморегулирующейся системе) более прямой и на первый взгляд очевидный метод централизованного руководства оказывается невероятно топорным, примитивным и ограниченным по сфере воздействия. Разделением труда, позволившим создать современную цивилизацию, мы обязаны именно тому, что это разделение не пришлось создавать сознательно, что человек наткнулся на метод, при помощи которого разделение труда смогло пойти гораздо дальше тех пределов, внутри которых его можно было бы планировать. Поэтому любой дальнейший рост сложности цивилизации отнюдь не делает более необходимым централизованное руководство; напротив, он гораздо настоятельнее, чем когда-либо прежде, требует от нас использования метода, не зависящего от сознательного регулирования.

\* \* \*

Существует и другая теория о связи роста монополий с техническим прогрессом. Положения этой теории почти противоположны доводам, нами только что рассмотрен-



ным; она нечасто формулировалась прямо и недвусмысленно, но также сумела оказать значительное влияние. Согласно ей, не современная техника уничтожает конкуренцию, но, наоборот, применение множества новых технических достижений невозможно без защиты от конкуренции, то есть без создания монополий. Рассуждения такого рода не всегда носят мошеннический характер, как может заподозрить критически настроенный читатель. Действительно, напрашивающееся возражение — «если новый метод действительно лучше всех прежних, то он сможет выдержать любую конкуренцию» — че опровергает некоторых конкретных примеров, к которым оно, казалось бы, должно быть применимо. Несомненно, зачастую это возражение используется как один из тех доводов (к которым так любят прибегать адвокаты), которые заранее дисквалифицируют любую возможную ссылку противной стороны на новые обстоятельства, которые могут обнаружиться в будущем. Вероятно, еще более часто оно является результатом неправомерного отождествления чисто технических достоинств какого-то нововведения с узкопрофессиональной точки зрения и его желательности с точки зрения общества в целом.

Остается, однако, ряд конкретных примеров, где этот довод имеет некоторую силу. Например, можно предположить (хотя бы чисто теоретически), что британская автомобильная промышленность сумела бы наладить производство более дешевых и высококачественных автомобилей, чем изготавливаемые в США, при условии, что все жители Англии будут поставлены перед необходимостью пользоваться автомобилями той же самой марки; или что применение электроэнергии во всех случаях могло бы оказаться дешевле, чем использование угля или газа, если бы всех можно было заставить пользоваться только электроэнергией. В этих и тому подобных случаях можно, по крайней мере, допустить, что нам всем жилось бы лучше и что мы даже предпочли бы эту новую ситуацию, будь у нас выбор. Фокус, однако, в том, что ни у кого из нас никогда такого выбора нет и быть не может. В действительности перед нами стоит совершенно другая альтернатива: либо все будут ездить на одинаковых дешевых автомобилях (и пользоваться только электроэнергией) — либо мы сможем выбирать между разными видами товаров одной категории, но зато каждый из них будет стоить гораздо дороже! Я не могу поручиться, что дело обстоит именно так в каждом из приведенных примеров, но следует признать, что с помощью принудительной стандартизации или запрета разнообразия, выходящего за определенные пределы, можно достичь в некоторых областях такого изобилия, что оно с лихвой возместит ограничение предоставляемого потребителю выбора. Не исключено даже, что в один прекрасный день появится некое новое изобретение, полезность которого никем не будет оспариваться — но внедрение его станет возможным только в том случае, если большинство населения (или все население целиком) окажется вынужденным пользоваться им в одно и то же время.

Сколь бы серьезными ни были подобные примеры, они, несомненно, не дают нам никакого права утверждать на их основании, что технический прогресс ведет к неизбежности централизованного руководства. Речь идет просто о необходимости выбирать между получением какого-то частного преимущества принудительным путем и отказом от этого преимущества — а во многих случаях получением его позже, когда частные трудности будут преодолены дальнейшим ходом технического прогресса. Правда, в таких ситуациях иногда приходится отказываться от возможной немедленной выгоды — в качестве платы за свободу — но зато мы избегаем необходимости ставить дальнейший ход развития в зависимость от знаний, которыми обладают сегодня лишь немногие. Жертвуя возможными нынешними преимуществами, мы сохраняем важный стимул для дальнейшего прогресса. Пусть в ближайшем будущем придется иногда дорого платить за многообразие и свободу выбора — в конечном счете даже материальный прогресс зависит именно от этого многообразия, ибо никогда нельзя предсказать, какой из видов товаров и услуг может развиваться в нечто лучшее. Разумеется, нельзя утверждать, что сохранение свободы за счет каких-то дополнительных материальных удобств вознаграждается во всех случаях, но ведь это и есть один из доводов в защиту свободы: необходимо оставить место для свободного развития, пути которого невозможно предугадать. Это в не меньшей мере относится и к ситуации, при которой нам, исходя из нынешнего уровня знаний, кажется, что принуждение принесет одни только преимущества (даже если в каких-то конкретных обстоятельствах оно действительно не причинит никакого вреда).

В большинстве современных споров о последствиях технического прогресса,

прогресс этот преподносится нам как некая посторонняя сила, вынуждающая нас использовать новые знания каким-то определенным образом. Действительно, открытия и изобретения дали нам необыкновенную власть, но абсурдно полагать, что мы должны обратить эту власть на уничтожение нашего драгоценнейшего достояния: свободы. Однако если мы хотим ее сохранить, то должны охранять ее ревнивей, чем когда бы то ни было, и идти ради нее на жертвы. Современный уровень развития техники вовсе не толкает нас к всеобъемлющему экономическому планированию, но зато бесконечно увеличивает опасность власти, которую могут получить органы планирования.

\* \* \*

Итак, не остается сомнений в том, что движение к планированию есть результат целенаправленной деятельности, и нас не вынуждает к нему никакая объективная необходимость. Теперь пора задуматься о том, почему в первых рядах сторонников планирования оказалось столько технических специалистов. Объяснение этого феномена тесно связано с важным фактом, о котором следует всегда помнить противникам планирования, а именно: почти каждый из технических идеалов наших экспертов можно было бы осуществить в сравнительно короткий срок, если сделать его единственной задачей человечества. Существует бесконечное множество благ, которые мы все единодушно считаем столь же желательными, сколь и возможными, но осуществить на своем веку можем лишь немногие и лишь в очень несовершенном виде. Именно невозможность осуществления грандиозных замыслов в своей области вызывает бунт специалиста против несовершенства существующего порядка. Всем нам трудно примириться с положением, когда остаются нереализованными цели, всеми признаваемые и возможными, и желательными. Чтобы осознать, что во всех этих целях нельзя достичь одновременно, что каждую из них можно осуществить, только пожертвовав остальными,— нужно принять во внимание факторы, которые выходят за пределы компетенции любого специалиста и могут быть осмыслены лишь ценой мучительных интеллектуальных усилий. Эти усилия становятся еще более мучительными потому, что они заставляют человека видеть цель своих трудов в более широком контексте и соразмерять ее с другими задачами, которые лежат вне сферы его непосредственных интересов, и поэтому меньше его волнуют.

Любая из множества целей, которую можно было бы по отдельности осуществить в планируемом обществе, порождает пламенных энтузиастов планирования, уверенных, что они смогут убедить руководителей такого общества в важности той или иной конкретной задачи; и несомненно, надежды некоторых из них в конце концов сбудутся, поскольку планируемое общество безусловно будет способствовать реализации определенных целей в большей степени, чем нынешнее. Глупо было бы отрицать, что известные нам страны с полностью или частично планируемой экономикой действительно предоставляют блага, которыми жители этих стран всецело обязаны планированию. В пример часто приводятся великолепные шоссе и дороги Германии и Италии (хотя этот вид планирования вполне возможен и в либеральном обществе). Но не менее глупо приводить примеры технического превосходства в конкретных областях в качестве доказательства превосходства планирования в целом. Правильнее было бы сказать, что исключительное техническое совершенство, не соответствующее общим условиям жизни, свидетельствует о ресурсах, направленных по ложному пути. Любопытно, кто ездил по знаменитым немецким автомобильным дорогам и видел, что движение на них гораздо меньше, чем на многих второстепенных дорогах Англии, не усомнится в том, что их существование вряд ли оправдано (по крайней мере если рассматривать только мирные цели). Другое дело, что планирующие органы могли сознательно выбрать «пушки» вместо «масла», однако (по нашим меркам) оснований для восторга здесь немного.

Питаемая специалистами иллюзия, что в планируемом обществе волнуемым их проблемам уделялось бы гораздо больше внимания,— явление более распространенное, чем можно было бы думать, исходя из самого термина «специалист». Все мы считаем, что наша собственная шкала ценностей — дело не только личных убеждений, но что в ходе свободного ее обсуждения среди здравомыслящих людей мы смогли бы убедить остальных в ее безусловной правильности. Любитель природы, стремящийся в первую очередь сохранить традиционный сельский ландшафт и стереть с его прекрасного лица пятна, оставленные промышленностью; пылкий сторонник санитарии и гигиены, склонный снести все живописные, но антисанитарные и обветшалые деревенские домики;

автомобилист, мечтающий о том, чтобы всю страну пересекли гигантские автострады; фанатик производительности труда, требующий максимальной специализации и механизации производства; идеалист, для которого свободное развитие личности означает сохранение как можно большего числа независимых ремесленников — все они уверены, что цель их может быть полностью достигнута только с помощью планирования. Но на деле социальное планирование, которого они так настойчиво требуют, может лишь обнажить скрытые противоречия в их целях.

Движение за планирование обязано своей нынешней мощью главным образом тому, что планирование пока — лишь неосуществленная мечта, и потому объединяет вокруг себя почти всех беззаветно преданных своей цели идеалистов, всех тех, кто посвятил жизнь решению какой-либо одной задачи. Однако надежды, возлагаемые ими на планирование, вытекают из очень ограниченного понимания общества, а зачастую — и из сильного преувеличения важности целей, полагаемых ими первостепенными. Это не уменьшает громадной практической ценности такого типа людей в свободном обществе, подобном нашему, где ими справедливо восхищаются. Но это же самое свойство сделало бы людей, которые больше всего хотят планировать общество, наиболее опасными, если бы им позволили это сделать — и наиболее нетерпимыми к планированию, исходящему от других. От праведного и устремленного к одной-единственной цели идеалиста до фанатика — часто всего один шаг. А учитывая, что сильнейшим побуждением, порождающим новых адептов планирования, является именно негодование разочарованного в своих надеждах специалиста, нельзя себе представить более невыносимого (и более иррационального) мира, чем тот, в котором крупнейшим специалистам в каждой области позволено беспрепятственно добиваться осуществления своих идеалов. Кроме того, «координация», в отличие от того, что воображают некоторые сторонники планирования, не может стать новой областью специализации. Экономист — последний, кто будет утверждать, что обладает требуемыми для координатора знаниями. Он призывает к методу, при котором такая координация осуществлялась бы без нужды во всезнающем диктаторе. Но это как раз и означает сохранение тех безличных и зачастую неопостижимых факторов, которые тормозят усилия наиболее ретивых новаторов и так выводят из себя всех специалистов.

## Глава 5

### ПЛАНИРОВАНИЕ И ДЕМОКРАТИЯ

Государственный деятель, пытающийся указывать частным лицам, как им распорядиться своими капиталами, не только привлек бы к себе совершенно ненужное внимание; он присвоил бы полномочия, которые небезопасны в руках любого совета и сената, но всего опасней в руках человека, настолько безрассудного и самонадеянного, чтобы себя считать пригодным для осуществления этих полномочий.

*Адам Смит.*

Общей чертой коллективистских систем является, выражаясь любимыми словами социалистов всех школ и оттенков, сознательная организация производительных сил общества с целью достижения определенной поставленной перед обществом цели. Отсутствие такой «сознательной» направленности к единой цели в нашем нынешнем обществе, зависимость его от прихотей и причуд безответственных частных лиц, всегда были одной из главных причин недовольства его социалистических критиков.

Такой подход позволяет ясно и четко сформулировать основную проблему и сразу подводит нас к истокам конфликта между свободой личности и коллективизмом. Различные виды коллективизма (коммунизм, фашизм и т. д.) разнятся между собой характером целей, на достижение которых они стремятся направить усилия общества; но все они отличаются от либерализма и индивидуализма стремлением организовать все общество и все его ресурсы во имя достижения этой единой цели, а также отказом признавать существование сфер, в которых верховным законом являются личные цели индивидуума. Короче говоря, они являются тоталитаристскими в подлинном смысле этого нового слова, принятого нами для обозначения неожиданных, но неизбежных проявлений на практике того, что в теории мы называем коллективизмом.

В качестве «социальной задачи» или «общей цели», на достижение которой необходимо мобилизовать общество, обычно выдвигаются туманные понятия «общего блага», «всеобщего благосостояния» или «всеобщей пользы». Нетрудно увидеть, что термины эти слишком расплывчаты, чтобы позволить определить какой-то конкретный курс действий. Довольство и благосостояние миллионов не поддаются количественной оценке в терминах «больше» или «меньше». Благоденствие народа, как и счастье человека, зависит от множества факторов, слагающихся в бесчисленное множество комбинаций. Неправильно представлять его как единую цель: это иерархия целей, всеобъемлющая шкала ценностей, в которой есть место для каждой потребности каждого человека. Руководство нашей жизнью по единому плану подразумевает, что каждой нашей потребности отведен соответствующий разряд в системе ценностей настолько полной, что плановые органы могут решать, какой выбрать курс действий; иначе говоря, речь идет о всеобъемлющем этическом кодексе, в котором отведено должное место всем многообразнейшим человеческим ценностям.

Концепция всеобъемлющего этического кодекса для нас непривычна и требует некоторых усилий воображения. Мы не привыкли воспринимать моральные нормы как более или менее законченную систему. Тот факт, что мы постоянно делаем выбор между различными ценностями без помощи социального кодекса, предписывающего определенные правила выбора, нас не удивляет и не наводит на мысль о «неполноте» нашей системы морально-этических норм. В нашем обществе нет оснований для выработки общих взглядов на то, как следует поступать в той или иной ситуации. Но там, где все используемые средства находятся в распоряжении общества и используются от имени общества по единому плану, все решения должны исходить из «общественной» точки зрения на то, как следует поступать. В таком мире мы бы быстро обнаружили в своей морально-этической системе множество пробелов.

Здесь не рассматривается вопрос о желательности такого всеобъемлющего этического кодекса. Ограничимся лишь указанием на то, что до настоящего момента развитие цивилизации сопровождалось неуклонным сужением сферы, в которой действия индивидуума ограничены раз навсегда установленными правилами. Число правил, из которых складывается обычная система моральных норм, все уменьшалось, а сами правила принимали все более общий характер. Начиная с первобытного человека, который почти в каждом из своих повседневных действий был связан сложнейшим ритуалом, окружен бесчисленными табу и не мог даже вообразить, что можно что-то делать не так, как его сородичи, мораль все больше и больше превращалась просто в систему ограничений, внутри которых человек мог вести себя как хотел. Принятие общей для всех системы этических норм, достаточно полной, чтобы определить содержание единого экономического плана, означало бы полное изменение всей предшествующей тенденции.

Для нас важно понять, что такого всеобъемлющего этического кодекса не существует. Попытка руководить всеми видами экономической деятельности по единому плану вызовет бесчисленные вопросы, на которые существующие нравственные нормы ответа не дадут и которые можно решить только путем выработки новых этических норм. По такого рода вопросам у людей либо не будет определенного мнения, либо их мнения будут противоречить друг другу, так как в свободном обществе, в котором мы жили, не было повода ни думать о них, ни тем более — выработать общую точку зрения.

\* \* \*

Мы не только не располагаем такой всеобъемлющей шкалой ценностей: ни один ум не может охватить всех бесконечно многообразных потребностей людей, соперничающих за доступ к имеющимся ресурсам, и четко определить значимость каждой из них. Для целей настоящей книги несущественно, что именно важно для того или иного человека: только его личные потребности, или нужды его близких, или даже цели более далеких от него людей, то есть эгоист в обычном смысле слова. Важно то, что любой человек может охватить лишь ограниченную область, осознать необходимость удовлетворения лишь конечного числа потребностей. На чем бы ни были сосредоточены его интересы — на собственных материальных потребностях или на благоденствии всех известных ему людей — цели его всегда останутся лишь бесконечно малой частицей потребностей всего человечества.

Таков фундамент, на котором строится философия индивидуализма. Она не предполагает, как часто говорят, что человек по природе эгоистичен или должен таковым быть. Ее отправная точка — неоспоримый факт ограниченности нашего воображения, по-

звляющей включать в нашу шкалу ценностей лишь часть нужд общества; а поскольку системы ценностей, строго говоря, существуют только в умах отдельных людей, то все существующие системы ценностей по необходимости неполны, а подобные «частичные» системы неизбежно отличаются друг от друга и зачастую оказываются просто несоместимыми. Из этого индивидуалист делает вывод, что людям должно быть позволено внутри определенных рамок руководствоваться своими, а не чужими ценностями и склонностями, что внутри этой сферы верховным законом должна быть индивидуальная шкала ценностей. Именно к этому признанию индивидуума верховным судьей собственных нужд, к вере в то, что его действия должны насколько возможно определяться его собственными взглядами, и сводится суть индивидуалистической позиции.

Такая точка зрения, разумеется, не исключает признания определенных общественных целей — или скорее совпадения индивидуальных целей, делающего целесообразным объединение усилий для их достижения; она лишь ограничивает эту совместную деятельность теми областями, где мнения отдельных лиц относительно общих целей совпадают. Так называемые «общественные цели» — для нее просто тождественные цели множества индивидуумов (или цели, достижению которых индивидуумы соглашаются содействовать в обмен на помощь в осуществлении своих собственных целей). Таким образом, совместная деятельность ограничивается областями, в которых люди единодушны. Весьма часто общие задачи являются для людей не конечной целью, а средством, которое различные лица могут использовать для разных целей. Вообще люди чаще всего договариваются о совместных действиях, когда общая задача для них — не конечная цель, а средство, которое можно использовать для удовлетворения самых различных потребностей.

Когда люди объединяются для достижения общих целей, то создаваемые для этого организации, например, государство, наделяются собственной системой целей и средств. Однако любая созданная таким образом организация остается лишь «юридическим лицом» — всего лишь одним из множества других юридических или физических лиц. Разумеется, если речь идет о государстве, то оно обладает гораздо большей мощью и возможностями, но у него также есть своя, отдельная и ограниченная сфера, в рамках которой (и только в этих рамках!) его цели являются важнейшими. Границы этой сферы определяются степенью единодушия индивидуумов в отношении тех или иных конкретных целей; а вероятность согласия в отношении конкретных действий неизбежно уменьшается с увеличением масштаба этих действий. Относительно одних функций государства среди его граждан царит практическое единодушие; относительно других согласно между собой значительное большинство — и так далее, вплоть до сфер, где каждый отдельный человек, возможно, и хочет каких-то государственных мер, но каждый — разных.

Государство может полагаться на добровольное согласие граждан только до тех пор, пока его деятельность ограничивается сферой, в которой такое согласие существует. Но как только государство переходит к прямому контролю и принуждению в тех областях, где такого согласия нет, оно оказывается вынужденным подавлять свободу личности. К сожалению, мы не можем расширять сферу совместной деятельности до бесконечности, по-прежнему оставляя при этом за индивидуумом свободу в его личной сфере. Как только общественный сектор, в котором всем распоряжается государство, превысит определенную долю целого, это начнет сказываться на всей системе в целом. Несмотря на то, что под прямым контролем государства находятся не все имеющиеся ресурсы, а лишь значительная их часть, влияние государственных решений на прочие области экономики оказывается настолько серьезным, что косвенно государство начинает контролировать почти всю экономику. Там, где, как это было уже с 1928 года в Германии, центральные и местные власти непосредственно распоряжаются использованием более половины национального дохода (по тогдашним официальным оценкам, 53 процента), они тем самым косвенно регулируют почти всю экономику страны. В этом случае практически больше нет личных целей, осуществление которых не зависит от действий государства, и «общественная шкала ценностей», которой руководствуется государство, должна включать в себя практически все индивидуальные цели.

\* \* \*

Нетрудно увидеть, каковы будут последствия, если демократия перейдет к планированию, которое в процессе реализации потребует большего согласия, чем фактически существует. Люди согласились принять систему направляемой сверху экономики скорее всего потому, что их убедили, будто она принесет с собой необыкновенное процветание.

В дискуссиях, предшествующих принятию решения, конечная цель планирования будет называться «всеобщим благосостоянием», или каким-либо подобным термином, за которым скрывается отсутствие реальной договоренности о целях и задачах планирования. Фактически все будут согласны только в одном: для достижения этих целей нужно использовать механизм планирования. Однако этот механизм таков, что его можно использовать только для достижения какой-то *общей* цели, и как только исполнительная власть должна будет перейти к практической реализации требований единого плана и разработать какой-то *конкретный* план, сразу же возникает вопрос о том, к какой именно цели следует направить все усилия. И тогда-то выяснится, что согласие относительно желательности планирования не опирается на единодушие по поводу целей, которым должен служить план. А когда люди соглашаются с необходимостью централизованного планирования, но расходятся по поводу его целей, результат будет таким же, как в случае группы людей, вместе отправившихся в путешествие, но не решивших, куда именно ехать: в конце концов им всем, возможно, придется отправиться туда, куда большинство из них ехать вовсе не хочет. Одна из особенностей планируемой экономики, в наибольшей степени определяющая ее характер, заключается в том, что люди оказываются вынужденными приходить к соглашению по гораздо большему числу вопросов, чем обычно; а так как они не могут ограничить коллективные действия задачами, в отношении которых существует единодушие, то, чтобы вообще хоть что-то предпринять, оказываются перед необходимостью добиваться договоренности по всем пунктам.

Даже если единодушное волеизъявление народа состоит в том, чтобы парламент подготовил всеобъемлющий экономический план, это не означает, что сам народ или его представители сумеют прийти к единодушному мнению, что должен собой представлять любой *конкретный* план. Эта неспособность представительных органов выполнить как будто бы вполне ясный наказ избирателей неизбежно вызовет неудовлетворенность демократическими институтами. На парламенты уже начинают смотреть как на бесполезные говорильни, не способные или не правомочные справиться с задачами, для решения которых они избраны. Растет убежденность в том, что для эффективного планирования нужно «отобрать руководство у политиков» и отдать его в руки экспертов, назначаемых чиновников или самостоятельных и независимых органов.

Социалисты эту трудность ясно сознают. Уже полвека назад Уэббы жаловались на «возрастающую неспособность палаты общин справиться со своей работой». Сравнительно недавно эти же аргументы были подробно изложены профессором Ласки: «Всем известно, что нынешняя парламентская машина совершенно не годится для быстрого рассмотрения большого количества законопроектов. Это практически признает само правительство страны, проводя в жизнь мероприятия в области экономической и таможенной политики путем оптовой передачи законодательных полномочий, минуя этап подробного обсуждения в палате общин. Лейбористское правительство, как я полагаю, еще более расширит подобную практику. Оно ограничит деятельность палаты общин двумя функциями, которые та сможет осуществлять: рассмотрением жалоб и обсуждением общих принципов, на которых основываются соответствующие мероприятия. Выдвигаемые законопроекты примут вид общих юридических формул, наделяющих широкими полномочиями соответствующие министерства и правительственные органы, а полномочия эти будут осуществляться с помощью правительственных декретов, одобренных монархом и не требующих рассмотрения в парламенте, принятию которых палата сможет при желании противодействовать путем постановки на голосование вотума недоверия правительству. Необходимость и ценность передачи законодательных полномочий недавно была подтверждена Комитетом Дономора; и расширение этой практики неизбежно, если мы не хотим разрушить процесс социалистических преобразований в обществе обычными помахами и препонами, чинимыми существующей парламентской процедурой».

Чтобы еще яснее сказать, что социалистическое правительство не должно себя связывать по рукам и ногам демократической процедурой, в конце статьи профессор Ласки ставит вопрос: «Может ли лейбористское правительство в период перехода к социализму рисковать тем, что все начатые им мероприятия окажутся сведенными на нет в результате следующих всеобщих выборов?» — и многозначительно оставляет его без ответа.

\* \* \*

Попробуем понять причины этой признаваемой всеми сторонами неэффективности представительных органов, когда дело доходит до децентрализованного руководства экономической жизнью страны. Винаваты в этом не отдельные члены парламента и не парла-

ментские учреждения как таковые, а внутренние противоречия, присущие порученной им задаче. От них требуют не действий в тех областях, где они могут прийти к согласию, а достижения договоренности относительно всей системы руководства ресурсами страны в целом. Однако для такой задачи система принятия решения большинством не годится. Большинство голосов можно принимать решения тогда, когда выбор ограничен определенной альтернативой; но ниоткуда не следует, что должна существовать определенная точка зрения большинства по всем вопросам. Непонятно, почему должно иметься некое большинство, выступающее за какой-то один из возможных курсов конкретных действий, если имя им — легион. Каждый член законодательного органа, возможно, и предпочтет тот или иной конкретный план руководства экономической жизнью отсутствию всякого плана, однако для большинства отсутствие какого бы то ни было плана вообще может оказаться предпочтительнее любого из имеющихся вариантов.

С другой стороны, внутренне согласованный план не может быть получен в результате разбивания проекта на части и голосования по отдельным пунктам. Демократический законодательный орган, голосующий и принимающий поправки к единому общенациональному плану статья за статьей, как в случае обычного законодательства—это абсурд. Экономический план, заслуживающий этого названия, должен исходить из единой концепции. Даже если бы парламент смог, продвигаясь шаг за шагом, достичь соглашения относительно какой-то схемы, это в конечном счете никого бы не удовлетворило. Сложное целое, в котором все части должны быть тщательнейшим образом согласованы, недостижимо путем компромисса между противоположными точками зрения. Разработать таким образом экономический план невозможно — точно так же, как невозможно демократическим путем успешно спланировать военную кампанию. И в том, и в другом случае мы должны доверить эту задачу специалистам.

Однако разница состоит в том, что если перед генералом, ведущим кампанию, ставится одна-единственная цель, к достижению которой на протяжении всей кампании устремлены все находящиеся в его распоряжении ресурсы, то у экономиста-планировщика такой единой цели нет, и его ресурсы невозможно аналогичным образом ограничить. Генералу не приходится взаимоуравновешивать различные, не связанные друг с другом задачи: для него существует только одна высшая цель. Цели же и задачи экономического плана, или любой его части, нельзя установить вне зависимости от конкретного плана. Трудность тут в том, что для разработки экономического плана требуется делать выбор между взаимопротиворечащими или конкурирующими задачами, между различными потребностями различных людей. Однако какие именно цели являются взаимопротиворечащими, какими из них придется пожертвовать для достижения каких-то других — короче говоря, из чего придется выбирать — знать все это могут только те, кто знает все имеющиеся факты; и только они, эксперты, могут решить, какой из множества целей отдать предпочтение. Поэтому они неизбежно начнут навязывать обществу, для которого производится планирование, свою иерархию приоритетов.

Это не всегда ясно понимают; к тому же обычно передачу полномочий в руки специалистов оправдывают «чисто техническим» характером стоящей перед ними задачи. Однако это отнюдь не означает, что им поручается разработать только технические детали, или что причина всех трудностей — в неспособности членов парламента эти детали понять. Изменения, вносимые в структуру гражданского права, также носят «чисто технический» характер, и во всех их возможных последствиях столь же трудно разобраться до конца, однако никто еще всерьез не предлагал отдать законодательство в руки специально уполномоченной группы экспертов. Дело в том, что в этих областях законодательство не идет дальше общих правил, относительно которых может существовать реальное согласие большинства, тогда как в области руководства экономикой интересы, которые необходимо примирить, настолько сильно расходятся, что в демократических представительных органах достичь подлинного единодушия практически невозможно.

Надо, однако, признать, что главные возражения вызывает не сама по себе передача законодательных полномочий. Выступать против нее как таковой означает выступать против симптома, а не причины; а поскольку симптом может вызываться и другими причинами, это ослабило бы нашу систему доказательств. Пока в другие руки передается лишь власть устанавливать общие правила, могут существовать вполне веские основания, почему это лучше делать местным, а не центральным властям. Нельзя примириться с тем, что к подобной передаче слишком часто прибегают тогда, когда какой-то конкретный вопрос не подпадает под общие правила, и его решение в каждом частном случае предоставляется усмотрению соответствующих властей. Во всех этих случаях передача полно-

мочий означает, что какая-то инстанция облачается властью придавать силу закона тому, что по сути дела представляет собой произвольное решение (обычно называемое на юридическом жаргоне решением по существу спора).

Перепоручение определенных узко специальных задач особым органам — дело обычное, но тем не менее это первый шаг по пути постепенного отказа демократии от своих полномочий. Прием перепоручения не может эффективно устранить причин бессилия демократии, вызывающего такое раздражение всех сторонников планирования. Передача тех или иных частных полномочий отдельным органам создает новое препятствие к осуществлению единого согласованного плана. Даже если при помощи этой уловки в рамках демократической системы удастся осуществить планирование в каждом секторе экономики по отдельности, то все равно нам придется столкнуться с трудностью объединения этих отдельных планов в цельную картину. Множество отдельных планов не создает единого целого; оно, возможно, даже хуже, чем отсутствие всякого плана, что должны признать в первую очередь сами плановики. Но демократические законодательные органы еще долго будут колебаться, прежде чем откажутся от права принимать решения по жизненно важным вопросам, а пока они этого не сделают, никто не сможет разработать единого плана. Однако единодушная уверенность в необходимости плана в сочетании с неспособностью демократических институтов такой план выработать, будет порождать все более резкие требования уполномочить правительство или какую-нибудь отдельную личность действовать на свой страх и риск. Все шире распространяется убеждение в том, что, чтобы чего-то добиться, нужно освободить исполнительные органы от оков демократической парламентской процедуры.

Призыв к диктатуре в экономике — это характерная стадия движения к планированию, не чуждая также и Англии. Уже несколько лет назад один из наиболее проницательных исследователей Англии, ныне покойный французский историк Эли Галеви писал: «Если сделать комбинированную фотографию лорда Юстаса Перси, сэра Освальда Мосли и сэра Стаффорда Криппса<sup>3</sup>, то, как я полагаю, обнаружится одно общее для всех троих качество: окажется, что все они единодушно заявляют: „Мы живем среди экономического хаоса, и единственный выход из него — какой-то вид диктатуры“». С тех пор число влиятельных общественных деятелей, которых можно включить в этот «фотомонтаж», значительно возросло.

В Германии еще до прихода Гитлера к власти тенденция эта зашла гораздо дальше. Важно помнить, что в какой-то момент до 1933 года Германия достигла стадии, когда ей действительно стало необходимо диктаторское правление. Тогда не было никаких сомнений в том, что демократия переживает полный распад и что искренние демократы, например, Брюнинг, способны управлять демократическим путем не более, чем Шлейхер или фон Папен<sup>4</sup>. Гитлеру не пришлось уничтожить демократию: он просто воспользовался ее распадом и в критический момент получил поддержку множества людей, которые его ненавидели, но которым он представлялся единственной достаточно сильной личностью, способной остановить надвигающийся хаос.

\* \* \*

Доводы, с помощью которых сторонники планирования пытаются примирить нас с таким развитием событий, сводятся к тому, что пока решающее слово остается за

<sup>3</sup> Перси Юстас (1887—1958) — деятель консервативной партии, министр образования (1924—1931); был известен своими высказываниями, критикующими слабость традиционных парламентских институтов. Мосли Освальд (род. в 1896 году) — основатель Британского союза фашистов (1932). Криппс Стаффорд (1889—1952) — деятель лейбористской партии; активно проповедовал социалистические идеи.

<sup>4</sup> Брюнинг Генрих (1885—1970) — германский рейхсканцлер (1930—1932). Специальным декретом президента Гинденбурга ему были предоставлены чрезвычайные полномочия. Принятые Брюнингом экономические меры восстановили против него все крупнейшие партии в рейхстаге — как социал-демократов и коммунистов, так и националистов и нацистов. В мае 1932 года Брюнинг был вынужден уйти в отставку, уступив пост рейхсканцлера Ф. фон Папену. Фон Шлейхер Курт (1882—1934) — германский генерал, последний канцлер Веймарской республики. В течение последних лет существования Веймарской республики Шлейхер был одной из доминирующих фигур, противостоящих восхождению нацистов. В попытке удержать страну на краю пропасти Шлейхер сам стал рейхсканцлером в декабре 1932 года, но за его спиной фон Папен вступил в сговор с Гитлером и националистами, в результате чего Гинденбург в январе 1933 года предоставил Гитлеру право сформировать кабинет. После прихода нацистов к власти Шлейхер, которого Гитлер считал своим злейшим врагом, прожил лишь до 1934 года, когда был убит эсэсовцами во время так называемой «ночи длинных ножей». Фон Папен Франц (1879—1969) — германский рейхсканцлер (июнь—ноябрь 1932 года).



демократическими институтами, сама сущность системы демократического контроля не затрагивается. Так, Карл Маннгейм пишет: «Плановое общество отличается от общества девятнадцатого века только (*sic!*) в одном: в нем все больше и больше областей общественной жизни (а в конечном счете все и каждая из них) подвергаются контролю со стороны государства. Но если парламент своей верховной властью может сдерживать и контролировать вмешательство государства в нескольких областях, то он может сделать это и во многих... в демократическом государстве верховную власть можно безгранично усилить путем передачи полномочий, не отказываясь при этом от демократического контроля».

Здесь упущено из виду одно жизненно важное различие. Парламент может контролировать выполнение задач там, где можно дать четкие указания, где с самого начала существует единодушие относительно цели и перепоручается лишь разработка деталей. Совершенно иное положение возникает, когда перепоручение вызвано отсутствием подлинного единодушия относительно целей, когда органу, которому поручено планирование, приходится выбирать между целями, о противоречивости которых парламент даже не осведомлен, и когда самое Зольшее, что можно сделать — это представить ему на рассмотрение план, который нужно или целиком принять, или целиком отвергнуть. План этот, возможно, и даже почти наверняка, подвергнется критике; но поскольку нельзя будет найти большинства, согласного принять какой-то альтернативный план, а кроме того, вызывающие возражения элементы предлагаемого плана почти всегда можно представить как важнейшую и неотъемлемую часть целого, то эта критика не возымеет никакого действия. Обсуждение в парламенте, по всей видимости, сохранится в качестве полезного предохранительного клапана, и даже в большей мере — как удобный канал, по которому поступают официальные ответы на запросы и жалобы. Парламент, вероятно, даже сможет предотвратить кое-какие вопиющие злоупотребления и настоять на исправлении частных недостатков. Но он будет лишен возможности осуществлять руководство, и его роль сведется в лучшем случае к выбору лиц, облеченных практически неограниченной властью. Вся система будет тяготеть к плебисцитарной диктатуре, при которой глава правительства время от времени подкрепляет свою позицию всенародным голосованием, но располагает при этом полным набором средств, позволяющих направить голосование в нужное ему русло.

За демократию приходится платить ограничением возможности сознательного контроля теми областями, где существует подлинное единодушие; в остальных мы вынуждены предоставлять все воле случая. Но в обществе, функционирование которого обеспечивается с помощью централизованного планирования, этот контроль нельзя даже поставить в зависимость от того, найдется ли способное прийти к единому мнению большинство. Фактически зачастую необходимо будет навязывать народу волю некоторого меньшинства, ибо это меньшинство окажется наибольшей группой, способной достичь единодушия по обсуждаемому вопросу. Демократическая система правления успешно проявила себя в тех случаях и до тех пор, пока функции правительства, в соответствии с господствующими убеждениями, ограничивались областями, в которых большинство может достичь единодушия путем свободного обсуждения. Величайшее достоинство либерального мировоззрения заключалось именно в том, что оно позволяло свести весь ряд вопросов, по которым необходимо было достичь единодушия — к одному, в отношении которого в обществе свободных людей такое единодушие наверняка существует. Сейчас часто говорят, что демократия несовместима с «капитализмом». Если под «капитализмом» подразумевается конкурентная система, основанная на свободном распоряжении частной собственностью, то гораздо важнее понять, что только в рамках этой системы и возможна демократия. Господство коллективизма неизбежно приведет к ее самоуничтожению.

\* \* \*

Однако мы не собираемся превращать демократию в фетиш. Может быть, наше поколение слишком много говорит и думает о демократии и недостаточно — о ценностях, которым она служит. О демократии нельзя сказать, как лорд Актон — о свободе, что она «не средство достижения высших политических целей. Она сама по себе — высшая политическая цель. Она требуется не для хорошего управления государством, но в качестве гаранта, обеспечивающего нам право беспрепятственно стремиться к осуществлению высших идеалов общественной и частной жизни». Демократия по сути

своей — средство, утилитарное приспособление для защиты и поддержания социального мира и свободы личности. Как таковая, она вовсе не является ни непогрешимой, ни абсолютно надежной. Нельзя также забывать, что часто при авторитарном правлении бывает гораздо больше культурной и духовной свободы, чем при некоторых видах демократии — и теоретически допустимо, что при правлении очень однородного и доктринерского большинства демократия может оказаться не менее тиранической, чем худшая из диктатур. Мы стремимся доказать не то, что диктатура неминуемо ведет к уничтожению свободы, но что *планирование ведет к диктатуре*, ибо диктатура есть наиболее эффективное орудие насилия и принудительного насаждения обязательных для всех идеалов, без которого нельзя обойтись, если проводить в жизнь централизованное планирование в широких масштабах. Конфликт между демократией и планированием возникает из того простого факта, что демократия препятствует подавлению свободы, которого требует централизованное руководство экономической жизнью. Однако, как только демократия перестает быть гарантией личной свободы, она вполне может существовать в какой-то форме и при некоторых тоталитарных режимах. Когда подлинная «диктатура пролетариата», пусть даже демократическая по форме, берется осуществлять централизованное руководство экономической системой, она уничтожает свободу личности, по всей вероятности, не менее полно, чем любая из когда-либо существовавших авторитарий.

Модная ныне сосредоточенность на демократии как главной ценности, оказавшейся под угрозой, таит в себе определенную опасность. Именно этот близорукий подход в значительной степени повинен в весьма распространенном, но ошибочном и ни на чем не основанном убеждении, что пока источником власти в конечном счете является воля большинства, не может существовать произвола. Ложная самоуспокоенность, вытекающая из этого убеждения, и является одной из основных причин того, что люди, как правило, не осознают подлинной грозящей им опасности. Уверенность в том, что полученная в результате демократической процедуры власть не может порождать произвола, ничем не подкрепляется; подразумеваемое здесь противопоставление абсолютно неверно: от произвола власть сдерживает не ее источник, а ограничения. Демократический контроль может предотвратить перерождение власти в самовластие, но не самим фактом своего существования. Если демократия решается взяться за задачу, реализация которой по необходимости влечет за собой использование власти, не ограниченной никакими твердо установленными рамками, — она неизбежно превращается в деспотию.

## Глава 6

### ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРАВОЗАКОННОСТЬ

Как подтвердили недавние исследования по социологии права, фундаментальный принцип формального права, согласно которому каждый случай нужно рассматривать в соответствии с общими рациональными предписаниями, имеющими минимальное число исключений и позволяющими логически показать, что данный случай подпадает под данное правило, верен только для либеральной конкурентной стадии капитализма.

*К. Маннгейм.*

Условия жизни в свободной стране ярче всего отличаются от условий жизни при деспотизме соблюдением великих принципов, известных под общим названием правозаконности. Если не вдаваться в специальную терминологию, это означает, что во всех своих действиях правительство связано твердо установленными и заранее доведенными до всеобщего сведения правилами; а это позволяет человеку предугадывать, как власти в известных обстоятельствах используют аппарат принуждения, и исходя из этого с достаточной уверенностью планировать свои дела. Разумеется, этого идеала никогда нельзя достичь в полной мере, поскольку законодатели, как и лица, на которых возложено отправление правосудия — всего лишь люди, а человеку свойственно ошибаться. Но все же основное содержание принципа правозаконности достаточно ясно: речь идет о том, что сфера, где органы исполнительной власти могут действовать по своему усмотрению, должна быть возможно более ограниченной. Любой закон в какой-то мере ограничивает свободу индивидуума, ограничивая круг средств, ко-

торыми люди могут пользоваться для достижения своих целей; однако в условиях господства правозаконности правительство лишено возможности свести на нет результаты чьих-то индивидуальных усилий, действуя *ad hoc*<sup>5</sup>. В рамках установленных правил игры индивидуум может беспрепятственно преследовать свои личные цели и осуществлять свои желания, будучи уверен в том, что правительство не станет использовать свою власть, чтобы нарочно сорвать все его планы.

Таким образом, проведенное нами различие между созданием системы постоянно действующих правовых норм, внутри которых производительную деятельность управляют индивидуальные решения, и централизованным руководством экономикой сверху — это частный случай более широкого различия: различия между правозаконностью и деспотизмом. В первом случае роль правительства ограничивается установлением правил пользования имеющимися ресурсами; для каких целей будут использованы эти ресурсы — решают сами индивидуумы. Во втором — правительство решает, для каких конкретных целей использовать средства производства. Правила первого типа можно выработать заранее, в виде *формальных правил*, не имеющих в виду нужд и потребностей конкретных людей, предназначенных лишь способствовать преследованию ими всевозможных индивидуальных целей. Такие правила рассчитаны, или должны быть рассчитаны, на столь долгий срок, что невозможно знать, кому они помогут больше, а кому меньше. Их можно назвать скорее орудием производства, помогающим людям предсказывать поведение тех, с кем им придется работать, чем мерами по удовлетворению частных нужд.

Экономическое планирование коллективистского типа неизбежно влечет за собой прямую противоположность сказанного. Плановые органы не могут предоставить неизвестным людям возможности, которые можно использовать в каких угодно целях, и этим ограничиться. Они не могут заранее связать себя формальными правилами общего характера, помогающими избежать произвола. Они должны удовлетворять реальные нужды людей по мере их возникновения, а затем сознательно выбирать между этими нуждами. Им приходится постоянно решать вопросы, на которые формальные правила ответа не дают, причем для решения этих вопросов оказывается необходимым установить иерархию приоритетов среди множества нужд отдельных людей. Когда правительству приходится решать, какое в стране должно быть поголовье свиней, сколько автобусов предназначить на нужды общественного транспорта, какие шахты эксплуатировать или по какой цене продавать обувь, то все эти решения невозможно принять исходя из формальных принципов, заранее, или на длительный срок вперед. Они неизбежно зависят от обстоятельств, и при принятии такого рода решений всегда необходимо будет взаимно уравнивать интересы всевозможных лиц и группировок. В конечном счете решение в пользу тех или иных интересов будет зависеть от чьих-то личных взглядов, которые таким образом станут составной частью законов страны. Подобная привилегия приведет к появлению нового различия в статусе, навязанного народу правительственным аппаратом насилия.

\* \* \*

Только что упомянутое нами различие между формальным правом (или юстицией) и «постановлениями по существу дела» (то есть принимаемыми вне рамок процессуального права) чрезвычайно важно, но на практике провести это различие в высшей степени затруднительно. Между тем действующий здесь общий принцип довольно прост. Различие между двумя этими видами установлений такое же, как между разработкой определенного «дорожного права» (то есть свода правил дорожного движения) и распоряжениями, куда людям ехать; или, еще точнее, между установкой дорожных знаков и приказами, кому по какой дороге ехать. Формальные правила информируют заранее о том, как поступит государство в определенных обстоятельствах, причем обстоятельства эти охарактеризованы в общих чертах, без указания места, времени и конкретных лиц. В них описываются типичные ситуации, в которых может оказаться любой, и они могут пригодиться для самых разнообразных индивидуальных целей. Уверенность в том, что в таких ситуациях государство поступит именно таким, а не другим образом, или потребует от людей именно такого, а не другого поведения, помогает людям при выработке их собственных планов. Иначе говоря, формальные пра-

<sup>5</sup> Специально для данного случая (*ad hoc*).

вила — это просто орудия, которые могут пригодиться еще неизвестным людям для целей, в которых эти люди решат их использовать, и в обстоятельствах, которые невозможно предусмотреть в деталях. То, что мы не знаем, к каким конкретным результатам они приведут, каким конкретным целям послужат и каким конкретным людям помогут, то, что они просто сформулированы так, чтобы оказаться как можно полезнее для всех, кто под них подпадает — именно это и является основным признаком формальных правил (в том смысле, в каком здесь этот термин употребляется). Правила эти не предполагают выбора между конкретными целями или конкретными людьми, ибо мы просто не можем знать заранее, кем и для чего они будут применяться.

В наше время, с его страстью все контролировать, может показаться парадоксом похвала системе, при которой мы будем знать о конкретных последствиях принимаемых государством мер меньше, чем при любой другой, и утверждение превосходства данного метода общественного контроля на том основании, что нам неизвестны его точные результаты. И тем не менее именно это соображение лежит в основе великого либерального «принципа правозаконности»; и если немного развить наши аргументы, мнимый парадокс быстро перестанет быть парадоксом.

\* \* \*

Аргументы, к которым мы прибегнем, двоякого рода. Одни из них — экономические, и здесь их можно изложить лишь вкратце. Государству следует ограничиваться установлением правил, применимых к широкому многообразию ситуаций, и предоставлять индивидууму свободу во всем, что зависит от локальных обстоятельств, ибо только те, кого каждый случай непосредственно касается, знают эти обстоятельства и могут согласовать с ними свои действия. Чтобы люди могли эффективно применять это свое знание при разработке планов, у них должна быть возможность предсказать те шаги государства, которые могут как-то на эти планы повлиять. Но для этого необходимо, чтобы действия государства обуславливались жесткими правилами, не зависящими от конкретных, непредсказуемых и не поддающихся учету обстоятельств; при этом конкретные последствия его действий предугадать невозможно. Зато если государство примется руководить действиями индивидуума, чтобы достичь каких-то конкретных целей, именно действия государства будут зависеть от всевозможных сиюминутных обстоятельств, а потому окажутся непредсказуемыми. Отсюда знакомое всем явление: чем больше «планирует» государство, тем труднее становится планировать человеку.

Аргументы второго типа — морально-политические — касаются обсуждаемого вопроса еще более непосредственно. Государство, заранее знающее, на кого распространяются его мероприятия, не оставляет тем, кого они затрагивают, никакой возможности выбора. Всякий раз, когда оно точно предвидит, каковы будут последствия двух разных курсов действий для конкретных людей, оно тем самым делает выбор между различными целями. Если мы хотим создать новые, открытые для всех возможности, которые люди смогут использовать по своему усмотрению, то мы не можем в точности предсказать последствия наших действий. Поэтому нужны общие правила, подлинны законы (в отличие от конкретных распоряжений), действующие в обстоятельствах, которые нельзя предугадать в деталях и чье влияние на конкретные цели и конкретные людей не может поэтому быть известно заранее. В этом, и только в этом смысле законодатель может быть беспристрастным. Быть беспристрастным — значит не давать ответа на вопросы того типа, которые мы обычно решаем, подбрасывая монетку. В мире, где все было бы заранее предрешено — даже то, какой стороной упадет монетка, — правительство не могло бы пошевелить пальцем и остаться при этом беспристрастным. Но там, где известно, как результаты правительственной политики повлияют на определенных граждан, где эти результаты составляют непосредственную цель правительства — оно *обязано* быть пристрастным. Оно по необходимости *обязано* принимать чью-то сторону, навязывать народу свои оценки и критерии и, вместо того, чтобы способствовать осуществлению людьми своих собственных целей, оно *обязано* выбирать цели за них. Как только в момент принятия закона можно предвидеть его конкретные последствия, закон этот перестает быть орудием для человеческого пользования и превращается в орудие воли законодателя, обращенное против людей в его, законодателя, целях. Государство перестает быть утилитарным механизмом, помогающим индивидууму как можно полнее раскрыть свою индивидуальность, и превращается в «моральный институт» — причем слово «моральный» здесь употреблено

не как противоположность аморальному, а для обозначения социального института, навязывающего своим членам собственные взгляды по всем вопросам морали (неважно, высоконравственные или глубоко аморальные). В этом смысле нацистское или любое другое коллективистское государство «морально», тогда как либеральное государство — нет.

Нам могут сказать, что все это не составляет серьезной проблемы, ибо, учитывая, какие вопросы придется решать экономисту-плановику, он сможет опираться на общепринятые суждения о разумном и справедливом, и ему вовсе не придется руководствоваться своими личными предвзятыми мнениями. Такова обычно точка зрения тех, кто, занимаясь планированием в какой-то отдельной области, обнаружил, что прийти к справедливому с точки зрения всех непосредственно заинтересованных лиц решению не составляет особой трудности. Однако это ничего не доказывает, по той причине, что планирование, ограниченное какой-то конкретной областью, предполагает предварительную «селекцию по интересам» лиц, участвующих в принятии решения. Люди, кровно заинтересованные в решении конкретного вопроса, не всегда оказываются лучшими судьями интересов общества в целом. Достаточно привести лишь наиболее характерный пример: когда представители труда и капитала в какой-то отрасли промышленности договариваются о политике ограничений, грабя таким образом потребителя, «добычу» обычно нетрудно поделить пропорционально текущим заработкам или по иному аналогичному принципу. Потери, которые распределяются между тысячами и миллионами, обычно либо просто не принимаются в расчет, либо учитываются неадекватно. Чтобы проверить полезность «принципа справедливости» в решении проблем, встающих в связи с экономическим планированием, достаточно приложить этот принцип к какому-то вопросу, где одинаково четко видны плюсы и минусы. Легко увидеть, что в таких случаях никакой общий принцип, вроде «принципа справедливости», не может подсказать ответа. Когда приходится выбирать между повышением зарплаты врачам и медсестрам, с одной стороны, и дополнительными услугами для больных, или между работой для безработных и повышением зарплаты работающим, ответ может дать лишь полная и завершенная система ценностей, в которой отводится четкое место каждой потребности каждого отдельного лица или группы лиц.

На практике с расширением планирования становится необходимо систематически и все более часто вносить в положения закона оговорки, со ссылками на «справедливость» или «разумность», то есть фактически все в большей степени оставлять решение конкретных дел на усмотрение соответствующего судьи или органа власти. Можно было бы написать историю упадка правозаконности, исчезновения правового государства (Rechtsstaat), описывая исключительно процесс постепенного просачивания этих расплывчатых формулировок в законодательство и юриспруденцию, растущий произвол, ненадежность и изменчивость законодательства и судопроизводства, а отсюда и растущее неуважение к ним, которое в этих обстоятельствах неизбежно становится политическим орудием. В этой связи важно еще раз отметить, что этот процесс упадка законности неуклонно шел в Германии еще до прихода Гитлера к власти и что правительственная политика, весьма продвинувшаяся по пути к тотальному планированию, начала многое из того, что было довершено Гитлером.

Не подлежит сомнению, что планирование влечет за собой сознательную дискриминацию по отношению к нуждам разных людей, выражающуюся на практике в том, что одному человеку разрешается делать то, что другому запрещено. Планирование законодательным путем устанавливает, насколько материально обеспечены будут те или иные люди, что им позволено делать и что иметь. Практически это означает возврат к системе, где определяющую роль играл социальный статус, поворот вспять того поступательного движения, о котором говорится в знаменитой фразе Генри Мэйна: «Развитие передовых обществ до настоящего времени всегда шло от господства статуса к господству договора». Действительно, с этой точки зрения государство, построенное на правозаконности, с еще большим правом можно рассматривать как подлинную противоположность государству, где все права и обязанности определялись социальным статусом, чем государству, ставящее во главу угла договорные отношения. Именно правовое государство, где верховным авторитетом является формальное право и отсутствуют юридические привилегии для отдельных, назначенных властью лиц, гарантирует равенство перед законом, представляющее собой противоположность деспотическому правлению.

\* \* \*

Из всего сказанного вытекает необходимое, хотя на первый взгляд и парадоксальное, следствие: формальное равенство перед законом несовместимо с какими бы то ни было действиями правительства, направленными на достижение материального или материально-правового равенства между различными людьми; более того, любой политический курс, ставящий своей целью добиться идеально справедливого распределения, неизбежно ведет к уничтожению правозаконности. Чтобы получить один и тот же результат для разных людей, нужно обходиться с ними по-разному. Дать людям одинаковые объективные возможности — не значит дать им одинаковые субъективные шансы. Нельзя отрицать, что правовое государство порождает экономическое неравенство; единственное, что можно сказать в его защиту — что неравенство это не задумано так, чтобы затрагивать тех или иных конкретных людей заранее известным образом. Весьма показательны, что социалисты (как и нацисты) всегда протестовали против «чисто формального» правосудия, что они всегда возражали против законодательства, не предусматривающего, каков должен быть уровень материального благосостояния частных лиц, и всегда требовали «социализации права», нападая на принцип независимости судей, и в то же время поддерживали все те направления в правоведении, которые, подобно *Freirechtsschule*<sup>6</sup>, подрывали основы принципа правозаконности.

Можно даже сказать, что для эффективности принципа правозаконности сам факт наличия правила, применяемого всегда, без исключений, важнее того, в чем это правило состоит. Часто суть правила не имеет особого значения, лишь бы оно проводилось в жизнь всегда и для всех. Вернемся к уже приводившемуся примеру: не важно, по какой стороне улицы мы все ездим — по левой или по правой, главное — чтобы мы все поступали одинаково. Правило позволяет нам правильно предсказывать поведение других, а для этого необходимо, чтобы оно применялось всегда — пусть даже в каком-то конкретном случае оно может показаться несправедливым.

Противоречие между формальным правосудием и формальным равенством перед законом, с одной стороны, и попытками реально осуществить различные идеалы справедливости и равенства с помощью решений «по существу дела» — с другой, объясняется общераспространенная путаница, связанная с термином «привилегия», и постоянное злоупотребление им. Как важнейший пример такого злоупотребления назовем лишь применение этого термина к собственности как таковой. Собственность действительно была бы привилегией, если бы земельная собственность, например, была, как в прошлом, достоянием исключительно тех, кто принадлежал к дворянскому сословию. И она действительно является привилегией, если право производить или продавать те или иные продукты оказывается, как в наше время, исключительно достоянием конкретных, назначенных властями людей. Но называть привилегией частную собственность вообще, которую любой может приобрести по установленным правилам, только из-за того, что приобрести ее могут не все, значит лишить термин «привилегия» всякого смысла.

Непредсказуемость конкретных результатов, являющаяся главной отличительной чертой формальных законов либерального строя, важна также тем, что помогает прояснить и другую путаницу, опровергнув убеждение, что либеральный строй характеризуется бездеятельностью государства. Вопрос о том, должно ли государство «действовать», или «вмешиваться», ставит нас перед совершенно ложной альтернативой, а сам термин *laissez-faire* — весьма двусмысленное и вводящее в заблуждение определение принципов либеральной политики. Разумеется, любое государство должно действовать, и каждое его действие есть вмешательство во что-то. Но вопрос не в этом, а в том, может ли индивидуум предвидеть действия государства и учитывать их при формировании собственных планов. Если да, то государство не может контролировать путей применения своего аппарата, зато индивидуум точно знает, гарантирована ли ему защита от постороннего вмешательства и может ли государство сорвать его планы. Государство, контролирующее систему мер и весов (или любым другим образом предотвращающее обман и мошенничество), безусловно, действует, тогда как госу-

<sup>6</sup> «Школа свободного права» (нем.) — направление в немецкой правовой мысли после первой мировой войны, стремившееся освободить право от необходимости опираться на отвлеченное формальное мышление, по представлениям сторонников этого направления, судья должен в каждом конкретном случае принимать решение, руководствуясь соображениями «насущной потребности» и «целесообразности», а не буквой закона. (Прим. ред.)

дарство, допускающее применение насилия, например, забастовочными пикетами, бездействует. Однако не во втором, а именно в первом случае государство соблюдает либеральные принципы. Сказанное относится и к большинству общих, постоянно действующих правил, устанавливаемых государством, таких, как строительные нормы или заводские правила техники безопасности: в каждом отдельном случае они могут быть разумными или неразумными, но пока они рассчитаны на постоянное действие и не употребляются ни на пользу, ни во вред отдельным людям, они не противоречат либеральным принципам. Конечно, и они, кроме непредсказуемых долгосрочных результатов, повлекут за собой также непосредственные и вполне поддающиеся прогнозированию последствия для отдельных людей; но при этом типе законов непосредственные результаты не ставятся (или во всяком случае не должны ставиться) во главу угла. Но когда эти непосредственные и предсказуемые результаты становятся важнее долгосрочных, мы приближаемся к демаркационной линии, где различие это, как бы ясным оно ни было в теории, на практике начинает стираться.

\* \* \*

Концепция правозаконности была сознательно развита лишь в либеральную эпоху и является одним из величайших ее достижений, не только как гарантия свободы, но и как юридическое ее воплощение. По словам Иммануила Канта (а до него это почти теми же словами выразил Вольтер), «человек свободен, когда обязан повиноваться не людям, а одним лишь законам». Однако в качестве туманного идеала она существует по крайней мере со времен Древнего Рима, и за последние несколько столетий никогда еще не находилась под такой серьезной угрозой, как ныне. Представление о том, что власть законодателя безгранична, — в определенной степени результат верховной власти народа и демократического правления. Это мнение еще больше укрепилось благодаря вере в то, что правозаконность не нарушается, пока все действия государства должным образом санкционируются законодательством. Однако такое понимание принципа правозаконности совершенно неверно. Этот принцип не имеет ничего общего с вопросом, являются ли действия правительства законными в юридическом смысле этого слова. Они вполне могут быть таковыми и тем не менее не соответствовать принципу правозаконности. Тот факт, что кто-то обладает всеми юридическими полномочиями поступать так, как он поступает, не дает ответа на вопрос, предоставляет ли ему закон право чинить произвол, или же недвусмысленно *предписывает*, как именно он должен поступать. Пусть Гитлер получил неограниченную власть строго конституционным путем, и, следовательно, все, что он делает, в юридическом смысле законно. Но кто осмелится на этом основании утверждать, что в Германии по-прежнему царит правозаконность?

Таким образом, говоря, что в планируемом обществе принцип правозаконности не сохранится, мы не имеем в виду ни что действия правительства в нем будут незаконными, ни что само оно непременно будет незаконным. Это означает только, что применение правительственного аппарата насилия в нем больше не будет ограничено и обусловлено заранее установленными правилами. Для осуществления централизованного руководства экономикой можно, и даже необходимо, юридически узаконить то, что фактически остается произволом. Если закон гласит, что такое-то министерство или комитет могут делать что им заблагорассудится, то все, предпринимаемое этим министерством или комитетом, законно — но при этом действия его, безусловно, не соответствуют принципу правозаконности. Предоставив правительству неограниченную власть, можно юридически узаконить любое, самое произвольное установление, и потому демократия может в результате породить самый законченный деспотизм, который только можно себе представить.

Однако если закон обеспечивает властям возможность осуществлять руководство экономической жизнью, то он должен предоставить им полномочия принимать решения и проводить их в жизнь в обстоятельствах, которые нельзя предсказать, и исходя из принципов, не поддающихся формулированию в общем виде. Вследствие этого, по мере расширения масштабов планирования постоянно расширяется практика передачи законодательных полномочий различным министерствам и другим исполнительным органам. Когда перед прошлой войной, разбирая дело, к которому недавно привлек внимание покойный лорд Хьюарт, судья Дарлинг заявил, что «согласно прошлогоднему постановлению парламента высшие должностные лица министерства сельского хозяйства не могут быть привлечены к ответственности за рассматриваемые

здесь действия — во всяком случае не более, чем члены самого парламента», заявление это тогда еще звучало непривычно. Теперь же подобная практика превратилась в почти повседневное явление. Широчайшие полномочия непрерывно предоставляются все новым и новым исполнительным органам, которые, не будучи связаны жесткими правилами, регулируют различные отрасли человеческой деятельности по своему усмотрению.

Итак, правозаконность подразумевает ограничение подлежащей законодательству сферы общими правилами, свод которых известен под именем формального права; тем самым она исключает законодательство, либо прямо направленное в адрес конкретных людей, либо позволяющее кому-то использовать для такого рода дискриминации государственный аппарат принуждения. Таким образом, вовсе не все регулируется законом, скорее наоборот: государственный аппарат принуждения пускается в ход только в случаях, заранее оговоренных законом, причем так, что способы его применения можно заранее предвидеть. Следовательно, могут существовать законодательные акты, нарушающие принцип правозаконности. Всякий, кто возьмется это отрицать, утверждает тем самым, что вопрос о господстве правозаконности в сегодняшней Германии, Италии или России определяется тем, достигли ли тамошние диктаторы абсолютной власти конституционным путем.

\* \* \*

Не важно, как выражены основные принципы правозаконности: изложены ли они, как в некоторых странах, в виде Билля о правах или Конституции, или же просто являются твердой и непреложной традицией. Однако легко видеть, что такое признание ограниченности законодательных полномочий, какую бы форму оно ни принимало, уже подразумевает признание неотчуждаемых прав личности, нерушимых прав человека.

Трогательным, но показательным примером тупика, в который завела многих наших интеллектуалов вера в несовместимые идеалы, является пылкая защита прав человека таким ведущим пропагандистом тотального централизованного планирования, как Герберт Уэллс. Права личности, которые г-н Уэллс надеется сохранить в неприкосновенности, неизбежно окажутся препятствием на пути к планированию, о котором он так мечтает. Он как будто и сам в какой-то мере осознает эту дилемму: не случайно положения созданной им «Декларации прав человека» настолько испещрены оговорками, что теряют всякий смысл. Например, в ней заявляется, что каждый человек «имеет право покупать и продавать без всяких дискриминационных ограничений все, что можно покупать и продавать согласно закону». Казалось бы, превосходно; однако он тут же зачеркивает это положение, добавляя, что оно применимо к купле и продаже только «в том количестве и с теми оговорками, которых требует общее благо». А поскольку любые налагающиеся на куплю и продажу ограничения всегда необходимы в интересах «общего блага», положение это не может гарантировать никаких прав личности. В другом положении «Декларации» заявляется, что каждый человек «может выбирать любую законную профессию» и «имеет право на оплаченный труд и на свободный выбор любой открытой перед ним возможности работы». Однако здесь не сказано, кто будет решать, «открыта» ли та или иная возможность работы перед тем или иным человеком; дополнительное же условие, согласно которому «человек может предложить свою кандидатуру для определенной должности и имеет право на то, чтобы его заявление было публично рассмотрено, принято или отклонено», показывает, что г-н Уэллс мыслит в категориях некоего авторитетного органа, который решает, «имеет ли право» человек на ту или иную должность, что, без сомнения, прямо противоположно свободному выбору профессии. Что же касается того, как обеспечить в планируемом мире «свободу путешествий и передвижений», когда контролируются не только средства сообщения и валютный обмен, но и размещение промышленных предприятий, или как сохранить свободу печати, когда бумагоснабжение и все каналы распространения печатных изданий контролируются плановыми органами — то все эти вопросы г-н Уэллс, как и прочие сторонники планирования, оставляет без ответа.

В этом отношении гораздо последовательнее те многочисленные сторонники реформ, которые с первых дней социалистического движения нападают на «метафизическую» идею прав личности, утверждая, что в разумно устроенном мире у личности прав не будет, а будут только обязанности. Эта позиция широко распространена те-



перь среди наших так называемых прогрессистов, и ничем скорее не вызовешь упрека в реакционности, чем протестом против какой-либо меры на основании того, что она нарушает права личности. Даже такой либеральный журнал, как «Экономист», несколько лет назад приводил в пример — кого бы, вы думали? французов! — ибо те на собственном опыте поняли, «что демократическое правительство должно всегда (*sic!*) иметь полномочия *in posse*<sup>7</sup> не меньше диктаторских, не жертвуя при этом своим демократическим и предостательным характером. В административных вопросах не существует никакой демаркационной полосы, ограничивающей права личности, неприкосновенность которой правительство было бы обязано соблюдать всегда и независимо от любых обстоятельств. Нет пределов власти, которой может и должно обладать правительство, свободно избранное народом и свободно и открыто критикуемое оппозицией».

Такое может оказаться неизбежным в военное время, когда приходится ограничивать даже свободную и открытую критику. Но слово «всегда» в процитированном утверждении говорит о том, что «Экономист» считает это не просто печальной необходимостью военного времени. Однако в качестве постоянно действующего принципа такое положение, безусловно, несовместимо с сохранением правозаконности и ведет прямо к тоталитарному государству. А ведь именно так считают все, кто хочет, чтобы правительство руководило экономикой.

Опыт самых разных стран Центральной и Восточной Европы ярко показал, что даже формальное признание прав личности, как и прав национальных меньшинств, теряет смысл в государстве, вступающем на путь полного контроля над экономикой. На их примере видно, что можно проводить политику безжалостной дискриминации национальных меньшинств, используя вполне легальные экономические методы и ни разу не нарушив буквы закона, охраняющего права этих меньшинств. Угнетение при помощи определенной экономической политики сильно облегчалось тем, что определенные отрасли промышленности и виды деятельности были в большой степени сосредоточены в руках национального меньшинства, поэтому многие меры, направленные якобы против той или иной отрасли промышленности или класса общества, на деле были направлены против этого меньшинства. Тем самым почти безграничные возможности дискриминации и угнетения, предоставляемые такими, на первый взгляд, невинными принципами как «правительственный контроль развития промышленности», были полностью продемонстрированы всем, кто желал увидеть, как выглядят на практике политические последствия планирования.

## Глава 7

### ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ТОТАЛИТАРИЗМ

Контроль производства материальных благ есть контроль всей человеческой жизни.

Хилэр Беллок.

Те сторонники планирования, которые серьезно изучили практические аспекты стоящей перед ними задачи, в большинстве своем пришли к убеждению, что руководство планируемой экономикой должно осуществляться более или менее диктаторским путем. Если вообще можно направленно руководить сложной совокупностью взаимосвязанных видов деятельности, то это должен делать единый коллектив экспертов, а верховная власть должна находиться в руках главнокомандующего. Все это настолько очевидно вытекает из основных принципов централизованного планирования, что встречается с полным пониманием. В утешение нам говорится, что такое авторитарное руководство будет распространяться «только» на экономику. Например, один из виднейших американских сторонников планирования Стюарт Чейз уверяет, что в плановом обществе «политическая демократия сможет по-прежнему существовать, если будет распространяться на все, кроме экономики». Такого рода заверения обычно сопровождаются намеками на то, что отказ от свободы в менее важных, или считающихся таковыми, областях жизни даст нам большую свободу в сфере высших устремлений. На этом основании люди, питающие отвращение к самой идее политической диктатуры, зачастую во всеулышание требуют диктатора в области экономики.

<sup>7</sup> В возможности, в потенции (*лат.*).

Вышеприведенные аргументы вызывают к нашим лучшим побуждениям и, случается, привлекают на свою сторону самые блестящие умы. Если бы планирование действительно освобождало нас от мелких забот, разделяя таким образом нашу жизнь на повседневный быт и высокие устремления, кто бы выступал против этого идеала? Если бы наша экономическая деятельность действительно затрагивала лишь низкие, даже грязные стороны жизни, то мы, конечно, должны были бы пойти на все, чтобы избавиться от чрезмерной поглощенности материальными заботами, передоверить их какому-нибудь специальному органу и высвободить свой дух для высоких материй.

К сожалению, вера в то, что власть над экономикой — вещь второстепенная, вера, позволяющая людям легко смотреть на угрозу свободе наших экономических начинаний, совершенно необоснованна. Она вытекает из ошибочного представления, согласно которому имеются некие чисто экономические задачи, существующие отдельно от других жизненных задач. Однако, за исключением случаев патологической скупости и стяжательства, такого не бывает. Конечные цели деятельности разумных существ никогда не бывают экономическими. Строго говоря, не существует «экономических мотивов»: существуют лишь экономические факторы, обуславливающие наши возможности в достижении иных целей. То, что в быту носит обманчивое название экономических мотивов, это просто стремление приобрести самые широкие возможности, желание обладать средствами для достижения каких-то заранее не установленных целей. Мы хотим иметь деньги и потому, что они обеспечивают нам широчайший выбор при пользовании плодами наших трудов. Поскольку в современном обществе все еще налагаемые на нас относительной бедностью узлы острее всего ощущаются именно через ограниченность дохода, многие возненавидели деньги как символ этих уз. Но они принимают за причину способ проявления определенных сил. Гораздо правильнее было бы сказать, что деньги — одно из величайших орудий обретения свободы, придуманных человеком. В существующем обществе именно деньги открывают перед бедняком гораздо большие возможности выбора, чем несколько поколений назад открывались перед богачом. Понять важность этой функции денег легче, представив себе, что произойдет, если, как предлагают многие социалисты, заменить «материальные мотивы» «внеэкономическими стимулами». Если вознаграждение будет предлагаться не в деньгах, а в общественных отличиях и привилегиях, в виде должностей, дающих власть над другими, лучших жилищных условий и лучшего питания, возможности путешествовать или получить хорошее образование, то это будет означать, что получателю просто больше не предоставляется выбора и что не только размеры вознаграждения, но и конкретная его форма устанавливается теми, кто его выдает.

\* \* \*

Как только мы осознаем, что чисто экономических мотивов не существует, и что доход и убыток — это всего лишь приобретение или потеря каких-то возможностей (до тех пор, пока в нашей власти самим решать, на осуществлении каких наших потребностей или желаний они отразятся), мы сразу увидим большую долю истины в общепринятом мнении, что экономические вопросы затрагивают лишь второстепенные жизненные задачи, и поймем, почему «чисто» экономические соображения часто вызывают такое презрение. В условиях свободной рыночной экономики это мнение в каком-то смысле оправдано — но только в этих условиях. Пока мы можем свободно распоряжаться своими доходами и имуществом, экономический ущерб лишает нас только одного: возможности удовлетворить наименее важные из наших желаний. При «чисто» экономическом ущербе мы по крайней мере можем сделать так, чтобы он отразился лишь на второстепенных наших нуждах; говоря же, что ценность чего-то нами потерянного гораздо выше его экономической ценности или что ее вообще нельзя оценить экономически, мы хотим сказать, что этот ущерб нельзя перевести из одной сферы в другую. Точно так же обстоит дело и с чисто экономическим выигрышем. Колебания нашей экономической ситуации обычно влияют только на периферию сферы наших потребностей. Есть вещи, которые гораздо важнее всего того, на чем сказываются экономические приобретения или убытки, и мы ставим их выше жизненного комфорта и даже многих предметов первой необходимости. В сравнении с этими ценностями «презренный металл», или вопрос о повышении или понижении уровня нашего материального благосостояния, представляется маловажным. Поэтому многие считают, что экономическое планирование, затрагивающее лишь наши экономические интересы, не может серьезно угрожать жизненным ценностям.

Однако такое заключение ошибочно. Экономические ценности второстепенны именно потому, что мы свободны решать, что для нас более важно, а что менее. Дру-

гими словами, в современном обществе мы сами решаем свои экономические проблемы. Контроль наших экономических дел фактически означает контроль каждого нашего шага, если только мы не объявим заранее, какую именно цель преследуем. Но мало объявить о своей цели — нужно еще, чтобы она получила соответствующую санкцию вышестоящих органов. Таким образом, нас действительно будут контролировать во всем.

Поэтому вопрос, встающий в связи с экономическим планированием, заключается не в том, сможем ли мы удовлетворять более или менее важные для нас потребности так, как нам заблагорассудится. Вопрос в том, кто будет решать, что более важно, а что менее: мы или плановые органы. Экономическое планирование будет затрагивать не только второстепенные нужды, презрительно именуемые чисто экономическими: у нас как личностей будет отнято право самим решать, что считать второстепенным, а что нет.

Органы власти, управляющие всей экономической жизнью, будут контролировать не только «прозаические» стороны жизни; они будут вести распределением лимитированных средств достижения всех наших целей. Органы, контролирующие всю экономическую деятельность, контролируют тем самым и средства достижения всех целей, а потому именно им надлежит решать, какие из этих целей преследовать, а какие — нет. В этом-то и заключается вся суть проблемы. Экономический контроль — это не просто контроль одной из областей человеческой жизни, никак не связанной с остальными: это контроль над средствами достижения всех наших целей. Но ведь тот, в чьих руках сосредоточена власть над средствами, должен решать, каким целям служить, какие ценности выше, а какие ниже — словом, во что верить и к чему стремиться. Централизованное планирование означает, что экономические вопросы будут решаться не индивидуумом, а обществом; но тогда именно общество, или, вернее, его представители, должны устанавливать иерархию важности тех или иных нужд.

Так называемая экономическая свобода, которую нам сулят сторонники планирования, именно и означает, что нас освободят от необходимости самим решать экономические задачи, и что зачастую связанный с этим нелегкий выбор будет делаться за нас. Поскольку в современных условиях мы почти во всем зависим от средств, которыми нас обеспечивают другие люди, экономическое планирование означает руководство практически всей нашей жизнью. Едва ли хоть один ее аспект, от первоочередных нужд до семейных и дружеских отношений, от характера работы до проведения досуга, не подвернется «направленному контролю»<sup>8</sup> плановых органов.

\* \* \*

Если планирующие органы по какой-то причине откажутся от использования прямого контроля над потреблением, их власть над нашей частной жизнью не станет от этого меньше. Вероятно, в планируемом обществе и будет в какой-то степени применяться нормирование продуктов и товаров или иные подобные механизмы, но власть планирующих органов над нашей жизнью основана не на этом, и ее эффективность не уменьшится, если потребителю будет предоставлено номинальное право тратить свои доходы по своему усмотрению. Подлинным источником власти правящих органов над потребителем в плановом обществе будет контроль производства.

Свобода выбора в конкурентном обществе зиждется на том, что если одно лицо отказывается удовлетворить наши желания, мы можем обратиться к другому. При столкновении же с монополистом мы оказываемся в его власти. А ведь органы, руководящие всей экономикой, будут самым могущественным монополистом, которого только можно себе представить. По всей вероятности, мы можем не опасаться того, что они будут использовать свою власть точно таким же образом, как частный монополист, поскольку вряд ли в их цели будет входить извлечение максимальной прибыли с помощью введе-

<sup>8</sup> Какого контроля над всеми областями жизни позволяет достичь контроль, осуществляемый только в экономической сфере, ярче всего можно показать на примере операций с иностранной валютой. На первый взгляд может показаться, что государственный контроль валютных операций никак не затрагивает частную жизнь, и большинство людей отнесется к сообщению о его введении с полным безразличием. Однако опыт многих европейских стран научил мыслящих людей видеть в этом мероприятии решающий шаг на пути к тоталитаризму и подавлению свободы личности. Фактически эта мера означает окончательное отдавание человека во власть государственной тираннии, полное пресечение всех возможностей освобождения — причем не только для богатых, но для всех и каждого. Как только человека лишают возможности путешествовать или покупать иностранные книги и журналы, как только все средства контакта с иностранней или иностранцами начинают ограничиваться лишь теми, которые официальные органы одобряют или считают необходимыми, — общественное мнение оказывается под гораздо более жестким контролем, чем при любом абсолютистском правлении семнадцатого и восемнадцатого веков.

ния грабительских цен; и все же только от них будет целиком зависеть, что мы получим и на каких условиях. Они будут не только решать, какие товары и услуги будут нам доступны, и в каких количествах, но и руководить их распределением среди различных регионов и групп населения, осуществляя при желании дискриминацию в любых масштабах. Если вспомнить, почему большинство людей высказывается за планирование, можно ли усомниться, что эту власть обратят на достижение целей, одобряемых руководящими органами, и запрет целей, ими не одобряемых?

Власть, даваемая контролем над производством и ценами, почти безгранична. В конкурентном обществе цена, которую приходится платить за товар, то есть обменный курс, по которому можно получить одну вещь в обмен на другую, зависит от множества других товаров, приобретя один из которых, мы отнимем его у других членов общества. Цена эта не обусловлена ничьей сознательной волей; к тому же, если один способ достижения цели окажется слишком дорогостоящим, ничто не мешает нам попробовать другие. Препятствия у нас на пути вызваны не чьим-то неодобрением наших целей, а тем, что те же средства требуются кому-то другому. В управляемой сверху экономике, где цели контролируются правительством, это последнее, несомненно, будет своей властью способствовать реализации одних целей и мешать осуществлению других. Не наше собственное, а чье-то чужое мнение будет определять, что для нас желательно, а что нет, а в конечном итоге и то, что мы получим. А поскольку во власти руководящих органов будет пресечь любые попытки уклониться от выполнения их директив, они будут регулировать потребление не менее эффективно, чем прямо указывая, как нам тратить свои доходы.

\* \* \*

И все же мы окажемся под властью правящих органов, организующих и «направляющих» нашу повседневную жизнь, не только, и даже не столько, в качестве потребителей. Еще большее давление будет оказываться на нас как на производителей. Два эти аспекта нашей жизни неотделимы друг от друга; а если учесть, что большинство из нас проводит на работе большую часть жизни и именно работа обычно определяет, где и среди каких людей мы живем, то ясно, что свобода в выборе работы, возможно, еще важнее для нашего благополучия, чем свобода тратить в часы досуга то, что мы заработали.

Несомненно, даже в лучшем из миров свобода выбора занятия, приносящего доход, будет весьма ограниченной. Лишь немногие располагают в этом отношении обширными возможностями. Но важно то, что какой-то выбор у нас есть, что мы не привязаны намертво к определенной работе, выбранной нами или за нас; что если одно место станет совершенно невыносимым или если мы всем сердцем стремимся перейти на другое, это почти всегда можно осуществить, чем-то пожертвовав. Нет ничего ужасней сознания, что никакие твои усилия не могут ничего изменить; и если даже у нас никогда не хватит духу принести требуемую жертву, уже само сознание того, что мы могли бы это сделать, если бы очень захотели, позволяет примириться с ситуациями, которые иначе были бы совершенно невыносимыми.

Я не хочу этим сказать, что в этом отношении все идеально сейчас или было идеально в самом что ни на есть либеральном прошлом, и что нельзя расширить открытые перед людьми возможности выбора. Здесь, как и в других областях жизни, государство может многое сделать — например, обеспечивая распространение информации или помогая людям при смене места жительства. Но действительно расширить человеческие возможности могут лишь государственные меры, прямо противоположные столь пропагандируемому ныне «планированию». Правда, его сторонники обещают, что в «новом плановом мире» свободный выбор занятия полностью сохранится, а то и расширится. Но они обещают больше, чем сумеют выполнить. Тот, кто берется за планирование, должен регулировать либо количество людей, выбирающих ту или иную профессию, либо условия оплаты их труда, либо и то, и другое. Почти во всех известных случаях планирования одним из первых шагов было введение подобного рода предписаний и ограничений. Не нужно слишком богатого воображения, чтобы представить себе, во что превратится обещанная «свобода выбора занятия» в условиях надзора единого планового органа. Эта «свобода выбора» станет чистой фикцией и сведется к пустому обещанию не проводить дискриминации там, где она органически присуща самой системе. Единственное, на что еще можно будет надеяться — что хоть отбор кандидатов будет проводиться в соответствии с какими-то твердо установленными критериями (которые сами власти считают «объективными»),

Если плановые органы ограничатся выработкой твердых условий труда и заработной платы и будут регулировать численность работников путем изменения этих условий, результат будет практически тот же. Определенная, предписанная правительством заработная плата преградит целым группам людей доступ ко многим профессиям не менее эффективно, чем фактический запрет. В конкурентном обществе некрасивая девушка, страстно мечтающая стать продавщицей, физически слабый юноша, стремящийся получить работу, на которой его слабость является препятствием, как и вообще люди, на первый взгляд менее способные или менее подходящие, не обязательно исключаются; если они достаточно высоко ценят какую-то должность, то зачастую могут сделать первые шаги, чем-то пожертвовав в финансовом отношении, а позднее — продвинуться благодаря не бросающимся в глаза достоинствам. Но когда власти устанавливают заработную плату для целой категории, и отбор кандидатов производится при помощи объективного теста или анкеты, то стремление таких людей получить именно эту работу учитываться не будет. Человек с нестандартными квалификациями или необычным складом характера не сможет более прийти к договоренности с тем работодателем, который, быть может, в данном случае даже был бы склонен согласиться с необычными запросами. В результате человек, предпочитающий ненормированный рабочий день или даже беспечное существование с небольшим и, возможно, негарантированным доходом ежедневной рутине, лишится выбора. Условия всегда и всюду будут такими, какими они неизбежно в какой-то мере являются в большой организации — а может быть и худшими, поскольку мы не сможем даже надеяться, что в другом месте все будет по-другому. Мы лишимся права действовать рационально или эффективно только там и тогда, когда считаем нужным; нам всем придется подлаживаться под стандарты, которые вынуждены будут установить плановые органы для упрощения своей задачи. Чтобы справиться с этой гигантской задачей, им придется свести все многообразие человеческих способностей и склонностей к нескольким взаимозаменяемым категориям и сознательно игнорировать «менее важные» различия между людьми. Цель планирования якобы заключается в том, чтобы человек перестал быть простым средством; на деле же план не может учитывать личные симпатии и антипатии, и поэтому личность превратится в голое орудие, используемое властями для служения разному рода абстракциям, таким как «всеобщее благо» или «общественное благосостояние».

В конкурентном обществе можно иметь все (или почти все), если заплатить за это достаточно высокую цену — хотя зачастую эта цена оказывается невысказанно высокой. Принципиальное значение этого факта трудно переоценить. Альтернативой этой ситуации является, однако, вовсе не полная свобода выбора, а приказы и запреты, которым мы должны повиноваться, или, в крайнем случае, благосклонность и даже покровительство власти имущих.

Альтернатива эта осознается далеко не всеми, и многие окончательно запутались во всех этих вопросах. Вот один весьма показательный пример: тот факт, что в конкурентном обществе можно иметь почти все, если достаточно дорого за это заплатить, теперь стало принято причислять к порокам этого общества. Рассмотрим эту точку зрения подробнее. Итак, когда мы утверждаем, что в альтернативном, плановом обществе будет множество вещей, которые нельзя будет иметь ни за какие деньги, а это лишает нас возможности жертвовать своими менее важными потребностями во имя высших ценностей (поскольку выбор того, какие ценности важнее, будет делаться за нас), то наши оппоненты заявляют в ответ, что нельзя включать высшие ценности в систему «денежных расчетов», как в приведенном выше рассуждении, поскольку эти ценности не измеряются в деньгах; следовательно, то общество, где «все продается», безнравственно; следовательно, в справедливом обществе все должно быть именно так, как описывает выше автор, пытающийся нас запугать. Признаться, такое желание выглядит довольно странно и вряд ли свидетельствует о большом уважении к достоинству личности. Да, часто жизнь и здоровье, красоту и добродетель, честь и спокойствие духа можно сохранить только ценой значительных материальных затрат, и кто-то при этом должен делать выбор — все это так же неоспоримо, как и то, что мы не всегда готовы идти на материальные жертвы, необходимые для того, чтобы оградить эти высшие ценности от любого ущерба. К примеру, мы бесспорно могли бы свести число несчастных случаев на дорогах к нулю, если бы согласились заплатить за это определенную цену (в данном случае, если уж ничего иного нельзя было бы придумать, можно было бы попросту уничтожить все автомобили). Можно привести сотни других примеров того, как мы постоянно рискуем жизнью, здоровьем и всеми высшими духовными ценностями — и собственными, и чужими.

ми — ради того самого, столь презиаемого нами материального комфорта. Да иначе и быть не может, ибо для достижения всех наших целей мы располагаем лишь ограниченным набором тех же самых средств: осуществляя одну из них, мы всегда делаем это в ущерб прочим целям и ценностям. Поэтому мы не могли бы стремиться ни к чему иному, кроме абсолютных ценностей, если бы ими ни при каких обстоятельствах нельзя было рисковать во имя чего-то другого.

Нет ничего удивительного в том, что люди хотят избавиться от нелегкого выбора, часто навязываемого им суровой действительностью. Но немногие согласны просто переложить этот выбор на кого-то другого; все, чего они хотели бы — чтобы вообще отпала необходимость делать выбор. При этом люди слишком склонны верить, что эта необходимость в действительности вовсе не является такой уж неизбежной, а лишь навязана нам конкретной экономической системой, в которой мы живем. На самом же деле то, чего люди не хотят терпеть — это нехватка материальных благ.

Желание верить, что с нехваткой материальных благ (или, выражаясь более абстрактно, с экономическими трудностями) покончено раз и навсегда, подкрепляется безответственными разговорами о «потенциальном изобилии» — которое, если бы было реальным фактом, действительно означало бы исчезновение экономических трудностей, обуславливающих неизбежность стоящего перед нами выбора. Но эта приманка, под разными именами служившая социалистической пропаганде столько, сколько существует социализм — такая же вопиющая ложь сегодня, как и сто лет назад. За все это время ни один из тех, кто ею пользовался, не выступил с конкретным планом — как практически добиться увеличения объема выпускаемой продукции настолько, чтобы ликвидировать бедность (вернее, то, что у нас считается бедностью) хотя бы только в Западной Европе, не говоря уже обо всем мире. Читатель может быть уверен, что всякий, кто толкует о потенциальном изобилии, либо недобросовестен, либо не знает, о чем говорит. И все же именно эта иллюзорная надежда, как ничто иное, толкает нас на путь к планированию.

Хотя массовое движение все еще продолжает питаться подобными иллюзиями, все большее число исследователей, занимающихся этой проблемой, отказывается от взгляда, что плановая экономика позволит добиться значительно более высокой производительности труда, чем конкурентная. Даже многие экономисты социалистического толка, серьезно изучавшие вопросы централизованного планирования, довольствуются теперь надеждой на то, что экономическая эффективность планового общества будет не меньше, чем у конкурентного; теперь они стоят за планирование не потому, что оно принесет повышение производительности, а потому, что оно обеспечит более справедливое и беспристрастное распределение материальных благ. Это единственный довод в пользу планирования, на котором действительно можно настаивать. Бесспорно, если мы хотим распределять блага в соответствии с какими-то заранее установленными нормами, если мы хотим сознательно решать, кому что причитается, мы должны планировать всю экономику. Однако ценой, которую придется заплатить за осуществление чьего-то идеала справедливости, может оказаться такое угнетение и недовольство населения, к которому никогда бы не могла привести столь поносимая ныне «свободная игра экономических сил».

\* \* \*

Было бы серьезным самообманом, если бы в ответ на высказанные опасения мы начали успокаивать себя тем, что централизованное планирование означает просто возврат, после краткого междуцарствия свободной экономики, к ограничениям и предписаниям, управлявшим экономической деятельностью в течение многих веков, а потому личная свобода будет нарушаться при нем не больше, чем до эпохи *laissez-faire*. Это опасная иллюзия. Даже в периоды самой строжайшей регламентации экономики в европейской истории регламентация эта сводилась к созданию общего и практически неизменного свода правил, рамки которого предусматривали широкое поле деятельности, где индивидуум сохранял полную свободу. Тогдашний аппарат контроля годился для проведения в жизнь лишь директив весьма общего характера. И даже там, где контроль этот был наиболее строгим, он распространялся только на те виды деятельности, через посредство которых человек участвовал в общественном разделении труда. В гораздо более обширной сфере, где он жил тем, что производил, он был волен делать все, что хотел.

Ныне положение в корне изменилось. На протяжении эпохи либерализма процесс общественного разделения труда зашел так далеко, что теперь почти любой из видов нашей деятельности представляет собой часть этого процесса. Повернуть назад мы не

можем, ибо только благодаря обобществлению труда можно поддерживать более или менее приличный, по нашим теперешним стандартам, уровень жизни в условиях огромного роста населения. И именно по этой же причине замена конкуренции планированием потребует гораздо более широкого централизованного руководства всеми сторонами нашей жизни, чем когда бы то ни было в истории. Руководство это нельзя будет ограничить чисто экономической сферой, так как теперь почти все стороны нашей жизни завязаны от чьей-то экономической деятельности<sup>9</sup>. Страсть к «коллективному удовлетворению потребностей», при помощи которой наши социалисты так хорошо расчистили путь тоталитаризму и которая требует, чтобы мы занимались и делом, и удовольствием в положенное время и в положенной форме, разумеется, в какой-то степени предназначена для целей политического воспитания. Но в то же время — это и результат особенностей самой системы экономического планирования, состоящий в том, что нас лишают выбора, давая взамен то, что больше всего подходит для плана, и притом в предписанный плановый момент.

Часто говорят, что политическая свобода — ничто без свободы экономической. Это верно, но в смысле, почти противоположном тому, который вкладывают в это утверждение сторонники планирования. Свобода экономическая, являющаяся предпосылкой всякой другой, не может быть свободой от экономических забот, которую нам обещают социалисты и которой можно достичь, только одновременно избавив человека от необходимости и от возможности выбора; это свобода экономической деятельности, неизбежно влекущая за собой риск и ответственность, связанные с правом выбора.

## Глава 8

### КТО КОГО?

Лучшая из дарованных миру возможностей пропала втуне из-за страсти к равенству, погубившей всякую надежду на свободу.

*Лорд Актон.*

Показательно, что наиболее часто против конкуренции возражают на том основании, что она «слепа». Нелишне напомнить, что древние изображали богиню правосудия с завязанными глазами, что служило символом ее беспристрастия и справедливости. У конкуренции, быть может, немного общего со справедливостью, но одно общее достоинство у них есть: и та и другая «не взирают на лица». Правовые нормы, не позволяющие заранее предсказать, кто от их применения выиграет, а кто проиграет, бесспорно, важны; но не менее важно и то, что в условиях конкурентной системы неизвестно заранее, кому повезет, а кому нет, а «поощрения» и «наказания» распределяются не в зависимости от чьего-то личного мнения о том, кому что полагается, а от способностей и удачливости самих людей. Это важно еще и потому, что при наличии конкуренции случай и везение зачастую играют столь же существенную роль, как способности, мастерство или дар предвидения.

Неверно думать, что выбор, перед которым мы стоим — это выбор между системой, где каждый получает по заслугам в соответствии с некими абсолютными и универсальными критериями, и системой, где судьба человека в какой-то мере определяется случайностью или везением. В действительности это выбор между системой, при которой решать, кому что причитается, будут несколько человек, и системой, при которой это зависит, хотя бы отчасти, от способностей и предприимчивости самого человека, а отчасти — от непредсказуемых обстоятельств. То, что в мире свободного предпринимательства шансы неравны, ибо сам этот мир по природе своей зиждется на частной собственности и (быть может, с меньшей неизбежностью) на праве наследования, дела не меняет. Факты говорят о том, что вполне возможно уменьшить это неравенство в той мере, в какой позволяют врожденные различия, сохранив безличный характер конкуренции, при которой каждый может попытаться счастья

<sup>9</sup> Не случайно именно в тоталитарных странах, будь то Россия, Германия или Италия, вопрос о том, как люди проводят свой досуг, попал в сферу планирования. Немцы даже придумали для обозначения этой проблемы ужасный, внутренне противоречивый термин *Freizeitgestaltung* (буквально «организация проведения свободного времени»), как будто время, проводимое так, как диктуют указания свыше, все еще можно было назвать свободным временем.

и ничьи взгляды на то, что было бы правильным или желательным, не являются обязательными для всех.

В конкурентном обществе у бедных гораздо более ограниченные возможности, чем у богатых, тем не менее бедняк в таком обществе намного свободнее человека с гораздо лучшим материальным положением в обществе другого типа. При конкуренции у человека, начинающего карьеру в бедности, гораздо меньше шансов достичь богатства, чем у человека, унаследовавшего собственность, однако это не только возможно, но более того, конкурентный строй — единственный, где человек зависит лишь от самого себя, а не от милости сильных мира сего, и где никто не может помешать его попыткам достигнуть намеченной им цели. Люди забыли, что такое несвобода; поэтому они часто упускают из виду тот очевидный факт, что низкооплачиваемый неквалифицированный рабочий в Англии — практически в гораздо большей степени хозяин своей судьбы, чем мелкий предприниматель в Германии или высокооплачиваемый инженер или директор в России. О чем бы ни шла речь — о перемене работы или места жительства, о выражении собственных взглядов или о проведении досуга — ему, возможно, придется заплатить за следование своим склонностям дорогой, для многих даже слишком дорогой ценой, но перед ним нет никаких абсолютных препятствий, он не рискует физической безопасностью и свободой, и ничто не привязывает его насильно к работе, месту жительства или социальному окружению, которые отведены ему властями.

В большинстве своем социалисты будут считать свой идеал достигнутым, если чисто нетрудовые доходы от собственности будут упразднены, а различия между трудовыми доходами останутся такими же, как сейчас<sup>10</sup>. Но они забывают, что с передачей всех средств производства в руки государства от его действий будут фактически зависеть все иные доходы. Тем самым государству дается огромная власть, и в этих обстоятельствах требование, чтобы оно использовало ее для целей «планирования», означает, что оно должно пользоваться этой властью, полностью отдавая себе отчет во всех возможных последствиях своих действий.

Ошибкой было бы считать, что власть, которой таким образом облекается государство, просто переходит из одних рук в другие. На деле это новый вид власти, которым в конкурентном обществе не обладает никто. Пока собственность раздроблена между множеством владельцев, ни один из них не обладает исключительной властью определять размер личных доходов и общественное положение отдельных граждан — вся его власть над людьми состоит лишь в том, что он может предложить им лучшие условия, чем кто-либо другой.

Наше поколение забыло, что система частной собственности — важнейшая гарантия свободы не только для владельцев собственности, но и для тех, у кого ее нет. Только благодаря тому, что контроль над средствами производства распределен между множеством независящих друг от друга людей, никто не имеет над нами абсолютной власти, и мы сами можем решать, чем мы будем заниматься. Если же все средства производства окажутся в одних руках, то их владелец — будь то номинальное «общество» или диктатор — получит над нами неограниченную власть. Можно ли усомниться, что представитель расового или религиозного меньшинства, не имеющий собственности, фактически обладает большей свободой, пока его соплеменники или единоверцы владеют частной собственностью и, таким образом, могут нанять его на работу, чем в том случае, когда частная собственность будет уничтожена, а он станет обладателем номинального «пая» в собственности общественной? Или что у мультимиллионера, оказавшегося моим соседом, а может быть, и работодателем, надо мной гораздо меньше власти, чем у ничтожнейшего чиновника, в чьих руках государственный аппарат насилия и от чьей прихоти зависит, позволено ли мне будет жить и работать? И кто

<sup>10</sup> Вероятно, мы обычно преувеличиваем разрыв в доходах, вызванный наличием или отсутствием собственности, и, соответственно, возможность устранения неравенства с помощью упразднения доходов от собственности. Судя по тому немногому, что нам известно о распределении доходов в советской России, неравенство там ненамного меньше, чем в капиталистическом обществе. Макс Истмэн («Конец социализма в России». 1937, стр. 30—34) приводит сведения из официальных советских источников, показывающие, что разрыв между самыми высокими и самыми низкими заработками в России такого же порядка (примерно 50 к 1), как в США; а Троцкий в статье, цитируемой Джеймсом Бернзмом («Революция менеджеров». 1941, стр. 43), уже в 1939 году оценивал: «В СССР верхушка, составляющая 11—12% населения, получает сейчас около 50% национального дохода. Эта дифференциация резче, чем в США, где высшие слои, насчитывающие 10% населения, получают приблизительно 30% национального дохода».



возьмется отрицать, что общество, в котором власть в руках богатых, все равно лучше общества, в котором богатыми могут стать только те, в чьих руках власть?

Следить за тем, как эту истину открывает для себя такой известный старый коммунист, как Макс Истмэн,— грустное, но в то же время обнадеживающее зрелище: «Теперь мне ясно,— пишет он в недавно опубликованной статье,— хотя, должен признаться, я долго шел к этому выводу — что институт частной собственности — один из важнейших столпов той ограниченной свободы и равенства, которые Маркс надеялся безгранично расширить, уничтожив этот институт. Как ни странно, первым это понял сам Маркс. Именно он, оглянувшись назад, заметил, что предпосылкой для возникновения и развития всех наших демократических свобод было возникновение частного капитала и свободной торговли. Но ему так и не пришло в голову посмотреть вперед и сообразить, что в таком случае с уничтожением свободной торговли эти свободы также могут исчезнуть».

\* \* \*

Иногда в ответ на такого рода опасения говорят, что планирующим органам совершенно незачем устанавливать размеры личных доходов. Определение части национального дохода, приходящейся на долю той или иной категории людей, связано с настолько очевидными социально-политическими трудностями, что даже закоренелый сторонник планирования трижды подумает, прежде чем возложить на кого-либо эту задачу. Вероятно, каждый, кто понимает, чем это чревато, предпочел бы ограничить планирование производственной сферой и применять его только для «рациональной организации производства», оставив сферу распределения, насколько возможно, во власти безличных сил. Разумеется, нельзя, руководя производством, не оказывать какого-то влияния на распределение, и никакие планирующие органы не захотят всецело отдать распределение на волю стихийных сил рыночной экономики. Вероятно, все они предпочли бы просто следить за тем, чтобы распределение соответствовало неким общим нормам справедливости и беспристрастия, избегать крайностей и поддерживать справедливое соотношение между вознаграждением основных классов общества, не беря на себя ответственности за положение конкретных людей внутри классов и за градации между небольшими группами и отдельными людьми.

Как мы уже видели, тесная взаимосвязь всех экономических явлений затрудняет ограничение сферы планирования рамками, выбираемыми по нашему желанию, и когда мероприятия, тормозящие свободное функционирование рынка, превысят какой-то определенный предел, планирующим органам придется расширять контроль до тех пор, пока он не станет всеобъемлющим. Экономические причины, делающие невозможным прекращение сознательного контроля там, где мы того пожелаем, подкрепляются определенными общественно-политическими тенденциями, усиливающимися по мере расширения сферы планирования.

Как только постепенное осознание новой ситуации превращается во всеобщую уверенность, что теперь социальное положение человека определяется не безличными силами, а сознательными решениями властей, отношение людей к своему социальному положению неизбежно меняется. Неравенство, кажущееся несправедливым тем, кто от него страдает, разочарования, представляющиеся незаслуженными, и неудачи, ничем не вызванные, будут существовать всегда. Но когда такое случается в сознательно управляемом сверху обществе, люди реагируют на это совсем иначе. Неравенство, обусловленное безличными силами, переносится легче и затрагивает человеческое достоинство в гораздо меньшей степени, чем неравенство намеренное. Если в конкурентном обществе какая-то фирма сообщает человеку, что не нуждается в его услугах или не может ему предложить лучшей работы, в этом нет никакого неуважения, никакого оскорбления достоинства. Правда, продолжительная массовая безработица может действовать на людей аналогичным образом, но для борьбы с этим бичом нашего общества существуют иные, и лучшие, методы, чем централизованное руководство. Однако безработица или потеря дохода, выпадающие на чью-то долю в любом обществе, безусловно, менее унижительны, если являются результатом неудачи, а не навязаны властями. Каким бы горьким ни был этот опыт, в планируемом обществе он окажется еще горше. Там придется решать вопрос не о том, нужен ли человек для определенной работы, а о том, нужен ли он вообще, и если нужен, то в какой степени. Его место в жизни и в обществе будет определяться решением властей.

Люди покорно переносят страдания, которые могут выпасть на долю любого, но им гораздо труднее покориться страданиям, вызванным постановлением властей. Плохо

быть винтиком в безличном механизме, но в тысячу раз хуже, когда ты не можешь его покинуть, когда ты намертво прикреплен к месту и начальнику, выбранным кем-то за тебя. Всеобщее недовольство своей участью неизбежно растет с сознанием, что участь эта сознательно кем-то предрешена.

Вступив на путь планирования, чтобы достичь справедливости, правительство не может снять с себя ответственности за судьбу и социальное положение каждого человека. В планируемом обществе все будут знать, что им живется лучше или хуже, чем другим, не из-за непредвиденных и никому неподвластных обстоятельств, а потому, что так хочет какой-нибудь правящий орган. Поэтому старания улучшить свое положение сведутся не к тому, чтобы предусмотреть эти обстоятельства и к ним подготовиться, а к попыткам добиться расположения власть имущих. Кошмар английских политических мыслителей девятнадцатого века — государство, в котором «не будет иного пути к богатству и почету чем путь через коридоры власти»<sup>11</sup>, — осуществится с полнотой, какой они не могли в то время и вообразить, но ставшей вполне привычным делом в некоторых странах, с тех пор уже пришедших к тоталитаризму.

\* \* \*

Как только государство берет на себя планирование всей экономики, центральным политическим вопросом становится вопрос о надлежащем общественном положении отдельных лиц и социальных групп. Поскольку государство единолично и в принудительном порядке решает, кому что причитается, единственной формой власти, имеющей какую-то ценность, оказывается участие в принятии и проведении в жизнь такого рода решений. Все экономические и общественные вопросы превращаются, таким образом, в политические, в том смысле, что решение их зависит исключительно от того, в чьих руках находится аппарат насилия, от того, чьи взгляды будут всегда одерживать верх.

Кажется, знаменитую фразу «Кто кого?», олицетворявшую в первые годы советской власти основной вопрос, стоявший перед социалистическим обществом, ввел в употребление сам Ленин. Этот вопрос не сводится к простейшей дилемме непримиримой борьбы за власть — кто кого одолеет, «мы — их или они — нас», по выражению того же Ленина. Он в максимально сжатом виде заключает в себе принципиальнейший вопрос о том, кто будет субъектом, а кто — объектом действий, определяющих условия жизни каждого человека при социализме. Кто будет планировать и кого это планирование будет обязывать что-то делать? Кто будет руководить и кого будут заставлять подчиняться? Кто определяет социальное положение других людей и кто вынужден получать лишь то, что ему выделено другими? Все это неизбежно превращается в главные вопросы, которые может решить только верховная власть.

Не так давно один американский политолог расширил ленинскую фразу и заявил, что основной проблемой, стоящей перед каждым правительством, является вопрос, «кто получает, что, когда и на каких условиях». В каком-то смысле это верно. Любое правительство оказывает влияние на социальное положение различных людей по отношению друг к другу, и при любой системе практически нет таких сторон жизни, которых не может затронуть никакое правительственное мероприятие. Пока правительство хоть что-то делает, его действия всегда будут как-то влиять на то, «кто получает, что, когда и на каких условиях».

Однако здесь надо провести два фундаментальных различия. Во-первых, те или иные конкретные меры можно принимать, не имея представления о том, как они повлияют на конкретных лиц, и не имея в виду этих конкретных последствий. Это мы уже рассмотрели. Во-вторых, вопрос о том, определяется ли решением правительства *все*, что *всегда* получает *каждый* человек, или только *некоторые* вещи, которые *иногда* получают *некоторые* люди, на *некоторых* условиях, зависит от пределов власти, которой располагает правительство. Именно в этом и заключается разница между свободным строем и тоталитаризмом.

Контраст между либеральным и полностью планируемым обществом находит свое характерное выражение в общих жалобах нацистов и социалистов на «искусственное отделение политики от экономики», и столь же едином требовании главенства политики над экономикой. Вся эта фразеология означает, по-видимому, что сейчас экономическим силам не только позволено работать на цели, не являющиеся частью правительственной политики, но что их можно использовать безотносительно от пра-

<sup>11</sup> Эта формулировка принадлежит молодому Дизраэли.

вительственного руководства и в целях, не одобряемых правительством. Альтернатива подобной ситуации — это не просто единая власть, ибо правящая верхушка в этом случае будет контролировать все цели отдельных граждан и, в частности, полностью определять место, отведенное каждому в обществе.

\* \* \*

Итак, не подлежит сомнению, что правительству, взявшему на себя руководство экономикой, придется употребить свою власть на осуществление чьего-то идеала справедливого распределения. Но как за это взяться, согласно каким принципам? Существует ли точный ответ на неминуемые бесчисленные вопросы об относительных правах и заслугах, которые придется решать? Существует ли приемлемая для всех разумных людей шкала ценностей, оправдывающая новую общественную иерархию и удовлетворяющая требованиям справедливости?

Четкий ответ на все эти вопросы мог бы дать лишь один принцип, одно простое правило: равенство, полное и абсолютное, во всех областях жизни, контролируемых человеком. Если бы все стремились именно к этому (не будем вдаваться в обсуждение того, осуществимо ли это, то есть можно ли при этом обеспечить адекватное стимулирование), то туманная идея справедливого распределения стала бы четкой и ясной, и у плановых органов появился бы четкий ориентир. Но совершенно неверно думать, что люди действительно хотят такого механического равенства. Ни одно социалистическое движение, стремившееся к полному равенству, никогда не пользовалось серьезной поддержкой. Социализм обещал не абсолютно равное, а более справедливое и более равное распределение. Единственной всерьез поставленной целью является не равенство в абсолютном смысле, а «большее равенство».

Эти идеалы, как будто столь близкие, в интересующем нас отношении далеки как небо и земля. Абсолютное равенство ставит перед планирующими органами четкую задачу, тогда как стремление к большему равенству — является чисто негативным и выражает всего лишь неудовлетворенность нынешним положением вещей. И пока мы не готовы признать желательными любые шаги, ведущие к полному равенству, идея «большого равенства» не даст ответа ни на один из вопросов, которые придется решать плановым органам.

Все это не просто игра словами: перед нами вопрос, решающая важность которого затемнена сходством терминов. Принятие принципа полного равенства немедленно разрешило бы все проблемы относительно того, кто чего заслуживает, тогда как формула «большее равенство» практически не решает ни одной из них. Она так же неопределенна, как фразы «общественное благо» и «всеобщее благосостояние». Она не освобождает от необходимости в каждом конкретном случае делать выбор между различными людьми и социальными группами и ни в чем этот выбор не облегчает. Единственное, что она нам говорит — что нужно как можно больше забрать у богатых. Но когда дело доходит до «дележа добычи», полученной в результате экспроприации, проблема выглядит так же, как если бы принципа «большого равенства» никогда не было и в помине.

\* \* \*

Большинству людей трудно признать, что у нас нет моральных критериев, позволяющих решить эти вопросы раз и навсегда — если не идеально, то по крайней мере лучше, чем при конкуренции. Разве у каждого из нас нет определенного представления о «справедливой цене» или «справедливой заработной плате»? Разве не можем мы положиться на человеческое чувство справедливости? И даже если в данный момент невозможно достичь соглашения относительно того, что в том или ином конкретном случае справедливо, а что нет — разве из общих представлений не вырабатываются более четкие нормы вскоре после того, как люди увидят свои идеалы воплощенными в жизнь?

К сожалению, надеяться на это нет оснований. Те нормы, какие у нас есть, созданы конкурентным строем, при котором мы живем, и с исчезновением конкуренции неизбежно также вскоре исчезнут. Под «справедливой ценой», или «справедливой заработной платой», мы подразумеваем либо цены и зарплаты, установленные обычаем, то есть то, чего можно ждать по опыту, либо цены и зарплаты, которые возникли бы при отсутствии монополистической эксплуатации. Единственным важным исключением из этого правила является требование, чтобы рабочие полностью

получали «продукт своего труда», к которому восходит столь многое в социалистическом учении. Однако ныне лишь немногие социалисты верят в то, что в социалистическом обществе вся продукция каждой отрасли промышленности будет полностью распределяться на пах между рабочими, занятыми в этой отрасли. Действительно, это означало бы, что у работников, занятых в капиталоемких отраслях промышленности, доход окажется гораздо больше, чем у работников отраслей, требующих невысоких капиталовложений, что большинство социалистов сочло бы весьма несправедливым. Помимо того, сегодня практически все согласны, что это конкретное требование основывалось на ошибочном толковании фактов. Но и после того, как отдельному рабочему отказано в праве на получение его доли общего продукта, а прибыль от капитала предназначается для раздела между всеми трудящимися, остается открытым все тот же основополагающий вопрос: как ее разделить.

В принципе можно было бы объективно установить «справедливую цену» того или иного *конкретного* товара, как и «справедливое» вознаграждение за ту или иную *конкретную* услугу, если бы было заранее твердо известно требуемое количество товаров или услуг. Если бы это количество указывалось безотносительно к себестоимости, плановые организации могли бы попытаться выяснить, установление какого уровня цен и объема заработной платы позволило бы удовлетворить существующий спрос. Но при этом они должны также решить, сколько нужно выпустить товаров *каждого* вида: только таким образом можно определить умеренную цену или справедливую заработную плату. Если планирующие органы решат, что требуется меньше архитекторов или часовщиков, и что существующая потребность в них может быть удовлетворена при помощи лишь тех, кто согласен продолжать выполнять свою работу за меньшее вознаграждение, то размеры «справедливой» заработной платы понизятся. Устанавливая иерархию приоритетов для различных целей, планирующие органы тем самым устанавливают также, интересы каких социальных групп и отдельных людей важнее, а какими можно пренебречь. Поскольку предполагается, что они не рассматривают людей просто как орудия для осуществления поставленных целей, они должны будут учитывать последствия принимаемых решений для человеческих судеб и сознательно выбирать, что важнее — конкретные цели или последствия принятых решений. Но это как раз и означает, что планирующие органы по необходимости будут осуществлять прямой контроль над условиями жизни отдельных людей.

Все сказанное относится к положению не только отдельных лиц, но и профессиональных групп. Мы вообще слишком склонны считать доходы различных представителей какой-либо свободной профессии или ремесла более или менее единообразными. А между тем разрыв между доходами преуспевающего врача или архитектора, писателя или киноактера, боксера или жокея (точно так же как и водопроводчика или садовника, бакалейщика или портного) и его менее удачливого коллеги — не меньше, чем между доходами класса собственников и класса неимущих. И хотя, несомненно, последуют какие-то попытки стандартизации путем создания категорий, необходимость установить различия между людьми останется в силе, как бы ее ни осуществлять: устанавливая размеры их доходов или разделяя их на категории.

Вряд ли стоит продолжать разговор о вероятности того, что люди, живущие в свободном обществе, будут поставлены под подобный контроль — или о возможности, что они останутся при этом свободными. Все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано Джоном Стюартом Миллем почти столетие назад; время лишь подтвердило правоту этих слов: «Люди, может быть, и согласились бы, пусть неохотно, на раз навсегда установленный закон, например, о равенстве, так же как на игру случая или внешней необходимости; но чтобы гучка людей взвешивала всех остальных на весах и давала одним больше, другим меньше по своей прихоти и по своему усмотрению — такое можно вынести только от существ, обладающих, по всеобщему убеждению, сверхчеловеческими качествами и опирающихся на невообразимые ужасы».

\* \* \*

Все эти трудности необязательно ведут к конфликтам, пока социализм остается мечтой ограниченной и сравнительно однородной группы. Они всплывают на поверхность только при попытке осуществить социализм на практике, заручившись поддержкой множества различных социальных групп, вместе составляющих большинство населения страны. Тогда встает единственный жгучий вопрос: какой из множества идеалов подчинит себе остальные, поставит себе на службу все ресурсы

страны? Для успешного планирования требуется выработать общую точку зрения на основные ценности: вот почему ограничения свободы в материальной сфере непосредственно затрагивают свободу духовную.

Социалисты, эти хорошо воспитанные родители «несознательного» отпрыска, не желающего признавать никаких втолковываемых ему норм, по традиции надеются решить эту задачу при помощи «воспитания социалистической сознательности». Но что значит в данном случае воспитание, просвещение, искоренение пережитков в сознании масс и т. д.? Всем давно известно, что знания не могут создать новых этических ценностей, что никаким объемом эрудиции не выработать у людей одинаковых мнений по вопросам морали, возникающим при сознательном упорядочении всех социальных отношений. Для оправдания того или иного конкретного плана требуется не рационально обоснованная убежденность, а приятие символа веры. И действительно, социалисты повсюду первыми признали, что поставленная ими задача требует всеобщего единого мировоззрения, единой системы ценностей. Именно социалисты, в своих стараниях породить массовое движение, опирающееся на единую идеологию, и создали те идеологические средства внушения, которыми так успешно воспользовались нацисты и фашисты.

В Германии и Италии нацистам и фашистам практически не потребовалось изобретать ничего нового. Обычай и ритуалы новых политических движений, пропитывающие все стороны жизни, были введены в употребление социалистами. Идею политической партии, охватывающей все стороны жизни человека от колыбели до могилы, стремящейся руководить всеми его взглядами и обожающей превращать любые вопросы в партийно-идеологические, впервые на практике осуществили социалисты. Один австрийский социалистический публицист, говоря о социалистическом движении у себя на родине, с гордостью сообщает, что «его характерной чертой было создание специализированных организаций в каждой области деятельности рабочих и служащих». Австрийские социалисты, возможно, пошли в этом отношении дальше других, но и в остальных странах дело обстояло почти точно так же. Не фашисты, а социалисты начали вовлекать детей с младенческого возраста в политические организации, чтобы они вырастали хорошими пролетариями. Не фашисты, а социалисты впервые придумали устраивать занятия спортом и организованные экскурсии в рамках партийных клубов, члены которых таким образом не могли бы заразиться чуждыми взглядами. Именно социалисты первыми стали требовать, чтобы члены партии отличались от прочих формой приветствия и обращения. Именно они со своими «ячейками» и постоянным надзором над личной жизнью создали прототип тоталитарной партии. «Балилла» и «Гитлер-югенд», «Дополаворо» и «Крафт дурх Фройте», унифицированная форма одежды и военизированные штурмовые отряды — все это не более чем имитация того, что уже задолго до этого было изобретено социалистами.

\* \* \*

Пока социалистическое движение в стране тесно связано с интересами какой-то конкретной группы, — обычно высококвалифицированных промышленных рабочих, — проблема выработки единого мнения относительно желательного социального статуса тех или иных членов общества сравнительно проста. Движение непосредственно заинтересовано в статусе одной определенной группы, и цель его — повысить этот статус относительно всех других групп. Однако характер проблемы меняется, когда в ходе постепенного движения к социализму каждому становится все яснее, что его доход и положение определяются государственным аппаратом насилия, что он может сохранить свое положение или улучшить его только в качестве члена организованной группы, способной влиять на государственную машину или даже ее контролировать. В возникающем на этой стадии «перетягивании каната» группами, представляющими различные интересы, вовсе не обязательно побеждают интересы беднейших и наиболее многочисленных групп. Да и старые социалистические партии, открыто представляющие интересы какой-то конкретной группы, необязательно извлекут для себя какие-то преимущества из того факта, что они первыми начали борьбу и что вся их идеология была направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону промышленный рабочий класс. Самый их успех, как и то, что они требуют принятия всей своей идеологии в целом, непременно вызовет мощное контрдвижение — не капиталистов, а тех многочисленных и тоже лишенных собственности классов, чей от-

носительный статус окажется под угрозой в связи с наступлением элиты промышленных рабочих.

Социалистическая теория и тактика, даже если в ней не господствует марксистская догма, повсюду была основана на идее разделения общества на два класса, интересы которых лежат в одной области, но являются антагонистическими: класс капиталистов и класс промышленных рабочих. Социализм рассчитывал на быстрое исчезновение прежнего «среднего сословия» и совершенно не принимал во внимание рост нового «среднего класса»: бесчисленной армии конторских служащих и машинисток, администраторов и учителей, торговцев и мелких чиновников, а также представителей низших разрядов свободных профессий. В течение какого-то периода лидеры рабочего движения нередко были выходцами из этого класса. Но по мере того как все яснее становилось, что положение указанных слоев ухудшается по сравнению с положением промышленных рабочих, идеалы рабочего класса утерли свою привлекательность для представителей прочих средних и низших слоев городского населения. Правда, все они оставались социалистически настроенными — в том смысле, например, что были недовольны капиталистической системой и выступали за распределение материальных благ между всеми слоями населения в соответствии с собственными представлениями о справедливости; но представления эти оказались совсем иными, чем те, что нашли отражение в практике старых социалистических партий.

Средство, успешно применявшееся старыми социалистическими партиями для обеспечения поддержки какой-то одной профессиональной группы — повышение ее уровня экономического благосостояния по сравнению с другими — невозможно использовать для того, чтобы заручиться поддержкой всех социальных слоев. В результате должны неизбежно возникнуть конкурирующие социалистические партии и движения, апеллирующие к тем, чье экономическое положение по сравнению с другими ухудшилось. В часто повторяемом утверждении, что фашизм и национал-социализм — это нечто вроде социализма для среднего класса, много правды, за исключением того, что группы, поддерживавшие эти новые движения в Италии и Германии, экономически уже перестали быть средним классом. В значительной степени это был бунт лишенного привилегий нового класса против рабочей аристократии, порожденной промышленным профсоюзным движением. Нет сомнения, что ни один экономический фактор так не способствовал этим движениям, как зависть далеко не преуспевающего представителя свободной профессии, какого-нибудь инженера или адвоката с университетским образованием, и всего «пролетариата умственного труда» в целом, к машинисту, наборщику и прочим членам сильнейших профсоюзов, чьи доходы превышали их собственные во много раз. Не может быть сомнения и в том, что с точки зрения денежного дохода рядовой член нацистского движения в первые его годы был беднее, чем средний тред-юнионист или член социалистической партии — обстоятельство тем более мучительное, что первый зачастую знал лучшие времена и нередко все еще жил в обстановке, напоминавшей ему о прошлом. Выражение «классовая борьба на выворот», ходившее в Италии в период роста фашистского движения, указывает на очень важный аспект этого движения. Конфликт между фашистской (или национал-социалистической) партией и старыми социалистическими партиями нужно рассматривать в значительной мере как неизбежный конфликт между соперничающими социалистическими фракциями. Они не расходились в вопросе о том, что именно воля государства должна определять место каждого человека в обществе. Но между ними были, и всегда будут, глубочайшие расхождения в вопросе о том, какое место должны занимать конкретные классы и социальные группы.

\* \* \*

Старым социалистическим вождям, всегда считавшим свои партии естественным передовым отрядом будущего всеобщего движения к социализму, трудно понять, почему каждое расширение области применения социалистических методов восстанавливает против них широкие классы бедного населения. Но дело тут в том, что старые соцпартии, как и профсоюзы в отдельных областях промышленности, обычно без особого труда договаривались о совместных действиях с работодателями в своих отраслях, тогда как весьма широкие слои общества оставались ни с чем. Поэтому последним казалось — и не без оснований — что представители наиболее мощных и про-

цветающих отрядов рабочего движения принадлежат скорее к эксплуатирующему, нежели к эксплуатируемому классу.

Недовольство низов среднего класса, откуда вышло столько сторонников фашизма и национал-социализма, еще более усиливалось тем фактом, что уровень образования и профессиональная подготовка, которой зачастую обладали представители этих слоев, побуждал их стремиться к руководящим постам и считать, что они вполне достойны стать членами правящей элиты. Младшее поколение, возвращенное на социалистической теории с ее презрением к «торгашеству» и «погоне за прибылью», отвергло путь независимого предпринимательства, связанный с риском, и во все большем количестве вливалось в армию служащих, предпочитая твердый оклад и гарантированное будущее. При этом они требовали доходов и власти, на которые им, по их мнению, давало право образование. Они верили в организованное общество и рассчитывали в этом обществе совсем не на такое место, которое им могла бы предложить система, организованная в соответствии с идеалами, провозглашавшимися лидерами рабочего движения. Они были вполне готовы перенять методы «классического» социалистического движения, поставив их на службу другому классу. Новое движение привлекало всех тех, кто соглашался с необходимостью поставить под контроль государства всю экономическую жизнь, но не был согласен с целями, во имя которых использовала свою политическую мощь аристократия промышленных рабочих.

Новое, социалистическое движение с самого начала обладало несколькими тактическими преимуществами. Социализм рабочего класса вырос в демократическом и либеральном мире, приспособлявая к нему свою тактику и перенимая многие идеалы либерализма. Его главные деятели все еще верили в то, что построение социализма решит все проблемы. С другой стороны, фашизм и национал-социализм выросли на основе все более регулируемого общества, начинавшего осознавать, что демократический и интернационалистический социализм стремится к несовместимым идеалам. Их тактика выработывалась в мире, где уже господствовал социалистический политический курс и вызываемые им трудности. У них не было иллюзий относительно возможности демократического решения вопросов, требующего от людей большего единодушия, чем можно ожидать. У них не было иллюзий ни по поводу способности разума решить неизбежно встающую в связи с планированием проблему относительных человеческих потребностей, ни по поводу того, что ответ дается принципом равенства. Они знали, что сильнейшая группировка, которая соберет достаточно сторонников нового иерархического общественного порядка и прямо пообещает классам, к которым апеллирует, определенные привилегии, имеет больше всего шансов на поддержку со стороны тех, кто испытал разочарование, когда обещанное равенство превратилось в содействие интересам определенного класса. Главная причина успеха фашизма и национал-социализма заключалась в том, что эти движения предложили теорию (или мировоззрение), которая, казалось, со всей очевидностью доказывала справедливость и заслуженность привилегий, обещанных тем, кто их поддержит.

*Перевела с английского Н. СТАВИСКАЯ.*

*(Окончание следует)*

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Читайте в 1991 году:

**Н. ЛЕБЕДЕВА**

**Катынские голоса**

Уникальные материалы из Центрального государственного особого архива СССР и Центрального государственного архива Советской Армии: письма польских офицеров и членов их семей, 1939—1941 годы.

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

## ИЗ АРХИВА ЗИНАИДЫ ШАХОВСКОЙ

Накануне революции были у нас три имения. Чаще всего мы жили в Матове — село Высокое тож Тульской губ. Веневского уезда, принадлежавшее в начале 18 века гяге моего отца (мать которого была Чирикова, так что он приходился дедушкой моей матери), князю Дмитрию Федоровичу. Он подарил Матово как свадебный подарок моим родителям, жил с ними там до своей смерти, умер 90-летним. Имение было в мое время скромное. По записи моей матери — около 1000 десятин, из них 500 под усадьбой, рощей, огородами, постройками и полевым хозяйством, нами обрабатываемым. Другие 500 были в аренде у крестьян по очень низкой цене. Деревня Матово была по соседству, а крестьяне были потомками крепостных, которых Дмитрий Федорович освободил до реформы 1861 года, наделил землей и помог построить избы. С ними мы и прожили в мирном существовании, не без споров, конечно, о воле и земле, до апреля 1918 года, до ареста родителей. Матово было нам родное, хотя имение нашей линии Шаховских находилось в Рязанской губернии, где жила моя бабушка с незамужней дочерью и неженатым сыном.

Дом в Матове был, как полагается, ампирным, с фронтоном, колоннами и террасой... По мере прибавления семейства со стороны служб к нему пристраивали новые помещенья. В Матове царствовала простота, гостеприимство, всего было вдоволь. В моей французской книге я рассказываю об этом более пространно. Но от Матова ничего не осталось, кроме груды пепла.

Другое имение — под названием Сарана, в котором никто из нас никогда не был (мне говорили: «Когда пограстешь, поедем туда охотиться на медведей»). Оно известно только по краткой описи:

«Имение Сарана Пермской губ. Красноуримского уезда — 3666,99 дес.

727,14	хвойного нетронутого леса
595	смешанного леса, преобладает ель
2099,70	лиственного леса
238,97	покоса
6,12	неудобий

---

3666,99 десятины

Почва — чернозем».

В 1914 году туда ехали до станции Кунгур в 115 верстах от леса (тогда строилась железная дорога от Уфы на Кунгур через Красноуримск, в 12 верстах от Рыбинска по северной части имения). Через имение протекала река Сарана, по которой мелким сплавом направляли лес в реку Уфу.

Заложено в 60 тысяч рублей в Ярославско-Костромском банке. В январе 1917 года промышленник Поляков предлагал за это имение 600 тысяч рублей.

Участь этой лесной гачи и леса неизвестна. Единственная официальная опись, у меня сохранившаяся, относится к третьему нашему имению, самому благоустроенному, Проня Епифанского уезда Тульской губернии, в 8 верстах от станции Епифань (ныне Кимовск). Оно перешло к нам в 1915 году. Для современников такой документ о сельском хозяйстве в средней полосе России начала века несомненно представляет интерес.

ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ.



ОПИСАНИЕ ИМЕНИЯ ПРОНЯ ЕПИФАНСКОГО УЕЗДА ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ,  
В ВОСЬМИ ВЕРСТАХ ОТ СТАНЦИИ ЕПИФАНЬ СЫЗРАНО-ВЯЗЕМСКОЙ Ж. Д.

С о с т а в и м е н и я :

Под двором и постройками	3 десятины
— " — гумном и скирдами	2,5 д.
— " — садами	28 д.
— " — огородами	25,5 д.
— " — парком	30 д.
— " — выгоном	5 д.
— " — сенокосом	13 д.
— " — торфом	1,5 д.
— " — лесом	135,5 д.
— " — прудом	7 д.
— " — пашней	252 д.

Всего удобной земли	503
неудобной, всякой	21

И т о г о : 524 десятины

П о с т р о й к и :

- 1) Господский дом одноэтажный в десять комнат. Каменный и деревянный.
- 2) Изба-кухня для господ. Деревянная.
- 3) Большой двухэтажный каменный дом для служащих и для приезда господ. Нижний этаж: три комнаты для конторщика, контора, комната для старосты и ключника, две комнаты для скотовода, казармы для рабочих. Верхний этаж: отдельные три комнаты для господ, две комнаты для управляющего, кухня, две комнаты для прислуги, две комнаты для служащих.
- 4) Новый винокуренный завод, кирпичный, покрытый толем.
- 5) Большой скотный двор каменный, крыша железная, на восемьдесят пять голов, с цементными кормушками и полами. Отделение для телят для каждого отдельно. Отделение для свиней и поросят.
- 6) Большое помещение каменное для рабочих лошадей.
- 7) Воловня каменная.
- 8) Конюшня с денниками.
- 9) — " — для жеребят.
- 10) — " — для нетелей.
- 11) Еще для свиней больших.
- 12) Дом одноэтажный, каменный: молочные две, помещение для четырех скотниц с семьями, мастерская плотников.
- 13) Каменный дом одноэтажный: помещение кучера с семьей, для работников, для мастеров.
- 14) Кузница.
- 15) Баня.
- 16) Сарай для орудий.
- 17) Большой амбар и сушилка.
- 18) Маленькие амбары для сбруи, провизии и курятники.
- 19) Большой амбар для хлеба с пристройкой для орудий.
- 20) Рига.
- 21) Ледники, подвалы.
- 22) Каретный сарай.
- 23) Четыре избы для служащих, одна в саду, другая около риги, третья в парке, четвертая около кузницы.

Х о з я й с т в о :

- 1) Полевое хозяйство с четырехпольным севооборотом по 63 десятины в поле /пар/рожь/картофель/вика и друг. овес.
- 2) Садоводство. Старого сада 6 десятин — 1500 корней. Молодого сада 22 д. 480 с.— 3500 корней.

И т о г о : 5000 корней

3) Огородничество:  
 В садах на 28 десятинах<sup>1</sup>  
 На гумне 9 дес.  
 Около забора 6 дес.  
 На верху в окопе 10 дес.

---

Итого: 25 десятин

- 4) Лесоводство.  
 5) Скотоводство.  
 6) Винокуренный завод.  
 7) Большой пруд-озеро сдается в аренду под лов рыбы.

**Доход:**

40 десятин пара занято викой с овсом по 250 рублей — 10 000 пуд., по 1 рублю — 10 000 рублей.  
 33 десятины ржи по 90 пуд. с дес. — 2970 пуд. по 2 рубля — 5940 рублей.  
 30 дес. пшеницы по 100 пуд. — 3000 п. по 4 рубля — 12 000 рублей.  
 63 дес. картофеля по 1000 пуд. — 63 000 пуд. по 80 копеек — 50 400 рублей.  
 683 дес. овса по 100 пудов — 6300 пуд. по 2 рубля — 12 600 рублей.  
 8 дес. лугов по 125 пуд. — 1000 пуд. по 1 рублю — 1000 рублей.

---

Итого: 91 940 рублей

Из этого количества — все сено и вся вика идут на корм скота и лошадей, ржи на расход экономический идет 1970 пудов, пшеницы — 500 пуд., овса — 3100 пуд., остаток хлеба в продажу следующий:

ржи 1000 п.	2000 рублей.
пшеницы 2500 п.	10 000 рублей.
овса 3200 п.	6400 рублей.
картофеля 25 000 п.	20 000 рублей.

---

Итого: 38 400 рублей.

**Садоводство —**

сдача в аренду 5000 корней яблонь старых и молодых в круг по 2 рубля, итого — 10 000 рублей.

**Огород —**

25 десятин и 28 между яблонями: капуста, свекла, огурцы, морковь и кормовая свекла — в среднем 6000 рублей.

**Скотоводство —**

за молоко, посылаемое ежедневно в Москву с 1 августа по 1 июня по 2000 рублей в месяц, — 20 000 рублей.

Остальные три месяца маслом 4000 рублей.

Продажа скота, телят, лошадей — 4000 рублей.

свиней и поросят — 3000 рублей.

---

Итого: 31 000 рублей

Пруд — 500 рублей.

Всего доходу 85 900 рублей.

Всего расходу 50 900 рублей.

Чистый доход 35 000 рублей.

Винокуренный завод — чистого дохода 10 000 рублей.

Итого чистого дохода 45 000 рублей = 135 000 золотых франков в год.

---

**ПОПЫТКА КОММЕНТАРИЯ**

Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги.

*Плач Иеремии, 5, 4.*

**Петр Алешковский, историк:**

Зинаида Алексеевна Шаховская родилась в Москве в 1906 году, в 1920-м эмигрировала в Константинополь из Новороссийска и теперь живет в Париже.

<sup>1</sup> Имеется в виду выращивание овощей в междурядьях сада. Указанная цифра не включена в общее огородническое хозяйство.

Вряд ли найдутся мои соотечественники, не слышавшие формули Шаховских,— наряду с Трубецкими, Голицыными, Оболенскими, Толстыми она прочно связана в нашем сознании с классом высшего дворянства, классом, исчезнувшим навсегда, «отмененным» революцией, а после нещадно уничтоженным.

Их было очень много перед революцией, людей, связанных с землей судьбами поколений их предков, и честь — главный управляющий дворянина,— и совесть, и заветы отцов не позволяли им бросить наследственные уделы, какими бы порой крохотными и малоодоходными они ни являлись. Земля была гарантом дальнейшей их жизни; крестьяне окрестных деревень, отпущенные на волю и трудившиеся на ней теперь уже за плату, по-прежнему мыслились своими, но не рабами — помещик, издревле бывший руководителем общины, нес перед Богом и людьми ответственность за связанный с ним неразрывно мир, и эта жизнь, «не без споров, конечно, о воле и земле», как замечает Зинаида Алексеевна Шаховская, спаянная тысячелетней традицией (самыми крепкими узами, придуманными историей), и была той нравственной силой, что давала возможность выжить им обоим. Связь эту помещика с крестьянином не следует идеализировать, но забывать о ней преступно. Если столыпинская реформа, призванная превратить крестьянина-общинника в «вольного хлебопашца», делала только первые шаги, то помещик (собственник-хозяин) ведь уже существовал! Постепенно отмирала взаимозависимость крестьянина и землевладельца (мы так любили недавно называть ее пережитком феодализма), она трансформировалась и... враз была разрублена, уничтожена революцией, и жесткий этот разруб не мог не сказаться впоследствии. Колхоз заменил собственника, противопоставив только начинавшему нарождаться «я» безлико-покорное «мы», и это главная беда. Потому-то и интересно сравнить век нынешний с веком минувшим, ибо документ есть та непреложная истина, оспаривать которую бессмысленно.

Проня отошла к Шаховским лишь в 1916 году, когда ее владелец Бернард, московский адвокат, происходивший из семьи обрусевших французских дворян, был зверски убит крестьянами-террористами, и, по воспоминаниям Зинаиды Алексеевны, Проня и ее крестьяне — наемные арендаторы никогда не были близки ни детям, ни взрослым Шаховским. Проня, как тогда говорили, была хозяйством передовым, капитализированным. Бернард заложил в ней в 1911 году винокуренный завод, ввел учет и контроль земли, выписал племенной скот. Даже маслобой был у него эстонец (!) — специалист, переманенный в Россию наверняка уж не маленьким заработком. 45 тысяч золотых рублей — доход по тем временам огромный, особенно если учесть, что 524 десятины земли — размер нынешнего самого маленького колхоза, сопоставимый скорее с небольшой фермой.

В отличие от Прони земли Шаховских в Матове не были родовыми, но по воспоминаниям детей (Зинаиды и Дмитрия) отец их, Алексей Николаевич, любил только Матово, считал его своим и надеялся здесь умереть. Происходя из знатной семьи, он тем не менее земли имел мало, рязанские и пермские именья практически не посещал, все силы и внимание отдавая Матову, доставшемуся в подарок от дяди. Характерно, что, окончив Дерптский (ныне Тартуский) университет со степенью кандидата наук в 1881 году и прослужив много лет по департаменту герольдии, он в 1909 году в возрасте пятидесяти четырех лет вышел в отставку в чине статского советника, имея при этом несколько обычных для такого чина орденов. Он не гнался за почестями, не искал наград, его тянуло к земле, в Матово, и там, в Веневском уезде, он принимал деятельное участие в земстве, а перед революцией был выбран уездным председателем дворянства. Он, видимо, был скромен, весьма набожен (ездил даже разговляться в Новый Афон) и на покое сочинил и издал за свой счет в 1912 году небольшую книжку для наставления юношества «Что нужно знать каждому в России».

«Отец был русским националистом в чистом и гуманном, «московском» смысле этого слова»,— вспоминает его сын Дмитрий, ставший впоследствии владыкой Иоанном, архиепископом Сан-Франциско (он известен также знатоком эмигрантской поэзии под псевдонимом Странник). «Патриотизм становится ложным во всех тех случаях, когда он ослепляет вас до такой степени, что вы утрачиваете понимание собственных недостатков и чужих достоинств, когда он порождает враждебность, стремится создать между нами и соседними народами непреодолимую преграду и убивает в нас всякое чувство доброжелательности»,— писал Алексей Николаевич.

В той же книжке есть и параграф о вреде общины, о необходимости перехода

на ствольпинские отруба. Помещик Шаховской был человеком думающим и твердым в своих убеждениях. Причастность к земле была главным, самым важным чувством для владельца Матова, недаром, награжденный чином камергера, после подношения своей книги царю он отказался от заманчивых и высоких постов, тут же предложенных императрицей, уехал в свой Веневский уезд и жил там почти безвыездно, ни разу больше не надевая камергерского ключа.

Пятьсот десятин матовской земли — почти столько же, сколько в соседней Проне, и естественно было бы предположить, что и здесь, в Матове, хозяйство велось столь же рачительно, капитализированно. Однако не будем спешить с выводами.

В Государственном архиве Тульской области нашелся документ «О залоге имения Тульской губернии Веневского уезда при селце Высоком (Матово тож.— П. А.), принадлежащем Дмитрию Федоровичу Шаховскому»<sup>2</sup>. Что это — обыкновенное банкротство? Чиновник, присланный банком оценить и описать земли, не скрывает удивления и, готовя черновик (а сохранился именно черновик), спешит записать, описать увиденное, путаясь в канцеляризмах, не следит за стилем. Итак, «Заключение»:

«Имение князя Шаховского,— я говорю о части, эксплуатируемой им лично,— представляет довольно редкое явление хозяйства, ведущегося владельцем-любителем, для которого главным соображением является доведение дела до возможной степени совершенства в смысле техники, причем экономическая сторона отходит более или менее на второй план... В самом деле, при десятипольном (!) севообороте доходными оказываются лишь 3/5 поля, ибо клевер скармливается скоту, а этот последний не эксплуатируется...

Таким образом... увеличений пахотной площади, сравнительно с обычным трехпольем, всего на 1/25. Разумеется, при этом урожаи повысились, земля улучшается, но доход изменился не много. Матово, с своим улучшающим почву севооборотом, большими удобрениями, хорошей обработкой и дорогими постройками, является имением единичным в этой местности. (Разрядка моя.— П. А.) Такая исключительность в значительной мере обуславливается личностью владельца, который теперь, за глубокой старостью, передал дело другому духовладельцу...»

«Другой духовладелец» — князь Алексей Николаевич. Но из документа не видно, что речь идет о банкротстве,— земля приносит свой доход, пускай не столь высокий, как в сверхприбыльной Проне, но все же приносит, и это при столь поразившем издавшего всякие виды чиновника способе хозяйствования. Как бы поточнее назвать его — рачительным или любовным? Скорее, пожалуй, второе — первое относится к Проне, где доходно все, даже 6 десятин «около забора».

У нас нет письменных свидетельств крестьян, живших поблизости и трудившихся на землях этих двух имений, но благодарная детская память оставила два описания самих имений: имеются в виду мемуары владыки Иоанна «Биография Юности» и изданные по-французски «Свет и тени» — воспоминания Зинаиды Шаховской.

Годы, прожитые детьми в Проне, сохранились в памяти архиепископа Сан-Францисского: «В усадьбе Прони, в большом ее парке, стояла церковь, недалеко от дома... Помню и пожилого батюшку этого храма, но не служащим... а сидящим с удочкой в «Дубках», на высоком лесном берегу озера среди нашего парка... Парк был в 90 десятин и среди него озеро в 7 десятин, где была рыбная ловля, купанье, охота, езда...»

Матово описала Зинаида Алексеевна, описала более подробно, любовно. Со страниц ее французских воспоминаний встает большой двухэтажный дом в «стиле русского ампира», и дикie каштаны у входа, и цветы — весенние, осенние, летние, один многоцветный букет: розы, пионы, астры, резеда, душистый горошек; буйноцветье акации и «как наводнение» — сирень, белая и фиолетовая, всюду, со всех сторон — память мемуаристики не желает разделять их по сезонам. «Я пишу слово «сад», и яблоны моего детства встанут передо мной. Аромат яблок наполнял дом все лето, и даже зимой, когда открывали подпол, где их хранили, он никогда полностью не выветривался. Вот ранние сорта: коричное и грушевка, затем прекрасные, непрочные и неперевозимые белый налив и золотой налив, которые собирал в тот момент, когда они становились настолько прозрачными, что сквозь их нежную кожу проглядывали черные косточки и зубы погружались не в мякоть, а в сок... Затем... благоухаю-

<sup>2</sup> ГАТО, ф. 121, оп. 1, ед. кр. 2004.

щая антоновка, воспетая Буниным, и, наконец, красивый, но менее любимый у нас апорт, гигантское яблоко, красное с одной стороны и белое с другой. Они были так красивы, что их можно было посылать к Елисееву...

Сегодня Матово и Проня — владения разных хозяйств, расположенных на землях Кимовского района Тульской области. От района, не так давно еще знаменитого своими бурными углями (Подмосковный угольный бассейн), но ныне пришедшего в полный упадок, осталась одна шахта (и та доживает последние дни) да действует пока открытый Кимовский карьер-разрез. Остальные же, выработанные, торчат справа и слева от шоссе страшными марсианскими кручами терриконов с отработанной породой, с остовами не нужных теперь построек. На землях совхоза «Проня» (не пропало-таки даром высокоэффективное хозяйство — в бывшем имении разместилась центральная усадьба совхоза!) работало 13 шахт! В результате земля сплошь пестрит заплатами подвалок — проседает, — и в этих ямах вода да камыш. В хозяйстве нет ни одного поля без подвалок!

Терриконы и подвалки — первое, что выхватывает глаз еще на подъезде. В самой же Проне высится здание спиртзавода, закрытого в разгар недавней антиалкогольной кампании. «Порезали автогенем линии, так и стоит», — пояснили мне. Спиртзавод давал барду — высококалорийные отходы («У бычков цепи в холки встали»), — но теперь он разорен, закрыт, не нужен, возвышается как мертвый террикон выработанной шахты посреди деревни.

Но где же «озеро» — 7 десятин пруда, сдававшегося под аренду рыбакам? Где помещичий дом? Где роща? Колокольня? Цветы? Обычная, раскинувшаяся на двух горах деревня с грязной недостроенной бетонкой, чухлый, поросший тинной и рыской прудик-ниточка, о котором позже зоотехник, узнав о былом великолепии, вздохнет по-маниловски: «А может, и правда нам стоит его почистить да рыбы запустить?»

Низкие, старые, грязные коровники — да и тех не хватает, половина скота (!) содержится на откорме у населения; мне могут жаловаться, что никак не встать в очередь на строительство — строителей в районе мало, объектов много. Гараж, прилепившийся к стене спиртзавода, с обязательными скелетами ржавой техники: «Комбайны работают от силы два сезона, а до этого надо их год перебирать по винтику. После на свалку: вот гэдзэровские косилки — те десять лет трудятся!» Словом, ничего необычного — старине был объявлен столь решительный бой, что и в памяти позатерялось, где стоял когда-то господский дом, например. Призванный мне на подмогу шестидесятилетний старожил сокрушенно покачал головой и вспомнил только цементные кормушки и полы в старом скотном дворе. «Теперь такого не построят». Картина обычного запустения, сколько раз виденная, и если б не оптимизм директора... Он упирал на низкие закупочные цены (а кто сейчас на них не жалуется), гордился строительством коттеджей — они действительно строятся в Проне, там, как ни странно, с жильем нет проблем, да плюс еще природный газ (одно из трех газифицированных хозяйств в районе, а всего их 21!); плакался на нежелание людей работать в поле и на скотном дворе: «У нас прописано 800 человек, из них в совхозе работает 200, а на книжках 1,5 миллиона!» То есть, округляя, по две тысячи на человека! У многих машины, мотоциклы у всех, кто хочет их иметь. «На комбайне не заставишь работать, раскрестянии крестьян—лентяи. Получат жилье и норовят уйти в город, благо Кимовское под боком, а там на заводе — 200 рублей верных, но два выходных и руки чистые. Нам очень людей не хватает». — «А как у вас с арендой?» — «Куда там! На аренду никто не пойдет — привыкли на всем готовом. Берут аренду только приезжие, чтоб наскоком урвать год-два-три — и сбежать».

Что же все-таки произошло и происходит? Слово специалисту, который расскажет о Проне да и не только о ней.

#### Сергей Андреев, экономист:

«Описание имения Проня» — документ очень интересный, его можно сравнить с экономическим описанием крупной капиталистической фермы. Прежде всего отметим весьма высокую экономическую эффективность хозяйства. Достаточно сопоставить такой обобщающий показатель, как урожайность. Одна из основных культур в имении — картофель, который приносил более половины дохода от растениеводства. Он давал 150 центнеров с гектара; а в совхозе «Проня» в 1988 году собрали всего 96,4. Теперь сопоставим другие показатели: смесь вики и овса в имении — 37,3 цент-

нера с гектара, в совхозе — 23,5; пшеница соответственно 14,9 и 14,1. По другим культурам сопоставление оказывается в пользу совхоза. Рожь: в совхозе — 18,1 центнера с гектара, в имении — 13,6; овес соответственно 23,6 и 14,9. Однако, учитывая научно-технические и материальные изменения, происшедшие более чем за семьдесят лет, логично предположить, что различия эти должны бы быть намного большими.

Интересно сравнить также специализацию имения и совхоза. Имение представляется мне в форме кулака, все пальцы которого крепко сжаты, в то время как совхоз похож на расслабленную пятерню или даже десятерню. Имение организовано компактно, все в нем экономически обосновано и взаимосвязано. Урожай зерновых культур и картофеля делится примерно пополам — одна часть на внутривозрастные нужды, другая на продажу. В основе деления — принцип разумной хозяйственной достаточности. Существенную часть дохода составляет садоводство и огородничество, причем под овощи отведены даже земли «около забора» и в междурядьях сада. Это ли не свидетельство хозяйского отношения к земле!

В имении, по-видимому, весьма успешно развивалось животноводство, дававшее почти 40 процентов валового дохода. В его основе собственная кормовая база и хорошие условия содержания животных (недаром ностальгические воспоминания о цементных полах и кормушках!). В хозяйстве сами производили масло и отлично справлялись с доставкой масла и молока в Москву, и не скисало на тогдашнем-то транспорте! Сегодняшних руководителей совхоза, к слову, именно это особенно поразило как нечто из области нереального. А ведь к тому же важной частью дохода являлся еще и пруд, сдававшийся в аренду.

Теперь поглядим на совхоз. По сравнению с имением возросло число выращиваемых культур: здесь и пшеница, и рожь, и ячмень, и овес, и вика-овес, и горох, и гречиха, и сахарная и кормовая свекла, и картофель, и овощи, и кукуруза на силос, и однолетние и многолетние травы. Привычка планировать сверху, без учета реальных природно-климатических и экономических условий привела к тому, что урожайность некоторых культур низка, производство их невыгодно. Так, например, пчел содержат... «для опыления гречихи», производство которой, в свою очередь, нерентабельно, равно как свежих фруктов, овощей, гороха... Площади под садами сократились с 41 гектара до 9 гектаров. Переработка на месте отсутствует. Директор совхоза при составлении плана заранее относит эти направления к убыточным. И при всем том хозяйство занимает девятое место (среди 21!) в районе по уровню экономического развития!

А чего ожидать иного, если аграрная теория социализма настаивает на том, что главное — любыми средствами создать крупные общественные хозяйства; если о формировании оптимальных и эффективных производственных условий в деревне десятилетиями даже не задумывались. Сельское хозяйство — сложная система, все производственные процессы здесь тесно связаны с природой, климатом, биологическими процессами роста и развития растений, а главное — с экономическими интересами людей, на этой земле живущих. Уследить за всем, ничего не упустить, вырастить нужный и приносящий доход урожай под силу именно ферме — недаром капитализм и по сей день (с известными модификациями) сохранил ее как основную производственную единицу. Фермер значительно более мобилен, нежели наши колхозы и совхозы, он волен принимать моментальные решения, касающиеся его дела, но соответственно он и рискует всем. Мы же пошли по другому пути — обобществили производство (вместо обобществления обеспечения и сбыта продукта), в результате люди потеряли интерес к обработке «общей» — ничьей — земли и ликвидировали хозяина.

Мы много говорили о пятилетних планах, которые все время росли, но вот недавно были проведены расчеты среднегодовых темпов прироста продукции сельского хозяйства в 1929—1985 годах, и цифры показывают — планы никогда не выполнялись! Выходит, опять на бумаге — одно, в жизни — другое. Как же заинтересовать работника? — ведь он этот развал видит постоянно, ежедневно, сам в нем участвует вольно и невольно. Директор совхоза «Пронь» досадует на потерю интереса людей к труду, но он забывает или не осознает, что раскрестянивание продолжается в том числе и им самим. Коренной вопрос здесь, повторю, — отношение работника к земле, к своему труду, возрождение чувства владельца.

Многие сегодня полагают, что аренда, кроме прочего, не идет сегодня еще и потому, что люди разуверились, боятся да и отвыкли работать, и только кардинальное решение — передача земли в полную собственность — даст возможность развернуть

ся тем, кто может работать или хочет учиться работать. Я придерживаюсь другой точки зрения: я — за аренду, но реальную, соответствующую принятому закону. Сегодня арендные отношения в строго экономическом смысле не имеют ничего общего с тем, что нам пужно. Если реальное право распорядителя земель имеют Советы, то они и должны сдавать землю в аренду (за плату) всем юридическим единицам: предприятиям, совхозам, колхозам, гражданам и их семьям. Эта аренда может быть как бессрочной — пожизненной, — так и краткосрочной. Надо четко определить не только обязанности, но и права арендатора, в первую очередь дать ему право свободно распоряжаться продукцией — право ее продажи. Экономически обоснованная арендная плата позволит провести ревизию земель, заставит теперешних владельцев отказаться от излишков, позволит передать землю (через Советы) нуждающимся.

Но вернемся к документам. Найденное в Тульском архиве «Заключение» чиновника весьма впечатляет. Один десятипольный севооборот чего стоит, это свидетельствует о хорошем знании и рачительном использовании хозяином Матова своих земель — главное не выжать все соки, а сохранить и приумножить плодородие почвы. Это действительно иной метод хозяйствования, нежели в «Проне». Пускай многие имения в конце прошлого столетия терпели крах, но Матово Шаховского — пример, на который стоило бы равняться. Это не экономический флюс, а сохранение традиций, не идущих вразрез с идеями столыпинских отрубков, это лучшая часть существовавшей тогда хозяйственной системы.

#### Василий Селюнин, экономист (реплика):

Мне представляется, экономическое сопоставление имения и совхоза страдает некоторой заданностью: раньше, мол, было прекрасно, теперь все плохо. В общем-то, так оно и есть в данном случае, но доказательства недостаточно строги. Скажем, убыточность ряда отраслей совхозного производства, на мой взгляд, ни о чем другом не говорит кроме как о несовершенстве закупочных цен, назначаемых в плановой экономике волевым порядком... Представляется довольно искусственным и рассуждение касательно обобществления сельскохозяйственного производства. Абсолютно верно, что укрупнение хозяйств до размеров колхоза или совхоза не оправдало себя, но ведь имение с угодьями свыше 500 десятин — тоже не мелкое хозяйство, особенно если учесть орудия труда того времени. Это уже не семейная ферма, а хозяйство с наемным трудом (вспомним, что несчастный обрусевший француз, хозяин имения, был зверски убит крестьянами-террористами, скорее всего наемными работниками). При таком раскладе верные суждения о преимуществах ферм, об экономических интересах земледельцев худо работают.

#### Петр Алешковский:

Исторiku всегда трудно спорить с экономистами. И все же ни одна реформа в России (в большой и долгой нашей истории) не была доведена до конца — выполняли, дай Бог, наполовину. Даже самая лучшая аренда, предлагаемая Сергеем Андреевым и теми, кто исходит из веры в законы, как государственные, так и экономические, не внушает мне доверия. Только чувство своего, чувство собственника, полная свобода и не узаконенный, но видоизмененный феодализм что-то могут изменить.

Сразу после революции на род Шаховских обрушились гонения: ближайшие их родственники были без суда и следствия расстреляны, мать Зинаиды Алексеевны была в 1918 году заключена под арест, и только заступничество матовских крестьян, напавших «приговора», спасло ее от гибели. «Крестьяне писали, что ничего плохого они от моих родителей не видели, а видели только одно добро», — вспоминает владыка Иоанн.

Признаться, особенно после знакомства с архивным документом, Матово казалось мне более интересным, а если быть точным, так ближе, что ли, а личность Алексея Николаевича Шаховского, продолжателя традиций своего дяди (а тем самым и своих предков), представлялась весьма значительной и... обычной. Я уже знал его судьбу, знал, что князь Алексей Николаевич, отправив семью в дальний путь, сам уезжать не пожелал — остался в России. Тогда, в восемнадцатом, никто не думал, что расставание будет долгим, вечным. Глава семьи, он спасал жену и детей от физического истребления, самому же уехать долг и честь не позволили. Алексей Николаевич Шаховской прожил недолго, он скончался в 1921 году в рязанском имении матери, и уже в Матове старожилы поведали мне весьма характерную легенду: «Он тихий

был, где-то сторожем нанялся да и замерз на улице, на лавочке — так нам говорили. А он действительно, видно, был «тихий» — что нужно было ему в жизни, кроме своей земли?

В нынешнем Матове домики жмутся к шоссе с обеих сторон, и чтоб их сосчитать, верно, хватило б пальцев на двух руках. Домики старые, лишь один, только что отстроенный, стоит немного на отшибе, но в нем прошлого и подавно не помнили, отослали меня к избе напротив, старой, с большой липой в изгороди. Кирилл Дмитриевич Богачев сразу же развел руками: «Вот был бы дядя жив, Василий, он у князей кучером работал, он бы все вспомнил, он любил вспоминать. Опустили на шесть лет». Но удивительно — и сам Кирилла Дмитриевич кое-что порассказал: «Я с 1912-го — до революции маленький был, но княгинины конфетки хорошо помню. Они как из-за границы возвращались, с отдыха, всегда ехали по деревне и нас, малышня, вкусными конфетками одаривали. Она добрая была женщина. А князь, тот вообще хороший был человек. Дядя говорил, что к нему запросто можно было прийти хлеба занять. Он только посмотрит так: «Отработаешь потом?» — «А как же, барин, отработаем». И бывало, что и не отработывали, а он прощал—добрый был. А как революция случилась, он сход собрал и говорил: «Мы всегда знали, что земля эта ваша, но об одном прошу — оставьте меня здесь управляющим». И все за были, а не вышло. Вот он и погиб, замерз...»

За вспаханным полем Матов сад — так теперь называется лесок, оставшийся от имения. Мало на тульской земле лесов, и, казалось бы, хранить их, беречь, но нет — лес погибает, никому не нужен, ибо это даже не колхозная, а государственная собственность. Лес зарос кустами, хвощом, деревья больные и столбики лесничего стоят как бы неизвестно для чего. Без присмотра и пруды (а ведь в округе за километры негде окунуться), они обмелели, тина, болотная жижа, и если б не гиблая почва на дне — ребенок вброд перейдет. И главная беда — сад, вернее, то, что от него осталось. «Лет еще с десять назад такой был сад! — вспоминает Кирилл Дмитриевич. — Вся округа яблоками кормилась, какая Антоновка была, из города рвать наезжали, а после порубили, бульдозерами прожали, засеяли гречихой. Не выгодно, значит: сторожей держать надо». Не выгодно...

Я шел дальше, в самые заросли. Одиравшие деревья с кислыми плодами неведомых сортов, мелкая, горькая вишня, растущая в беспорядке там, здесь, без рядов, как попало... Глаз никак не мог ухватить бывшего плана: где аллея, где же стоял дом? Крапива, крапива и темень в лесу, толстокорые деревья и грибы-дымовики великанских размеров под ногами. Прислонился к одному из стволов, поднял голову — и понял, что стою в яблонях! Деревья были могучие, удивительно могучие, кора похожа скорее на сосновую, а листья... по ним-то и стало ясно, что это яблоня. Сколько лет она простояла здесь не плодонося? После уже, переходя от ствола к стволу, нашел и дубы и липы, вычислил ряды парка, проследил парадную аллею, но ни фундамента, ни кирпичика не разыскать было в горах бурьяна, крапивы, дикой малины и выродившейся смородины. Когда спросил Кирилла Дмитриевича, почему не сберегли дом, он только молча покачал головой...

Как не вспомнить в завершение чудесные и точные слова русского помещика князя Алексея Николаевича Шаховского все из той же его единственной книжки-наставления «Что нужно знать каждому в России»: «Когда мы говорим о стране, поступающей справедливо или несправедливо, мы разумеем, что люди, которые ее населяют, избирают хороший или дурной путь. Итак, кто же заставляет Россию поступить дурно или хорошо? Кто делает ее страной, наполняющей ее гордостью или же вызывающей чувство стыда? Подумайте немного, и вы увидите, что это вы».

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Читайте в 1991 году:

**ПЕРЕПИСКА В. В. РОЗАНОВА И М. О. ГЕРШЕНЗОНА  
1909—1918**

Вступительная статья, публикация и комментарии В. Проскуриной.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НАУМ ЛЕЙДЕРМАН, МАРК ЛИПОВЕЦКИЙ

\*

## МЕЖДУ ХАОСОМ И КОСМОСОМ

*Рассказ в контексте времени*

**П**охоже, история опять повторяется. Вновь сетуют: «У нас нет современной литературы...» Нечто подобное говорилось и писалось лет двадцать пять назад, в середине 60-х. Горевали, что нет эпических полотен или что их мало, а те, что есть, качеством не устраивали. Взывали к новой художественности. Обращались с надеждой к документалистике, к «невыдуманной» прозе...

И в это же время, а точнее — летом 1964 года, вздумалось редакции «Литературной России» затеять дискуссию о современном рассказе. Почему именно тогда? Почему именно о рассказе? Вероятно, сами редакционные работники вряд ли ответили бы вразумительно. Скорее всего решили встряхнуть литературную публику во время летних отпусков. Ибо все делалось по давно заведенному чину. Опубликовали вполне казенную анкету. Оберегая некрепкие умы возможных адресатов от нечаянных методологических и теоретических уклонений, дали соответствующую ориентировку: «В рассказе социалистического реализма светлое, оптимистическое мироощущение диктует четкие и определенные сюжетные мотивы, дает жизнь интересным человеческим характерам...» И т. д. И т. п. Но дискуссия-то получилась. Начавшись в июне, она была завершена лишь в декабре, причем шла «густо», захватив многих критиков и писателей, привлекая читателей, которые стали втягиваться в разговор.

Оказалось, было о чем говорить.

Оказалось, что в то судорожное десятилетие, когда оттепель перемежалась с заморозками, пока не наступила — вопреки всем законам природы — двадцатилетняя застойная осень, в литературе было создано кое-что стоящее. Да, с романом действительно было худо: лишь один-два из написанных в это десятилетие выбились за пределы злословного чтения. И хорошие повести были пока наперечет. Но когда стали называть хорошие рассказы, то оказалась их целая россыпь. Не скупясь на комплименты (они, как показало время, были вполне заслуженными), упоминали шолоховскую «Судьбу человека», «При свете дня» и «Приезд отца в гости к сыну» Казакевича, «Матренин двор» Солженицына, «Эхо» и «Последнюю охоту» Нагибина, «Порожний рейс» Сергея Антонова. Обнаружили рождение целой плеяды талантливых новеллистов — называли Виктора Астафьева и Юрия Казакова, Андрея Битова и Георгия Семенова, Юрия Куранова и Сергея Никитина. Заметили отдельные рассказы В. Аксенова, В. Войновича, И. Грековой, В. Белова, А. Приставкина, В. Шукшина, Н. Воронова, Ю. Гончарова... Словом, оказалось, что у нас на рубеже 50—60-х (это десятилетие, 1956—1965, теперь называют шестидесятыми годами) рассказ переживал самый настоящий расцвет.

Однако обнаружили все это после того, как поезд уже ушел, последние вагоны пробежали под семафором. Когда на страницах «Литературной России» шел разговор о рассказе, сам рассказ уже сходил с авансены, оставались лишь преданные рыцари жанра. И уже в 1972 году Чингиз Айтматов констатировал, что «рассказ 60-х годов во многом утратил свою привлекательность и былую славу».

Наступали другие времена.

Не случилось ли нечто подобное в конце 80-х годов? Пока мы судим-рядим о литературном безвременье, сетуем на утечку членов СП в Верховные, местные и президентские Советы, похоже, мимо глаз, или в крайнем случае в зоне периферийного зрения, проходит (если уже не прошла) целая полоса в истории отечественной литературы, опять-таки связанная с новым подъемом рассказа.

Фактически все поколение «тридцатилетних» заявило о себе через рассказ. Да, собственно, и их ближайшие предшественники, те, кого называют сорокалетними — Маканин, Петрушевская, Ким, Курчаткин, — тоже блеснули в новеллистическом жанре. А нагибинская «Река Гераклита»? А «Век живи — век любви» Распутина? А «Жизнь прожить» Астафьева? Эти рассказы до сих пор скрываются в тени повестей «Встань и иди», «Пожар», «Печальный детектив», ошеломивших нас своей публицистической страстью. Но ведь если по «гамбургскому счету», то именно названные рассказы мы бы причисляли к высшим достижениям этих мастеров в 80-е годы...

Жанровый крен в разговоре о литературе всегда вызывает настороженность: опять, мол, будут классифицировать, загонять живое в академические клетушки, опять начнут строить какую-то табель о жанрах. Упаси нас боже от всего этого. Никаких иерархий жанров нет в природе. Жанры равноправны по существу, ибо каждый из них — будь то огромный роман или короткая новелла — создает из ограниченного жизненного и словесного материала целостный, бесконечно емкий и внутренне заверченный образ мира («сокращенную Вселенную»), и именно этот образ единственно способен воплотить эстетическую концепцию человека и действительности. Бывают бездарные романы и гениальные новеллы, бывает и наоборот. Среди жанров нет ни начальников, ни подчиненных. Но в динамике художественного постижения жизни одни жанры оказываются своевременными, а другие не очень. (Разумеется, если вести наблюдение в укрупненных масштабах.)

Новеллистическая модель мира не претендует на охват многомерности жизни, она не берется осваивать «всеобщую связь явлений». Это, действительно, по плечу лишь романам. Зато в новеллистической модели мира даже один-единственный эпизод помещается в центр художественной вселенной, и если в нем художник действительно уловил суть только родившихся жизненных противоречий, то этот эпизод обретает значение «судьбоносного мига» (как ни затерта эта формула Юрия Трифонова, здесь она наиболее уместна), мига, от которого зависит все — счастье и несчастье человека, лад или разлад в целом космосе людском.

Потому-то рассказ и набирает силу в ситуации духовного кризиса, на разломах эпох. В такую пору, когда отвергаются и разрушаются социальные, идеологические и художественные стереотипы, рассказ оказывается едва ли не единственным из прозаических жанров, который обладает способностью на основании самых первых, только-только прорезавшихся коллизий заявить новую концепцию личности. И не просто заявить, а очертить, сделать наглядно зримой и тем самым подвергнуть ее проверке «целым миром», воплощенным в нем эстетическим законом жизни.

Конечно, кризис кризису рознь. Одно дело — кризис отдельных идей, другое — кризис целой идеологии. Одно дело — трансформация системы эстетических ценностей, так сказать, косметический ремонт на ходу, а другое — ее решительная ломка, переделка на структурном уровне. Порой мы с близкого расстояния и не отдаем себе отчета в масштабности и значимости общественного перелома. И в силу этого не добираемся, не додумываемся до всей глубины смысла, воплотившегося в литературе этого времени. Но, к счастью, смысл этот уже «окаменел» в художественных формах, и к нему можно вернуться, чтоб пусть запоздало, пусть стыдясь своей прежней поверхностности, но все же восполнить объем правды о пережитой и переживаемой эпохе.

Почему мы об этом говорим? Да потому, что невозможно будет понять и верно оценить то, что происходит с рассказом 80-х годов, не соотнося его с рассказом 60-х. И это надо делать не только ради того, чтобы увидеть связь и различие между двумя ближайшими «пиками формы» жанра, а прежде всего потому, что сегодня совершенно очевидно родство социальных процессов, начатых в середине 50-х годов и обозначенных в то время лукавой формулой «борьбы против культа личности и его последствий», с тем, что в 80-е годы обозначается термином «перестройка».

## 1. БЛИЖНИЕ ВЕХИ

Как это ни странно, мы не вправе считать, что толком знаем рассказ 60—70-х годов. А ведь сколько было статей и даже солидных монографий о нем! Немало из созданного в новеллистическом жанре в этот период оставалось взаперти или было загнано в подполье. В этом ряду такие шедевры, как «Кольмские рассказы» Варлама Шаламова, «Параня» и «Охота» Владимира Тендрякова, «Пир» Валтасара Фазиля Искандера. А «изъятые из обращения» рассказы А. Солженицына? Неполнота же картины не могла не

искажать систему отсчета. И это приводило к тому, что даже те рассказы, которые попадали в число дозволенных, получали неадекватную оценку — в духе официального литературоведения. Именно так произошло с шолоховской «Судьбой человека». Как известно, в критике этот рассказ был возведен в соцреалистический канон, его постарались подогнать под требования казенного оптимизма с не переменным «большим человеческим счастьем» под конец, а Андрея Соколова объявили образцовым экземпляром «простого советского человека». Но мы не станем ближе к истине, даже если, следуя за М. Чудаковой, вместо Андрея Соколова выдвинем на пост первого «простого человека» (предусмотрительно убрав идеологический эпитет) Ивана Денисовича Шухова<sup>1</sup>. Ибо суть аргументации от этого не меняется. А ведь «простого человека», в смысле — носителя народного сознания со всеми его родовыми достоинствами и пороками, наша пооктябрьская литература являла не только в припомнившемся М. Чудаковой герою зощенковских рассказов, но и в двенадцати Блока, бабелевских конармейцах, замятинском «Дракон», мужиках из «Голого года» Б. Пильняка, Гараське Бокове из яковлевских «Повольников», лавреневской Марютке, булгаковском Шарикозе...

Нет, новизна «Судьбы человека» была не в возврате к «простому человеку». Она была в возврате к «простой» системе ценностей, к вековым, выстраданным и выношенным общечеловеческим нравственным идеалам. Эти ценности обозначаются в рассказе Шолохова земными житейскими понятиями: любимая жена («И не было для меня красивей и желанней ее, не было на свете и не будет!»), семейный лад, славные, умные дети, работа по душе, достаток («Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке»). Никакие другие ориентиры: ни политические, ни идеологические, ни классовые, ни расовые, ни конфессиональные, — никоим образом не восприняты Андреем Соколовым. Да их попросту и нет в мире шолоховского рассказа. Собственно, самые выдающиеся рассказы конца 50-х годов были знаменательны именно возвращением к «простым» и вечным, общечеловеческим ценностям. Уж насколько несовместим с Шолоховым — и духовной своей биографией, и воззрениями, и общественной позицией, и творческим поведением — Александр Солженицын, а вот между его рассказом «Матрёнин двор» и «Судьбой человека» есть немало общего. Главное — тот же эстетический объект: «простой человек» как хранитель общечеловеческих духовных святынь.

Правда, у Солженицына значительно сильнее полемический пафос. Его Матрёна Васильевна живет «в самой нутряной России», в глубинной деревне, погружена в самую затрапезную повседневность, среди односельчан не то что не почитается, а скорее наоборот: «не так уборно, в залуци живёт», как говорят о ней соседки. А между тем в «Матрёнинном дворе», как и в «Судьбе человека», едва ли не с первых строк начинает звучать высокая нота, возникает апофеозный тон. Он идет от ориентации рассказов на память «высоких» жанров: если «Судьба человека» проецировалась на эпос, то в «Матрёнинном дворе» просвечивают контуры жития святой великомученицы. Если в «Судьбе человека» двигателем сюжета было огромное эпическое событие — вражеское нападение, то в «Матрёнинном дворе» сюжет — течение простой деревенской жизни, не нарушаемое никакими внешними потрясениями, но отчего-то внутренне тревожное, пронизываемое, как нервными токами, необъяснимыми страхами, роковыми предчувствиями, мистическими предзнаменованиями, гнетом старого проклятия. Хотя все эти страхи и знамения облечены в заурядную житейскую плоть (вроде пропажи Матрёнина котелка на водосвятии в церкви или исчезновения колченогой кошки со двора), но они создают своеобразную ауру, созвучную агиографическому жанру.

Однако источник роковых бед лежит внутри самого мира, который окружает Матрёну. Мир этот заражен жадностью, жестокостью и бесчувствием. Солженицын напрямую связывает разгул этих «библейских» пороков с укладом российской деревни эпохи «сплошной коллективизации» — с самоуправством колхозных председателей, сводящих под корень изрядно гектаров векового леса, с принудительной за пустопорожные «палочки трудодней в замусоленной книжке учётчика» и соответственно — со всеобщим безразличием, разором и развалом. «Ни к столбу, ни к перилу эта работа. Станешь, об лопату опершись, и ждешь, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать. Да ещё заведутся бабы, счёты сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда, бывалоча, *по себе* работали, так никакого звуку не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил»

<sup>1</sup> См. Мариэтта Чудакова, «Сквозь звезды к терниям. Смена литературных циклов» («Новый мир», 1990, № 4).

(курсив автора), — говорит после очередного «выгона» на общие работы Матрёна, со стыдом говорит.

Но такова объективная, заматерелая реальность. Таков с ей мир,

Матрёна же — не от мира сего. Осуждаемая этим миром («...и нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросёнка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глухая, помогала чужим людям бесплатно...»), она живет не по нормам и законам этого мира, вопреки им. Она живет праведно.

Матрёна Васильевна претерпевает муки и совершает праведные дела в пределах бытовых координат колхозной деревни. Сюда входят и почти ежедневные походы на потайную добычу торфа для растопки, и двухмесячные мытарства по канцеляриям за справкой на пенсию. А то еще надо по приказу председателя жены ехать навоз вывозить, то по бесперемонному требованию соседки подсоблять ей картошку докапывать, то, впрягшись с другими бабами в плуг, пахать чей-то огород... И праведность Матрёны в том, что даже в таких изнуряющих, мелочных, нередко унижающих испытаниях она остается терпимой и терпеливой, незлобивой и отзывчивой, способной радоваться чужой удаче... В этом-то и открывается святость Матрёны Васильевны — в неприятии одичания и злобы окружающего мира, в сохранении простой человеческой душевности.

Неканоническая святая. Житие праведницы и великомученицы эпохи «сплошной коллективизации» и трагического социального эксперимента над целой страной. В том, что этот вечный тип праведника не переезжал на Руси, вся надежда автора на духовное выживание народа. Как у Шолохова — на прошедшего сквзсь все испытания второй мировой войны Андрея Соколова, на то, что он «выдюжит».

Но проблема «простого человека» оказалась не такой-то и простой, в ясном свете «простых законов нравственности» таился целый спектр разных цветов и оттенков. Это сразу же ощутил Солженицын. Обратите внимание: одновременно с «Матрёниным двором», в том же 1959 году, написан «Один день Ивана Денисовича». (Солженицын называет его рассказом, и с полным на то основанием.) А ведь между этими двумя рассказами идет своего рода диалог.

Да, объект изображения, тип личности в обоих рассказах, в сущности, один — «простой человек», жертва жестокого обездушивающего мироустройства. Но вот отношение к этому человеческому типу в рассказах разное. Это уже чувствуется по названиям — имеем в виду допечатные, собственно авторские, а не редакционные названия: первый рассказ назывался «Не стоит село без праведника», а второй — «Ц-854 (Один день одного зэка)». В воспоминаниях Солженицына о рождении замысла этого рассказа есть такая фраза: «...достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра до вечера».

Праведник и средний, ничем не примечательный зэк — это ведь разные по «высоте» оценки. И действительно, то, что в Матрёне предстает как «высокое» (ее извиняющаяся улыбка перед грозной председателем, ее уступчивость перед наглым напором родни), в поведении Ивана Денисовича выглядит несколько иначе. Называется это «подработать»: «...шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вокруг кучи, не выбирать; или пробежать по каптёркам, где кому надо услужить, подмести что-нибудь; или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку — тоже накормят» — и т. д. и т. п. Конечно, никто не посмеет осудить Ивана Денисовича за то, что он таким вот способом существует — он так за жизнь борется, — но все-таки ставить его на божицу рядом с Матрёной Васильевной тоже не совсем ладно (хотя такие попытки не прекращаются до сих пор).

Матрёна рисовалась как святая («Только грехов у неё было меньше, чем у её колченогой кошки. Та — мышей душила...»). А Иван Денисович на праведника не тянет, он всякий, в нем понамешано всего — высокого и низкого, мудрого и недалекого, может он и пособить слабому, может и поднос выдрать у зэка, что пошудлай. В отличие от эстетически одномерного, эпически завершенного характера Матрёны характер Ивана Денисовича по-романному противоречив и разомкнут.

Матрёна была не от мира сего, чужой ему и его нормам. Иван Денисович — свой в мире ГУЛАГа. За долгие «восемь лет сидки» он сросся с лагерем и потому «уж сам сн не знал, хотел он воли или нет». Он принял свою искаленную судьбу как данность и покорно, молча несет свой крест. Как Матрёна Васильевна. Но если в рассказе «Матрёнин двор» терпение героини окружалось житийным ореолом, обретало значение мо-

рального абсолюта, то в «Одном дне...» существование Ивана Денисовича предстает как при терпелость и лишено высокого нравственного ореола.

Внутренний диалог между двумя рассказами Солженицына — это хоть и показательный, но все же штрих в полемике о судьбе «простого человека» в жестоком мире, о возможностях и пределах «простых законов нравственности», об иных источниках сопротивления человека тоталитарному злу, в который стал втягиваться рассказ периода оттепели. Причем полемика эта была неофициальной, нигде и никем прямо не выраженной. Это была полемика идей, носящаяся в воздухе. Веское слово в ней произнес Варлам Шаламов. Его «Колымские рассказы» опубликованы совсем недавно, но написаны были большей частью в оттепельное десятилетие и пропитаны полемическим духом по отношению к идеям и формам того времени.

Именно у Шаламова из мозаики рассказов (а их около сотни) впервые возникает образ Колымы — огромного концлагеря, заместившего собою всю страну, поглотившего весь мир, цинично попирающего самые элементарные человеческие нормы и утвердившего вместо них тюремные законы ГУЛАГа. Именно у Шаламова с ужасающими физиологическими подробностями показано, как в чудовищных жерновах Колымы раздавливается человеческая душа, личность низводится до положения безличного существа, теряющего разум и даже инстинкт жизни. Но именно в этом страшном мире для человека, пыгающегося остаться самим собой, высочайшую нравственную ценность приобретает случайно вспомнившаяся строчка из стихотворения забытого поэта, нечаянно подсмотренная литургия, которую служит экз-священник на снегу посреди лиственниц, чудом сказавшийся на Севере роман Марселя Пруста, письмо от Пастернака, полученное в колымской ссылке... За этими образами стоит Культура как средоточие огромного духовного опыта, выработанного человечеством. Там, где все направлено на низведение человека до положения безмысленного и безчувственного животного, самой прочной основой или даже формой сопротивления становится бережное поддержание даже самых зыбких связей сознания с культурой, сохранение дара нормальной человеческой речи, сохранение способности и желания мыслить. Ведь тот, кто хочет думать, может и додумываться, додумываться до сущности того зла, которое превратило целую страну в концлагерь. А тот, кто понимает, тот уже не раб, а судья этого зла, возвышающийся над ним последней, неотъемлемой своей свободой — свободой выбора между жизнью и смертью.

Такой нравственный кодекс угадывается в поведении стариков, жилистого и высокого, из «Одного дня Ивана Денисовича». В «Колымских рассказах» этот кодекс материализован не только в поведении немногих персонажей (старый политкаторжанин Андреев из «Лучшей похвалы», главный герой рассказа «Последний бой майора Пугачева»), но и в позиции повествователя — мыслителя и резонера. Наконец, он воплощен в самой жанровой структуре шаламовских новелл. Наиболее совершенные из них («Надгробное слово», «Сентенция», «Крест», «Как это началось») представляют собой необычайные сплавы, куда, с одной стороны, входит какой-либо из малых жанров, тяготеющих к натурализму (физиологический, этнографический или путевой очерк, бытовая зарисовка), а с другой — дидактический жанр, связанный с проповеднической или просветительской традицией (житие, надгробное слово, сентенция, максима и т. п.). В свете памяти старинных святынь и благородных ритуалов, под скальпелем отточенной мысли Колыма предстает как антимир, мир абсурда, находящийся в вопиющем противоречии со всеми общечеловеческими установлениями, которые за тысячелетия выработаны мировой культурой.

«Судьба человека», «Матренин двор» и «Один день Ивана Денисовича», «Колымские рассказы» стоят в самом начале новой дороги, которая возвращала нашу литературу к вековой традиции — к исследованию мироустройства в свете общечеловеческих ценностей. Но с очень существенным ориентиром — через осмысление места и роли в этом мироустройстве духовного опыта «простого (среднего, массового, рядового, ничем не примечательного) человека», современника всего, что происходило и происходит в этот век, на этой земле, в этой стране. Дальнейшее развитие рассказа в 60-е, да и в 70-е годы шло по этой дороге.

Тут и следующая в русле сильной традиции русского социально-психологического рассказа малая проза Федора Абрамова и Владимира Тендрякова (лишь недавно опубликованные «Пара гнедых», «Параня», «Хлеб для собаки»): точный анализ того, как удерживающийся или уже утвердившийся в самом деревенском укладе колхозно-совхозный абсурд не только ломает осмысленный извечный порядок жизни, но и увечит

человеческую душу, приучая ее к безнравственности, примиряя в ней несовместимые, взаимоисключающие достоинства и пороки.

Тут и совершенно новый тип рассказа, созданный Василием Шукшиным: драма в ореоле эпоса. Шукшин фактически вступил в полемику с авторами «Судьбы человека» и «Матрениного двора», когда показал «простого человека», честного труженика, доброго мужа и отца лишенным внутренней цельности. Столкнувшись с бытием, задавшись вопросом из разряда «последних»: «Для чего же, спрашивается, мне жизнь была дадена?» (а вопросы помельче герой Шукшина и не ставит), — он не может найти ответа. И оттого чудит — нелепо, смешно, а порой и зло. Но разладу в душе героя Шукшина противопоставляется лад в бытии, окружающем его: в круговороте природы, в смене поколений, в устойчивости нравственных заветов. Это противопоставление усиливает драматизм состояния героя, который смотрит, да не видит, но зато подсказывает спасительный ответ, указывая путь к ладу. И в этом смысле Шукшин верен принципам, которые родились в рассказах Шолохова, Солженицына, Шаламова.

Собственно, поиск тех скреп, стяжек, стержней, которые могут противостоять хаосу, восстановить смысл, наладить гармонию в мире, составляла одну из главных забот новеллистики 60—70-х.

В цикле Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» здоровая карнавальная культура абхазского народа обнажает всю противоестественность маскарадной культуры «эпохи великого Сталина» и со смехом утверждает свою неискоренимость. А в цикле о Чике здоровым и упорядочивающим началом выступает неискаженное детское восприятие мира. Этой же мерой, взглядом ребенка, оценивает мир и В. Распутин в рассказе «Век живи — век люби». Вечные, никем не отменяемые, всемогущие законы бытия, персонифицированные в могучей стихии «Анисья-батюшки», становятся судом над суматошной, непутевой жизнью целой крестьянской родовой в астафьевском рассказе «Жизнь прожить». А Ю. Нагибин собрал в рассказе «Река Гераклита» все эти «гармонизирующие системы»: память культурных традиций, мир детства, вечное бытие природы — только бы найти смысл и привести в порядок повседневную, сотканную из мелочей, дробную и смятенную жизнь своих героев, среднестатистических московских интеллигентов. В известной мере завершила всю эту линию в развитии современного рассказа пронзительная новелла Ю. Казакова «Во сне ты горько плакал» и цикл Ю. Трифонова «Опрокинутый дом», ибо в этих трагических, по сути, произведениях тоже, как и у Нагибина, сведены разноплановые бытийные ценности — и все равно оказывается, что даже они не спасают от мучительного предчувствия всеобщей катастрофы, нависшей над всем живым, думающим, страдающим...

Этот поворот далеко не случаен. Интенсивные поиски гармонии были прямо пропорциональны усиливающемуся сознанию безысходного духовного и душевного разлада, который становился все глубже, все тягостней.

## 2. «ПО ГИБЛОМУ НАСТУ, ПО ТАЛОЙ ЗВЕЗДЕ...»

Вполне закономерен тот печальный факт, что в начале 80-х вопрос о том, как наладить жизнь вопреки хаосу, сменился вопросом о том, как жить внутри хаоса тоталитарной системы и в этом будничном распаде все-таки оставаться человеком. Именно на этом рубеже произошло рождение так называемой прозы «сорокалетних» и созданного ими особого типа современного рассказа.

Метасюжет рассказа «сорокалетних» со всей определенностью сложился уже в «маленькой трилогии» Владимира Маканина. Рассказы «Человек свиты», «Антилидер», «Гражданин убегающий», один за другим появившись в начале 80-х, сразу же стали визитной карточкой зрелого Маканина, сразу были распознаны как нечто целостное и безусловно значительное. Перечитывая эти рассказы сегодня, нельзя не увидеть, что социологическая фактура, закрепленная броскими названиями-формулами, — это лишь внешние знаки единства «маленькой трилогии». Истинной же его основой стал у Маканина общий, пронизывающий все эти рассказы сквозной вопрос — вопрос о свободе. Точнее, вопрос о свободе от системы внутри системы. Причем Маканин со строгой настойчивостью приходил к пониманию того горького обстоятельства, что обезличивает, превращая человека в выброшенную непарную перчатку, не только верная служба системе, как в «Человеке свиты», но и истовое бегство от системы, правда бегство, подчиненное тем же самым разрушительным, хаотичным зако-

нам, по которым существует сама система, как в «Гражданине убегающем». Случайно ли жизненный девиз «убегающего» Костокова: «Дальше, ребята. Дальше. Как можно дальше...» — так напоминает навязчивые идеологические попевки «большого времени», все эти «вперед и выше», «догоним и перегоним»?

Человек свиты — гражданин убегающий — антилидер. Тезис — антитезис — синтез. Верность системе опустошительна, бегство от системы бесплодно, бунт внутри системы обречен, трагичен и двусмыслен. В сущности, три катастрофы. Но в каждом из этих рассказов В. Маканин добывает новый элемент формулы свободы, с неопровержимой четкостью доказывая невозможность свободы без чувства самоценности личности, без ответственной нравственной связи с миром и людьми вокруг себя, без осознанности, осмысленности каждого шага.

С человеком свиты — а вернее, человеком системы — мы встречаемся и у А. Курчаткина («Черный котенок в зеленой траве», «Новый ледниковый период»), и у В. Попова («В городе Ю.»), и у А. Кима («Приключения мис»), и у А. Афанасьева («Комариное лето»), и у А. Шавкуты («Метаморфозы»). Однако, на наш взгляд, никаких принципиальных открытий в этих рассказах по сравнению с новеллой В. Маканина, строго говоря, не происходит.

Другое дело — «убегающие».

У Л. Бежина есть цикл рассказов «Правила жизни», пополняющийся в каждой его новой книге. Его герои — люди, пытающиеся сознательно выстроить свой быт, так сказать, в окрестностях вечности, пропитать его законами эстетики, насытить тонкой культурой, пронизать нитями вековых традиций. И будь то «мастер дизайна», тщательно отработавший ритуал жизни, или Алексей Федотович, радостно отдавший остаток лет поэзии чайной церемонии («Искусство чаепития»), или, наконец, персонажи рассказа «Фубра» (из недавней книги «Ангел Варенька». — М. 1989) — все они ищут «правила» духовной свободы, жизни по душе, и это главное. Это не маканинские убегающие бичи — тут интеллигенты, культурологи, эстеты. Но поразительно отношение Л. Бежина к избранным его героям «правилам жизни». Ему самому они явно не чужды, и он (профессиональный востоковед, культуролог, автор идеи музея бытовой эстетики XIX века) с любовью и тщанием описывает и разъясняет все эти церемонии и ритуалы, умея передать их не тускнеющую мудрость и красоту. И в то же время настойчиво их опровергает. Сначала эти «опровержения» были довольно прямолинейными, как, скажем, в рассказе «Мастер дизайнера». Куда более тонко и куда менее бесспорно выглядит «поединок с дизайном» (по выражению А. Немзера) в рассказе «Фубра».

Выясняется, что система и ее порождающие механизмы вмонтированы в душу «убегающего». И бег за свободой, оказывается, отмечен печатью внутренней неволи. Эта печать проступает во всем; и в готовности ограничить себя радеей, некими суровыми «правилами жизни», некоей доктриной, а то и восторженным культом хоть чего-нибудь; и в недоверии к собственному пути, личному опыту ума и сердца, и в радостной готовности немедленно отречься от себя, от собственного нравственного статуса во имя «другой жизни»; и в непреодолимом ощущении вязкости той почвы, на которой человек вырос и которая магнитом притягивает к себе, как рок, как необходимость, все время напоминая о впитанной с детства рабской покорности общему ходу жизни, в который как составная часть входит и этот комплекс «убегающего».

Но ведь возможен и поединок с системой. Причем не вслепую, не по наитию, как у маканинского антилидера, а с полным сознанием, с постоянной рефлексией и самоанализом. Каков здесь исход?

«Даю себя жечь, вязать и убивать железом!» — эти слова гладиаторской клятвы, которую произносит Марк Габиний Круг, герой рассказа В. Курносенко «Римлянин», заключают в себе существо его экзистенциального, а не социального или бытового антилидерства. Он продал себя в гладиаторы, то есть в рабы, играющие со смертью, потому что со всей остротой ощутил невозможность примириться с лидерами и удачниками сего мира; и его бунт против отчужденного, бессмысленного, отвратительного грязного порядка вещей состоит в том, что он на торг бросает собственную жизнь. Его безразличие к цене «я» есть прямой вызов этому порядку вещей. Этот бунт по-своему парадоксален. Чем жить этой жизнью, не в силах ответить на главное «зачем?», чем довольствоваться жизнью во тьме духовного небытия, герой «Римлянина» предпочитает жить смертью, на острие этой единственной абсолютной категории, оставшейся в расплывшемся, как гнилая ткань, мире.

Это не побег, это именно бунт против бытийной бессмыслицы и экзистенциального разора.

Этот бунт не может принести победы, но приносит ли он свободу бунтующему? Он освобождается от страха смерти, того страха, о котором В. Курносенко в программном своем рассказе «Побег» писал: «Раньше я думал: подлость — дочь смерти. Это неправда. Подлость — дочь страха смерти, а стало быть, жизни». Но бунт этот не дает освобождения от давления взбесившейся системы, от ее цезаря и символа — Нерона. Нерон глумливо отнимет и растопчет то единственное, что связывает гладиатора Марка Габиния с бытием, — его Юнию. И лишь после этого искалеченный, гибнущий, парализованный Габиний в финале рассказа все-таки свободен. «Свободный, с перебитым позвоночником» — таков, вероятно, не только буквальный, но и метафорический, обобщающий исход экзистенциального бунта против системы внутри системы. Победил тот, кому нечего терять. Путь к такой свободе давно проложен Сенекой (кстати, в «Римляnine» на пути героя встречается философ, проповедующий отречение от страстей). Но не обесценена ли эта свобода страшной платой за нее? Если относиться к свободе как к высшей ценности, то нет, не обесценена. Ну а если светом верховных ценностей освещена сама Жизнь — в ее пестром, противоречивом, завораживающем течении? И если эта художественная философия сопряжена все с той же коллизией экзистенциального антилидерства? По нашим наблюдениям, первым опытом в этом направлении был рассказ А. Битова «Вкус». В этом рассказе Монахову, центральному персонажу, избавление от душевной онемелости, от опустошенности приходило в тот самый миг, когда на кладбище перед лицом смерти его пронзало сознание разрушения всех фундаментальных основ реальности и рождалась «спокойная, здоровая, живая ненависть» ко всему тому, что уравнило жизнь с небытием, сделало живых похожими на кладбищенские памятники, превратило мелкого прохиндея в князя тьмы. Это действительно свобода, причем прочная и ответственная. «Он видал зло. Он не ведал сомнения. Он понимал, что за свои грехи он вполне готов ответить. Но — вот этого — не простят никогда. Вчерашняя идиллия мертвецов, похожих на свои памятники, разъярила его. То, к чему мы идем, не было ни перспективой, ни угрозой. То, к чему мы пришли, было фактом». Боль за растерзанную жизнь — вот почва этой духовной свободы. Отчаяние — вот ее синоним.

Совсем в ином направлении разворачивается эта парадоксальная коллизия в новеллистике Л. Петрушевской. Петрушевская вводит в метасюжет рассказа «сорокалетних» новое действующее лицо — автора. Именно авторское сознание соединяет у Л. Петрушевской бесконечно трепетное отношение к тонкой ткани жизни, какой бы грубой и непривлекательной она ни становилась, с бунтарским, «антилидерским» стремлением перевернуть с ног на голову всю общепринятую, благополучную систему представлений о жизни и человеке. И это не прямое, не слишком явное, но все же достаточно веское вмешательство автора в традиционный сюжетный круг рассказа «сорокалетних», по сути, переводит эту «форму времени» в совсем иную систему координат, размывает ее в совершенно другой образ мира. Жизнь в ее рассказах поразительно бессвязна — она вся состоит из кусков и автономных осколков. Муж выбрасывается из окна, а жена в это время и в этой же комнате, принципиально — ссора! — не оглядываясь, перебирает вещи, а потом искренне горюет по покойнику («Грипп»). Человек десять минут стоит на коленях посреди учреждения, а люди проходят мимо, совершенно этого не замечая, «как некую истерику». У Петрушевской есть даже несколько рассказов, запечатлевших один только миг, но как целостное, многоходовое, замкнутое в себе событие («Милая дама», «Дочь Ксении»). Здесь даже формируется особая, бессвязная мораль, ее теоретик и практик Андрей из «Смотровой площадки» — хозяин этой кусковой жизни, легко и играючи, без угрызений совести разрушающий все, что встречается у него на пути (от интерьеров до судеб), и все потому, что «он словно бы торопил сиюминутные события, чтобы они поскорей прошли и дали бы место другому — но чему?».

Если ты не толстокож подобно Андрею, то как же мучительно жить в этой бессвязной мешанине! Как тягостно, как больно. Как хочется сбежать, бросить все, к чертям собачьим. Но «жестокость» прозы Л. Петрушевской не в том, что она об этой муке пишет, а скорее в том, что она как бы на пороге отмечает такой вариант судьбы, как убегание. Убегать некуда. «...все в свое время думала, что с ними что-нибудь случится, что он от нее уйдет, не выдержав этой великой любви, и он от нее ушел, но не так», — говорится в рассказе «Элегия». А как? Упал с крыши — и



на смерть. А в «Бессмертной любви» героиня, сбежавшая от большого ребенка и мужа за любимым человеком, не случайно в конце концов оказывается в сумасшедшем доме. Иного не дано. Антитезой «броуновской», по выражению В. Камянова, житухи оказывается не какая-то возвышенная или, напротив, люмпенская «другая жизнь». Но либо смерть, либо безумие.

Тем величественней масштаб образа «житухи». В том и дело, в том и секрет прозы Л. Петрушевской, что дробная, бессвязная, принципиально нероманная картина жизни в ее рассказах опять-таки последовательно романизирована. Причем иначе, нежели у А. Солженицына или В. Маканина. Особенно выразительно романность рассказов Петрушевской проступает в их концовках — вообще говоря, именно концовки рассказов всегда наиболее зримо запечатлевают сам принцип художественного завершения, избранный художником.

Чем поражают эти концовки? Бытийной тоской и горечью, страданием уходящей и разрушенной жизни. Но из-за чего? Из-за обиденных неурядиц, конфузов, унылых катастроф этой бессвязной, спутанной жизни. Рассказ о хаме-ловеласе заканчивается всплеском подлинной экзистенциальной боли: «Однако шуткой-шуткой, шуткой-смехом, как говорит одна незамужняя библиотекарьша, шуткой-смехом, а все-таки болит сердце, все ноет оно, все хочет отпущения. За что, спрашивается, ведь трава растет, и жизнь неистребима вроде бы. Но истребима, истребима, вот в чем дело» («Смотровая площадка»). И отчаяние в этой жизни не бытовое, а всеобщее, можно сказать, космическое: «...никто не знает, как они касаются головой подушки и тут же засыпают, чтобы вернуться в ту страну, которую они покинут опять рано утром, чтобы бежать по темной, морозной улице куда-то и зачем-то, в то время как нужно было бы никогда не просыпаться». О ком это? О Ромео и Джульетте, о Лире и Корделии? Нет, о пьющей матери и ее маленькой дочери («Страна»).

Какой художественный закон стоит за этими обычными для Петрушевской концовками? Какая эстетическая философия позволяет Петрушевской так смело и так убедительно совмещать в своих рассказах житейские дребезги с истинно романной болью за жизнь как целое?

Что, например, поняла главная героиня рассказа «Свой круг»? Ведь, поняв, почувствовав не что, она, человек, по всей видимости, не слишком умный, оказывается мудрее всех умников «своего круга». Что ей открылось?

Ей открылась смерть. Сначала страшная в своей будничности смерть родителей: «...когда нам ее выкатили умершую, вспоротую и кое-как зашитую до подбородка и с этой дырой в животе, я не представляла себе, что такое вообще может произойти с человеком...» Ей открылась близость собственной смерти — она обнаруживает у себя ту же наследственную болезнь, от которой умерла ее мать. Но главное: ей, брошенной мужем, чужой в своем кругу (впрочем, все они чужие друг другу), открылось в полной мере бесконечное одиночество — свое и в особенности своего сына, и так осиротевшего после смерти бабушки с дедушкой, лишившегося отца, а не за горами — смерть матери. Она это поняла. И все, что она делает, она делает исходя из этого понимания.

Она поняла, что вся эта дружба по пятницам, которая представлялась отдушиной, способом внутренней изоляции, что все эти «кровосмесительные» смены жен и мужей в своем кругу, вся эта мышьяная возня, в которой взаимного безразличия больше, чем ненависти и любви, что вся дробная и мелочная муть, ставшая для всех нас на долгие годы «своим кругом» жизни, — что все это и есть бытие. Именно это и поняла героиня рассказа.

Такое бытие. Другого нет и не будет. И смерть тоже такая. И, готовясь к смерти, героиня «своего круга» поступает именно по таким законам — и именно поэтому из любви к сыну, из муки за его грядущее одиночество она решается избить до крови свою кровиночку, чтобы «чужие свои» пожалели его, когда она умрет. Страшно? Но в этой страшной логике — мудрая и мужественная мысль о «мире без меня». Об этом, о таком мире — без меня. Безысходное одиночество человека и беспощадная, бессвязная алогичность жизни как закон бытия. Вот та трагическая истина, к которой вместе со своими героями приходит Л. Петрушевская.

Известно, что большая часть рассказов Л. Петрушевской написана в 70-е годы. Но, видно, Л. Петрушевская действительно опередила время, если ее рассказы так значимо вписались в литературную эволюцию 80-х. Если метасюжет рассказа «соркалетних» начинался с попыток изнутри преодолеть быт, понятый как выражение

повседневной, отчужденной от человека тирании общественной системы, если эти попытки с необратимостью заводили в тушки, оборачиваясь горькими открытиями и «спокойной, здоровой, живой ненавистью» (А. Битов), то Л. Петрушевская опять возвращает нас к быту, но понимает его уже не как антитезу бытия, не как антоним системы, но как зримое воплощение экзистенциального трагизма всей — в целом — жизни сегодняшнего человека.

По сути дела, Петрушевская таким парадоксальным и даже, может быть, беспощадно жестоким путем приходит к пронзительному ощущению вечной значимости самой тягостной повседневности, заставляет пережить непреходящую, притом суверенную, ценность настоящего. Вне всякого отношения этого настоящего к будущему или к прошлому, к идеологии или к идеалу. Так — через трагедию — внутри разрушается самая, пожалуй, цепкая власть системы над человеческой душой — власть, приучившая к тому, что смысл и цели жизни находятся за пределами настоящего, за гранью повседневности.

Выходит, все-таки есть завершение у стержневой коллизии рассказа «сорокалетних»? Выходит, достижима духовная свобода от системы — хотя бы в позиции автора? Выходит, достижима.

Такая вот свобода. И такой вот мучительной ценой.

### 3. «КРОМЕШНЫЙ МИР»

Один из наиболее явных парадоксов культурной ситуации, сложившейся в условиях гласности, состоит, пожалуй, в том, что одновременная публикация произведений давних и относительно недавних, овеванных легендой и узанных впервые, по сути дела, превратила все эти произведения независимо от времени их действительного создания в факты современной литературы, уравнив их тем самым в правах, породив невозможные в историческом плане сопоставления и сращения. Так, к примеру, рассказы В. Шаламова оказались рядоположными «жесткой» прозе С. Каледина, Л. Габышева, Б. Крячко, С. Василенко, афганским рассказам О. Ермакова, О. Хандуся, физиологическим очеркам В. Москаленко, С. Бардина, многих других. Общность обнаружилась прежде всего в беспощадно натуралистическом изображении ужасной правды жизни. Однако эта поверхностная общность не только резко обедняет восприятие прозы того же В. Шаламова, но и не позволяет реально понять и ощутить художественную специфику «натуральной школы» 80-х. А к ней стоит присмотреться.

В этих рассказах идет кровавая, бессмысленная война — не только в Афганистане, но и в родном отечестве. В них ровесники, одетые в армейское хэбэ или тюремную робу, придумывают друг для друга такие пытки, от которых волосы встают дыбом; в них человека убивают коротким ударом руки и долгим топтанием ног; в них идиотизм системы находит свое воплощение в образах измочаленных жизнью опоск, хануриков, бродяг и эзков. Своего рода символ этого типа рассказа видится в сцене, по странному совпадению одновременно, хотя, конечно, по-разному, описанной О. Ермаковым и Б. Крячко. У О. Ермакова в рассказе «„Н-ская часть провела учения“ 1981» без всякой аффектации повествуется о том, как деловито во время завтрака сержант убивает пленного «духа», чтобы не дать своему сослуживцу его перевязать. А у Б. Крячко в рассказе «Трещина» (в его книге «Битые собаки». — Таллинн. 1989) старик Федосеич вспоминает, как «сидит где-то под Ельцом в сорок первом году на убитом немце и ест макароны по-флотски»...

Страшные сцены. Поражает в них даже не столько натуралистически описанная жуть, сколько человеческая невосприимчивость к ней. То, как спокойно выглядит кощунство, то, как обесценена смерть, а значит, и жизнь человека. А в общем-то, чему удивляться? Война... Но в том и дело, что кровавый, патологический быт войны и у О. Ермакова и у Б. Крячко неожиданно включен в вековечный контекст. И в том и в другом эпизоде сквозь натуралистические детали просвечивают архаические, к мифу восходящие метафоры еды и смерти. Этот ассоциативный фон у Б. Крячко прямо выражен воспоминанием солдата о страшной бабкиной сказке — про три смерти, пришедшие разом: от холода, от голода, от каленой стрелы. А у О. Ермакова тот же мотив прорывается в предсмертном видении Лотоса, посещающего раненого «духа». На этом фоне эпизод военного быта и в том и в другом рас-

сказе приобретает значение некоего ритуала, наглядно воплощающего единство быта и бытия, человеческого и бесчеловечного единства, основанного на крови, на вывороченных глазах и выбитых зубах. Такое сочетание жесткого натурализма с вековечным подтекстом и рождает совершенно особую художественную атмосферу этих рассказов.

Так, рассказ О. Ермакова «Благополучное возвращение» («Новый мир», 1989, № 8) строится как цепочка не случившихся смертей главного героя, и сама его демобилизация последовательно рисуется как возвращение с того света, из царства смерти; не случайно последний привал у реки (символической границы того света), последний шаг из Аида — вместе с гробами. Крайне существенно: мифологическая ассоциация оказывается вывернутой наизнанку — в мифе вернувшийся с того света жив, в жизни — уравнен с мертвецами. В рассказе под названием «Крещение» («Знамя», 1989, № 3) посвятившийся обрядом становится участие в убийстве безоружного пленника. Причем в известной мере действительно здесь осуществляется символический смысл обряда крещения — очищение от первородного греха. Костомыгин, герой рассказа, фактически одномоментно избавляется от детских иллюзий, от подконтрольной Системой предубеждений, от привычного и удобного самообмана — но какой ценой? И каков результат этого очищения? «...ему не хотелось умирать черт знает когда, через тысячу лет. Ему хотелось, чтобы сердце остановилось сейчас. Но оно не останавливалось». Парадоксально осмысливается архетипический мотив и в рассказе с примечательным названием «Пир на берегу фиолетовой реки» («Знамя», 1989, № 10). Пир на берегу реки, да еще в контексте возвращения с того света — все эти знаки традиционно воплощают состояние последней свободы, но как раз свободы-то и нет у возвращающихся с войны ребят: над ними тяготеет произвол, их дает тяжкая память и страх перед будущим; прочная дружеская сплоченность у реки сменилась плохо скрытым отчуждением — и, главное, ад войны сидит в них, в психике, в рефлексах. Спящие под открытым небом, они, повинаясь армейской привычке, не замечают проливного дождя: «Нинидзе, не просыпаясь, натянул на голову китель, Реутов прижался к боку Спивакова, Больше никто не шелохнулся» — таков финальный жест рассказа.

Насыщенные вечными смыслами образы Матери, Ребенка, Дома предстают разломанными, разрушенными в кровь и в шепу и в афганских рассказах О. Хандуся «Он был мой самый лучший друг» («Урал», 1988, № 1), «Полковник всегда найдется» («Урал», 1990, № 2), и в совершенно «мирных» рассказах С. Бардина «Ломбард» («Знамя», 1989, № 2), лагерном цикле В. Яницкого («Волга», 1989, № 10), «Марше одиноких» и «Голосе» С. Довлатова («Радуга» (Таллинн), 1989, № 5).

Но вся сложность в том, что символы вечных святынь в лучших рассказах современной «натуральной школы» не только (и даже не столько) противостоят духовному разорению, овеществленному в повседневном кошмаре существования целых социальных слоев, но и вписаны в это кошмарное существование. Этот парадокс, быть может, наиболее остро и впечатляюще воплотил Б. Крячко в рассказе «Журналист» (также вошедшем в сборник его прозы «Битые собаки»). Н. Иванова, которой принадлежит честь открытия этого писателя, писала: «Б. Крячко обладает даром многократного углубления проблемы. Герои его — люди несчастные, но не осознающие своего несчастья, живущие в иллюзорном мире. Б. Крячко исследует современный мифомир с горечью и отчаянием, с юмором и сарказмом». Регулярный цикл этого «мифомира» изображен и в рассказе «Журналист» — речь здесь идет о повторяющейся склоке между журналистом Васей Ипатовым и спившейся Нюркой, чью жизнь Вася когда-то походя сломал, лишив ее единственной глухонемой дочки. В цикл этой тяжбы у Нюрки входит и посещение церкви и исповедь: «Нюрке это нужно, Нюрке это — опора. Ей становится легко дышать и грудь отпускает, словно бы туда пробилось что-то такое благостное, чему и названия нет». Но откуда же тогда невеселая авторская ирония по отношению к этому явно духовному акту? «Нюрку ему (отцу Петру. — Н. Л., М. Л.) крепко жаль, и он аполитично утверждает, что ей, страждущей и неприкаянной, только монастырь и помог бы, да где он, тот монастырь? Не исключено, что отец Петр ошибается, как все люди, и Нюрку, возможно, выручил бы тот же здоровый коллектив, у которого газеты взахлеб трубит, но опять-таки — откуда у больного здоровье?» Может, оттого и иронизирует Б. Крячко над духовным очищением Нюрки, что видит: в нем самообмана не меньше, чем в мифе о благотворном влиянии «здорового коллектива». Приобщение к святыням вхо-

дит в историю духовной болезни в качестве одной из стадий заболевания — и не только Нюрки, но и всего мира вокруг нее.

Словом, знаки вечных святых и ценностей — далеко не редкость в современном «натуральном», «жестком» рассказе. Но они амбивалентны, эти знаки: они одновременно и противостоят ужасу реальности, и подчинены ему, и незыблемы, и разрушены дотла. Чем объяснить эти противоречия?

Пока что запомним их и обратим внимание еще на один парадокс рассказа — да и вообще прозы — «натуральной школы». У В. Шаламова лагерь представлял кричащим нарушением всех неотъемлемых свойств жизни. У наших авторов «зона», бытовая склока, афганская война, казарма, превращенная в камеру пыток, не только ассоциируются со всей окружающей реальностью, но и воплощают в концентрированном виде ее чудовищную норму. Потому-то В. Яницкий, рассказывая о зверском убийстве мужем постыдно загулявшей жены («Убил»), подчеркивает: «Удалась, вероятно, жизнь, если б не последний случай? Если б не последний случай — удалась». Потому-то О. Ермаков и О. Хандусь доказывают единство законов лжи и насилия, действующих по ту и по эту сторону советско-афганской границы. Потому-то Б. Крячко, повествуя о склоке Нюрки и Васи, переходит к размышлениям о скандальности как о необходимом элементе нормального существования всех без исключения. «...вот и приговор: все само собой катится, все без причины, у всех алиби».

Отсюда и особый способ романизации «жесткой» новеллы: либо все повествование ведется в обобщающей временной форме — Present Indefinite: теперь, как и всегда (С. Довлатов, С. Бардин, В. Яницкий); либо же текст насыщается вставными эпизодами, но при этом все эти «свернутые» микроновеллы однотипны, однокачественны. Так происходит, например, в рассказе О. Ермакова «Зимой в Афганистане», где допрос первогодка Стодоли дедами обрамлен историей про деда Хана, который издевательствами довел «шнурка» Цыгана до того, что тот ушел к «духам»; историей про дембеля Жарова и его неудачное любовное похождение; кратким психологическим портретом самодовольного старшего лейтенанта, уверенного в том, что владеет ситуацией во взводе и пользуется всеобщей преданной любовью. Все они, эти микроновеллы, бьют в одну точку, создают масштабный образ узаконенной порядком вещей, а потому даже благополучной несправедливости и жестокости. Аналогично построены и «Журналист» Б. Крячко, и рассказы С. Василенко, и «Зёма» А. Терехова (альманах «Апрель», 1989). Характерно, кстати, и отчетливое различие между тем, как например, В. Шаламов относится к «низовому» слову, и тем, как относятся к нему прозаики «натуральной школы». В. Шаламов всегда подает «чужое слово» с некоей этнографической отчужденностью. А О. Ермаков, В. Яницкий, С. Василенко и особенно Б. Крячко с его поразительной языковой гибкостью отнюдь не брезгают чужим «низовым» словом, но довольно охотно и даже эффектно включают его в собственно-авторскую речь. Например: «Я стоял еще спокойно, еще оценивая соску в окне напротив и даже думая, не попросить ли у краснотика закурить» (А. Терехов, «Зёма»). Такая языковая терпимость — тоже знак нормальности того ежедневного кошмара, о котором пишут эти прозаики.

Внутри этого мира есть и определенная нравственная иерархия. Авторы «жесткого» рассказа отчетливо видят, сколь бесплодна, неуправляема и отупляюще однообразна жизнь по ближним, сиюминутным ориентирам и целям, жизнь, которую ведет массовый человек, как его ни называй — Нюркой, Федосеичем, «гегемонами», Костомыгиным или Малоевым. Но это физиологическое, неосмысленное существование рисуется именно как нормальное. Чудовищно как раз существование по «дальним» ориентирам; именно «руководители», внося в жизнь idiotские «дальние цели», становятся генераторами хаоса и абсурда в рассказах «натуральной школы». Таков и Вася Ипатов из «Журналиста» Б. Крячко — не случайно этот посредственный писателя с неприметной внешностью вырастает до масштабной фигуры «человека без срама». Жонглируя циничными «дальними» лозунгами системы («Таким пощадь нет», «Кому это на руку», «Рекорды по плечу каждому» — так называются боевые Васиные статьи), он грубо, не скрываясь и не таясь, прет к своим дальним целям, сметая Нюрку с ее дочечкой, еврейское семейство, живущее на вожделенной жилплощади, и жену, и детей...

Рядом с ним «гегемоны» нормальны хотя бы потому, что чувство стыда не

окончательно утратили, раскаяние на них накатывает — пусть ненадолго, пусть в промежутке между скандалом и пьянкой, но накатывает же.

Д. С. Лихачев в книге «Смех в Древней Руси» (в соавторстве с А. М. Панченко и Н. В. Поньрко) пишет о так называемом кромешном мире народной смеховой культуры — этот мирообраз не всегда является комическим (в частности, Лихачев размышляет о «кромешном мире опричины»), хотя и противостоит «правильному», «культурному» миру по принципу антитезы. «Кромешный мир» сохраняет внутреннюю структуру «правильного мира», лишь меняя смысловые знаки на противоположные. Причем активность образа «кромешного мира» в русской демократической традиции Д. С. Лихачев объясняет следующим образом: «...«антимир», изнаночный мир неожиданно оказывался близко напоминающим реальный мир. В изнаночном мире читатель «вдруг» узнавал тот мир, в котором он живет сам. Реальный мир производил впечатление сугубо нереального, фантастического — и наоборот: антимир становился слишком реальным миром... При этом сближении утрачивалась смеховая сущность изнаночного мира, он становился печальным и даже страшным».

Но разве не ту же ценностную иерархию, не тот же эффект узнаваемо-натурального антимира видим мы в рассказах Б. Крjacko, О. Ермакова, О. Хандуся, В. Яницкого, С. Василенко? Разве не образ «кромешного мира» создается их прозой? И не связью ли с этой эстетической традицией объясняется отмеченная выше принципиальная двусмысленность символов вековых святынь в этих рассказах? Ведь в них сама вопиющая реальность «кромешного мира» беспощадно опровергает веру в абстрактные святыни и абсолюты и напоминает о них своей внутренней, «зеркальной» структурой. Это очень трезвое мироощущение. И очень горькое. Это понимание зыбучей фантазмагоричности, обманности всего, чем привык жить человек, — от святынь до житейских проблем, от бытия до быта. Однако всего ли? Какая твердыня проступает сквозь химеричные очертания «кромешного мира», ставшего повседневной реальностью? И проступает ли?

Да, проступает.

Природа, ее неопровержимая правда, становится единственной духовной твердыней в художественном мире современного «жесткого» рассказа. Этот мотив буквально прорывается сквозь авторские предубеждения, утверждается иной раз помимо воли и замысла рассказчика. Целый гимн, мрачный, суровый, но гимн приносит плотскому желанию В. Яницкий: «Женщина — это желание женщины, ее отсутствие по ночам, ее тело в стихии видений; она способна вырастать до огромных размеров, она способна быть больше женщиной, отсутствуя, чем когда она рядом, она тогда есть, когда ее нет, и тогда ее нет, когда она постоянно, неизменно есть» («Дополнительные сутки с женщиной»). Острый эротизм, появившийся в облике женщины, жаждущей мужа с войны, превращается в рассказе О. Ермакова «Занесенный снегом дом» («Знамя», 1989, № 10) в символ высочайшего духовного напряжения. Антитезой будничной армейской инквизиции в рассказе А. Терехова «Зёма» становится образ пьянящей, будоражащей молодых ребят весны. А в рассказе Б. Крjacko «Тамарочка» куртизанка, чьи любовные вопли из открытого окна разносятся по всему двору многоэтажного дома, для жителей этого дома, оказывается, давно стала реальным (и благодетельным!) представителем власти — благодаря ее «связям» и отопление дома наладил, и пивной ларек открыла. Но не только в этом дело — для обитателей двора эта самая Тамарочка стала чем-то вроде воплощения Вечной Женственности, источником мгновений опять же духовного взлета. Конечно, здесь чувствуется ирония: вот, мол, какая духовность нам осталась. Но не только. По крайней мере нет здесь безграничного возрожденческого восторга перед всеми проявлениями природы в человеке.

Рассказчики «натуральной школы» — прежде всего искренние, честные писатели. И горькое осознание факта, что в «кромешном мире» современной реальности природное, биологическое оказывается единственным бесспорным и нешатким представителем вечного, — это итог трезвого и честного погружения в пучину «кромешного мира». Но у писателя, воспитанного на русской литературе XIX века (а рассказчики «натуральной школы» вполне почтительны к этой авторитетной традиции), такой и только такой лик Вечности не может не вызывать смятения, а то и оторопи.

Похоже, на этом противоречии застрял «жесткий» рассказ как жанровая форма в целом. И в этой неуверенности в ценностях, которые выдержали испытание века твердость в «кромешном мире», коренное отличие рассказа «натуральной шко-

лы» от новеллистики В. Шаламова. Рассказы Шаламова при всей внешней пестроте потому и складываются в целостный эпический мир, что «ценностный центр» этой прозы неизбежен и авторитетен для самого автора, прошедшего через все круги ада. Не то в «натуральной школе», в ней даже афганские рассказы О. Ермакова не складываются в циклическое единство, несмотря на общность материала, в ней даже повесть тяготеет к рассказу или к цепочке рассказов (как у С. Каледина или Л. Габешева); эта проза не в силах организовать целостность, выходящую за рамки эпизода. Обобщающая сила этой прозы оказывается ограниченной из-за неустойчивости, противоречивости отношения к объективно проступившему «ценностному центру» реальности. Впечатление в целом таково: мирообраз «кромешного мира» сформировался в «жесткой» прозе помимо воли самих авторов. Они-то надеялись, что духовные святости неподвластны безумию жизни в системе. Но «поэта далеко заводит речь» — и структура физиологического очерка, пропитываясь чертами «кромешного мира», деформируется и, в общем-то, плавно перерастает в художественную организацию, казалось бы абсолютно далекую не только от натуралистического копирования среды, но и от жизнеподобия вообще.

Абсурдизм, прорастающий сквозь «жесткого» рассказа, отнюдь не прием. Это черта самой действительности. Следовательно, и ограниченность, обнаружившаяся в развитии этой жанровой «формы времени», похоже, связана с тем, что традиционная реалистическая «техника» художественного анализа отношений «среда — человек», в сущности, разрушается, теряя силу перед непостижимой алогичностью как самой среды, так и личности, давно и прочно привыкшей воспринимать «кромешный мир» как духовную родину, абсурд — как обжитое состояние бытия, хаос — как временного исполнителя обязанностей космоса.

#### 4. КООРДИНАТЫ ВНЕБЫТИЯ, ИЛИ ОТ КРОМЕШНОГО ДО СМЕШНОГО

Там, где кончает «жесткая» проза, там начинается проза «новой волны», рассказ «другой литературы».

Вопрос об эстетической игре, о ее возможностях (или пределах), ее необходимости (или напрасности), ее своеобразной художественной этике (или аморальности), ее перспективах (или бесплодности) — этот вопрос не зря сопровождает явление прозы «новой волны».

Игра диктует принципиальную анекдотичность сюжетных коллизий. Прпчем анекдот в «Факире» Т. Толстой или «Галошах» Вик. Ерофеева, у В. Пьецуха или Е. Попова — это совсем не то, что «конфузная ситуация» у В. Макашина или анекдотические положения у В. Шукшина и Ф. Искандера. У всех этих писателей старшей генерации анекдот всегда выглядел таким сдвигом порядка вещей, рядом с которыми отчетливей выдвигался неизбежный, обязательный и мурый закон бытия. «Чудак» Шукшина, Сандро и Чик Искандера, подобно шекспировским шутам, попадали в смешное положение как бы специально для того, чтобы острее, парадоксальнее заявить о нелепости и беззаконии общепринятого порядка вещей, о необходимости иных мер ценностей, существующих здесь же, где-то поблизости. Совсем не так у Е. Попова, В. Пьецуха и других близких им по эстетике писателей. У них, как бы ни было комично жизненное положение, оно не вызывает искупительного смеха — «смех жизни» обычно звучит не слишком весело. И рассказываются эти печальные анекдоты так, что становится ясно: а ведь ничего, кроме этих анекдотов, в жизни нет — и все.

Важно еще и то, что в большинстве своем рассказчики «новой волны» — это подлинны артисты слова. И во всех рассказах Т. Толстой, Е. Попова, В. Пьецуха, как, впрочем, и М. Веллера, А. Гаврилова, И. Полянской, А. Верникова, движение сюжета вопреки канонам реализма предопределено не столько характерами персонажей и логикой обстоятельств, сколько слезной игрой, гибким и вольготным рисунком повествования, почти всегда необычайно причудливо и тонко организованного. Однако демонстративно акцентированная магическая и игровая в одно и то же время власть артистически раскованного слова над миром оставляет здесь в первую очередь впечатление и иллюзорности этого реального мира и потрясающей реальностью самых абсурдистских иллюзий.

И если у В. Шаламова абсурдными были ситуации, созданные системой, но овещались они по неизбежным законам русской реалистической традиции, если в

«жестком» рассказе абсурдность была уже признана нормальным состоянием реальности — однако сама эта норма вызывала и у автора и у читателя состояние шока, — то в рассказе «новой волны» абсурдность эстетически узаконена самим устройством художественного зрения, разлита в атмосфере художественного универсума.

«Для того, чтобы мир неблагополучия и неупорядоченности стал миром смеховым, он должен обладать известной долей нереальности. Он должен быть миром ложным, фальшивым; в нем должен быть известный элемент чепухи, маскарадности... Он должен быть миром скитаний, неустойчивым, миром всего бывшего, миром ушедшего благополучия, миром со «спутанной знаковой системой», приводящей к появлению чепухи, небылицы, небывальщины»<sup>2</sup>. Это сделанное Д. С. Лихачевым описание границы между «крюшечным» и «смеховым» мирами в народной культуре позволяет, на наш взгляд, лучше понять, в чем же новизна прозы «новой волны» в целом и ее новеллы в частности. По-видимому, это проза, в которой крешное неблагополучие и неупорядоченность нашей реальности переосмыслены в подлинно смеховом плане. Это, в сущности, мениппейная проза (более подробно один из нас обосновал эту характеристику прозы «новой волны» в «Вопросах литературы», 1989, № 9). Надо сразу же оговориться, что смеховое осмысление вовсе не исключает ни боли, ни сдавленных рыданий. «Это плач, но плач особый, смеховой» (А. Лаврин).

И сразу же возникает вопрос: имеют ли силу в этой играющей, иллюзорной, маскарадной реальности те символы веры, которые пронесены через самые невыносимые муки в рассказах А. Солженицына и В. Шаламова, не дали трещину в будничной грязи, под гнетом «самотечности жизни» (В. Маканин) в новеллистике «сорокалетних» и их последователей? Речь идет прежде всего об изначально ориентирующей системе экзистенциальных ценностей, связанной, как правило, с образами порогов, и прежде всего порога смертного, и о нравственных ценностях культуры. Выстояли ли они? Не потерялись ли? Не стерлись ли?

Из-за непрменной игровой установки в рассказе «новой волны» эти вечные ценности почти всегда оказываются в ситуации «излишка пустоты и свободы» (А. Верников). Не случайно так авусмысленно описана в рассказе А. Лаврина «Смерть Егора Ильича» (альманах «Зеркала», 1989) история рассыхания старого книжного шкафа. Вроде бы перед нами травестия классического сюжета — человеческая смерть низведена к мебельным проблемам, к примеру: «...болезнь обострялась. В одну из ночей Егор Ильич почувствовал себя так плохо, что пришлось вызвать «скорую». Уж эта наша бесплатная медицина!.. Врач даже рассказал мне, как неделю назад из-за нехватки ПВА у них на глазах умерло бюро черного дерева работы чуть ли не Можареля, и они ничего не могли поделать. «Ну, буквально ничегошеньки!» — со всхлипом добавила сестра». Но в том-то и дело, что пародия постоянно и неотделимо смешана у Лаврина с искренней болью, и шкаф по имени Егор Ильич при всей своей комической вещественности обрастает смыслами, превращающими его то в символ всей советской интеллигенции с ее трагедиями и самообманами, то в alter ego повествователя, типичного советского интеллигента, одновременно и гневающегося на власть, и трепещущего перед отставным гэбэшником, горящего своей верностью традициям и чутко отзывающегося на все веяния времени («..вспомни о несчастных птенцах своих — детях Арбата в белых одеждах, панках и металлистах, доярках и трактористах, поэтах и наркоманах, афганских ветеранах...»). И уже неясно: не то действительно смешна кончина советской интеллигенции, не то воистину трагична гибель старого шкафа.

Когда читаешь этот рассказ, или же «Как я умер» В. Пьепуха («Зеркала»), либо «Девушку и смерть» Вик. Ерофеева (в его книге «Тело Анны, или Конец русского авангарда». — М., 1989), то неизменно вспоминается «Бобок» Достоевского (тем более что Пьепух в своем рассказе не таясь воспроизводит ситуацию «Бобка»). Ассоциация объясняется, по-видимому, тем, что именно в этом рассказе Достоевского впервые в русской литературе возникает столь непочтительное отношение к смерти. Но, перечитав «Бобок», нельзя не увидеть и ту пропасть, что разделяет мениппею Достоевского и мениппею наших авторов. Достоевский вместе с повествователями у жасается: «Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и

<sup>2</sup> Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. Л. 1984, стр. 46, 47.

гниющих трупов и — даже не щадя последних мгновений сознания!» — и ужасает как раз неспособность человека к очищению на пороге полного небытия, перед бобком. Совсем не так у Лаврина, Пьецуха или Ерофеева. Они не ужасаются, они констатируют: порог отсутствует. Абсолютный смысл смерти (а значит, и бытия) взял и исчез. И потому шкаф и герой-интеллигент ценностно уравниваются: их жизнь и смерть существуют лишь относительно друг друга. И потому героя Пьецуха, попавшего на тот свет, не испугает никакой бобок — и на том свете все та же будничная тяготина, все те же разговоры и та же невозможность покоя, но все это теперь помножено на вечность. И объяснение такой смерти у Пьецуха дано очень трезво: «...как показывает практика последних десятилетий, у нас может случиться все».

Мотив смертного порога постоянно обыгрывается и в новеллистике Е. Попова: он главенствует и в «Душе патриота...» (траур), и в «Зеленом массиве» (разговоры на кладбище), и в «Обстоятельствах смерти Андрея Степановича», и в рассказе «Тетя Муся и дядя Лева» (смерть тети Муси), и в «Пении медных» (похороны отца). У Т. Толстой в рассказе «Круг» смерть для героя рисовалась последней возможностью разомкнуть пространство существования в бытийный простор. Не так у Е. Попова: у него смерть оказывается мнимым порогом. Не порогом даже, а обрывом, за которым не бытие, но пустота. Гроб с телом падает с грузовика куда-то аж за ручей («Обстоятельства смерти Андрея Степановича»); урны с прахом выдают, как вещи в химичке, да еще и перепутывают при выдаче («Тетя Муся и дядя Лева»).... А в рассказе о Москве во время похорон Брежнева «Душа патриота...» мнимость порога особенно откровенна. Смерть «ТОГО, КТО БЫЛ», ничего не оттеняет и не отменяет, этот порог — в нутри хаоса; есть надежды, но невнятные, есть разговоры, но ни о чем; единственное, что действительно потрясает, это то, что «милиция, дружинники и прочие распорядители были в тот вечер отменно, отлично, абсурдно вежливы». Все уже давно решено, все уже давно и окончательно определились: кто во внутреннюю, а кто во внешнюю эмиграцию, кто — в клан правителей, а кто — в комитет хранителей. Это опоздавший порог, это порог за порогом, когда уже нечего терять.

Вполне естественно, что когда в рассказе «Эсхатологические настроения определенной части бывшей молодежи» возникает образ предсказанного на 5 августа 1984 года конца света, то это пророчество никак не может вызвать у героя соответствующего душевного отклика, как он себя ни накручивал бы. Для него куда важнее (и страшнее), чем конец света, то, как его, с раскалывающейся от боли головой и текущим из уха зеленым гноем, привычно гоняли и гоняют из одной больницы в другую. «И это была такая ночь, после которой меня совершенно не страшит никакое 5 августа 1984 года». «Выморочность повествования, времени, пространства», — подсказывает Е. Попов. И действительно, именно духовный и душевный хаос, явленный подчеркнутым типичным сознанием героя, плюс постоянная неутрахающая головная боль, как бы предопределенная повседневным образом жизни, — все это, в сущности, складывается в образ будничного существования после конца света, когда «эсхатологические настроения» легко и просто вошли в ежедневный быт, но не как предчувствия, а как констатация свершившегося факта.

Однако единый миробраз, пронизывающий новеллистику Е. Попова, делает ее удивительно однообразной. Строго говоря, прочитав несколько рассказов Е. Попова, можно не читать остальные: ведь все истории, которые в одной и той же манере рассказывает лирический герой Попова, оказываются абсолютно равноценными и равнозначными по отношению к образу повседневного хаоса смеховой псевдо-реальности.

Характерно, что тень однообразных самоповторов явственно витает и над Т. Толстой, и над В. Пьецухом, и над Вик. Ерофеевым, и даже над совсем молодым А. Верниковым. Вероятно, возникает своего рода «эффект энтропии», который ударяет и по писателю, становящемуся рабом избранной манеры, и по читателю, начинающему от этой манеры уставать.

Но П. Вайль и А. Генис закончили свою статью о прозе «новой волны» словами о том, что для этой прозы «ценны лишь Творцы, скептически и пристально глядящие на окружающий мир, с иронической усмешкой фиксируя спасительные детали» («Новый мир», 1989, № 10). И это справедливо прежде всего потому, что лишь в сознании творца, автора, лишь в изощренном стиле «новой волны» сохраняется устойчивая причастность к живым и неизменно свободным ценностям культуры. Взгляд «сквозь



культуру» организует художественную структуру этой прозы. Но авторы этой прозы идут дальше: они самих себя, творцов с нравственным масштабом культуры в душе, помещают в хаотическую реальность — так появляются почти что розановские по откровенности персонажи: Веничка Ерофеев из «Москвы — Петушков», Е. Попов из «Души патриота...» и рассказов, Виктор Ерофеев из «Письма к матери», наделенный автобиографическими чертами литератор из рассказов В. Пьецуха. Причем фокус в том, что анкетные данные автора, подаренные персонажу, отнюдь не гарантируют не только документальности повествования, но и просто его правдоподобности. Как раз сочетание реального имени с фантазмагорическим сюжетом и создает особый эстетический эффект рассказа «новой волны».

В чем его смысл?

Для сравнения: рассказы В. Шаламова насквозь автобиографичны. Но Шаламов демонстративно равнодушен к знакам автобиографизма. «Я» у него персонифицировано то в Андреева, то в Христа, то в безымянного носителя некоего общего знания. Ибо его правда несомненна — она подкреплена всей мощью духовного бытия культуры и истории. А в прозе «новой волны» образ автора, иллюзия автобиографизма как раз убеждает в том, что в этом смеховом, перевернутом мире нет и не может быть несомненной правды. Здесь все под сомнением. В том числе и автор с его нравственной «культурологией». Ведь весь ужас в том, что В. Шаламов и его персонажи были жертвами исторического зла, их объявили врагами государственной системы и они действительно осознали свою враждебность этой античеловеческой системе. А герои «новой волны» — и «авторы» среди них! — ничьи не враги, ни с чем значительным не воюют, они даже не ненавидят эту реальность. В лучшем случае они ее знают, а чаще растеряны перед всемогуществом абсурда.

Да, чувствуется бескомпромиссная совестливость в том, с какой безоглядной жесткой веселостью создается «образ автора» в рассказе «новой волны». Опыт культуры, вошедшей в формулу крови не только автора-творца, но и автора-персонажа, к сожалению, все-таки не позволяет одолеть эту реальность, вступив с ней в бескомпромиссный поединок. Но он позволяет понять масштабы хаоса и, понимая их, претворить кромешный мир жизни в смеховой мир литературы.

Что это: победа или поражение? торжество или фиаско? Л. Аннинский считает, что «новая проза» идет по ложному пути:

«Если вы передразниваете дьявола и доводите его логику до абсурда, то дьявол именно этого и ждет, а перещеголять его в бессмыслице все равно не удастся.

Попробуйте все-таки сказать: дважды два — четыре. И ждите, что будет дальше... «Безумная» реальность как-то отреагирует. Я думаю, что получится нечто отменно сюрреалистическое. И получится «само», так что не надо будет ничего устраивать специально ни с планками, ни с зеркалами».

Но в том-то и дело, что в рассказе «новой волны» со всей очевидностью открылась принципиальная невозможность просто сказать: дважды два — четыре. Неоткуда считать. Все гочки отсчета сомнительны. Все веши проблематичны. И это единственный бесспорный факт в смеховой реальности.

Мирообраз рассказа «новой волны» можно определить словом *в не бы т и е*. Это реальность, застрявшая где-то в промежутке между бытием и небытием. Это мир без порогов, без граней, без святых и без бездн. Ровный, как шар. «Без начала и конца». До смешного безысходный. Это жесткий взгляд. Это взгляд, отказавшийся не только от догм и от иллюзий, но и от идеалов, но и от надежды. Но какой же это с в о б о д н ы й взгляд! Именно в беспощадной и безоглядной свободе художественного миропонимания видится главное обретение рассказа (да и всей прозы) «новой волны». Эта свобода понимания заставляет увидеть расстилающуюся вокруг «околопустыню» (В. Пьецух) во всей ее грубой и смешной наготе. Она же требует от человека мужества существовать в координатах внебытия без особых упований на спасительный оазис, но не застывать в неподвижности, а идти, не сворачивая назад или в сторону, не пытаясь притерпеться и как-нибудь приспособиться к окружающему пейзажу, а идти, все время помня о том, что разрушено, что утрачено, что вытоптано. Идти, ведь «жизнь продолжается, ибо по-другому она не умеет» (Е. Попов).

Это художественное миропонимание представляется нам предельным для рассказа «новой волны», в нем пересекается «культурологичность», определяющая лицо этой прозы и возможности жанра рассказа, превращающего краткий эпизод бытия в мо-

дель всего мироздания. И за рамки этого миропонимания никто из авторов «артистической» прозы не выходит ни в своих повестях, ни в романах.

В известной мере этот мирообраз воплощает тупик, в котором оказалась наша слобесность, в полной мере осознав исчерпанность, а то и иллюзорность тех святых, которым она так долго клялась на верность. Но этот мирообраз воплотил и другое — тот колоссальный тектонический сдвиг в духовном сознании общества, которым закончилась целая историческая эпоха и которым — хочется надеяться — начинается эпоха новая. По меньшей мере в литературе.

Однако постоянно существовать над трещиной невозможно. Тотальный и трагический кризис духа, с такой адекватностью выраженный рассказом «новой волны», — конечно, необходимейшая фаза нравственного отрезвления и возрождения общества. Но бесконечный кризис переходит в необратимый распад.

Как же перешагнуть через трещину?

Если взглянуть на этот вопрос с точки зрения современного рассказа, то возникает парадоксальный эффект: каждая из отдельных тенденций в развитии рассказа за последние два-три десятилетия откровенно пасует перед драматизмом этого вопроса, но все они вместе обещают возможность ответа. Причем за каждым из типов современного рассказа стоит могучая эстетическая, философская, нравственная традиция. Традиция русского критического реализма — за Солженицыным, Шаламовым, Шукшиным. Художественный авторитет Чехова — за «сорokaлетними». Опыт натурализма и «натуральной школы» — за «жестким» рассказом. Культура модернизма, а точнее постмодернизма, — за «новой волной».

Формально — пути разные. Но все они скрещиваются на едином образе мира в тупике. Каждый из типов современного рассказа, по-своему постигая структуру и масштабы этого социального, психологического, нравственного, исторического, культурного, наконец, экзистенциального тупика, вместе с тем зримо и вещественно обретает на этом пути нечто абсолютное, непреходящее. Постигая хаос — они собирают элементы космоса.

Край. И на этом краю все оказывается важным в равной мере. Тупик, в котором мы завязли, с потрясающей убедительностью доказывает, что единого, главного выхода из него не будет. И не может быть. Это означает, что кончилась эпоха универсальных рецептов. Кончилась эпоха проповедничества. Исчерпаны резервы мессианских упований. При этом единство действительно нужно, но единство всего, всех направлений художественного, да и жизненного развития. Нынешний рассказ и пытается это все хотя бы назвать, нащупать, обозначить образом. Мы уже давно убедились, что если что-то, даже малое, вынесено за скобки, то это не единство, а его суррогат, опасная имитация целого, обнадеживающая миражем истины и жестоко обманывающая тех, кто доверится ему.

Итак, если выход, то в разные стороны. Только все, и все вместе, — в культурном полилоге, соединяющем различные эстетики, далекие друг от друга системы идей взаимным вниманием, а главное, единой системой духовного кровообращения. Без генеральных направлений. Без авангардов и арьергардов.

Это и будет нормальный литературный процесс.

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Читайте в 1991 году:

**АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ**

Между свободой и равенством

Общественное сознание в зеркале «Огонька» и «Нашего современника»,  
1986 — 1990.

# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Игорь Деднов. Осенней порой 41-го года.— Александр Агеев. Приручение абсурда.— В. Потапов. Обочинные люди.— Мирон Петровский. Художественное народоведенье Софьи Федорченко.

### Литература и искусство

#### ОСЕННЕЙ ПОРОЙ 41-го ГОДА

Владимир Корнилов. Девочки и дамочки. Повесть.  
«Дружба народов», 1990, № 5.

Не знаю, написанная в 1968-м, то была первая или какая другая проза поэта, но почему-то подумалось, что первая. Уж очень заметно было, что автор чувствовал себя первоназывающим, первоименующим этой горькой избранной им действительности и больше всего боялся впасть в какое-нибудь литературное вранье. Было даже не важно, названо уже это кем-то или нет, он-то называл впервые, в свою силу, и потому все равно был первым, и эта первость, свежесть, подчеркнутая заземленность и сниженность, должно быть, и производили впечатление первой прозы. Но не вообще первой, а первой именно этого поэта, памятного еще по ранним 60-м и потом словно стигнувшего в глубинах нашего литературного житья-бытья, но и — битья тоже. До провинциального читателя, каким я долго и счастливо был, доносилось, что Владимира Корнилова издают где-то там, что он подписывает не те письма, исключен из Союза... Но затем в одночасье вся эта печальная нелегалщина и потаенщина куда-то подевались, будто корова языком слизнула, и опять явились перед людьми стихи Владимира Корнилова, а теперь бот и проза. А сколько лет жизни, отторгнутой, гонимой, как бы никому не нужной, та российская наша корова слизнула заодно, словно ничего худого не случилось, словно так и должно было быть, да и мало ли что бывает между своими... И знала ведь точно, что никто, никакой имярек не выставит

единственно существенного счета — о возмещении времени, отнятого, оскорбленного, захваченного какой-то идеологической тарбарщиной. Как говорили, а может, и сейчас говорят в дворовом мальчишеском футболе: «заиграно». Заиграны ваши боли, беды, напасти, девочки и дамочки, господа-товарищи и мальчики, ваше полуучастие, полуприсутствие, ваше отсутствие и неучастие, ваше молчание, неизданные, невключение, исключение, выключение, изъятие... Ни низшие, ни высшие судьбы штрафного удара в вашу пользу не дадут, игра продолжается...

А кто против продолжения? Игры, жизни, прозы, стихов? Кто хочет этого невероятного, фантастического штрафования истории? Какого-нибудь нового злорадствующего, мстящего удара, который все равно придется по все той же плохо защищенной и мало в чем повинной человеческой жизни? Да и всякий ли человек, всякий ли художник поспешит выставлять личный счет обид? И присоединится ли к неистовому хору?

Но эта тема уводит в сторону от простых и ясных вещей: от давней повести и ее новой жизни. Ее новая жизнь и есть продолжение игры, а новые, третья и четвертая, корниловские книжки стихов через двадцать с лишним лет после второй — тоже ее продолжение. Это и есть то, что предъявляет художник обществу и государству вместо торжествующего обвинения. Он не

хочет преуспевать в жанре, в котором сегодня задают тон вчерашнее хитроумное благополучие и холуйская вчерашняя покорность. Он надеется, что в его сочинениях есть удержанная, удержанная им от полного исчезновения жизнь, и если кто-то сможет услышать ее голоса и проникнется ее живым волнением и неповторимой единственностью, то это и будет возмещением несправедливости, воскрешением отнятого, списанного времени.

Я пишу о Корнилове, но думаю о всех тех художниках, историках, документалистах, кто берегает жизнь и, значит, справедливость от невозбранного ее «погашения», как какой-нибудь облигации после военных лет.

Были люди — прошли, отработали, пострадали, отвоевали, нарожали детей, отмаялись, отслужили. Прощайте.

Все погашено, проштемпелевано — по законам природы и делопроизводства. Прощайте, прощайте.

Иронические и пародийные тексты, получающие сегодня распространение и призванные, как иногда уверяют, обновить нашу кондовую, традиционалистскую литературу, тоже ведь прощание.

Молодые и не очень молодые люди прощаются смеясь с многолетним пропагандистским хламом и неким человечком, похороненным под ним. Они насмешничают над абсурдными формами, в каких текла жизнь. И в некотором смысле это тоже ее погашение как не отвечающей высоким требованиям ее новых судей.

Но погашаемая и как бы превзойденная — властью или талантом — жизнь упрямо сохраняет свой смысл. Она по-прежнему бесконечно интересна и ничуть не ниже никакой другой жизни. Не ниже и не проще. И если традиционное искусство тоже прощается с целыми пластами так и не узнаной, не открытой, пропущенной им человеческой жизни, то это потому, что оно не всесильно и не вездесуще. Вроде бы хорошо понятно: искусство не может осушить все слезы жизни и утолить все ее печали, — но нравственное чувство примирается с этой невозможностью плохо. Может быть, поэтому мне всегда казалось, что от литературы ничто не может ускользнуть. Ничто сколько-нибудь важное для человека, для судьбы народа и страны. Или секрет в том, что искусству достаточно коснуться, чтобы произвести в важное какие-нибудь пустяки? Но дело не только в этом несомненном чуде действе. Иногда кажется, что через своих соглядатаев, даже еще не осознавших себя ими, искусство присутствует всюду. И как прекрасно, ду-

маю я, что никому и ничему оно не спешит сказать: прощайте! Вроде бы и то и другое уже стерто, списано, погашено навсегда, кануло безвозвратно, но вдруг открываете журнал и дивитесь: нет, живо, кто-то знает, помнит, видел, был там! Вот и повесть Корнилова — возвращение забытого и маленькое чудо этого возвращения, будто в толпе женщин, отправленных из Москвы рыть окопы в октябре сорок первого года, был, затесался все тот же соглядатай — неустранимый, неподкупный свидетель со стороны человечности...

Да, всего-навсего: едут копать окопы... Проза в духе середины 60-х, когда дорожили каждой восстановленной правдивой подробностью войны (см., например: К. Воробьев, «Убиты под Москвой», 1963). Оказывается, восстановлены они еще не все, и, как тридцать лет назад, историческая конкретность — обстоятельства, характеры и поведение людей, их понимание происходящего — по-прежнему составляет главный интерес.

Обстоятельства жутковаты, немцы под самой Москвой, наши того и гляди выгрузят окопниц на поле боя, но если этого не случается, немногим легче: неизвестность, беззащитность, бессмысленность всей затеи.

Но автор сосредоточен не на этой бессмыслице или чьей-то нераспорядительности. Условия существования печальны и опасны, но механика их возникновения его не занимает. Ему интересно само продолжающееся существование. Шум и трепет жизни, ее нежелание отказываться от своих прав. Ничто, он уверен, не остановилось, не пресеклось в душах и умах этих женщин, не могло пресечься. Хоть война, хоть что, но они — это они, и то, что происходит в душе его героинь наперекор или в угоду выравнивающим, распоряжающимся силам, как раз и есть то самое, о чем стоит рассказывать. Рассказывать о тогдашней породе людей, потому что, сколь ни были они разными, в них проступало воспитавшее их время, а воспитывать, закаляя и шлифуя, оно умело.

Название повести воспроизводит обращение из немецкой листовки: «Девочки и дамочки, не ройте ваши ямки!...» В этих словах — свое представление о советских людях, как, впрочем, и в другой упомянутой в повести листовке: «Бей жидов-большевиков, морда просит кирпича». Когда-то Виталий Семин по поводу подобных сочинений заметил: «какая-то запущенная, давняя и непечатная малограмотность», но самое страшное в ней — «непереносимое опрощение жизни». И, добавлю я, «непереносимое опрощение» человека, дожившее и

до наших дней. Какая-то уверенная установка на контакт с примитивными, вульгарными существами, на установление с ними снисходительно-коротких и повелительно-господских отношений. И еще за всем этим — угроза, источаемая во все стороны. Дальше в том стихике следовало: «Продут наши таночки, зарюют ваши ямочки».

Сначала, на инструктаже по отправке окопниц, капитану Гаврилову стихок показался на удивление складным, но потом, когда он увидел перед собой «родимых дамочек и девчонок», посылаемых «поближе к хорошо знакомым ему танкам», ему стало страшно. К несчастью, стихок в повести сбудется. И некое чересчур простое, не скажу — примитивное, существо в ней найдется. Прослышав, что немцы любят чистых, домработница Ганя, вернувшись с окопов в опустевшую после эвакуации хозяйев квартиру, долго скреблась в ванной, решив отныне на всякий случай «ходить мытой».

Но даже про Ганю не сказать, что она отлучена писателем от положительной части человечества. Он вообще старался в этой повести никого не отлучать, но и не платить дань противоположным иллюзиям. Кажется, Корнилов хотел, чтобы его герои не поддавались никакой упрощенной классификации. Вспомним, что в 60-е годы официальная критика усердно заботилась о перевесе положительных героев над отрицательными и о четкости этого принципиального деления. Корнилов же всех смешал и неожиданно дал понять, что все эти люди — и капитан Гаврилов, и комсомолка Лия, и ее соседка Санюра, и мальчик Гошка, и бдительная Мария Ивановна, и многие другие, — принадлежат одной суровой и грубой почве 30-х годов, и это невольно объединяет их перед любым воображаемым нравственным судом. И яд этой почвы, и ее чистые соки — все в них.. Яд тяжелого опыта чистота юности, не убиенный ее идеализм...

Вот, кажется, я и готов противоречить сам себе, мысленно уже расставая по одну сторону глупую, пустую Ганю, «разухабистую» Санюру, твердо стоящую на страже Марию Ивановну, по другую — пыливого, совестливого мальчика Гошку, тихую, интеллигентную Лию, а где-то, то ли посредине, то ли над ними всеми, — капитана Гаврилова с его личной ответственностью за верные ему жизни, которая сильнее всех коварных ядов эпохи.

Но, едва проделав эту мысленную операцию, я чувствую, что делаю персонажам повести не столько на «плохих» и «хоро-

ших», сколько на лучше и хуже приспособленных, на практиков и идеалистов, а идеалисты с их туманными мечтаниями, с их преувеличением роли разума и высоких побуждений, как известно, редко выходят в положительные герои действительности. Современная эпоха, например, отвергает их начисто, полагая, что деньги манят и вдохновляют сильнее, чем всякие там идеалы общественного служения и прочая старомодная дребедень. Ну а тогда, в срок первом, что могло ждать их, ослабленных мечтательностью и надеждой на лучшие силы человека? Смерть Лии под немецким танком в жалком окопчике неелепа, бессмысленна и даже кажется какой-то придуманной. Вот и поехали «таночки», можно сказать... Можно припомнить поразившие как-то Лию слова, сказанные ей одной стойкой в беде женщиной: «Больше нам надеяться не на кого». Но даже если так, если что-то можно объяснить, то все равно эта смерть остается чем-то случайным, каким-то избыточным знаком трагического хода вещей.

А он и без лишних смертей именно таков. Его можно ощутить в каждой подробности этой повести. Он сотрясает Москву и отдается в каждой душе. Но может быть, сильнее и осмысленнее других слышит этот ход, этот нарастающий звук всенародной беды капитан Гаврилов, уже в досталь хлебнувший фронтового лиха. Именно он, по мысли писателя, отягощенный пережитым, мог бы уже тогда понять, нет, скорее почувствовать какую-то дикую несообразность в происходящем, даже в собственных мыслях.

Вслушиваясь в гудение ночных вражеских бомбардировщиков, капитан думал: «Все туда — все на него!» — и боялся «даже себе назвать то великое имя». «И все мы стараемся ради него», — думал он дальше и тут «со скорбью вспомнил все покинутые виденные и не виденные им города и в первую голову Слуцк, где осталась Сима с детьми». «Все его охраняем», — вдруг «злбно добавил» он, и эта злоба была такой силы, что на миг отбросила все очевидное и насмерть усвоенное: не его, не его охраняем, столицу нашей Родины...

Теперь, в наши дни, многие сообразили кое-что, к примеру, прочтя, что народ под Сталиным не был доверчивым, ничего не понимающим слепцом. И что газеты с журналами, романы с кинофильмами — это еще не народное мнение. Но в те же 60-е многие из ходивших под Сталиным проникновенно объясняли: мы все заблуждались, не знали, не понимали, верили; и они же очень сердились, когда оказывалось, что

кто-то знал и не верил. И даже при этом обижались, привыкнув быть неким духовным мерилом эпохи. Наверное, и сегодня некоторые мудрецы повторяют излюбленное выражение тогдашней правоверной критики: «историческая модернизация», и никакого вашего Гаврилова в сорок первом быть не могло!

Спорить бессмысленно. Лучше оценим саму логику гавриловских рассуждений о Сталине, написанных в середине 60-х, они опираются на опыт тяжких, катастрофических поражений, на испытанную беспомощность и горечь. В словах Сталина о том, что «непобедимых армий нет», Гаврилову чудится намек, что в этой войне можно и не победить. И тогда-то, мысленно обращаясь к великому вождю на «ты», Гаврилов почти кричит: «Трусишь.. Страхуешь себя? Обмазал тебя Гитлер с головы до сапог. Ну и хрен с тобой. Не маленькие. Хватит молиться.. Самим расклеивать надо...»

Писатель не делает Гаврилова ни умнее, ни дальновиднее других. Не в этом дело. Чуть больше, чем других, он наделет капитана чувством справедливости. Именно это обостренное войной чувство мешало ему принять с прежним подобострастием величие Сталина, вдруг осточертевшее. «В общем, надеяться, друг, нам не на кого»,— скажет капитан в трудную минуту своему подчиненному, и это надо будет понимать так, что надеяться надо на себя. В сущности, Лия слышала те же слова, но из других уст. Может быть, так всегда образуется внутренняя оборона отчаявшихся, но не сломленных людей.

В самом начале повести, рассказывая, как привезли лопаты и надо было запастись какой-нибудь полегче, Корнилов написал: «И женщины все сыпались из барakov, гулко, как картошка из бункера». Когда-то, а точнее — в ту же приблизительно пору, в «Пастухе и пастушке» Виктор Астафьев написал, как при свете ракет становились видны в окопах «солдатские головы в касках и шапках», «как немые картошки, насыпанные на снег». Российское сравнение. И не случайное. Человеческие

множества высыпаны и рассыпаны могутственной, как бы надличной волей.

Иногда страна и вправду бывает похожа на какой-то огромный склад или запасник, откуда можно брать кого и сколько хочешь во имя государственных надобностей. Эта принадлежность женщин к какой-то общегосударственной собственности невольно объединяет их, но какая-то застывшая печать зависимости и покорности лежит на их лицах.

Читая повесть, узнаешь людей, в чем-то других, чем нынешние. Но автор из своих 60-х годов не судит их свысока. Тем более, я уверен, он не позволял бы себе такого, находясь в 90-х.

В связи с этим хочется спросить: когда шустрые герои сегодняшних свободных дней не дрогнув и не запнувшись ниспровергают минувшую человеческую жизнь, то хорошо ли они понимают, что делают и что говорят? Или они хотят быть живой благоухающей кроной, предлагая при этом признать семидесятирехлетнюю часть ствола мертвой и, может быть, даже выпилить ее? Не спрашивайте, на чем будет держаться и чьим продолжением будет эта замечательная развесистая крона.

Один абсурд грозит смениться другим абсурдом. Мы к этому привыкли. Мы привыкли говорить: прощайте. Привыкли погашать, списывать, небрежно перечеркивать ушедшие времена и ушедшие жизни.

...Важное сообщение, которое объявило московское радио, но долго, тревожно молчало, будет долго томить неизвестностью капитана Гаврилова. Потом окажется, что хотели сообщить про бани и парикмахерские: они открыты, и пожалуйста «мыться-стричься». «В госпитале побрекут, а то и обмоют»,— скажет и махнет рукой капитан Гаврилов.

Литература, возвращающая нас назад, может быть, надежнее многого другого помогает понять, что мы — продолжение все того же ствола. Продолжение многих жизней. И той хмурой осенней поры сорок первого года — тоже...

Игорь ДЕДКОВ.



## ПРИРУЧЕНИЕ АБСУРДА

Славомир М. Рожен. Хочу быть лошастью. Сатирические рассказы и пьесы.  
Перевод с польского. М. «Молодая гвардия». 1990. 318 стр.

Наверное, нашему читателю, нашему критику нужно иметь за спиной лет двести спокойной, не возмущаемой катастрофами и переворотами жизни, чтобы научиться воспринимать литературу (в том числе и за-

рубежную) объективно и целостно, как вид искусства, интересный своим отличием от реальности, детерминированный возможностями своего языка и неповторимостью личности автора. Все это для нас тоже, конеч-

но, значимо, но как бы во вторую очередь. Всякое художественное произведение мы давно уже воспринимаем и долго еще будем воспринимать, помещая его не столько в соответствующий ему литературный ряд, сколько в контекст наших сегодняшних болей, бед и обид. Должно быть, мы многое теряем при этом; многое, важное для автора, не трогает нас, «современников глады и мора», по слову Геннадия Русакова. Но с другой стороны, писателю, книги которого читаются на фоне «глады и мора», грех жаловаться на непонимание — может быть, в условиях такого кризиса, как наш нынешний, и проверяется по-настоящему, «по гамбургскому счету», весит ли что-нибудь книга на пристрастных весах истории, способна ли она, как угодно давно написанная, развиваться вместе с нами, достаточен ли ее духовный объем, чтобы мы могли «вчитаться» в нее свой неповторимый опыт жизни в смутное время.

Книга Славомира Мрожека, всемирно известного польского писателя, впервые серьезно издающегося в СССР, испытание нашей смутой, я думаю, выдержит. Мрожека будут читать, будут ставиться его пьесы, причем по мере развития духовной ситуации нам будет открываться все новый и новый Мрожек. Его проза и его драматургия — искусство истинное, высокое, то есть многозначное. Разные времена могут найти в нем разное. Так, если бы эта книга вышла в свет три-четыре года назад (пять лет назад она бы не вышла ни в коем случае), нам скорее всего оказался бы близок и понятен Мрожек именно как писатель-сатирик и такие его рассказы, как «Слон», «В поездке», «Пунктуальность», «Лифт», «Тихий сотрудник», «Путь гражданина», легко укладывались бы в наше сознание рядом с монологами Жванецкого или рассказами Задорнова, с той сатирической литературой, которая не так давно триумфально вышла из полуподполья под лозунгом «так жить нельзя». С освобождающим смехом мы узнавали бы в рассказе и пьесах Мрожека знакомых нам персонажей тоталитарного паноптикума, привычные нам абсурдные сцены и ситуации времен «развитого социализма». Веселая обложка книги, ее подзаголовки — «сатирические рассказы и пьесы» — ориентируют именно на такое восприятие.

Но первый приступ сатирической эйфории у нас удивительно быстро прошел. Сатира указала свое громогласное «так жить нельзя», мы досмеялись до слез и поняли самое неприятное, самое неместное для себя и того мира, который построили, — что

так жить можно, что наши способности к адаптации практически безграничны и что мы, несмотря на пронесшийся сатирический шквал, живем по-прежнему так. Оковы тяжкие пали, темницы рухнули, но у входа встретила нас, похоже, не выметанная свобода, не романтические «братья», а будничная дождичек, под которым ежится пестрая толпа, в массе своей состоящая из персонажей Мрожека. И автор, совместивший в своем взгляде на мир знание о том, что так нельзя, с пониманием того, что так, к сожалению, можно, в общем, не дает нам права как-то дистанцироваться от этой толпы. В ней, бестолково и неуклюже притирающейся к высочайше объявленной свободе, все мы собраны вместе — и тот директор зоосада, который в целях экономии приказал изготовить надувного слона; и те пожилые служащие, что усердно его надувают; и те школьники, которые больше не верят в слонов вообще. «Слон» — характерный пример многозначного мрожековского рассказа, шедевр жанра, обнаруживающий весьма приблизительную принадлежность творчества писателя к собственно сатире, как мы привыкли ее понимать. Стоит остановиться на этом рассказе подробней. Он начинается как пародия на официальный канон сатирической притчи, в первой же строчке которой называется ложный адрес сатиры и дается квинтэссенция разрешенной каноном «морали»: «Директор зоологического сада оказался карьеристом. Звери для него были только средством для достижения своих целей». Этими словами дан мнимый рациональный ключ к иррациональной, абсурдной ситуации. Официальный сатирик, созерцающий совершенно бредовую реальность, непременно хочет найти в ней хоть какой-то, хотя бы и отрицательный смысл: «Очевидно, письмо (письмо директора с планом замены настоящего слона надувным. — А. А.) попало в руки бездушного чиновника, который по-бюрократически понимал свои обязанности, не вник в существо вопроса и, руководствуясь только директивами по снижению себестоимости, с планом директора согласился». Конечно, карьеризм директора и бездушные бюрократы примерно наказаны — надувного слона подхватил первый же порыв ветра, перенес его в расположенный поблизости ботанический сад, где слон, сев на кактус, поучительно лопнул. О чем же сатира? Карьеризм, бюрократизм, очковигирательство, честно говоря, не слишком-то волнуют Мрожека, это скорее сфера возмущения отпародированного им ведомственного сатирика. А сам Мрожек пишет здесь о приручении

абсурда, о пластичности человека, который в предлагаемых ему иррациональных обстоятельствах пытается действовать разумно, что приводит к разным последствиям, в том числе, бывает, и к еще большему абсурду. Ключевые для этого рассказа фигуры — надувающие слона «пожилые люди, не привыкшие к такой работе». «Если и дальше так пойдет, мы закончим только к шести утра, — сказал один из них. — Что я скажу жене, когда вернусь домой? Она же мне не поверит, что я целую ночь надувал слона». Нормальная «частная жизнь», разумная жена — и надувание резинового слона. Вот проблема, которая всегда стоит перед Мрожексом. Человек не сойдет с ума, он объяснит себе разумность и необходимость любого абсурда, он, в конце концов, не будет особенно задумываться о смысле своих действий. Но такая устойчивость человека означает в каком-то смысле и устойчивость абсурда — жизнь как бы обтекает резинового монстра, включает его в себя, однако сама при этом становится все менее и менее достоверной. Недаром в слонов больше не верят, а школьники, на глазах которых надувной слон взлетел, стали хулиганами. Не так страшен абсурдный «беспроволочный телеграф» из рассказа «В поездке», как его «разумное» объяснение возницей: «... это даже лучше, чем обыкновенный телеграф с проволокой и столбами. Известно, живые люди всегда сообразительнее. И буря не повредит, и экономя на дереве, а ведь у нас в Польше мало лесов осталось, все повырбили».

Словом, внутри привычной сатирической формы Мрожек занимается весьма ответственным философствованием, и главный объект его размышлений — человек в кризисном мире. Причем первичен человек, а не кризис. Что толку драматизировать кризисное состояние мира, если и последние долгожители не помнят «золотого века»? Кризис — просто условие жизни в нашем столетии, его наличие не снимает с человека обязанности нравственного самоопределения. Мрожеку, притом, что он с тревогой говорит о старости и усталости «корабля» цивилизации, совершенно чужд эсхатологический пафос. Да, в мире на каждом шагу натыкаешься на резиновых слонов или «беспроволочный телеграф», мир наполовину абсурден, но он не безнадежен, потому что абсурду не дано заполнить весь объем человеческого сознания.

Драматическая борьба человека с абсурдом, которому он сам чаще всего является причиной. — вот главная тема творчества Славомира Мрожека. В этой борьбе человек

бывает и плох и хорош, он одерживает победы и терпит поражения, но борьба эта, слава богу, не прекращается ни на минуту, и Мрожек-философ, Мрожек-моралист старается по мере сил обозначить чреватые абсурдом искушения и опасности, которые подстерегают человека на каждом шагу.

Мрожек — последовательный антиромантик. В эссе «Плоть и дух» из книги «Короткие письма» (очень жаль, кстати, что в изданном «Молодой гвардией» сборнике не нашлось для них места) он пишет: «Страшно подумать, что бы произошло, если бы каждая «мысль претворялась в дело», к чему призывают нас романтики». Насилие разнузданного воображения, бесконтрольной мечты, даже и самой возвышенной, над естественным течением жизни справедливо кажутся писателю наряду с «враньем», «вздором» и невежеством основным источником абсурда. Великое счастье, замечает Мрожек, что существует «сопротивление материи», «упрямая жизнь», не дающая до конца воплотиться «сверххлестательным замыслам» разного рода «великих вождей». Но нельзя сказать, что писатель, усомнившись в непременной высоте и чистоте «духа», готов слепо довериться «плоти». В сборник вошла пьеса «Бойня», где Мрожек в парадоксальной, гротескной форме исследует возможности двух по видимости противостоящих, если следовать романтической логике, сфер — искусства и жизни. Герой этой пьесы — Скрипач, образ, достаточно определенно отсылающий к романтическому мироощущению, символ художника как такового. «Бойня» многозначна, в ней несколько проблемных мотивов, но главный из них — поиск художником, да и человеком вообще, правды, подлинности. В чем правда — в искусстве, в жизни, в смерти? Скрипач — максималист, он, как истинный романтик, ищет последней, окончательной правды: «... правда должна быть только одна. Одна-единственная, неуничтожимая и неизменная. Правда не может быть хрупкой, ничтожной и смертной, потому что тогда она не правда». Руководствуясь такими представлениями о правде, Скрипач последовательно разочаровывается в искусстве, поскольку оно оказывается слишком хрупким, чтобы противостоять грубому напору плоти, а потом и в жизни, поскольку она текуча, смертна и подчас ничтожна. Единственным, что отвечает предположенным критериям правды, оказывается — совершенно логично — смерть. В ее «подлинности» и «правдивости» трудно усомниться. Смертью и копчаются поиски Скрипача. Мрожек показывает в этой пьесе, что изо-



лированное от жизни искусство инфантильно, неполноценно, немужественно, но жизнь без искусства, с одной «правдой» неминуемо оборачивается торжеством плоти, предназначенной на убой. Художник же, одержимый идеей единственной правды, обречен стать мясником. Но мяснику вовсе не обязательно быть художником. Когда Скрипач, уже готовый выйти на сцену-бойню, все-таки кончает самоубийством, концерт продолжается. Директор бывшей филармонии, совмещенной теперь с бойней, говорит: «Умерщвлять может каждый, всегда и везде... Итак, кто хочет заменить исполнителя?»

Мрожек — убежденный проповедник умеренности, ему претят истерические поиски окончательных ответов на вечные вопросы, ему смешна неизвестно на чем основанная уверенность отвечающих. Он считает, что у человека есть заботы поважней и трудности посерьезней. Например, «прожить ближайšie пять минут». «Настоящий геройизм, — пишет Мрожек в блестящем эссе «Трудность», тоже, к сожалению, не вошедшем в

рецензируемый сборник, — это прожить следующие пять минут. Так называемые героические ситуации, исключительные моменты, чрезвычайные обстоятельства — сами наделяют нас героизмом. Следующие пять минут — голые, немые и слепые. Они ничего нам не говорят, ничем не наделяют и даже ничего особенного не требуют. Собственно, это и есть высшее требование».

Эти пять минут — символ всегда ускользающего от определения настоящего — и есть та щель, сквозь которую протискивается в жизнь человека абсурд. Именно в «следующие пять минут» человеку труднее всего оставаться человеком, избежать искушения «быть лошадю». Обуздать малодушие, отвернуться от «вздора и вранья», хотя бы приручить абсурд вокруг себя, если уж нельзя его уничтожить, — вот подвиг обыденности, подвиг проживания «следующих пяти минут», на который без пафоса, но с надеждой зовет человека Славомир Мрожек.

Александр АГЕЕВ.

Иваново.



## ОБОЧИННЫЕ ЛЮДИ

А. Гаврилов, В преддверии новой жизни. Рассказы. («Анонс») М. «Московский рабочий» 1989. 72 стр.

Прежде подобное писали во внутренних рецензиях (и — прочайте, молодой человек, рукопись свою не забудьте), теперь читаем в аннотации к первой книге Анатолия Гаврилова: «Персонажи... живут безрадостно, сознание этих людей осколочно и тупиково, мечты тщеславны, сны и грёзы зйфоричны». Если это и правда, то не вся. А нажим на то, что «автор с иронией и сарказмом обнажает всю тщетность мещанско-обывательского сознания», и вовсе уж уводит в сторону.

Пустое занятие — цепляться к аннотациям, но что делать, если «другую» прозу, одним из заметных авторов которой является живущий во Владимире Анатолий Гаврилов, увы, часто только так и понимают, одно это и видят в ней. И ирония, да, и сарказм, но если перед нами не персонажи карикатур, а люди, то прежде всего следует сказать: они одиноки и несчастны, и их жалко: и некрасивую, как ее фамилия, Розу Кульбакину, поварицу в воинской части («Роза»); и «бойца скота» Павла Пашпадурова, который, вспоминая давнюю сентиментальную песенку, «тихо заплакал в серую выгрезвительскую подушку» («Падает снег»); и Николая Ивановича,

перекладывающего в преподнесенный «от коллектива цеха мясорубок» пенсионерско-дембельский, так сказать, альбом личные фотографии: «Таковых набралось десятка полтора: школа, ФЗУ, армия, женитьба, первомайская демонстрация, поездка в Горловку... И впервые в жизни ему бросилось в глаза, что на фотографиях он почему-то хмур, напряжен, насуплен, и только на одной, совсем уже пожелтевшей, он улыбается... На обратной стороне — выцветшая, корявая надпись: «Коли годик» («Альбом»).

Цитата сравнительно длинная, поскольку вся-то «крохотка» — на страничку. Рассказы Гаврилова вообще стремятся к миниатюре. Такая лапидарность сама по себе имеет цену, и особенную — на фоне многолетнего «экстенсивного развития» советской литературы, когда каждый уважающий себя автор непременно должен был написать роман, когда для проживания (выживания) приходилось наращивать и наращивать объемы... Гаврилов же, соблюдая пропорции, принимает некую художественную аскезу: беспощадно убирается все, без чего, на взгляд автора, можно обойтись, фраза ужимается, проза стано-

вится рубленой, синтаксически монотонной, подчас бедновато-куцей, но и приобретает упругость, «энергию сжатия». Добычинский вариант. У Леонида Добычина в блистательном «Городе Эн» такое письмо обусловлено речью повествователя, подростка-гимназиста, излагающего (от «изложение») и досочиняющего («сочинение») события. Похоже, Гаврилов самостоятельно открыл тот же прием: и у него есть повествователь — школьник, готовящийся к попришу человека «государственной важности» и впрок сочиняющий «юридические законы для космического пространства» («В преддверии новой жизни»).

Такое изобретательство велосипеда отчасти грустно — видишь, насколько были обеднены литературные поиски десятилетиями редакторско-цензурного просеивания. Но здесь и свидетельство того, что за формальными изысками — нечто, какая-то идея витает... Не та ли, о которой писал Аркадий Белинков в своей все еще не известной широкому читателю на родине книге «Юрий Олеша. Сдача и гибель советского интеллигента?» — «...другое время и другие обстоятельства требуют короткого и быстрого названия вещей. Письмо становится афористичным и точным. Социология афористичного письма состоит в том, что его преобладание становится существенным и заметным в эпохи, когда нужно молчать... Одной из форм протеста против такой эпохи и ее литературы становится отточенная, нестыдливая, выразительная и бескомпромиссная стилистика, строгое и точное письмо, не боящееся последствий и не думающее об осторожности, презрительное и неизвиняющееся».

Маленькой повести, давшей название книжке, повезло: ее напечатали в красноярском «Енисее», «Юности» и парижском «Стрельце». Но «волшебный рог Оберона» отнюдь не опрокинут прицельно над головой владимирского прозаика — дебютировал Гаврилов лишь в 1989 году («Волга»), сорока двух лет от роду. Не рано, даже по нашим меркам. Причина все в той же безрадостности, осколочности, тупиковости и т. п. Радовать ли, что недавно маркируемое как «взгляд из подворотни» нынче подается как «обнажение всей тщетности...»? Переменился знак оценки, но не ее глубина. Возможно, потому, что изображаемое прозаиком психологически неуютно, дискомфортно, в глубине души мы маргинальных героев Гаврилова видеть не хотели бы.

Что ни герой то неудачник, и неудачник какой-то безнадежный. А когда имя

им легион? Или — регион?.. Отметим следующее не совсем банальное для нашей прозы склонение — географический фатализм, безвыездность, безвыходность. Персонажи рассказов, выражаясь стыдливо, периферийные, а по сути — обочинные жители. Место действия — города не города, поселки не поселки (но уж точно не деревни), какое-то выморочное пространство, какая-то бесконечная полоса отчуждения при металлургическом комбинате, известковом ли карьере... Для жизни места «мало оборудованные», а вырваться из замкнутого жизненного круга практически невозможно: «А может, нам уехать сюда? Может, нам продать нашу землянку и уехать куда-нибудь, где нас еще не знают? Может, нам переехать с тобой в поселок Шлаковый или Кирпичный?» Но чем же Шлаковый предпочтительнее Известкового, в котором происходят события «Чемоданчика», одного из лучших рассказов в книжке?.. Боже, как грустна наша Россия!

И коли уж мы это вспомнили, сформулируем и законы, Гавриловым над собой признаваемые: предельный лаконизм, не выдающий авторских эмоций взгляд, верность неудачливым, безрадостным героям. Все вкупе это создает типичный эффект «другой» прозы. Я понимаю недовольство ею многих читателей: «другая» проза как бы «не дотягивает» до привычного норматива гуманности — он не подчеркнут, не выявлен, его приходится вычитывать, достраивать. Задача уже читательская. Но по мне это лучше, чем трафаретность, все то «вяло-учебное» (выражение Иннокентия Анненского), рождающееся не из сопротивления обстоятельствам, а вроде бы по обязанности, потому что «так принято». Вместо оброка нормативной гуманности Гаврилов принимает обет лаконизма: это графичная проза, кроки, рисунки жестким пером — истолковывайте сами... Но не всем же, в конце концов, заниматься дымчатыми акварелями. Посмотрите, что на улице творится. И в верности всем этим невыигрышным темам мне слышится больше любви к людям, а следовательно, и к отечеству, чем в иных звончатых гусях и баалайках сувенирных.

Нравятся или не нравятся нам эти поиски, упорство Анатолия Гаврилова заслуживает уважения. Оценим верность своему видению. Много лет этот выпускник Литинститута шел к первой своей публикации, не компромиссная, не сблизаясь написать то, что «и редактору приятно» («а уж потом!..»). Это всегда и везде непросто, тем

более в провинции, которая «непробовшиеся таланты» ох не жалуется. Гаврилов устоял. Отметим и встречный шаг редсовета «Анонса», отыскавшего позицию в своих планах писателю не московской прописки, — это стоит много больше, чем привычные столичные уверения: дескать, мы вас там, во глубине России, помним, не забываем...

Безрадостно живут не только персонажи гавриловских рассказов — еще и многие из

нас. Все же писатель не вправе оставлять нас хотя бы без далекого огонька надежды. В книжке я его пока не разглядел. В преддверии новой жизни прибегнем еще раз к нашей вырубалочке, к Пушкину. Он писал Плетневу: «...были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».

**В. ПОТАПОВ.**

Саратов.

\*

## ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАРОДОВЕДЕНИЕ СОФЬИ ФЕДОРЧЕНКО

Софья Федорченко. Народ на войне. М. «Советский писатель». 1990. 400 стр.

По странному совпадению первая повесть о выходе этой книги (первой ее части) появилась в «Бюллетене Комитета Юго-Западного фронта» 25 октября 1917 года. О петроградских событиях этого дня в Киеве, где выходил «Бюллетень...» (и где вскоре вышла книга), еще ничего не было известно. Книга Софьи Федорченко «Народ на войне. Фронтвые записи» была, таким образом, написана между Февралем и Октябрем и в полной мере отразила усталость народа от затянувшейся войны и надежду на демократические преобразования. Продолжаясь (в 1925-м вышла вторая часть и готовилась третья), книга объяснила, почему народ, едва выйдя из кровавой тяготы мировой войны, с такой страстью кинулся в гражданскую. «Народ на войне» был оценен как лучшая книга о мировой и гражданской войне в нашей литературе, причем в признании высоких достоинств книги сходились историки и писатели, представители разных политических лагерей и эстетических направлений. В ту эпоху размежеваний и яростной борьбы случаи небывалый, пожалуй, парадоксальный.

И вдруг книга пропала. Пропала совсем, начисто. Третья часть не вышла, первые две исчезли — как не бывали — с книжных полок, из критических обзоров, из литературы. Книга пропала на долгие шестьдесят пять лет, и, помню, когда в 1973-м она напомнила о себе статьей В. Глоцера, а в 1983-м — публикацией третьей части в «Литературном наследстве» (подготовленной Н. А. Трифоновым), знакомые литературоведы спрашивали: а что, «Народ на войне» — это что-то серьезное? Спрашивали, между прочим, и специалисты по советской литературе 20-х годов...

А случилось вот что. Демьян Бедный, считая «Народ на войне» собранием фольклористических записей, то есть как бы ничьим достоянием, задумал переложить книгу стихами. И тут ему сказали, что он заблуждается: «Народ на войне» — художественное, авторское создание. Потерпевший конфуз в своем замысле, Демьян Бедный обвинил автора в фальсификации (чего?) и мистификации (кого?). Он обрушился на книгу всем своим весом официально-стихотворца правящей партии, всем своим авторитетом кремлевского жителя — и задавил ее. История, увы, вполне обычная для системы, которая дает писателю власть, выходящую за пределы духовного влияния. Горький урок превращения власти слова в слово власти.

Если произведение фольклорной мощи оказывается авторским, то, казалось бы, тем выше ему цена. Но не тут-то было: сработало — сверх демьяновских амбиций — смердяковское недоверие к художнику. Некуда правду деть — этим неверием, неверием в себя, была заражена и сама Федорченко. Давая повод заподозрить мистификацию, она по-разному описывала происхождение и жанр своей книги, сбивалась, путалась. Эта путаница прояснится, если представить себе сложную ситуацию, в которую попала безвестная фронтная медсестра, претендуя на роль автора грандиозного замысла — народ на войне. Она явно испытывала смущение перед громадностью своего замысла и «играла на понижение», пыталась сбить претенциозность, отводя себе — художнику, автору — роль простого фиксатора чужих высказываний. Не дерзость, а застенчивость стала основой нечаянной мистификации. Среди бумаг Федорченко осталось частное письмо, в котором она сознается, что, стесняя-

ьясь своей нищеты, намеренно завышала свой заработок в отчетах для профкома. Согласимся, что женщина, которая платила лишнее, лишь бы не показаться смешной, могла ради той же цели приписать себе роль не художника, но «полевого фольклориста». Там она завышала заработок, здесь занижала претензию, но все равно платила лишнее. Платой стала гибель книги и отлучение автора от литературы. Софья Федорченко постеснялась громко и внятно сказать, что написала она — роман.

Сейчас, в исторической ретроспективе, уже видно, что и те, кто восхищался «Народом на войне», и те, кто его губил, читали эту книгу не в том жанре, в каком она написана. Не было понято главное: маленькая женщина, фронтовая сестра милосердия, совершила художественное открытие, написав роман, героем которого — единственным героем притом — выступает совокупный массив вовлеченных в войну людей, соотечественников автора.

Народ на войне—это не название темы, но имя главного героя. Книга складывается из свободно соположенных фрагментов и в этом чрезвычайно близка авангардистскому искусству, по природе своей фрагментарному. В то же время «Народ на войне» достигает целостности, едва ли доступной какому-либо иному роману и свойственной разве что древнейшему мифу (или эпосу). Противоречие между фрагментарностью и синтетичностью, между архаикой и новаторством снимается в книге Федорченко с обескураживающей легкостью.

Каждый фрагмент — краткое и емкое высказывание о себе и о войне только что мобилизованного мещанина-ремесленника или сельского мужика, пехотинца-окопника, солдата-артиллериста, казака, ездowego провиантской фуры, раненого в госпитале, крестьянина-беженца, военнопленного, дезертира, участника банды зеленых или иного цвета, бойца подразделения, охотящегося за этими бандами, и т. д. Но автор не представляет читателю, даже не называет своего персонажа, просто дает ему слово, и читатель должен сам из этого высказывания, из этой реплики извлечь и мнение говорящего, и представление о нем самом. Мы как бы читаем роман-референдум: что вы думаете о войне. Мы словно бы смотрим грандиозную документальную ленту, смонтированную из «интервью», взятых у тысячи участников войны и слывающихся в целостный рассказ о войне, но нет ни дикторского текста, комментирую-

щего интервью, ни даже титров, называющих тех, кто отвечает на вопросы невидимого и тоже не названного интервьюера. Если бы из книг Пильняка и Артема Веселого, Всеволода Иванова, Бабеля и Платонова (написанных, заметим, после «Народа на войне») вытравить малейшие следы авторской речи и заботливо выбрать одни только речения персонажей, представив их читателю: вот, дескать, что говорили люди на войне о войне,— то и получилось бы некое подобие книги Софьи Федорченко. Перед нами уникальный роман в форме полилога, отличающегося от монолога и диалога не только своей оглушительной множественностью, но и абсолютной анонимностью высказываний, неразличимостью авторства. Вместо завершающей пушкинской ремарки «народ безмолвствует» здесь могла бы стоять открывающая ремарка «народ говорит».

Мало проку вылушивать из этой книги наиболее броские, самые «форсированные», афористичные голоса, подтверждающие позицию читателя или критика. Здесь, как в фольклоре, на всякую байку есть противубайка, и едва ли не каждая реплика где-то в толще книги побивается противоположной. Убийственному разгулу противостоит самоотверженное благородство, кровь смешивается с экскрементами, быт с патетикой. Такой широкий захват разведенных крайностей создает «бездну пространства» и равно лишает шансов злобную хулу или слащавое умиление по поводу народной жизни.

В эпоху, когда европейский и русский роман развивались в сторону все более углубленного постижения индивидуального сознания, изобретая по пути все новые ухищрения для анализа субъективного восприятия (такие, как внутренний монолог, поток сознания, переключение в план бессознательного), Софья Федорченко написала — кажется, не очень даже отдавая себе в этом отчет — роман, воссоздающий массовое сознание во всех противоречиях его трезвости и мифотворчества, простодушного реализма и наивного мистицизма. Она нашла для такого произведения «стиль, отвечающий теме», форму, адекватную задаче. Среди моря романов, изоциренно изображающих самые потаенные извивы индивидуального «я», роман Федорченко высится, как крохотный, поражающий воображение островок, всецело отданный совокупному человеческому «мы». Он противостоит этим романам как соборно-объективное индивидуально-субъективному.

Современный читатель, составивший себе — с учетом исторического опыта — определенное мнение о «Мы» Кириллова, Маяковского, Замятина, может в этом месте болезненно насторожиться — и будет решительно не прав, ибо соборность Федорченко включает в себя мощное персоналистское начало, предохраняющее от вырождения в обезличивающий коллективизм, а здоровая мера этого персонализма гарантирует от скатывания к крайностям индивидуализма. Перед нами создание редкой гармоничности, охватывающее самое, быть может, дисгармоничное явление — войну и народ на войне.

Римский писатель Элиан, записавший дошедшие до него речения и анекдоты (и в некотором, весьма относительном, смысле жанровый предшественник Федорченко), передает такую мысль Сократа: «...никогда не было столь отважного и дерзкого трагического поэта, который вывел бы на сцену обреченный на смерть хор!» Вот таким неслыханно дерзким трагическим поэтом стала Софья Федорченко: она вывела на сцену «народ на войне» — обреченный на смерть и не желающий умирать хор. Именно хор — протагонист трагедии под названием «Народ на войне». Уникальность этого хора в том, что он состоит из солистов, в нем ровно столько солирующих голосов, сколько записей-фрагментов в книге, композиционно открытой для включения новых голосов и принципиально незавершенной, как не может быть завершен ее герой — народ: «Вот считай: голод — выдали, волками выли; тиф — выжили, больше не будет; пожар — за печку считали, каждый день тапывали; грабеж — это чего уж проще; раны — как на собаке струсьев; мук от врага — так не хуже старинных великомучеников; смерть же даже смеху подобно: уж и вешано, уж и топлено, уж расстреляно по множеству раз. Бои не в счет всему этому. А живы, живы и будем».

Фольклорная стилистика Софьи Федорченко — ни в малой степени не стилизация, а органическая манера писательницы. Она не то чтобы пишет, она мыслит на этот лад. Достаточно взглянуть на все, ею созданное — от раннего «Народа на войне» до поздней трилогии о Семигорове, не исключая и стихов для детей (почти сотня книжек), — чтобы прийти к выводу: Софья Федорченко — художник в той мере, в какой она может развернуть свой фольклорный потенциал. Выбор темы у нее поставлен, кажется, в зависимость от возможности реализовать единственно ей до-

ступную фольклорную стилистику. Это соображение блистательно подтверждается от противного: едва обстоятельства перекрывают путь к этой стилистике (когда она берется сочинить, скажем, дружеское письмо или деловой документ) — о, какой беспомощной становится Софья Федорченко, куда девается ее талант! В жанрах, исключающих фольклорно-сказовую манеру, она из сильного и уверенного мастера немедленно превращается в тусклую посредственность, пытающуюся связать слова на не поддающемся, как бы иностранном языке. Характер одаренности Федорченко в определенном смысле сравним с феноменами Шевченко и Хлебникова, чья гениальность находилась в прямой зависимости от приближения к народно-песенной (для первого) и мифологической (для второго) стихии. Б. Эйхенбауму пришлось бы внести серьезные поправки в свою теорию сказа, если бы он включил в свой анализ опыт Софьи Федорченко. Ее сказ не подразумевает «установки на чужую речь», вопрос о разделении на свою и чужую здесь просто неуместен: они суть одно и то же.

Мгновенный и безоговорочный успех «Народа на войне», сопровождавший первые публикации, проявился не только в критических опусах, но и в немедленном воздействии на текущую литературу. Александр Блок записал о «солдатских беседах» «некоего Федорченко»: «Выходит серо, грязно, гадко, полно ненависти, темноты, но хорошо, правдиво и совестно». У Федорченко Блок нашел именно то, что искал: мнение низовой массы, выраженное ее собственными голосами. «Правдивое и совестное» анонимное многоголосие «Народа на войне» не прошло мимо внимания переимчивого поэта, и когда — через несколько месяцев после чтения Федорченко — он наполнился звуками «Двенадцати», то поэма воплотилась в заданной «солдатскими беседами» форме. «Двенадцать» Блока — монтаж безмянных «голосов», редчайший случай чистого поэтического диалога, связь которого с «Народом на войне» несомненна и глубока. Влияние книги Федорченко на литературу не исчерпывается, только начинается этим эпизодом — и далеко не кончается воспроизведением сюжетов солдатских новелл в «Хождении по мукам» и знаменитым эпиграфом: «В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого», тоже восходящим к книге Федорченко.

Эту линию следует продлить до Алек-

сандра Твардовского, ибо «Народ на войне» и «Василий Теркин» несомненно принадлежат одной и той же традиции русской литературы, обнаруживают замечательное типологическое сходство, которое нужно признать и осмыслить независимо от того, читал ли автор «книги про бойца» книгу своей предшественницы. Дело даже не в том, что по всему тексту «Народа на войне» мелькают словечки и присловья, которые потом появятся на страницах «Василия Теркина», дело в чрезвычайной близости позиций — от социально-философской до эстетической — авторов двух книг, начатых «с середины», законченных «без конца» и дающих сугубо неофициальный взгляд на войну. По книге Федорченко краем проходит и «теркинообразный» персонаж, и хорошо слышны голоса, доказывающие, что «нужен Теркин на войне»: «До чего я теперь веселых люблю! Все такому отдать бы рад, последнее. Уж больно в лихолетье младость тратим... Тут только веселый товарищ и подкрепит ровно винцо...» В сущности, книга Федорченко приближается к тому идеалу «честной прозы», на которой ориентировался «Новый мир» в пору редакторства Александра Твардовского.

С благодарностью принимая труды людей, подготовивших нынешнее — первое полное, все три части — издание «Народа на войне» (прежде всего составителя тома и автора предисловия Н. А. Трифонова), нужно заметить, что это только первый шаг к возвращению замечательной книги. По уже изложенным причинам «Народ на войне» не приобрел окончательного вида под пером автора, и хотя это обстоятельство маскируется от читателя фрагментарностью книги, для специалиста возникают серьезные текстологические проблемы. По какому тексту, скажем, следует публиковать первую часть? В нынешнем издании она дается по публикации 1925 года — почему не по первому, 1917-го? Если здесь нет повода для спора, то необходимость мотивировки точно есть. Вообще — насколько нынешнее издание отражает полный корпус фрагментов? Перед нами книга, по значительности своей заслуживающая научного издания — с различиями, вариантами и комментариями. Богаты мы, видно, непомерно, если можем пробрасываться такими книгами...

Мирон ПЕТРОВСКИЙ.

Киев.

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

*Из истории русской общественной мысли*

Читайте в 1991 году:

1. ПОЛЮСА ЕВРАЗИЙСТВА. Л. П. Карсавин — Государство и кризис демократии. Георгий Флоровский — Евразийский соблазн. Вступительная статья А. В. Соболева. Составление А. В. Соболева и И. А. Савкина. Перевод с литовского И. А. Савкина и Г. Мажейкиса. Комментарии А. В. Соболева, И. А. Савкина, Г. Мажейкиса.

2. П. Б. СТРУВЕ (1870—1944). За свободу и величие России. Статьи. Заметки. Письма. Вступительная статья, составление, публикация писем из семейного архива и комментарии Н. А. Струве.

## КОРОТКО О КНИГАХ

\*

**МАРК СЕРГЕЕВ.** Жизнь и злоключения Абрама Петрова — арана Петра Великого. Зачем я его очарован... Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 1989. 255 стр.

Абрам Ганнибал, прадед Пушкина, пусть недолго, но был в Иркутске. Когда Марк Сергеев, иркутский поэт, узнал об этом, жизнь арана Петра Великого стала его личной заботой. Подобная преданность Пушкину, заставившая Сергеева потратить годы, для того чтобы познакомиться с биографией одного из его предков, сама по себе заслуживает уважения. А когда дело поглощает, забирает всего человека, тогда сведения стекаются как бы сами собой.

Да и история петровского питомца весьма небезынтересна — в ней сплелись российские дела от Екатерины I до Анны Иоанновны. Появление Ганнибала в Иркутске — лишь пауза в его многоверстном странствии от Казани аж до Селенгинска, странствии, предпринятом по инициативе и указу Меншикова, который таким образом «гнал зайца» так далеко, как можно было. И его возвращение, на сей раз далеко на запад, в Пярну и Таллинн. И его семейные дела, бракоразводный процесс, протянувшийся более чем на два десятилетия. Вывод автора из этой истории прост: сыном своего века был Абрам Ганнибал, а век был крутой... Но, однако ж, в тазбе крестьян его мизы в Эстонии он принял их сторону, что в те времена было редко.

Вот тут-то и есть главный интерес автора, главная цель его — объективный портрет героя. Это помимо любви к Иркутску, заставившей его взяться за биографию Ганнибала. И в современных спорах о Петре, спорах острых, книга, написанная М. Сергеевым, безусловно найдет свое место — личный оттенок обеспечит его.

Пройдя за Ганнибалом по многотрудным этапам его жизни, он с тем же, если не с большим увлечением отправляется по следам пушкинского стихотворения «Зачем я его очарован...». Сергеев называет двух адресатов этого стихотворения; сама множественность в данном случае говорит о гипотетичности предположений — то ли та, то ли эта, обе могли бы претендовать. Тут интересен подбор аргументов; и фактов, сказали бы мы, если бы они были, факты... И, рассуждая на столь опасную, можно сказать, шекотливую тему, Марк Сергеев заканчивает следующим выводом: «Пушкин не опубликовал стихотворение... совсем по другой причине: он был хорошим, достойным мужем».

Органично входят в книгу стихи поэта М. Сергеева о Пушкине и его друзьях — в них тот же уровень понимания поэта и поэзии; можно сказать, что Сергеев-поэт един с Сергеевым-исследователем. Это не так уж легко: в документальной повести «Перо поэта» (об истории пушкинского пе-

ра, когда-то попавшего в Иркутск и в конце концов оказавшегося в московском музее Пушкина) Сергеев демонстрирует необходимые исследователю качества — упорство, интуицию и опять-таки личный интерес.

Иркутск — город особенный; его культурные традиции богаты и разнообразны. И один из его духовных центров — Марк Сергеев, автор книги «С Иркутском связанные судьбы», составитель сборника «Иркутск. Три века» (к трехсотлетию присоединения Иркутску статуса города), ответственный секретарь многотомной (к сожалению, не подписной) серии «Полярная звезда» (декабристских документов, писем и материалов), серии, обретшей сегодня всеобщую известность. Что ж, Иркутск есть Иркутск; недаром же еще на заре существования города один из его первых отцов всеерь предлагал считать всю Русскую Америку (Аляску и далее к югу до нынешнего Сан-Франциско) «Американским уездом Иркутской губернии». Остается добавить, что сообщил об этом факте в одной из своих книг Марк Сергеев.

Ю. Смелков.

\*

**ИННА РОСТОВЦЕВА.** Между словом и молчанием. О современной поэзии. М. «Современник». 1989. 367 стр.

Еще не начав читать эту книгу, останавливаешься на заглавии: в нем уже заключен некий образ, который хочется разгадывать. Эти два ключевых понятия — слово и молчание — так или иначе присутствуют в центральных главах книги Ростовцевой, составивших ее ядро: «Сказать то слово... (А. Твардовский)», «Слова как светляки с большими фонарями (Н. Заболоцкий)», «Слово, равное чувству (Н. Рубцов)», наконец, «Между словом и молчанием» (исследование «Реквиема» А. Ахматовой). Жаль, что не попала сюда статья об Андрее Платонове, опубликованная не так давно в «Октябре». Разумеется, эта книга — «о современной поэзии», но, в сущности, так условная грань между «прозой» и «поэзией» в Платонове и так важна именно в связи с платоновским творчеством оппозиция «слово — молчание»... «Платоновский сирота-народ... пропадает в такое молчание, в такую глагольную бедность... Этим немым языком Платонов выразил тончайшие категории» (А. Битов).

Что же представляет собою таинственное пространство «между...», в котором молчанье превращается в слово? Этот вопрос очень важен для автора...

Поэтический образ в понимании критика — не застывший результат, а открытый процесс сотворчества, в который включен и читатель поэзии. «Какое это счастье вдруг однажды «увидеть» стихотворение и понять; то, что было для тебя строчками в

книге, оказывается, существует в реальности, в природе, в живом, невыдуманном... виде... Обратный путь — от произведения к узнаванию его в реальности — дарит ни с чем не сравнимое ощущение подлинности искусства, умаляет мифы о его «деланности», приукрашенности... Ступай на этот путь! Он внушает каждому надежды, что если ты увидел в окружающем тебя бытии, природе хотя бы фрагмент прекрасного, то ты — творец, даже если за всю свою жизнь не написал ни строчки». И не случайно так важен образ пути, постоянно возникающий на страницах книги (главы о творчестве С. Грохвяка и Т. Ружевица — чешских поэтов, Василия Казанцева, полемические статьи о современной поэзии). Ибо поэзия, считает критик, есть проникновение в красоту реального мира, бесконечный процесс постижения, которое совершает вслед за поэтом читатель. «Поэзия создает... но и мы являемся строителями поэзии».

Вступив на этот путь, мы и оказываемся «между словом и молчанием», в сокровенном пространстве человеческой души, том самом «пространстве человека», о котором размышлял И. Ростовцев и французский поэт Ив Бержере. Их диалог, включенный в книгу, назван «Как оценивать поэзию». Между тем не оценка или, скажем, впечатление представляют собой важнейшие категории «критической поэтики» Ростовцевой, а — переживания, «переживания красоты».

Особое место в книге занимают «Дети мысли» — «летучие листки» (выражение П. Вяземского), «вырванные» из дневника критика. Жанр их трудноопределим. Свообразные микроскопы, рабочие записки? «Просто» мысли о поэзии, о жизни вообще? «Чтобы работать на «поточном методе» в литературе... надо, чтобы не приходили воспоминания, не умирали люди, не добивались в мире справедливости...»

Книга Ростовцевой, казалось бы, целиком посвящена тому, что принято называть миром поэта во всех его ипостасях (сюда вошли исследования «Алексей Прасолов — в письмах» и «Паруйр Севак в моей памяти»), но прочитав ее, осознаешь, что встретился в очередной раз с миром критика, столь же суверенным, как и любой иной художественный мир, созданный собственным творческим усилием и личностным опытом.

Виталий Камышев.

Иркутск.

✱

**НИКОЛАЙ САФОНОВ**, Записки адвоката. Крымские татары. Совместное советско-западногерманское предприятие «Вся Москва». 1990. 176 стр.

К адвокатскому участию в процессах по делам крымских татар автора книги склонила и благословила покойная Софья Васильевна Калайстратова, правозащитница чью доброту, справедливость и мужество высоко чтит академик Сахаров. До этого, чисто сердечно признается писатель-юрист, «я совершенно не знал, что у нас в стране существует проблема крымских татар, причем довольно

острая. Оказывается, уже несколько лет в Узбекистане и в Крыму идут под видом уголовных процессов самые настоящие политические дела по обвинению крымских татар».

О шести из них рассказано в книге. И каждый рассказ воссоздает выразительную картину — добро бы только прокурорской казуистики и судейского крючкотворства! — грубого произвола, циничного беззакония, которые на глазах автора согласно вершили прокуроры и судьи, послушно внимая «телефонному праву» — устным распоряжениям партийно-аппаратного верха. В арсенале их приемов и средств — обвинения одного другого глумливой. В лучшем случае — в нарушении паспортного режима ходатаями, жалобщиками и «возвращенцами». Чаще всего — по отмененной ныне статье 190<sup>1</sup> УК РСФСР — в распространении сведений, порочащих советский государственный и общественный строй, а также в клевете — не иначе! — на национальную политику в СССР. О том, в какой степени были обснованы выносимые приговоры, наглядно говорят глава («дело») третья — об осуждении «старого и очень больного человека» по делу, по которому не было допрошено «ни одного свидетеля, преступление не только не доказано, но оно вообще не установлено». И тщечно вызвал на суде адвокат Николай Сафонов: обвиняемый «фактически осужден по данному эпизоду не за свое стихотворение», голословно признанное антисоветским, а за подстрочник, который «выполнен человеком, не владеющим поэтическим переводом». Судить «за неграмотно сделанный кем-то подстрочник нельзя». Увы, то был глас вопиющего в пустыне.

«...Я чувствовал удары от стягивающейся вокруг моей шеи петля», — свидетельствует автор, потрясенный произволом, возмущенный надругательством над достоинством личности, насилием над людьми если в чем и «виновными», то разве лишь в том, что с доверием и надеждой восприняли указ 1967 года, разрешивший возвращение в Крым. И зная не зная, каким множеством тайных запретов тут же оброс он, вплоть до «секретных указаний» ни под каким видом не продавать крымским татарам домов в Крыму и не прописывать их на родине. На практике это оборачивалось такими противоправными действиями местных властей, которые иначе как разбоем не назвать: ночными выселениями тех, кто рискнул вернуться, не смущаясь слезами женщин и детей.

Шесть дел, которым отданы соответственные шесть глав книги, замыкает «Дело» (глава) седьмое — адвоката Н. С. Сафонова. «Частное определение, безосновательно вынесенное по отношению к нему на одном из ташкентских процессов, послужило поводом для увольнения из адвокатуры «за политическую незрелость». В октябре 1989 года президиум Московской городской коллегии адвокатов в связи с «отсутствием характеристики с последнего места работы» отклонил пересмотр липового «дела». Оно не было пересмотрено и ко времени издания книги Н. Сафонова, и ко дню, когда писалась рецензия на нее..

В. Оскоцкий.



---

---

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

---

**Главный редактор С. П. Залыгин**

**Редакционная коллегия:**

**В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов** (зам. главного редактора),  
**А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко**

Технический редактор **А. Гивзбург.**

---

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 17.08.90 Подписано к печати 05.05.91  
Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л.  
(23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отг.). 27,02 уч.-изд. л.

---

Тираж 890.000 экз. (1-й завод 1—355.000 экз.). Зак. 01420071. Цена 2 р. 10 к.

---

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

---

Набрано и сматрицировано в ордене Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5. Отпечатано в типографии № 2 ордене Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев, Анри Барбюса, 51/2.

**Во втором полугодии 1991 года  
и в 1992 году  
«Новый мир» предполагает опубликовать:**

- ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и убиты (роман);  
**ПЕТР БАЛАКШИН.** Финал в Китае (фрагменты книги);  
**ЛЕОНИД БЕЖИН.** Калоши счастья (записки случайного философа);  
**АНДРЕЙ БИТОВ.** Япония как она есть (повесть);  
**АНДРЕЙ ВОЛОС.** Кудыч (повесть);  
**М. ВОСЛЕНСКИЙ.** Феодалный социализм (место номенклатуры в истории);  
**ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕРНОБЫЛЕ;**  
**АФАНАСИЙ ГЕРАСИМОВ.** Повесть о Дубчесских скитах;  
**А. ГЛАГОЛЕВ.** За други своя (воспоминания);  
**В. ДОМОГАЦКИЙ.** Кладовка (попытка консервации);  
**И. А. ИЛЬИН.** Из философского наследия;  
**АНАТОЛИЙ КИМ.** Кентавр (роман); Рассказы;  
**М. КУРАЕВ.** Зеркало Монтачки (повесть);  
**ВЛАДИМИР МАКАНИН.** Рассказы;  
**ВЛАДИМИР МАКСИМОВ.** И Аз воздам (роман);  
**ФРАНСУА МОРИАК.** Во что я верю (эссе, перевод с французского);  
**П. И. НОВГОРОДЦЕВ.** Из философского наследия;  
**МАРИНА ПАЛЕЙ.** Рассказы;  
**Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ.** Время ночь (повесть); Рассказы;  
**АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ.** Счастливая Москва (роман);  
**Н. САРРОТ.** Дар слова (повесть, перевод с французского);  
**ФЕЛИКС СВЕТОВ.** Отверзи ми двери (роман);  
**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН.** Бодался телёнок с дубом (новые главы «очерков литературной жизни»); Сквозь чад; Апрель Семнадцатого (заключительный «узел» исторической эпопеи «Красное колесо»);  
**АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ.** Из философского и поэтического наследия;  
**А. С. СУВОРИН.** Дневник (фрагменты);  
**И. Т. ТВАРДОВСКИЙ.** Страницы пережитого;  
**Н. ТОЛСТОЙ.** Жертвы Ялты (главы из книги);  
**ДАНИИЛ ХАРМС.** Дневники;  
**Ю. ШРЕЙДЕР.** Синдром освобождения (эссе);  
 а также другие произведения.  
 Следите за нашими анонсами.

В 1992 году в журнале появится новый цикл «**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ XX ВЕКА: ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА, ГУМАНИТАРНАЯ МЫСЛЬ**»; будут продолжены публикации под рубрикой «**РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР**».